

Михаил Дудин

Михаил Дудин

3

3





Михаил Дудин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

«СОВРЕМЕННОК»

Михаил Дудин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ТРЕТИЙ

ПОЛЕ

ПРИТЯЖЕНИЯ

ПРОЗА О ПОЭЗИИ

ВСЕ ВМЕСТЕ

ПЕРЕВОДЫ

МОСКВА 1988

БК84Р7
Д81

Составитель *Н. В. Банк*

Дудин М. А.

Д81 Собрание сочинений: В 4-х т. Т. 3. Переводы. По-
ле притяжения: Проза о поэзии. — М.: Современник,
1988. — 560 с.

Третий том собрания сочинений М. А. Дудина составили из-
бранные переводы и книга литературных портретов, очерков и эссе
о поэзии «Поле притяжения».

Д $\frac{4702010200-159}{M106(03)-88}$ подписное

БК84Р7

ВСЕ ВМЕСТЕ
ПЕРЕВОДЫ

Издrevле сладостный союз
Поэтов меж собой связует...

А. С. Пушкин

66-Й СОНЕТ ШЕКСПИРА

Я умер бы, от всех невзгод устав,
Чтоб кровную не видеть нищету,
И веру справедливости без прав,
И праздного ничтожества тщету,
И не по чести почестей черед,
И на цветущей девственности сор,
И силу, что калекою бредет,
И совершенство, вставшее в позор,
И в соловьином горле кляп властей,
И глупость в облаченье мудреца,
И праздник лжи над правдою страстей,
И честь добра под пяткой подлеца.

Я умер бы, судьбы не изменяя, —
Но что ты будешь делать без меня?

ЕСЛИ...

(Из Редьярда Киплинга)

Если ты не потеряешь головы в смятенье общем,
Одинаково встречая и успех, и неуспех,
И пройдешь достойно мимо клеветы и тех, кто ропщет,
В правоте своей уверен вопреки сомненью всех;

Если ты сумеешь выждать до положенного срока
И подсчитывать не будешь наговоры подлеца,
Если ненависть сумеешь обуздать в себе жестоко
И не выглядеть пижоном в старой маске мудреца;

Если ты мечту, мечтая, не поставишь выше бога
И само течение мысли самоцелью не сочтешь,
И Беду с Триумфом вместе, что пошлет тебе дорога,
Встретишь равно, понимая, что у них в основе ложь;

Если в слове красная ты свое услышишь слово,
Как надежную приманку для доверчивых ослов,
Если дело жизни прахом рассыпается, и снова
На развалинах и пепле можешь действовать с основ;

Если ты, рискнув, поставишь на орла, а выйдет — решка,
Все накопленное жизнью проиграешь до конца,
И не вымолвишь ни слова, сожаленье и усмешка
Не коснутся даже тенью ни души и ни лица;

Если в горькую минуту безысходности и боли,
В миг, когда с усталым телом разойтись готова жизнь,
Ты сумеешь сердцу, нервам приказать веленьем воли,
Всею собранностью страсти беспощадное: «Держись!»;

Если ты сумеешь правду неподкупности и чести
Говорить царям и толпам, отвечая головой,
Если в нужную минуту все друзья с врагами вместе
Пусть хотя не слишком много, но считаются с тобой;

Если каждую секунду ты, как спринтера удачу,
Ценишь, жизни невозвратной понимая быстрый бег, —
Вся Земля твоя отныне, все земное — тоже, значит,
Ты, мой сын, и сам отныне в этом мире — Человек.

АВЕТИК ИСААКЯН

* * *

Погоди, мое сердце, быть может, рассвет
Разгорится — и ярко по ясному следу
Засияют фиалки и, солнцу вослед,
Над проклятою тьмою, быть может, победу
Ты одержишь в борьбе. Не смирайся, держись
До последнего вздоха надежды, и, может,
Горизонт разойдется, и горькая жизнь
Улыбнется... Какая змея тебя гложет?
Иль тебе не под силу сомненье твое
И жестокая скука? Иль язва измены
Отравила священной любви бытие?
...Что ж! Страдай и надейся...

* * *

Хочешь — я росую в очи
Просверкаю ярче гроз?
Пробегу дыханьем ночи
По кошке твоих волос?

Хочешь — вспыхну сердца рядом
Розой в царственном венце,
Солнца утреннего взглядом
Заиграю на лице?

Хочешь — деревом и тенью
Стану и среди ветвей
Дам укрытье вдохновенно
Птиц над головой твоей?

Хочешь — буду кем угодно:
Тьмою ночи, светом дня,
И скалой, и гладью водной —
Только ты люби меня!

* * *

Мое сердце — это небо,
И любая жизнь земная
В нем свою звезду имеет,
Свой престол имеет в нем.

Мое сердце — это небо,
Мое сердце дарит щедро:
Аромат — цветам весенним,
Жизнь — безжизненной пустыне
Обездоленного сердца,
Юным девушкам — любовь.

Мое сердце — это небо.

* * *

Жизнь! За тебя готовый к бою,
Стою я твердо, как скала.
Грохочет гром над головою —
Стою я твердо, как скала.
Бушует буря подо мною —
Стою я твердо, как скала.
Волна — к волне! И нет подмоги —
Стою я твердо, как скала.
Плыви ко мне! Среди тревоги
Стою я твердо, как скала.
Бросай свой якорь мне под ноги —
Стою я твердо, как скала!

* * *

Крепка в окне решетка.
Через ночную тьму
Звезда печали кротко
Глядит в мою тюрьму.

И плачут мать с сестрою
В отеческом дому
Под этою звездою
По сердцу моему.

* * *

Бойся глаз чернее ночи,
Глаз темней, чем смертный час, —
Тьма погибель напророчит;
Опасайся черных глаз.

Черный взгляд острей кинжала
Заглянул мне в душу раз —
И душа моя пропала...
Опасайся черных глаз,

* * *

У людей и у птиц есть друзья до поры.
Я — один, и бездомно мое бытие.
Боль на сердце моем тяжелее горы
И темнее и глубже ущелий ее.

Ты сама мне сказала: «Уйди, пропади!»
А куда я пойду, и любя, и скорбя?
Эта боль от тебя. Для меня впереди
Нет от боли спасения, кроме тебя.

* * *

Холодный ветер желтым ивам
Срывает праздничный наряд.
И листья под его порывом
На землю грустную летят.

И только ворон в голой кроне
Сидит, как черный господин,
Да я, прижав к груди ладони,
На вашу дверь гляжу один.

* * *

Мне снился сон. Во сне плыла
Ночная улица рекою,
И мать моя в толпе была,
Как тень с протянутой рукою.

Она брела, стара, слепа,
В оцепенении глубоком —
И равнодушная толпа
Ее толкала неароком.

И плакал я во сне своем
И наяву — неутолимо.
А мы спешим своим путем —
Куда? Какого горя мимо?..

* * *

Мне снилось море. В нежной
Лазури день дрожал.
На полосе прибрежной
Я раненый лежал.

Вздыхая, море млело
В раздумии своем,
Явила рана тело
Из глубины огнем.

И светлый голос жизни
Летел из-за морей
От берегов Отчизны,
От Матери моей.

* * *

Луна, как лебедь, стороной
Плывет дорогой сонной.
Двор как колодец под луной
От тишины бездонной.

Но сердце у меня в груди
Тревогой неизменной
На всю вселенную гудит,
Как колокол вселенной.

* * *

Родина! Горы твои — исполины —
За облаками встречают рассвет.
Реки журчат и смеются долины,
Но для детей твоих радости нет.

Родина! Если б владел я отныне
Тысячью жизней в придачу к одной, —
Тысячу жизней, как высшей святыне,
Отдал бы в жертву отчизне родной.

Тысячу жизней, как жертву, залогом
Жизни прекрасных твоих сыновей,
И лишь одну для себя, чтобы в строгом
Гимне сопутствовать славе твоей.

И восславлять тебя так же, как вестник
Юной весны в обновленном краю
Славит свободно ликующей песней
Солнце любви и свободу свою,

* * *

Гордой молодости годы
Промелькнули, как звезда.
И любовь моей свободы
С ними скрылась навсегда.

Не оставили на камне
Камня слезы от потерь.
Плачь не плачь, а те года мне
Не вернуть уже теперь.

* * *

Мираж возник в пустыне дикой.
И в образ женщины один
Всей безысходностью великой
Души влюбился бедуин.

И он пошел за ней по черной
Пустыне страха и тоски
И рухнул под колючки терна
На раскаленные пески.

И умер в жажде ненапрасной
По человеческой весне,
И образ женщины прекрасной,
Как сон, в его витает сне.

* * *

Мое сердце на горных вершинах,
Где в сплстении молний и мглы
Дерзновенно и неустрашимо
С ураганами спорят орлы.

Вы, властители жизни и смерти,
Храбрецы самого мятежа,
Перед вами, склоняясь, очертит
Славой подвиги ваши душа!

Вы есть дух и надежда народа.
И с оружием держит рука
Твой светильник горящий, Свобода,
Озаряющий жизнь на века.

Пусть на землю сойдут ураганы,
Старой скверны развеют туманы,
Разобьют палача реквизит.
И душа над печалью насилья
Вскинет мысли бессмертные крылья
И, как молния, зло поразит.

* * *

Видишь, черный орел, гордый горный орел,
С высоты своего назначенья,
Как терзает закона слепой произвол
Мое сердце в плену заточенья.

Мысль и слово, свободная песня любви
Опорочены смехом порока.
И мечты моей крылья, как звезды в крови,
Сбиты в прах мановением ока.

Растерзай мою грудь, черный горный орел,
Вырви сердце и с ним поднимися
В синий мир, где алмазный зажег ореол
Млечный Путь над вершиной Масиса,

Подними мое сердце и мир огляни,
Где оно бунтовало доныне.
И на самой вершине его схорони,
На великой могучей вершине.

* * *

Под лаской солнца синяя вода
Сверкает в море, обнажив глубины.
И облаков серебряных гряда
Венчает гор хрустальные вершины.

И караваны милых журавлей
Несут весну. И от родного клика
Тепло земли восходит от полей
И зацветает горная гвоздика.

И лес звенит. И в зелени ветвей
В истоме сладкой замирает птица.
И сердце замирает вместе с ней,
И мечется, чтоб в песне воплотиться.

И я лечу. И, с ветром на лету
Невидимой соединенный тканью,
Я растворяюсь в мире и цвету
С могучим дубом, с бабочкой и ланью.

И волны моря, сердцу в лад звеня,
Поют во мне живыми голосами.
Вселенная заполнила меня,
И я един с землей и небесами.

Весна во мне. Я радуюсь опять
Ее животворящему приходу.
И сам благословляю, словно мать,
Великую и вечную природу.

* * *

Весна-красна зеленой ранью
По мягким радугам в лугах,
Мир овевая лунной тканью,
Прошла с фиалками в руках.

Она достигла тайной цели
На голубой вершине дня.
Но птицы радостно зацели
Свой гимн любви не для меня.

Всем жадным сердцем полным пыла
Я потянулся на огонь
Ее любви, но сердце было
Пустым, как нищего ладонь.

* * *

Забывтый всеми холм в пустынном поле,
Безлюдие и тишина кругом.
Кто этот прах здесь схоронил на воле?
Кто плакал здесь на камне гробовом?

Века идут беззвучным шагом мимо,
И жаворонки славят торжество
Земной весны. Вокруг необозримо
Цветут поля.. А кто любил его?..

* * *

И вот я изгнан на года
От своего порога,
И сам не ведаю, куда
Ведет меня дорога.

Кому скажу свою беду,
Земли бесправный житель,
И где, в каком краю найду
Последнюю обитель?

Темно. Заносит мокрый снег
По прошлому поминки.
И нет надежды на почлег,
И не видать тропинки.

И, как спасения намек,
В холодной, мгlistой дали
Не светит тусклый огонек
Лампадою печали.

Лишь только ветер и пурга.
Метель тоски и боли.
...Я не желаю для врага
Такой бездомной доли.

* * *

Любимая! Изгиб твоих бровей —
Меч палача над головой моей.

Мир — лживый сон — и суетен, и пуст.
Любимая! Одна мольба в груди:
Дай мне испытать твоих прекрасных уст
Прекрасное вино и — голову руби!

Любимая! Изгиб твоих бровей —
Меч палача над головой моей.

* * *

Бежит вода.
Ручей журчит.
Там ива, как беда,
Молчит.

Мечта не ждет.
Путем простым

Придет, уйдет
И — след простыл.

Льет слезы ива.
Мир жесток.
Игриво
Пенится поток.

* * *

Обними. И тогда
Я почувствую вновь,
Что разлуки года
Не убили любовь.

Улыбнись. И на миг
Засмеется кругом
Мир, как звонкий родник
За родным очагом.

Слово молви. И колос
В полях зашумит,
И томительный голос
В душе защежит.

Осторожно погладь
По моей седине,
Чтобы детство опять
Воротилось ко мне.

* * *

Осанка этой шеи голой
В оправе жемчуга строга.
И, как по мрамору глаголы, —
По гордой шее жемчуга.

Их тусклый свег, их блеск печальный
Не из глубин седых морей —
Из горьких слез первоначальной
Любви и нежности моей.

Я на мосту Риальто встретил
 Твой тонкий стан, твой легкий шаг,
 Ночной поток волос, как ветер
 В лицо, и — яхонты в ушах.

Два черных солнца из-под черных
 Бровей. Их радость и печаль.
 В цветах и звездах с непокорных
 Плеч ниспадающую шаль.

Два наших взгляда — пламя в пламя
 И тень смущенья, и за ней
 Свет промелькнувшей между нами
 Улыбки женственной твоей.

Я не наивен. В сердце скрыто
 Смятенье опытом тоски,
 А сердце юное разбито
 Таким же взглядом на куски.

АНИ¹

Здесь предки возводили ввысь
 Седые стены в дальней рани,
 Здесь облекалась плотью мысль,
 Являя будущего грани.

Ты как сокровище Земли,
 Как беспокойный дух народа,
 И в исторической дали
 Твоя таинственна природа.

Приблизясь к твоему столпу,
 Я наблюдаю вещим оком
 Событий пеструю толпу
 В течение времени глубококом.

Надвинув шлем, готовясь в бой,
 Точу копьё, как мне сдается,

¹ Древняя столица Армении.

И чутко слушаю с тобой
Призывный голос полководца.

Там племя лютое идет
Потопом новых поколений,
Уже грозя зажать под гнет
Твой гордый дух и светлый гений

Их тьма. И каждый варвар лих.
Их кони мчатся, словно птицы,
И топчут на полях твоих
Литое золото пшеницы.

Века идут. И льется кровь.
И, подчиняясь горна знаку,
Сраженный оживает вновь
И поднимается в атаку.

Ани, ты видишь страх в очах,
И тень тревожную с рассвета,
И затухающий очаг
Огня священного обета.

Ты — наше Знамя и Алтарь.
И наша сила, непокорна,
Ждет, собираясь, как и встарь,
Призывы праведного горна.

В РАВЕННЕ

На вершине Арарата в снег
На мгновенье опустился век
И ушел.

Осветила молнии струя
Чистого алмаза острия
И ушла.

Смертный взгляд, наполненный тоской,
Обращал к вершине род людской
И ушел.

Твой черед на твой ложится путь:
На вершину гордую взглянуть —
И пройти.

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

Я снова на земле своей родной.
И снова детским наблюдаю взглядом
Свет чистых звезд из вечности. И рядом
Мир чудом предстает передо мной.

Бежит, журча и веселясь, поток,
Как старый друг игры и удивленья,
Качая на зеркальности движенья
Моей судьбы ликующий цветок.

Щебечет птица в синей тишине,
И не спеша, под бременем заботы,
Отец мой возвращается с работы
С надеждою своей наедине.

И милый голос входит в мой покой.
Зовет меня. Пора кончать забавы.
И мать, как солнце на вершине славы,
Меня ласкает легкою рукой.

Смеркается. Над старым очагом
Дымок струится, как душистый ладан.
Беседуют родные чинно, ладом,
И я дремлю, и сказки спят кругом.

И кроме света этого огня
В пустынном мире горя и отравы, —
Ни женщины желанной и ни славы,
Ни золота — не надо для меня.

Хотел бы я туда, в тепло и свет
Начальных дней, чтоб увидеть оттуда
Весь мир преобразующего чуда
И тех, кого среди живущих нет.

* * *

Тот дуб, что станет гробом мне
Прощанья в час печальный,
Еще листвою по весне
Ликует в роще дальней,
Но шелестит его тоска
О том, что смерть моя близка.

ДЕТСТВО

Пылало солнце. Тенью злаков
Играла речка — радость всех.
И красных роз, и красных маков
Переливался красный смех.

Сливалось жаворонка пенье
С призывным ржанием коней.
Кипело зелени цветенье,
И крылья ветра бились в ней.

И речка обдавала тело
Брызг изумрудною росой,
И детство песней отзвенело
Под солнцем радости босой.

* * *

Всей беспредельной тяжестью пространства
Вселенная в космической глуши
По странному закону постоянства
Висит на волоске моей души.

* * *

С друзьями детских игр на вольной воле
Под светлым небом беспечальных дней
Мы, деревянных оседлав коней,
Безумно мчались через гумна в поле,
К далеким странам сказки и мечты,
В прекрасные края воображенья.

....Потом я видел взлеты и крушенья,
Пересекал границы и мосты,
Блеск совершенства в чуждой стороне
Завистливою памятью отметил,
Но тех миров, тех дивных стран не встретил,
Где я скакал на сказочном коне,

* * *

Всё — суета. Всё — проходящий сон.
И свет звезды — свет гибели мгновенной.
И человек — ничто. Пылинка в мире он.
Но боль его громаднее вселенной!

СИЛЬВА КАПУТИКЯН

ИВА

Обожженную иву на груди камней
Я увидела в жаркое лето.
И душа моя сразу откликнулась ей
Тихой песней любви и привета.

И сказала я музе, диктующей стих,
Понимающей доброе братство:
«Лет уж сорок, наверно, в капризах твоих
Я никак не могу разобраться.

Ты плыла по морям и летала со мной
Над семи континентами света,
Над лесами и джунглями в холод и зной,
Над пустынями мертвого цвета,

Шла по гладкой равнине осенних степей,
На песок океанов ступала,
И земле, и ликующей жизни на ней
Удивлялась со мною немало.

Но ни разу в ладонь не вложила пера,
Оказалась натурой строптивой.
Почему же ты мне приказала вчера:
«Начинай!» перед дряхлою ивой».

И ответила муза: «Пора бы понять
И тебе за нелегкие годы
То, что песне от века дано поднимать
Волю слабых на крыльях свободы.

Что могучему лесу от песни твоей —
Он оставит ее без ответа,
А печальная ива засохших ветвей
Ждет одна вдохновенья поэта».

СЛОВО ПЕРЕД КАЗНЬЮ

*Памяти Мисака Манушяна,
героя французского Сопротивления*

Будет небо безмолвным и гильза пустой.
Будет жизнь, у которой не будет меня.
И окончится времени ход холостой
На туманном пороге победного дня.

Я люблю тебя, Франция, горькой судьбой
Сироты и скитальца и, с песней вдвоем,
Остаюсь, как положено сыну, с тобой
Всею верностью в рыцарском сердце твоём.

Я люблю эту землю беды и удач.
Желчной злобы в душе ни к кому не тая,
Даже против тебя не имею, палач,
Ничего, безутешна пустыня твоя.

Вы, живые, — живите! Светла и нежна
Вас на праздник весна позовет в зелена.
Полюби, если встретишь, другого, жена,
И будь счастлива в этой любви за меня.

Я мечтал быть поэтом. Я грезил в свой срок
Няичить сына в построенном мною дому.
...А оставил тетрадь незаконченных строк
Да пропахшее порохом имя в дому.

Отвезите в Армению эти листки,
Эти знаки тоски, и мечты, и труда.
Здравствуй, Родина! Вот мы и стали близки
В этом мире с тобою. Прощай навсегда!

ИРОНИЧЕСКИЕ СТИХИ

Свои Достоинство и Честь
У Возраста — по чести.
В его распоряженье есть
Сто способов для мести.

О Небо! Укрепи стократ
Мой дух в бою упорном,
Чтоб этот дьявол мой Закат
Не сделал смехотворным.

* * *

Любовь, смятение и тоска потерь —
Куда вы скрылись из живого зданья
Моей души, где через окна в дверь
Мелькают сквозняки воспоминанья?

А мне казалось — вы в моей крови,
В моей душе замкнулись вечным кругом.
В усталый день без гнева и любви
Мы попрощались навсегда друг с другом.

Я как бы наблюдала в стороне
Безропотные расставанья эти.
И не вернутся никогда ко мне
Моих тревог, моих бессонниц дети.

Что ж! Примирись. Не прячь печаль в очах.
Сама себе как будто незнакома,
Храни одна еще живой очаг,
Давно детьми покинутого дома.

САД КАМНЕЙ

Д. Гранину

О сад камней, о сад камней
В заморском городе Киото
С гранитной памятью, и в ней
Держать меня твоя забота.

Твой дух, твоя живая тень
Незабываемо упрямы.
...Единственный в Киото день
Ушел на статуи и храмы.

День сразу высох и пропал
В огнях вечерних за толпою,
И вечер рухнул, как обвал.
И я не встретила с тобою.

И ночь была. И в той ночи
Раздумьем каждого мгновенья
Душа моя еще кричит
От горькой боли сожаленья.

А утром самолет! Спешу!
Но прок какой, скажи на милость,
Что мимо глаз моей души
Прошла твоя неповторимость.

О сад камней, о сад камней!
Все, что я видела в Киото,
Забылось в быстром беге дней,
Как несущественное что-то.

И размышленья о тебе
Случайны или не случайны,
Но ты живешь в моей судьбе
Всею восхитительностью тайны.

АМО САГИЯН

* * *

Когда я говорю: «Армения» —
Щеки мои начинают гореть,
Ноги мои начинают неметь,

Губы мои расцветают в огне
И возвращается юность ко мне,

Слезы в моих закипают очах,
Легкие крылья растут на плечах,

Мир моим домом становится вновь,
Смерти опять не боится любовь.

Отчего это происходит?
Я не знаю,
Но только так я и здравствую.

* * *

Сны через все потери
Сознанию моему
Распахивают двери
В отеческом дому.

Там мама месит тесто,
Там раскален тондир.
И хлебом поднебесный
Благоухает мир.

Я вновь себе хозяин,
Раб совести своей.
Я ею осязаем
И верен только ей.

И вновь я сыт дарами
Земного бытия.
И за семью горами
Погибель спит моя.

И сны цветные, веря
Сознанию моему,
Распахивают двери
В отеческом дому.

* * *

Горы не видно в туче,
Растаяла гора.
Томит и парит кручи
Полдневная жара.

Вода шуршит в соломе:
«Не торопись теперь.
В твоём отцовском доме
Давно забита дверь».

ПОМОЩНИК

Сестра шиповник смелый рвет,
Я у нее — помощник.
Отец идет на обмолот,
И я за ним — помощник.
Мать — за мукою на порог.
Я вместе с ней — помощник.
Готовит бабушка пирог.
Я у нее — помощник.
У всей деревни на виду
Я всем во всем помощник.
В дни похорон и именин
Мне дорог каждый. Я один
Во всех делах помощник.
Но кто ж порадует меня
В пустом доме к исходу дня,
Где у потухшего огня
Лишь только я — помощник?

* * *

Я в детство впасть опять хочу.
В окно к Газбелу постучу.

Ночь приглашу к себе в кровать
Одеждой бога поиграть.

Засну. Во сне найду косу,
Скошу на небе полосу

И в молотилку на кругу
Седое облако впрягу.

И ветром горным, как прутом,
Чуть подгоню его потом.

Затем на Млечный Путь зайду,
Поярче выберу звезду

И принесу ее с луной
В рассветный час к себе домой.

* * *

Там в тишине кричит тропа глухая.
Молчит поток, срываясь с высоты.
Там бабочки цветут, благоухая.
Там бабочками кружатся цветы.

Там тени задыхаются на зное.
Там тополя на холоду дрожат.
Живые — разлетелись. А пустое
Гнездовье — неживые сторожат.

* * *

Изношен день. Он дожил до конца.
Ну что ж! Мир праху твоего творца.

Спросить бы день и получить ответ:
Куда и кто дневной уносит свет?

В каком ущелье столько голосов
День прячет, запирая на засов,

Пока летит над прахом прошлых дней
Со скал в ущелье конница теней?

ПРИРОДА

И вот я встаю на колени,
Тебе поклоняюсь, любя.
Я жажду твоих повелений
И милости жду от тебя.
Избавь же меня от мученья
И радостью жить научи.

Дай вечной красе удивиться,
Открой откровенья круги.
Как мне от тебя отделиться
И слиться с тобой — помоги.
Заставь меня веровать чуду
И бедствия делать избавь.

Открой мне границы запрета
Грозы неразумных стихий.
Вселенскою музыкой света
Пройди по пространствам глухим.
И все полюса воедино
Судьбой моей жизни скрепи.

* * *

Ущелье придет из тумана печаль
По всем журавлям, улетающим вдаль.

Цветок безымянный укутался в тень,
И в черную ночь превращается день.

Холодного облака белая мгла
На темя высокой вершины легла.

И солнце, как чаша с багровым вином,
В подвале заката стоит кверху дном.

По сочетанию этих примет,
Наверно, уходит великий поэт.

* * *

— Что предпочтешь ты, если знаешь точно,
Что на земле и небе

рая нет?

Иль преданность оседлых голубей
Своим гнездовьям, или аистинный
Весенний и осенний перелет?

— Я предпочту судьбу реки. Она
Бежит от дома

к морю, к океану,

К волнующейся вечности воды...
Но, убегая, остается дома.

* * *

Моя душа в тяжелом сне,
И нет моей печали края, —
А день купается в весне,
Сам со своим хвостом играя.

* * *

Вершины гор еще покорны снегу,
И снег в горах еще не пахнет прелью.
Не ласточки приносят к нам весну —
Весна приносит ласточек к ущелью.

В горах грохочут реки. Синь ясна.
Трава лучами потянулась к зною.
Не с ласточками к нам спешит весна,
А ласточки торопятся с весною.

Ныряют ласточки в голубизну,
Под радугой мелькают навесною.
Не ласточки приводят к нам весну,
А следом прилетают за весною.

* * *

Пещеры...

Пещеры готовы в любую минуту
Дать раненой птице приют
И покой исцеленья.

Пещеры...

Пещеры, от холода трескаясь, плачут
И тихо на стон отвечают
Сочувствия стоном.

Пещеры

На боль облаков отзываются вздохом.
И жалобы ветра,
И шелест осеннего леса,
И крик одинокой косули
Глубокие слышат пещеры.
И зависть к пещерам
Мне душу волнует порою.

* * *

Новорожденный солнца свет, летящий в глубь ущелья,
И умирающая тьма, бегущая по лугу,
Встречаясь, слышат детский смех беспечного веселья.
Узнать бы: что они о нас передают друг другу?

Свет умирающего дня, скользящий вверх по склону,
И страх новорожденной тьмы, бегущей по отрогу,
Встречаясь, слышат тишину и вздох, подобный стону.
Что говорят они о нас, известно только богу.

* * *

Я должен верить мудрости зерна:
Его погибель кормит мир живущий.
Наград не получая с жизни сущей,
Я должен верить мудрости зерна.
Моя душа его судьбе верна,
Судьбой благословляема грядущей.
Я должен верить мудрости зерна:
Его погибель кормит мир живущий.

* * *

Там облака как купола,
Там скалы как колокола.

Там эхо чистых родников
Звучит, как музыка веков.

Там лица каменные гор
На голубой глядят простор.

Там от дыхания богов
Стекают слезы со снегов.

Когда моя земная мысль
Летит в заоблачную высь,

В душе моей сияет свет
И в мире ненависти нет.

* * *

Луна.

Не спится.

Встану и пойду,
Рассею надоевшие заботы.
И тень моя у мира на виду
Земных дорог обнимет повороты
И на луне уснувшие поля.

И, жажду откровенья утоля,
Я новой песней затоскую смертно
И, в песне восславляя бытие,
На крепостной стене Воротнаберда
Орлиным когтем напишу ее.

* * *

Ах, молодость! Ты, как река Араз,
Нахлынула и заблудилась где-то,
Ушла, как сон, из удивленных глаз
В еще туманной тишине рассвета.

А что потом? Живой поток усок,
Захваченный заманчивою целью.
И сам я измельчился, как песок
Столетий по безводному ущелью.

* * *

Ты камни клал в фундамент мира
И с горьким роком в битвах креп.
Ты выпек в пропасти тондира
Своей судьбы упрямый хлеб.

Ты своему младенцу камень
Крошил в похлебку по утрам.
И он тяжелыми руками
Сложил из камня гордый храм.

Твоей судьбы века и миги
На праздник мира и на суд
Искусства каменные книги
Столетиям будущим несут.

СЕРДЦЕ

Ты мерзнешь, слабое, как прежде,
От взгляда, брошенного вспять,
И, малой верное надежде,
Воспламеняешься опять.

И, ошарашенное ложью,
В смертельной маешься тоске.
И страх тебя пронзает дрожью
От гибели на волоске.

Будь ты железным, золотою
Была б дорога к небесам.
Но как бы мы тогда с тобою
Земным дивились чудесам?

* * *

Тоскуют по моим ногам
Отцовские тропинки
И по моим рукам — цветы
На материнском поле.

Тоскуют по моим ушам
Птиц голоса в ущелье.
По песням юности моей
Тоскуют птицы в небе.

Я утолю тоску твою,
Тоскующее сердце.

Я осторожно собираю
Их слезы и улыбки
И приложу к твоим давно
Кровоточащим ранам.

И ты, почувствовав свое
Выздоровленье, сразу
Пошлешь воздушный поцелуй
Вершинам и ущельям.

Ты повернешься. Поспешишь
К тем неоглядным далям,
Где стосковались по тебе,
Как ты по ним тоскуешь.

* * *

Я перепутал день и ночь,
Закат с рассветом.
И мне уже никто помочь
Не в силах в этом.

Я узнавал твои следы
Везде и сразу,
Не доверял своей беде
Чужому глазу.

Я сам терялся и терял
Везде и всюду
И сон и явь — материал,
Пригодный чуду.

Я лечь дорожным камнем мог
Тебе под ноги,
Чтобы подняться, словно бог
Своей тревоги.

А ты — как храм. Ты — как кинжал
В любви и страхе.
...Я впереди себя бежал
Ягненком к плахе.

* * *

Ты да я
 да вечер поздний.
Берег моря.
 Я и ты.
Может, чувств лишились звезды
От боязни высоты?
И упали звезды в море.
Звезды в море не поймать.
Горе это
 иль не горе,
Нам с тобою не понять.
Может, с нами шутят звезды?
Может, да,
 а может, нет.
Может, в этот вечер поздний
Нам опасен
 звездный свет,

КАК ТУЧА

Я, как туча, стоял, опираясь плечом
На вершину заоблачной кручи.
Я чернел, и бледнел, и клубился ключом —
Повторял трансформации тучи.

Я гремел, разрывая о камни бока,
Распадался на клочья, бесцельно
Сыпал молнии, вновь собирался — пока
Не устал, словно туча, смертельно.

* * *

Уйти бы мне, уйти бы мне,
Спалить бы память на огне,
Избавиться от фальши.
Уйти бы в море, как река,
И раствориться на века
От глаз твоих подальше.

И там, в глубинах горьких вод,
Забить всю жизнь свою, свой род,
И встречи, и разлуки.
...Но в некий час, почувяв страсть,
Суметь себя тебе украсть
И выдать на поруки.

* * *

Со дня рожденья моего
И до рожденья моего
Сколько пришло и ушло человеческих
судеб —

Никто не знает.
Если мне взять и сложить
Все эти судьбы вместе,
Получится пять тысяч вечностей.
Это и есть моя жизнь.
А я еще ворчу,
Что мало прожил и ничего не видел.

* * *

Левону Мкртчяну

Мне часто кажется, что я
Жизнь проиграл свою. Все дни

Свои пустил на ветер, а любовь
Отдал быстротекущему потоку.

Я точно знаю: горсть моя пуста,
Но сердце не скудеет, слава богу.
И все-таки мне кажется, что я
Жизнь проиграл свою.

Когда

Я дрался — дрался от души,
А если что-нибудь дарил —
Дарил от сердца.

И все-таки мне кажется, что я
Жизнь проиграл свою. Все дни
Свои пустил на ветер, а любовь
Отдал быстротекущему потоку.

* * *

Я не боюсь того, что меня не будет.
Я не боюсь своей смерти.
Но у меня дрожат колени:
Я боюсь смерти всего бессмертного мира
Нашей населенной гениями планеты,
К сожалению, такой жалкой и бессильной.

* * *

На встрече судеб откровенью страстей
В железе и скорости тесно.
Базаром шумит наступающий день,
И старая память в обгон новостей
Уводит мою одинокую тень —
Куда? Сатане неизвестно.

* * *

Вселенная не знает языка.
Сменяются народы и века,

У каменного эпоса времен
Не разгадаешь прошлого времен.

Не прочитаешь тайну до поры
Надгробия заоблачной горы.

Но в легендарном прошлом и теперь
Вселенная не ведает потерь.

И тайный эпос музыки времен,
Звучащий в нас, не будет заменен.

* * *

Миры из мира исчезают в мире,
Но мир живет и делается шире.
Чтоб избежать грядущего крушенья,
Из пепла поднимается опять,
Преобразив восторги разрушенья
В сладчайшее мученье созидать.

Чтоб жизнь твою обиды и потери
Не разъедали, силы не жалей:
Всей горечью в грядущее поверив,
Мученьем созиданья заболей.

* * *

В мой век космических полетов
Я — словно всадник без коня.
Один блуждаю в бездне дня
В мой век космических полетов.
Куда, по выкладке расчетов,
Он должен вывести меня?
В мой век космических полетов
Я — словно всадник без коня.

* * *

Хотел бы я к Салвард-горе сходить,
Полюбоваться на ее вершину,

И перед нею голову склонить,
И позабыть усталости причину.

И все свои безгрешные грехи
Оплакать там, и отряхнуть тревоги,
У родника в тени густой ольхи
Омыть свои натруженные ноги.

И вновь душой для радости прозреть,
И птиц надежды выпустить из мрака,
И хоть немного сердце отогреть
На пламени пылающего мака.

* * *

Утесы и скалы стоят на постах
У вечности, словно вопросы.
Я — трепет и дрожь на холодных устах,
На ваших уступах, утесы.

Стоите вы в позах седых королей,
Века не меняетесь в лицах.
Я — капля росы на изгибах бровей,
На ваших гранитных глазницах.

Содружество ваших испытанных плеч
Века без усилия тащит.
И вам, несгибаемым, время беречь,
Вы — вечны, а я — уходящий.

Но если у вас в непомерной дали
Возникнет тоска к непокою,
Зовите! Я встану из грешной земли
Под вашей гранитной пятою,

* * *

Терпению не скажешь: «Пожалей»,
Терпенье насаждает тяжелей
На плечи наши вопреки хотенью,
А горы, как пророки новых дней,
Все еще учат разум наш терпенью...

* * *

Я ухожу из возраста любви,
И голос мой — как из глубин колодца,
Зови его теперь иль не зови —
Не возвратится и не ответится.

Как сотрапезник мудрости земной,
Чьи помыслы свободны и неробки,
Я привыкаю к музыке иной,
Безумье страсти заключая в скобки.

* * *

На берегу реки Зорзоры
Мне из цветущей мяты стих
О всех достоинствах твоих
Собрать бы ради нас двоих
На берегу реки Зорзоры.

Ушедшей юности вослед
Сложить бы мне на склоне лет
На берегу реки Зорзоры,
Как песню, мяты милой цвет —
Твоей судьбе живой привет
От берегов реки Зорзоры.

* * *

Я снег увидел на вершине —
И мой обрадовался взгляд.
Цветы в лугах ко мне спешили,
И я заплакал невпопад.

Играл ручей на звонком зпое.
Над ним, запрятанное в тень,
Увидел я гнездо пустое:
И — потемпел прекрасный день.

* * *

Беспутный ветер волочиться рад
За осенью и за ее подолом
Там, где кусты шиповника по долам,
Как янтарем осыпаны, горят.

И если тень от облака кусты
Шиповника пылающего мимо
Не обойдет, беда непоправима:
Они в кольце, и — сожжены мосты.

Татарник обнажает острия
Взъерошенной и яростной отваги
Поосторожней! Кончик каждой шпаги
На верной службе у небытия.

Не слушают деревья и кусты
Напутствия угесов патриарших:
«Вы равнодушны к откровенью старших,
А с ветром доверительно просты.

Остерегайтесь! Этот обормот
Завистлив и неблагоприятен.
Вы — на сносях. Он — отродясь бесплоден
И ваше достоянье оборвет.

Он, словно беспощадный печенег,
Сочтет свое беспутство за обычай
И улетит с прекрасною добычей
За горы на неведомый ночлег».

* * *

Подходит осень к перемене.
На тонкой плоскости воды
В ее холодной белой пене
Горят шиповника плоды.

Горит любовь обид и тягот,
Которую через года
Ко мне в свеченье поздних ягод
Несет осенняя вода.

* * *

Прочтут осеннему туману
Стихи Терьяна тополя.
И песня горлицы поля
Отдаст осеннему туману.
Я погреб открывать не стану,
Той песней душу утоля.
Прочтут осеннему туману
Стихи Терьяна тополя.

ВОЛНА

Огромного неба и солнца полна,
На горы из моря выходит волна.

Утес накрывает до самых бровей
И падает в пропасть на груды камней.

Кричит, и грохочет, и просит помочь,
Стихает и медленно катится прочь,

Дробится, танцует, смеясь надо мной,
Потом поднимается с новой волной.

Опять пропадает у гребней в кругу.
И я за волной уследить не могу.

Волна затихает у моря в плену,
И старое море глотает волну,

Как радости юной глубокий глоток.
А новые волны грохочут у ног.

* * *

От глухого взрыва тучи
В полудреме, в полусне
Сам себе, на всякий случай,
Улыбнулся белый снег.

И, почувствовав тревогу,
Просыпаясь навсегда,
Заструилась понемногу
И — с ума сошла вода.

Как стремительное время,
Хлынул яростный поток.
Взорвалось в глубинах семя,
И проклюнулся росток.

От глухого взрыва тучи
Чуть качнулись деревья,
И от радости легучей
Закружилась голова.

И со сказки, и с поверья
Взрывом сорвана печать.
Все исполнено доверья —
Время петь, а не молчать

Ради этой жизни, ради
Трепета ее кругом
Я пишу в свои тетради
То, что мне диктует гром.

* * *

Ручей улыбался.
Ручей был пичей.
Ручей без названья,
Без русла ручей.
Седой, но не старей.
Ручей без угла.
Глаза у ручья
Не туманила мгла.
Ручей без терпенья.
Ручей без оков.
Он нес отраженья
Седых облаков.
Никем не обижен,
Ничем не храним.
И птицы, как тени,
Скользили над ним.

Река повстречалась
Ручью на пути.
Ручью захотелось
Реку перейти.
Ручей улыбался,
Ручей был ничей.
...Река унесла безымянный ручей.

* * *

Наверно, этот лес, и скалы,
И мха зеленого клоки,
И камня дикого завалы,
И русло высохшей реки,
И клен над липою в печали —
Для нас имели б интерес...
Но, может, мы другими стали
Или в другой попали лес.

* * *

На облаке угас последний луч,
И облако обрушилось в долину.
Сближаются вершины темных круч,
И сонный ветер падает на спину.

Все затихает медленно кругом
У материнской вечности в охвате,
И только эхо превращает в гром
Журчанье воды на перекате.

Земные тени вместе поднялись
На гребни гор, как дочери печали.
А небеса, спустившиеся вниз,
Восторгом счастья землю увенчали.

* * *

С кустов шиповника ялорды
Стекают каплями воды
Ручью на спину.

Ручей с карниза на карниз
Уносит красный трепет вниз
С горы в долину.

Его струя свежа, добра,
Блестит отливом серебра
И стали стылой.
Ручей из камня был рожден
И сам собой освобожден,
Своею силой.

Ручей бежит. Ручей поет.
Ручей пускается в полет
И камни сносит.
Летит с карниза на карниз.
Мою любовь уносит
вниз,
Уносит осень.

* * *

Что хочет этот ветер-вор,
Взбесившийся, как пес?
Куда он осени ковер,
Перемахнув через забор,
При свете дня унес?

В моем саду в середине дня
Он рвет последний лист,
Чего он хочет от меня,
Задира и артист?

Он основательно подряд
Продул весь мир до звезд,
Последний осени наряд
Себе надев на хвост.

Чего он хочет от меня,
Что надобно ему?
Уже ни дыма, ни огня
Нет у меня в дому.

И ласточка моя давно,
Ни свет и ни заря,
Оставив перышко одно,
Умчалась за моря.

Пусть этот ветер-обормот,
Бессовестный и злой,
Теперь себе его берет
И — с глаз моих долой!

* * *

Тропинка в поисках воды
Свой проложила след
Сквозь горы горя и беды
До речки Лорагет.

Потом, узнав мои следы,
Мне свой открыла след
До удивительной воды
На речке Лорагет.

И, неотложные дела
Оставив вдалеке,
Она вела меня, вела
И привела к реке.

В пригоршнях подала воды
Из речки Лорагет —
И ничего за все труды
Не требовала. Нет!

* * *

Лучи лишились чувства. В чаше
Свежо. Себя разгоряча,
Тень муравья куда-то тащит
Хвост, отлетевший от луча.

В тени деревьев без опоры
Скользят последние лучи.

Гора в горах рождает горы,
И горы движутся в ночи,

* * *

Пусть в небе царствует орел,
Обозревая с неба землю, —
Я песне жаворонка внемлю,
Пусть в небе царствует орел.
Орлу положен ореол
И это гордое паренье.
Пусть в небе царствует орел
И льется жаворонка пенье.

* * *

Глаза пещер с глазницами без век
Глядят изустной вечности глазами.
И волны мутных и прозрачных рек
Текут изустной вечности словами.

Ущелий бесконечных череда
Лежит изустной вечности картиной.
Великих войн великая беда
Есть грех все той же вечности единой.

* * *

Свежеет. К закату склоняется день.
И дуб одинокий с крутого утеса
Вполглаза в ущелье тревожно и косо
Глядит на свою непомерную тень.

Он видит на собственном теле пятно
Дупла, а потом, цепenea от страха,
Всей тяжестью падает гулко, с размаха
С высокой вершины ущелью на дно.

Он рухнул — и собственной тени подол
Накрыл его прошлое саваном черным.

И ветер, стекая по склонам нагорным,
Последние тени, как листья, подмел.

И лес прогудел от вершин до корней,
И гордые горы вздохнули устало,
И вздрогнуло черное небо теней
И в темное море раздумий упало.

* * *

Невидящим глазам безразлично,
Что в потоке слез водопада
Одной радугой стало меньше.

Бушующим морям незачем волноваться
О том, что в маленькой стране,
Заброшенной высоко в горы,
Одна речка иссякла.

Когда мы отдаем прах человека земле —
На одну горсть земли земля становится больше,
Но где-то в мире что-то убывает такое,
Чего будет нехватать вечно.

* * *

Гора в объятиях горы.
Ущелье спит в ущелье.
Следы чудовищной игры —
Камней коловращенье.

Откос ложится на откос,
Как каменная шкура.
И над откосами утес
Возносится понуро.

Его замшелый панцирь груб,
Сползает по карнизу.
Дуб на вершине словно чуб,
И — ежевика снизу.

Стоит утес. Молчит утес,
Тяжелый лоб нахмурия.
Он в каменную лаву врос,
Как каменная буря.

Он вдаль пытается шагнуть,
В далекую дорогу.
Он клонит голову на грудь
И опускает ногу.

Стоит у бездны на краю,
Обдумывая действие,
И смотрит на семью свою,
На гордых гор семейство.

На мир, прогретый солнцем весь,
На облака, на реки,
На землю, что была и есть
Арменией вовеки.

* * *

Когда тебе целятся в спину,
Твоя осторожность не имеет смысла.
Когда дерево оценивают по высоте,
Его толщина не имеет смысла.

И если в нашем грешном мире,
Давным-давно сбывшемся с пути,
Так много мудрецов —
Быть мудрецом не имеет смысла.

* * *

Ах, ущелья мои — колыбель
Моего незабытого детства.
Я душою ребенка досель
Ощущаю ущелий соседство,
Словно кладбище прожитых дней.
Есть ли что-нибудь в мире родней
Вас, ущелья мои?! Вы — приют
Дням, которые завтра придут.

И опять, словно солнцем ущелье,
Озарится мое бытие,
И наполнится новою целью
Жадной радости сердце мое.

* * *

Волчица, что ли, оценилась?
Сквозь солнце — ливень.

Как немилость,
Потоки забалмошной воды
Сбивают с яблони плоды,
Еще не зрелые. И совесть
Свою развертывает повесть,
И пресловутая тоска
Укорам совести близка,
И на себя в душе досада,
И слезы душу мне щемят.
В душе туман...

Волчица рада,
Волчица пестует щенят,

* * *

Что я принес с гор?
Полную пазуху теплых слов
И на плечах целое небо;
Грудь, наполненную верой
в эту землю,

Грусть по утратам;
И целое сердце совести,
И лицо, способное краснеть,
И живую душу свою;
Я принес честь дома
И мудрость рода;
И еще я принес глаза,
А в них — жнигье и пашню,
Сад и полдень,
И заход солнца;
И еще я принес уши,
Полные молитв
И птичьего щебетанья;

ВААН ТЕРЬЯН

СТРАНА НАИРИ

* * *

Я словно сын Лаэрта или
Улисс, и злая пыль и соль
Моих дорог скрывать не в силе
Мою, для всех чужую, боль.

Мои стопы в дорожном прахе
Несут мой дух сквозь горький дым
К родным камням, застывшим в страхе,
И к этим хижинам родным.

Как мне сирены пели!
Как были песни хороши!
Но эти песни не сумели
Смутить зерно моей души.

Сквозь блеск торжеств и вой метельный,
Через тоску чужих арен
Мне голос песни колыбельной
Был слаще голоса сирен.

И вот, скиталец неизвестный,
Как тень из сумрака теней,
Я возвращаюсь к этой песне.
Пою и плачу вместе с ней.

* * *

Печальны наши песни. Горек
Их безутешно грустный гнет.
Чужой беды чужой историк
Их скорбной сути не поймет.

Но та гармония печали
Сердцам растерзанным сродни.

Она пришла из дальней дали
Веков в сегодняшние дни.

Я вижу в пепле наши села
И серый пепел смуглых рук,
Народ под властью произвола
В оцепененье вечных мук.

Пусть песни доли безыходной
Звучат в душе моей опять.
Душе чужой, душе холодной
Их скорбной сути не понять.

* * *

С какой тоской, с какой целью,
С какой тревогой — не понять,
Здесь над моею колыбелью
Свой страх выплакивала мать.

Наш дом — и глух и нем. И в мире
Глухая ночь. Немая мгла.
И вековой бедой Наир
Рыдают все колокола.

* * *

На родине моей в крови
Ночь задыхается глухая
Там, где над песней о любви
Склонялись розы, полыхая.

Там словно сабля каждый взгляд,
И мысль под взглядом словно рана.
Там трупы голые глядят
В пространство мертвого тумана.

Туда, где радость жизни пела,
Где жизнь не ведала предела,
Ворвались злые времена.
И древняя душа Наир
Цветком поникла в этом мире,
Бессильна и осквернена.

* * *

Вернуть утраченное ярко
Воспоминанию дано.
Опять твоя стрекочет пряжка
И крутится веретено.

И бесконечно длится сказка,
И бесконечно вьется нить.
Прекрасна душ живая связка.
Ее нельзя разъединить.

Как нить, твой чистый голос тонок.
Другого нет ему взамен.
И я — в раю, я вновь ребенок
В живом тепле твоих колен.

Мелькают медленные спицы.
В глазах — туман, в окне — темпо.
Погасло солнце. Вечность длится,
И крутится веретено.

* * *

Ты не кичлива, не горда
Познания древней далью.
Ты горькой мудростью мудра
И жгучею печалью.

А я люблю тебя, люблю
Всей чистотою чести.
И я судьбу свою терплю
С твоей судьбою вместе.

Ты мне не закрывала свет
Своею славой древней,
И для меня на свете нет
Твоей души напевней.

Мне мил твой мир, и ветхий кров,
И старая дорога,
И грустный звон колоколов,
И тусклый свет с порога.

ВЯЧЕСЛАВУ ИВАНОВУ

(Акростих)

Вручая пламенные розы,
Я Вам сейчас клянусь, Поэт,
Что Сада жизни больше нет, —
Есть только горе, кровь и слезы.
Сердца светлеют от любви.
Любовь и песня лечат боли.
А здесь — пустое смерти поле.
Вся жизнь земли моей в крови.

И беспощадно, и открыто
В песок времен как градом вбита.
А миру, чтоб забыл угрозы,
Недолгий срок затишьем дан.
О, сколько.. есколько.. Сколько ран
Вокруг.. кровавых, словно розы,

* * *

Не будет для тебя близка,
Как некий опыт,
Моя наирская тоска
И жалоб ропот.

Про нашу боль и нашу честь,
Про муки мертвых
Тебе вовеки не прочесть
На камнях стертых.

И колокольный перезвон
За дальней далью
Твоей души не тронет сон
Своей печалью.

И на пиру, наедине
С веселой чашей,
Ты не почувствуешь в вине
Вкус крови нашей.

Надень доспехи ревности святой
И мглу ночную разорви навеки.

* * *

Опускается ночь. Беспощадная ночь.
Смертью пахнет рассвет, но моя пламенеет душа.
Но душа моя верит в грядущее утро спеша,
В силу духа, способного все превозмочь.

Пусть еще беспросветней сгущается мрак
Над моею Землей, окровавленной злою бедой,
Верю — верное сердце и силы прилив молодой
Не сдадутся под натиском новых атак.

Я иду, как паломник, из древних эпох и времен,
Нет в пути остановок — я в завтрашний день
устремлен.

Пусть зловещая ночь предвещает конец.
Чем темней — тем упрямей надежда в груди.
Возрождайся, страна моя! Веруй! Иди!
Свят твой путь и прекрасен терновый венец.

* * *

Мне улыбнулась наирянка.
И вот который день горят
В моей душе светло и ярко
Ее лицо и грустный взгляд.
И среди этой зимней прозы
Мне Север дорог стал и мил.
В моей душе раскрылись розы,
И мой язык заговорил.
Как будто в мире стало шире
И этот взгляд, как легкий луч,
Сверкнул мне там, в моем Наيري,
Надеждой жизни из-за туч,

* * *

Я — Последний поэт?.. Неужели
У Наيري не будет певца?

Не поверю, чтоб оцепенели
И навек замолчали сердца.

Ты со мною в изгнание далеко,
Но и здесь, от тебя вдалеке,
Я молюсь за тебя одиноко
На бессмертном твоём языке.

Мне твой голос звучит сквозь туманы
Вечной правдой, одной на двоих,
И горят мои страшные раны
Ярче роз благородных твоих.

Верен нашей единственной цели,
Я останусь твоим до конца.
Я — Последний поэт? Неужели
У Наири не будет певца?..

* * *

Ты из тумана как виденье
Встаешь, печальная страна,
Как бы из грусти и прощенья
Терпением сотворена.

И камни в небо, словно руки,
Простерты в жертвенной мольбе
Восторгом жизни, болью муки
Веков, отпущенных тебе.

Живет как боль судьбы и рока
Твоя победа и беда
В твоей израпечной жестоко
Душе, свободной навсегда.

ЕГИШЕ ЧАРЕНЦ

СЛУЧАЙНОМУ ПРОХОЖЕМУ

ПАМЯТНИК

Я памятник себе в мой трудный век воздвиг,
Когда вокруг меня все гибло и стонало
И время изменяло мира лик.

Мне мудрых песен в мире было мало, —
Я наполнял раздумьем каждый миг
О том, чем жизнь цела и ликовала.

Родился в Карсе я. Потом мне в кровь проник
Ирана древний зной. И сбросил покрывало
Весь мир передо мной, прекрасен и велик.

ПОЭТ

И зло становится добром.
И мир перед поэтом
В вечерний час живым ковром
Цветет под звездным светом.

Великолепны: бег карет,
Пройдохи и скитальцы
И наблюдающий поэт
Весь этот бред сквозь пальцы,

Весь этот призрачный туман
И легкой страсти цену,
Не замечающий обман
И вечную измену.

Я ваш союзник и поэт.
И в этот вечер поздний
Душой лечу на синий свет
Печали в сумрак звездный.

И я ищу судьбы иной,
Иные слышу трубы,
Целуя в страсти неземной
Измученные губы.

И я пою, весь мир любя
Всей силой в человеке:
«Благословляю, жизнь, тебя
Отныне и веки!»

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

Я сам гасил огни в глазах моих
И звезды, что в душе моей сияли.
И жизнь прошла, и голос жизни стих,
Но песня будет жить,
как память в дальней дали.

Жизнь утечет, угаснет, как свеча,
Бесцельно, безутешная в трясине.
Тоска моей души, горька и горяча,
Умолкнув, затеряется в помине.

Замкнется жизни круг, и замолчит молва,
Забвением равнодушия объята.
Но, может быть, останутся слова
О том, как я любил тебя когда-то.

Я душу пел твою, улыбку милых глаз,
Святую грусть лица, — напрасные усилия:
Пространство, разделяющее нас,
Моей тоски не одолели крылья.

Мой вечер приближается, сестра,
Душа скорбит над пропастью разлуки.
Судьба моя пуста, и боль моя остра.
Дрожит стакан, и холодеют руки.

Сомненья истерзали жизнь мою.
Но грусть моя светла, глаза твои не лживы.
И, что б ни случилось, не кляни, молю,
Моей тоски напрасные порывы.



Шумит в моем сердце ночная глухая тоска,
Как ветер далекий, тревоги идущей примета,
Как маятник вечности, тихо стучит у виска,
Часы и секунды считая всю ночь до рассвета.

О чем, неизвестно, шумит в безмятежной ночи
И плещется в сердце, и сердцу становится сиром.
И ловит душа в темноте звуковые лучи,
Как некий сигнал из глубин неоткрытого мира.

И хаос веков просыпается тайно во мне,
Вслепую разгоном волны океанской грохочет.
Безликий, как время, кипит на холодном огне,
Сумбурный, как бред, он гудит и умолкнуть не хочет.

То песни забытой негромкую стелет волну,
То плачет ребенком у пропасти мрака над краем,
То псом беспризорным ворчит на седую луну
И снова заходится хриплым залившимся лаем.

И слушает хаос души моей тонкая нить,
Звучит, и не рвется, и выхода ищет в тумане.
...А жизнь моя будет течением времени плыть,
Пока не угаснет в оглохшем его океане.



Уйду и я из жизни этой,
Освобожусь от этих пут.
И тело вместе с песней спетой
Друзья покою предадут.

Жизнь не заметит той потери.
Другим раздарит солнце пыл.
И даже мать не будет верить,
Что я на этом свете был.

Над холмиком могилы бедной
Забудутся мои грехи.
И станет жизнь моя легендой
И величавой, как стихи.

Есть гости. Трудно в них поверить.
Они из звездной вышины
Неслышно проникают в двери
Под пазухой у тишины.

Без голоса, без тени бродят
Меж нами, где-то тут и там.
Куда-то входят и уходят,
Но это неизвестно нам.

И только лишь когда глубоко
Нам души бередит беда,
Мы понимаем одиноко,
Что кто-то вышел навсегда.

СЛУЧАЙНОМУ ПРОХОЖЕМУ

Одна у нас жизнь и одна неземная печаль.
Мы оба уходим в одну невозвратную даль.

Послушай, прохожий, куда ты торопишься вдруг?
Быть может, ты мой на дороге неузнанный друг.

Послушай, прохожий, куда ты бежишь от меня,
От звонкой улыбки горящего золотом дня?

Ты разве не рад этой встрече на нашем пути?
Нам надо опять невозвратной дорогой идти.

И мне одному, как тебе, в невозвратную даль
Своею дорогой нести неземную печаль.

Ты слепо прошел без улыбки на смуглом челе
Своею дорогой один в вечеряющей мгле.

Но я тебя помню: я видел, как плотная мгла
Тебя поглотила и душу мою облегла.

НА РОДИНЕ

В снегах ущелий синий свет озер.
И гор вершины — белою стеною.
И небеса — как чистый детский взор.
Я был один. И ты была со мною.

Когда я слушал рокот синих вод,
Прекрасный мир окидывая взглядом,
Твоей мечты я видел древний свод
В самом себе с моей мечтою рядом.

Молчали горы. Кто-то звал меня
Настойчиво. И в сутеми морозной
Душа моя, томясь исходом дня,
Парила где-то над рекою звездной.

УДИВИТЕЛЬНАЯ ОСЕНЬ

Нет, осени такой я не встречал ни разу, —
Она мне строй особый принесла
И мудростью наполненную фразу
Обожествила чудом ремесла.

Холодный ветер прозвучал сигналом
Зовущей к бою золотой трубы.
Дождь освежил прохладным опахалом
Мое лицо перед лицом судьбы.

И жизнь мою дождя живые нити
Соединили с музыкой планет.
Деревья встали на призыв событий,
Страхнув тоску давно прошедших лет.

Мне эта осень предвещает тему,
Великой жизни пролагая след.
И я вхожу в осеннюю поэму,
Какой на свете не было и нет.

* * *

На озере синем по лаковой плоскости вод
Пленительный лебедь как белое чудо плывет.

И неба под ним опрокинут высокий шатер,
И озеро сверху стоит в обрамлении гор.

Не видно границы у неба, земли и воды.
Раскинь свою душу над прахом тоски и беды.

Плыви, словно лебедь по озеру, но не забудь
Огнем и железом по жизни проложенный путь.

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Он должен написать: поэму,
Большой рассказ, потом роман.
...Он взял перо. Наметил схему
Пути сквозь творческий туман

На пик Конфликта. Принял позу
Творца. Услышал смутный гул.
Потом, как будто принял дозу
Питья снотворного, — уснул.

И долго спал. Проспался славно.
Газету взял. Прочел пять раз
О том, что создал он недавно
Роман, поэму и рассказ.

ПЕСНЯ ЛИЧНАЯ

Покинув отчий дом в родимой стороне,
И сад, и небо голубое Карса,
Не попрощавшись с милой Каринэ,
Я пленником дороги оказался.

И вот бреду без песни и огня,
Сквозь шум мирской путь бесконечно длится.
И смотрят равнодушно на меня,
Как топором сработанные, лица.

Чужая жизнь — ей в серых буднях тлеть.
Чужая песня — как чужая рана.
Кого мне слушать и кому мне петь,
Как сбросить гнет свинцового тумана?

Безумный путь. И я один в пути.
И как мне через скопище пороков
Под небеса Аманта¹ добрести
В блаженный мир поэтов и пророков?

Я все пройду положенное мне
И от греха свое очищу сердце.
...Кто будет в Карсе, — милой Карина
Пусть передаст сочувствие Чаренца.

СОЖЖЕННЫЕ ПЕСНИ

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогвы града...

А. С. Пушкин

Печальный вечер тихо сел на кровли,
Через окно пробрался на кровать.
Я в комнату вошел и в изголовье
Нашел свою вчерашнюю тетрадь.

Ее листы перелистав устало,
Я сам к себе прислушался в тиши.
И мне невыносимо горько стало
От разоренья родственной души,

Которой в этом мире вышли сроки
Любви и страсти, песни и огня.
И вот она через мои же строки,
Воскреснув, посмотрела на меня.

К моим глазам своим приникла взглядом,
Как дуновеньем легкого крыла.
С моей тоскою оказавшись рядом,
Мою тоску своей тоской сняла.

Я слушал, оглушенный тишиною,
Ее слова, плывущие в тени:
«Мужайся, друг мой, просветлей душою
И мрак воспоминаний разгони.

¹ Амант — страна поэтов.

Не превращай его в живое лихо
Тоски для сострадательных сердец.
Неси его безропотно и тихо
И будь неутомимым, как борец».

Потом она исчезла. Как-то зыбко
Растаяла, прозрачна и чиста.
С ее лица печальная улыбка
Переместилась на мои уста.

Она не возвратилась снова. Боле
Я на душе печали не храню.
Я предал песни памяти, по воле
Ее судьбы, забвенью и огню.

* * *

Все, что народ сберег в седых веках,
Все, что борьбой в труде и славе поднял,
Он бережно хранит в своих руках
И все тебе передает сегодня.

Бери! Храни! И славой славу множь.
Смешай с былой сегодняшнюю славу.
И ты любовь народа обретешь
И передашь грядущему по праву.

КАЙСЫН КУЛИЕВ

* * *

В. Н. Орлову

Я многих на милой земле любил,
И много прошел дорог,
И добрым словом не позабыл
Прославить чужой порог.

И ты мне свой город открыл, как друг.
Судьбы его быстрый бег,
Белых ночей его зыбкий круг,
Зимы его белый снег.

Здесь все тебе дорого: пыль веков
И века грядущего слог.
С этой звездой меж облаков
Когда-то беседовал Блок.

Здесь он умирал, вот в этом доме,
В серый, бесцветный день.
И эта лестница больше ему
Уже не подставит ступень.

А в этом окне жила Она,
И — только что, а не давно —
Он тихо прошел у ее окна
И посмотрел в окно.

Ах, эти окна, их милый свет,
Ошеломляющий нас!
Где-то в снегу затерялся след
Песни моей сейчас.

Быть может, она уже видит сны
Иль сон ее счастьем скуп.
О, вкус смородины и весны
В изгибе славянских губ!

Тут Пушкин жил, Достоевский — здесь,
Там Тютчев прошел как тень.
Ты оказал мне высокую честь
В благословенный день.

Весь город твой, как старинный друг,
Со мной весь день пировал.
И предо мною открылся вдруг
Невиданный перевал.

Я МОГ БЫ СРАЖАТЬСЯ В МАДРИДЕ

Я мог бы сражаться в Мадриде
И пасть за Гренаду в бою.
И солнце, пылая в зените,
Смотрело б на рану мою.

Я мог бы сражаться в Мадриде
И грудью на камни упасть,
Чтоб только над Кордовой видеть
Свободного знамени власть.

Я мог бы сражаться, я б встретил
В Мадриде последний рассвет:
Лик мужества ясен и светел.
Чужбины для подвига нет.

Я отдал бы все без отказа,
Там жизнь бы свою завершил —
И благословенье Кавказа
Дошло б ко мне с древних вершин.

Я мог бы в Мадриде сражаться —
Везде, негасимый, горит
Свет мужества, воли и братства.
Я мог бы стоять за Мадрид.

СИМОНУ ЧИКОВАНИ

Жить привелось мне без родной земли,
Я видел лишь во сне Эльбруса купол белый,

Шла тень орла по куполу вдали,
И я следил за ней душою онемелой.

Я знал тоску. Мне снился мой Кавказ.
Чегемский водопад и влажный гул Дарьяла.
И годы шли мои, как медленный рассказ
О том, чего в пути не доставало.

Я раскрывал твой том и не смежал ресниц,
И друга верного я локтем чуял локоть.
Перед душой моей вставали со страниц
Кавказские хребты, летел орлиный клекот.

Я раскрывал твой том, и прибавлялось сил.
Я видел наяву все, что хранил в помине.
На склонах скал багровый зрел кизил,
И солнечный рассвет струился по долине.

Ронял листву засохшую орех,
Тень от платана поднималась косо,
Форель плескалась, словно детский смех,
В потоке у подножия утеса.

Я раскрывал твой том от родины вдали,
Приобретала смысл иной земля чужая:
Как будто мы с тобой под облаками шли,
Нагорным снегом губы освежая.

Как будто я лежал в тени горы крутой
И Ушбой любовался в светлой рани.
Там пир шумел, и добрым тамадой
Тем пиром правил друг мой Чиковани.

Я раскрывал твой том и на крылах парил
Поэзии, исполненной привета.
За милый мир тебя благодарил
И дожидался своего рассвета.

...Об этом вспомнил я сейчас, взойдя
Уступами на перевал Крестовый,
Увидел наш Кавказ под струями дождя,
Блеснувший в душу мне своей красою новой.

Ты братство пел, лелеял дружбу ты,
Средь мастеров как мастер ты в почете,
Твои стихи — орлами с высоты.
Твои орлы всегда, мой друг, в полете.

Издrevле люди любят мастеров —
Гранильщиков камней и ювелиров слова.
С крутых высот Кавказа я готов
Петь мастерство души высокой снова.

Стихом своим ты делаешь Кавказ,
Его вершины, выше и прекрасней.
Гора к горе — их не охватит глаз,
И солнце жизни над хребтом не гаснет.

Мой путь с твоим нерасторжимо слит,
Арагви Тереку не посылает вызов.
Пусть эта песня ласточкой летит
И вьет гнездо у твоего карниза.

* * *

Я тебя вспоминал у Адайских высот.
Над чинарами солнечный свет ликовал,
Ты жила в этом мире открытых красот.
У Адайских высот я тебя вспоминал.

У Адайских высот ты вривалась в мой стих
Вместе с зеленью веток, как солнечный луч.
Разгорался рассвет, откровенен и тих.
И чинары молчали у каменных круч.

Я зажег в твою честь полуночный костер
У Адайских высот. Я стоял на краю
Голубых пропастей, перед сонмищем гор,
Ты заполнила полностью память мою.

И с Адайских высот до тебя аромат
Расцветающих трав этот стих донесет,
Где чинары и скалы, восход и закат
Вспоминают тебя у Адайских высот.

Я с Адайских высот посылаю мой стих,
Грохот горных потоков его просквозил.
Он гудел водопадом в ущельях пустых,
Где на острых обрывах алеет кизил.

У Адайских высот для тебя родились
Все слова, что сегодня тебе говорю.
Как в твой лик, запрокинутый в звездную высь,
У Адайских высот я смотрел на зарю.

У Адайских высот, где с отвесной скалы
Водопад ледниковую воду несет,
Где навстречу заре вылетают орлы, —
Я тебя вспоминал у Адайских высот.

* * *

Олень зарю проносит на рогах
Над бездною обрыва под бедою.
Он видит небо синее в горах,
Белеющих над тихою водою.

Как чист источник! Как вкусна трава!
Как свеж прозрачный воздух перевала!
Олень силен и молод. Синева
Безоблачна. И пуля — миновала.

Он знает это... Я к тебе прийти
Хотел оленем юным, а не мулом.
И опоздал. Далекие пути
Меня немного сделали сутулым.

Но мне еще мерещится олень,
Тот, полный силы и весенней неги,
Умеющий увидеть в зимний день
Сквозь белый снег зеленые побеги.

* * *

Рассвет пришел, как первый день творенья.
И в мире все омолодил рассвет.
Привнес свое звучанье и значенье
Живущему. Славь молодость, поэт!

Исполнена особого привета
У девушки улыбка на устах —
И зимний полдень превратился в лето,
Лавандой и смородиной пропах.

Конь молодой не уставая скачет.
Снег на заре прозрачен, как заря,
И дерево весеннее маячит,
Как парус в море, и зовет в моря.

Вода земная в молодости чище,
И хлеб насущный вкусного вкусней,
Огонь в пустыне молодость отыщет
И разожжет. Не расставайся с ней!

И солнце светит в молодости жарче
На празднике отваги и весны.
И небеса прозрачней, звезды — ярче,
Явь — сказочнее и прекрасней сны.

О молодость! Ей все плоды в награду,
Птиц голоса и таинство планет.
И радость одолевшего преграду
Дерзания. Славь молодость, поэт!

* * *

О, этот танец! Этот поединок,
Единоборство смерти и огня.
Он хочет быть свободным, воедино
Живую жизнь с мечтой соединя.

О, этот танец! Он рассвет и вестник
О празднике над гибелью беды.
Танцующая женщина прелестней
И радостнее утренней звезды.

О, этот танец! Молния в крошечной
Пустыне подземелий и темниц.
Сквозь легкий сон в зеленой роще вешней
Божественное ликование птиц.

О, этот танец! Вызов и смятенье.
Он смел и юн. Его душа в крови.

Он как приказ и тихое моление
О торжестве свободы и любви.

О, этот танец! Как светла и властна
Его судьба — самой любви родня.
Танцующая женщина прекрасна,
Как вечное свечение огня.

ПОЛОВЕЦКАЯ ЛУНА

Поэма

1

Освещается степь половецкой луной.
Облака, словно сны, беспокойны и рваны.
Красной кровью намокла трава подо мной,
И пылают мои обнаженные раны.

Я смотрю на луну. Я раздумьем томим.
Негу судьбам прошедшего ясного счета.
Те, что шли через гибель под ликом твоим,
На земле этой сами оставили что-то?

Отвечайте мне, предки, чем память жива,
Где плоды ваших рук, торжество урожая,
И каких откровений высоких слова
Вы оставили миру, столетья сближая?

Где он, вашим стараньем построенный кров?
Где они, мастеров и строителей вехи?
Или только одна лишь пролитая кровь
На косматом пожарище ради утех?

Вы неслись по земле черной бурей пустынь,
В дикой страсти самим разрушениям рады.
Наслаждаясь пожаром прекрасных святынь,
Вы не знали в кровавом разгуле пощады.

Смутный свет половецкой луны надо мной,
Словно страшная тень от кровавого следа.
И устала луна, и трава под луной
В беспощадности памяти горького бреда.

Ваша боль, ваши раны — на теле моем.
Ваши судьбы меня окружают стеною.
Я к траве припадаю, пронзенный огнем,
Пригвожденный к земле оперенной стрелою.

Я смотрю в этот лик половецкой луны,
Проклиная железную ханскую волю.
И в наплыве застывшей, как кровь, тишины
Я надежде своей умереть не позволю.

Эти звезды разбили мечи надо мной.
И кипчакскую степь раздробили копыта.
Ночь краснеет в степи половецкой луной
И в глаза моей памяти смотрит открыто.

2

В легком танце
При свете багровой луны
Половецкие девушки
Страсти полны.

В их глазах и движениях
Надежда и страх.
Храбрецы отдыхают
В зеленых шатрах.

Меч протерт ковылем
И запряган в ножны.
Половецкие девушки
В страсти нежны.

Ночь, как темные косы,
Тепла и длинна.
И траву, и шатры
Освещает луна.

Половецкие девушки —
Юность и стать.
Мне сегодня опять
Этой ночью не спать.

Белый ханский шатер
И туман пеленой,
И зеленая степь
Под кровавой луной.

3

И, может быть, в том танце непрестанном
Кружилась, всех свободней и смелей,
Красивей всех лицом своим и станом,
Прабабушка прабабушки моей.

И красота, и стать ее, возможно,
Всей чистотой любви и молока
Передалась по капле осторожно
В грудь матери моей через века.

Их кровь — во мне, в моей судьбе и крови,
В моих словах — их жизни молоко,
Лишь то в потомках оживает вновь,
Что в предках утвердилось глубоко.

Их слово возникало, оживая,
В моей строке, придя издалека,
Я — веточка зеленая, живая
На дереве родного языка.

Они умели тихо и сурово
Переносить утраты острой болью.
Через мое сегодняшнее слово
Их слезы проступают, словно соль.

Полынь и пыль в степи кипчакской стары,
Забвение. Ни песен, ни имен.
Толпятся звезды, как в жару отары,
И лик луны — как зеркало времен.

4

Красавица! Я снова в бой иду,
Ты освети мне сердцем путь до срока.
Быть может, снова, победив беду,
Вернусь к тебе по доброй воле рока.

Я в бой бросался с именем твоим.
И ты меня от метких стрел спасала.
Ты приходила в сон — и нам двоим
Ночь звездное дарила покрывало.

Измученный я падал на траву
И вспоминал глаза твои и брови.
Ты светом звезд светилась наяву
И шла ко мне по следу свежей крови.

Но снова в бой жестокий рвется хан,
И ясный день кровоточит пожаром.
Сквозь посвист стрел, через седой туман
Твой лик мне улыбается недаром.

На поле боя мертвые молчат,
И сытый ворон каркает на камне.
Когда меня покроет смертный чад,
Твоя слеза сверкнет издалека мне,

5

Мой предок, закаленный на войне,
Считая храбрость выше всяких правил,
Сидел, как тигр, на бешеном коне
И злую гибель ни во что не ставил.

Он был в своей уверенности слеп.
Пожар и кровь — его судьбы дорога.
Он не растил и не лелеял хлеб
И острый меч считал превыше бога.

Под всадниками, дики и вольны,
Пластались кони днями и ночами.
И лик луны, как лик самой войны,
Темнел над обнаженными мечами.

Вы были храбры, родичи! И страх
Пред вами душу прожитал потомкам.
И, все живое превращая в прах,
Чего же вы оставили потомкам?

Над временем, сама себе указ,
Поет стрела, как варварская лира.
Я знаю вашу храбрость. Но у вас
Я не нашел Спинозы и Шекспира.

Вот ваша жизнь — судьбы моей исток,
И мне нести свою по жизни ношу.
Но я не буду к прошлому жесток
И камень в это прошлое не брошу.

Там, в темном незабытом далеке,
Не только страха смертная остуда,
Я говорю на вашем языке,
Признательный душой за это чудо.

Мне горек запах ваших пепелищ.
Моя душа — чужой бедою слепа.
И свой очаг я — голоден и нищ —
В минуту горя возводил из пещла.

И я судить вас строго не могу.
У времени — законы жизни строги.
И разные в единственном кругу
Судьбою перекрещены дороги.

В степи полынной затерялся след.
Развеян прах. И сквозь тоску столетий
Из ваших дней идет печальный свет
В мою судьбу, в мои раздумья эти.

И светит одиноко из темна,
Тревожному под стать великопелю,
Простреленная стрелами луна —
Багровая — над половецкой степью.

6

Несется снова конница из мглы
На смертный бой лавиною летучей.
Летят за нами черные орлы,
И солнце багровеет в черной туче.

Сверкает в туче ханской сабли сталь.
В глазах темно. Но я скачу быстрее,
Дрожит земля. И древняя печаль
Отточенного лезвия острее.

Надеждою и гибелью маюя,
Пронзает тучи шелковое знамя.
И враг заносит саблю на меня.
И черные орлы летят за нами.

И я скачу. И крови жаждет хан,
И кровь течет, и сохнет на кургане.
И вороны летят через туман,
И черные орлы кричат в тумане.

Не ведаю, где мой последний бой.
Зачем я убиваю — не отвечу,
Летят орлы над гибельной судьбой,
И я лечу погибели навстречу.

О мать моя, из этого огня
Мне не уйти. Иссякла в сердце сила.
Моя стрела уже нашла меня,
Вошла в меня и сердце погасила.

Ни правых, ни виновных. Ночь темна.
И нет на свете ни зимы, ни лета.
Качается кровавая луна
И в черном небе пропадает где-то.

7

Кипчакскую степь осветила седая луна.
Равно одинакова к горечи бед и победам.
На сонной земле и на дальней звезде тишина.
И я в тишине ни земле и ни звездам неведом.

На мягкие травы стрела меня сбила с коня.
Мне хочется спать, но заснуть мне придется едва ли.
Таинственна степь. И погибшие здесь до меня
По боли и ранам сегодня мне равными стали.

Под летней луной, под спокойной звездой тепла
Трава и земля. И полно мое сердце любовью,
Слезой вселенной звезда с горизонта стекла,
И тихо печаль подошла к моему изголовью.

Не мысль мудреца здесь когда-то сверкала, а меч!
Не книга, а прах. Не трава, а полынь на кургане.
И черным орлам здесь положено память беречь,
И звездам высоким тревожно светиться в тумане.

Здесь гулом копыт невысокая бредит трава,
И призрак беды над туманной клубится водою.
Как старый табунщик, луну окликает сова,
И пахнет над степью багровый рассвет лебедю.

ПОСЛАНИЯ ИЗ ЧЕГЕМА

ПЕРЕД ПОРТРЕТОМ МАТЕРИ

Спит мой Чегем, но до рассвета,
Ночь отведя рукой, как шаль,
Мать на меня глядит с портрета
Через своей судьбы печаль.

Глядит открыто, очи в очи, —
И мне становится видней
Через пустыню темной ночи
Долина всех минувших дней.

Познаний первые приступки,
И в мир распахнутая дверь,
И те дела, и те поступки,
Казнюсь которыми теперь.

Которые как из тумана
Мне проясняет до конца
Не знавший фальши и обмана
Свет материнского лица.

Взгляд, укоряющий с портрета
И вопрошающий потом,
Как я себе позволил это,
Ее вскормленный молоком.

Теперь моей души веленьем
Ее судьбы не воскресить
И никогда, к ее коленям
Склонясь, прощенья не просить.

Но каждый день Зимы и Лета,
Со мной встречающий зарю,
Я материнского портрета
Открытый взгляд благодарю.

Своей души глубинным светом
Ловлю его печальный свет
И каждый день перед портретом
Держу в своих делах ответ.

И если слово в песне лживо,
Мать, наклоняясь над строкой,
Его решительно и живо
Отводит в сторону рукой.

Спит мой Чегем. А жизни повесть
Живет в душе ночей и дней.
И мать глядит в меня как совесть
Всех дел и памяти моей.

ОДА ЧЕГЕМУ

Я вновь в моем Чегеме
С друзьями давних лет,
Но одного меж теми
Друзьями друга нет.

Он жил со всеми вместе
И радость знал и боль
И добывал по чести
Трудом и мед, и соль.

Навек осталась, потом
Свой голод утоля,
Верна его заботам
Чегемская земля.

Обвал забил дорогу, —
Он отыскал обход
И у друзей подмогу
Нашел в голодный год.

Война явилась с горем,
С бедой на поводу, —
Сказал он: «Перебором
И выдюжим беду!»

И выдюжили. С чистой
И мудрою душой,
С дороги каменистой
Смотрел он в мир большой.

И, что бы ни случилось,
Своею волей жил,
Не думая про милость,
Лишь истине служил.

И прогонял усталость
Глотком из родника.
Судьба его осталась
Живущим — на века.

Его дела и слово
В живых живут досель,
Как нового основа
И будущего цель.

Цветут как вызов горю
Альпийские цветы.
Чегем стремится к морю
С Адайской высоты.

И солнце жизни светит,
И мир несокрушим.
«Все вынесем на свете!» —
Мне слышится с вершин.

РАННИЙ СНЕГ

Снег выпал нынче раньше срока,
Укутал голые холмы.
И мир задумался глубоко
Над белой книгою Зимы.

Снег выпал, а за снегом вышел
Мороз — заботы новой весть.
Какое счастье, что под крышей
Огонь и хлеб в запасе есть.

Хвала судьбе и тем, кто верит
В мозоли верных делу рук.
Холодный ветер бьется в двери,
И вьется белый снег вокруг.

Белы дома, гора, и небо,
И дым из труб, и облака.
Хвала огню, и ломтю хлеба,
И полной кружке молока.

Я знал тоску бездомной ночи,
И есть еще мои следы
В ущелье горьких одиночеств,
В густом репейнике беды.

О, бич жестокости, еще ты
Свистишь в руках у палачей
И сводишь с Песней жизни счеты
В железном холоде ночей.

Снег выпал нынче слишком рано,
Сковал морозом горло дню.
Хвала огню на дне стакана,
Хвала домашнему огню.

Мы не обделены судьбою,
Хоть жизнь не баловала нас.
Есть хлеб и кров у нас с тобою
И добрый мужества запас.

Здесь все нам близко и знакомо:
Земля, и небо, и сама
За окнами родного дома
Вот эта ранняя зима.

ПЕСНЯ МАТЕРИНСКОМУ ЯЗЫКУ

Язык материнский, как сладостен ты
Высоким значеньем своей правоты.

Глупей меня не было б, если бы я
Лишен был тебя на пиру бытия.

Ты — мужества голос, свобода и честь,
Грядущему прошлого мудрая весть.

Свет звезд над безмолвием белых вершин,
Ты тяжестью времени несокрушим.

На празднике жизни народа дана
Тебе откровений его глубина.

Он дал тебе твердость, и силу, и ту
Подобную горным ручьям быстроту.

Героев отвага в тебе, и краса
Весеннего солнца, и птиц голоса,

Шуршание ветра в вершинах чинар,
Цветущего мака пунцовый пожар,

И горного тура осанка, и зной
Июньского полдня, и дождь навесной,

И нежность влюбленных, и лунная тень,
И ночь, и рассвет, открывающий день,

И цокот копыт по уступу горы,
И сок на разломе арбузной коры.

Как снег на Эльбрусе, ты вечен и чист.
Пожаром пылает кизилловый лист.

Зима на пороге, — и ночью и днем
Ты греешь нас вместе с домашним огнем

Преданьями лета, зимы и весны,
Ущелья и горы тебе не тесны.

Я знаю: народ без тебя — не народ.
Ты судьбы народные движешь вперед.

И в тяжкие годы в туманной ночи
Убить не сумели тебя палачи,

Язык материнский, воистину ты
Достоин вскормившей тебя высоты.

И мужества мудрость твоя глубока,
Служившая старцам и детям века.

Язык моей жизни и песни, народ,
Создавший тебя, никогда не умрет.

Возлюбленный с детства язык матерей —
Надежда народа и жизни моей.

Язык материнский, дарованный мне,
Светивший во тьме; не сгоревший в огне,

Я смертную гибель приму за твое
Достойное славы земной бытие.

Ценой моей жизни и смерти живи,
Бессмертный язык материнской любви.

Живи и красуйся во веки веков
На празднике равенства всех языков.

МУСТАЙ КАРИМ

ВСТРЕЧИ

1

У двух берез
Веселый ветер
Подол зеленый теребил,
У двух берез
Я утром встретил
Ту, что навеки полюбил.

О, если б это было можно,
Чтоб мотыльком была она,
Цветком я стал бы —
Осторожно
Коснулся б тонкого крыла.

Когда она проходит рядом,
Я встретиться хочу с ней взглядом,
А как посмотрит на меня,
Я цепенею от огня!

2

Стихает шум.
И над дорогой
Застыл рябиновый закат.
А я один вдвоем с тревогой.
Чему я рад?
Чему не рад?

Не жду сегодня никого я
И никого не проводил.
Я только знаю:
Нет покоя
От дум, что в сердце разбудил.

Густой росой
Трава намокла.
Навстречу свету рвется тень,
Волной лиловой хлещет в стекла
Из палисадника
Сирень.

Втекает в окна
Свежий воздух.
Кричат перепела в ночи.
И мотыльки ко мне,
Как звезды,
Слетают роем на лучи.

О, если б в полночи безмерной
Ты мотыльком лететь могла, —
В моей душе
Тебе, наверно,
Хватило б света и тепла.

3

Был вечер,
И автомобили
Летели берегом реки.
Я шел с работы.
Вдруг завывли
Осатанелые гудки.
Растаял где-то в отдаленье
Сирен учебных
Долгий вой.
Меня приводит в отделение
За нарушенье постовой.

Моя степная недотрога,
А ты зачем пришла сюда?
Я у нее спросил:
«Тревога?»
Она мне отвечала:
«Да!»

Сначала говорили взгляды.
Потом, потом пришли слова.

Той встрече звезды были рады,
Деревья,
Ветер
И трава.

Давным-давно прошла тревога.
Была роса светлее слез.
Нас повела одна дорога,
Дорога мимо двух берез.

ЛУННАЯ ДОРОГА

Бежит, струится от луны
До нашего порога
На гребне медленной волны
Веселая дорога.

Мы долго слушали прибой
На голубом просторе,
Оставим берег и с тобой
Давай отчалим в море.

Дорогу выстелет луна
На этой глади зыбкой.
Нам будет спутницей волна,
Нам будет море зыбкой.

...А волны выше и сильнее,
Дорога стала шире.
Чем дальше в море, тем светлей
И на душе, и в мире.

РАСПАХНИ ОКНО

Тучи собираются в лазури,
Ты не бойся, веселей гляди.
Распахни окно навстречу буре,
Молнии крылатые следы.

Громы прокатились по округе
В проблесках стихийного огня.

Ты не бойся! Вспоминай о друге,
Расскажи всем близким про меня.

Что тебя, далекую, утешит?
Ветер, завывая на лету,
Косы расплетенные расчесет,
Молнии рассеют темноту.

Если свет слепящий ночью брызнет —
Это я послал тебе привет.
Если буря — это весть о жизни,
А других не надобно примет.

Тучи собираются в лазури,
Гром незатихающий гремит.
Буду жить, пока грохочут бури,
И гореть, как молния горит!

ЗВЕЗДЫ НА ЗЕМЛЕ

В огнях, в свинцовой крутоверти
В атаку конники идут,
И спор о жизни и о смерти
Минуты с вечностью ведут.

Дрожит земля и звезды меркнут
От орудийного огня.
И вдруг седая ночь, как беркут,
Накрыла крыльями меня.

Не тронь меня, проклятый беркут!
Земля, освободи меня!
Но кровь течет, и звезды меркнут,
И нет поблизости коня.

И ночь плыла, и тьма кололась,
Как вороненые штыки.
Я вдруг услышал тихий голос,
Дыханье около щеки:

«Очнись, джигит!» —
Во мраке ночи
Я не заметил ничего.

Я только видел очи — очи,
Как звезды счастья моего.

Зачем мне небо в метеорах
И звезды северных ночей?
Я на земле, где дым и порох,
Нашел родник живых лучей.

Я узнаю России милой
Звезду мою,
Судьбу мою,
Я наливаюсь новой силой.
Я оживаю,
Я пою.

МОЙ КОНЬ

Конь — это крылья мужа...

Мне свился конь, мой друг крылатый,
Товарищ верный бранных дел.
В мою больничную палату
Он словно молния влетел.
Заржал он, рад со мною встрече,
И пена капала с удиц.
И человеческою речью
Со мной мой конь заговорил:
«Мне ветры гриву растрепали.
Три долгих месяца сполна
Джигита ноги не ступали
В мои литые стремяна.
Я был тебе лишь только верен, —
Бежал я прочь от всех других.
И все искал тебя. Затерян
Был след твой в вихрях огневых,
Еще клинки не отзвенели.
Враг не добит, и степь в огне.
Вставай скорей, джигит, с постели —
Нет без тебя покоя мне!
Когда ты снова тронешь стремя,
На своего взлетишь коня?..»
...О, доктор, мне хворать не время —
Скорее вылечи меня!

НЕЗАБУДКА

Был первый гром.
Гроза прошла.
Вода стекла по тропам.
И незабудка расцвела
На бруствере окопа.

Здесь поле боя,
Здесь пока
Гремит стихия злая.
На горизонте облака
Расходятся, пылая.

Но тот цветок
Свои глаза
От солнца не скрывает.
И на ресницах не слеза —
Роса горит и тает.

А для солдата
На войне
Был тот цветок — отрада.
Я знаю, долго биться мне,
Но горевать не надо.

Железный ливень
И гроза
Безжалостны и жутки,
В моей душе твои глаза
Горят, как незабудки.

* * *

Туман, словно вата,
Застыл в камыше.
А что у солдата
Сейчас на душе?

Горит за холмами
Чужих берегов
Далекое пламя
Родных очагов.

Как взгляды любимой,
Сиянье огня
Таинственной силой
Наполнит меня.

Как стелется рано
Туман в камыше.
Но нету тумана
В солдатской душе.

ДАЛЕКО, ГДЕ СОЛНЦЕ ВСХОДИТ

К 25-летию Башкирии

1

Как далеко моя земля,
Любимая навек.
Там солнице вышло на поля
И растопило снег.

Степные ветры в том краю
У светлой Ак-Идель¹,
Как руки матери, мою
Качали колыбель.

Там все мальчишеские сны,
Что не вернутся вновь.
Там двадцать две моих весны
И первая любовь.

2

У нас рассвет едва алел,
А запад был в огне.
Пожар метался и ревел
В далекой стороне.

И пожелтел зеленый луг
В долине Ак-Идель.

¹ Белая река.

Перехлестнула через Буг
Свинцовая метель.

И плач детей, и стон стоял
На сотни верст вокруг.
В то утро в первой битве пал
Мой старший брат и друг.

И птицы подняли галдеж,
Летя на встречу дня.
Печально наклонялась рожь,
Колосьями звеня.

3

Быстрее самых быстрых стрел
Над шорохом травы
В то утро землю облетел
Тревожный клич Москвы.

Недолги сборы. Путь далек.
Труба зовет, звеня.
Джигит проверил свой клинок
И оседлал коня.

Джигитам был неведом страх.
Мы рвались в бой скорей.
Блестели слезы на глазах
У наших матерей.

А день был зноен и хорош,
И оседала пыль
На вызревающую рожь,
На голубой ковыль.

4

Как далеко моя земля,
Любимая навек.
Там солнце вышло на поля
И растопило снег.

Как шел моим родным местам
Весны цветной наряд.

Сегодня даже не цветам,
А камню был бы рад.

Но голубь родины моей
Махнул тугим крылом.
И громче грома батарей
Ударил первый гром.

На поле боя в третий раз,
Судьбой приведена,
В огне, в дыму встречает нас
Военная весна.

В полнеба зарево встает,
А трудный путь далек,
Мой верный конь не устает,
Не тупится клинок.

5

Орудий грохот. Едкий дым
Сползает по горе.
Звезда над лагерем моим,
Атака на заре!

Копытом иноходец бьет
По ледяной коре.
Не спят джигиты — каждый ждет
Атаки на заре.

Клинок отточенный со мной
В узорном серебре.
С победой я вернусь домой.
Атака на заре!

ОНА БЫЛА СО МНОЮ РЯДОМ

1

В палате лампа голубела.
Слепая боль была остра,
И на меня в тоске глядела
Всю ночь больничная сестра.

«Усни, чего тебе не спится?» —
«Да, да, усну. Который час?» —
Я видел влажные ресницы
И синеву красивых глаз.

Я засыпал под этим взглядом
В сиянье тихого огня.
Она была со мною рядом
И не оставила меня.

2

Я поправлялся. Сизый голубь
Ходил с голубкой по трубе.
И, словно погружаясь в прорубь,
Я рассказал ей о тебе.

Мы сразу как-то замолчали;
Покорно голову склоня,
Она одна ушла в печали,
Но не оставила меня.

3

Весна на большаке изрытом
Водой клокочет и поет.
Опять подкованным копытом
Мой иноходец землю бьет.

Опять в сплошных огнях и громах
Дорог стремительный разбег.
И конь пьет воду незнакомых,
Чужих голубоватых рек.

Но где бы ни был: в тьме дорожной,
В слепящем зареве огней, —
Тот образ, светлый и гревожный,
Был всюду в памяти моей.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

1. ИЗ ЕЕ ПОСЛЕДНЕГО ПИСЬМА

Посадила я весной красный мак,
Мак надежды поливала по утрам.
Все ждала тебя. Смотрела на большак.
Все прислушивалась к западным ветрам.
Мак расцвел огнем и начал увядать,
А судьба сулила ждать тебя и ждать.

Только молодость не розовый туман,
Только верю, будет встреча впереди.
В это время не один потух вулкан,
А любовь сильнее горит в моей груди.
Что мне радости мгновенной легкий миг? —
Нужно счастье мне такое, как родник.

Сколько зим ты не был дома, сколько лет!
Если б знал ты, как заждался отчий дом!
Ты вернешься — будет солнечный рассвет
И земля в цветы оденется кругом.
Даже если в зимний день вернешься ты,
На снегу в тот день появятся цветы.

2. ОТВЕТ

Тишина лежит над сумраком полей,
Гром железный не спугнет теперь ее.
Я за тридцать полуночных морей
Слышу легкое дыхание твое.
Отдыхают утомленные войска.
Путь далек к тебе, но родина близка.

Сколько пройдено тропинок и дорог,
В скольких реках мой буланый воду пил,
Я себя четыре года не берег,
А любовь твою, далекая, хранил,
Со слезами твой портрет не целовал,
Горе горькое ветрам не раздавал.

Мне в пути была и ведома тоска,
И охватывала сердце мое дрожь...
Наша встреча так желанна и близка —

Ты к груди моей прижмешься и замрешь,
И в последний раз на карие глаза
От смятений накатится слеза,

* * *

С моей любимой уплывает
По Белой белый пароход.
Он сердце болью разрезает,
А не волну вечерних вод.

Волна вскипела и умолкла,
И солнце скрылось за рекой.
Тот пароход увез надолго
Мою любовь и мой покой.

В тревожном, трепетном смятеньи
Поют над Белой соловьи.
Не привыкай, душа, к терпению
Ни в ненависти, ни в любви!

Степные сонные озера
Гниют без ветра в камыше.
Живая мысль потухнет скоро
Лишь только в дремлющей душе.

Застыли шорохи и шумы,
Растаял след. И тишина.
В моей душе вскипают думы,
Как в бурю белая волна.

* * *

Прогредел последний залп над водою,
Соскочил с коня джигит молодой.

Видно, был клинок булатный остер,
И джигит его травю отер.

Вдруг заметил он цветок голубой
И склонился над цветком головой.

Долго-долго, опершись о клинок,
Он задумчиво смотрел на цветок.

Может, вспомнил он любимый Урал,
Может, милые глаза вспоминал...

Я не знаю, это дым иль слеза
Затуманили джигиту глаза.

Он поднялся и вскочил на коня.
...Не похож ли тот джигит на меня?

В ДАЛЕКОМ ГОРОДЕ

В больнице, в городе далеком,
Лечил мне раны старый врач.
И свет звезды моей высокой
Гнал смерть и был еще горяч.

А на дворе метель распелась,
Мороз разрисовал окно.
И мне увидеть захотелось
Друзей, оставленных давно.

А ветер шаловливый где-то
Калиткой хлопнул вдалеке...
Я услышал слова привета
На материнском языке.

Минуты радости крылатой
Переживать нам трудно вдруг:
Но мне в больничную палату
Вошел мой старый, близкий друг.

Спешу спросить. Не жду ответа...
«Как там живет моя Уфа?
Что пишут там друзья-поэты,
Крепка ль в стихах у них строфа?»

Как будто кто ее заставил,
Душа от радости поет.
А друг мой предо мной поставил
В кувшине наш башкирский мед.

И вдруг пахнуло тихим летом,
Хлебов разливом золотых,
Исходят липы терпким цветом,
И пчелы кружатся средь них.

И жаворонка голос звонкий,
На мальвах капельки росы,
И песни девушек, и тонкий
В лугах зеленых звон косы.

И вдруг ударила с разбега
Метель в оконный переплет...
Но все равно за этим снегом
Весна на родине цветет.

Над нею солнце не заходит
И гонит прочь завесу тьмы.
И в этом вечном хороводе,
В моем краю, в моем народе
Нет ни метелей, ни зимы.

* * *

Всегда тревожно и несмело,
Когда в дорогу провожать,
Ты говоришь, что не успела
Мне слово нужное сказать.

В нем все — горенье и надежда,
Любовь, согретая в груди, —
Вся ты.
Все то, что было прежде,
И все, что будет впереди.

И я хочу, чтоб в час прощанья,
На склоне ветреного дня,
Спокойно это обещанье
Благословило бы меня.

В КРАЮ МОЕЙ ЛЮБИМОЙ

Я побывал в краю моей любимой.
Его весну я долго в сердце нес.

Здесь детство с милой пробегало мимо
Веселых подрастающих берез.

Быть может, я иду сейчас, ступая
В ее когда-то промелькнувший след.
Здороваясь с березами, не зная,
Что им, как ей, наверно, столько ж лет.

Земля в цвету. Седой дымок тумана
По берегам окутал валуны.
Спасибо вам, долины Сармасана¹,
Цветы в лугах, свет солнца и луны.

Тебе, земля, и вам, поля и горы,
Сердечное спасибо и привет.
В ее душе — твои, земля, просторы,
В ее глазах — твои тепло и свет.

Ну, здравствуй, юность! Протяни мне руки,
Веди меня зеленою тропой,
Сквозь столько лет тревоги и разлуки
Я наконец-то встретился с тобой.

Как будто мне семнадцать. Я не чаял,
Какие грозы встретятся со мной,
Я не успел притронуться к печалям,
Я не коснулся радости земной.

Как будто я еще в воде не плавал,
Не умирал и не горел в огне.
Я как роса в лесу на переправе,
Я как птенец...
Хотя известно мне,

Что розовая мальва, как ни жаждет,
Цвести весной дважды не вольна,
Что ветер не воротится, что дважды
Одна не разбивается волна.

Я это знаю. А на склоне горном
Звенит ручей. Живой водой бежит.

¹ Сармасан — река в Башкирии.

И порослью, и дружной, и упорной,
Подлесок под березами шумит.

И ласточки щебечут. Воздух светел.
Когда б умел, я ласточке ответил,
Заговорил с ней голосом птенца.
...А девушки проходят, я заметил,
На берег Сармасана мимо ветел, —
Какие, чьи по ним горят сердца?

В моей груди огонь такой же властный.
Он не потухнет, если я горю.
«Ну что же, здравствуй, юности!
Здравствуй,
Девичья юность мира!» —
Говорю.

ПРОЩАНИЕ С КАВКАЗОМ

Расулу Гамзатову

На Урале, наверное, черная осень,
Там по белым снегам стосковалась земля.
Ветерок здесь от моря прохладу приносит,
Желтизной по вершинам платанов пыли.

Золотистая пыль, как румянец на коже,
На зеленых вершинах платанов видна,
На твоих волосах, преждевременно тоже,
Засквозила, как первый снежок, седина.

Эти горы и море напомним достойно
Твой характер, и мысли твои, и мечты.
Здесь, как ты, эти старые горы спокойны.
Беспокойное море шумливо, как ты.

Здесь плоды, как стихи, на деревьях созрели,
Янтарем отливая в листве золотой.
Светом ясного солнца налиться успели
И наполниться доброй земной теплотой.

И, окинув земли твоей милой просторы,
На прощанье последнее слово скажу.

И на синее море, на дымные горы
Дай еще раз, как в сердце твое, погляжу.

О, Кавказ! Для друзей не страшны расстоянья,
Ты мне в память вошел, ты мне в сердце проник.
И «прощай» в этот тягостный миг расставанья
На прощанье не может промолвить язык.

* * *

Глаз не поднять перед твоим лицом —
А я себя считаю храбрецом.
Алмаз и яхонт мой ласкали взор.
На солнце тоже я глядел в упор.
И видеть счастье доводилось мне,
И смерть встречать не раз наедине.
Нет ничего превыше красоты.
А красотой для сердца стала ты.
Глаз не поднять перед твоим лицом —
Напрасно я считаюсь храбрецом.

* * *

Ты говоришь, чтоб я себя берег
Для нашей жизни. Ты всегда в тревоге,
Но я всю жизнь, как конь, не чуя ног,
Скакал на скачках по степной дороге.

А смерть придет — я смерть не обвиню.
Не первый я, и некуда мне деться.
Вот мне тогда упасть бы, как коню
На состязаньях, от разрыва сердца...

ДОБРИ ЖОТЕВ

АНАМНЕЗ

К чему догадки, доктор! Сам
Скажу историю своей болезни.
Слушай:

Я был бойцом из армии бесправных,
Свое у жизни требующих право.
Меня пронзали
Острые осколки.
Шрапнель врага! Она вспахала почву
Моей души.

Я под ножом томился палача.
Я умирал.
И снова воскресал,
Чтобы опять погибнуть
И воскреснуть.

Я был предсмертным восклицаньем тех,
Кто шел на смерть.
Я слышал их последние шаги,
Запоминал последние слова,

Погибшие друзья
Кричат во мне.
Они хотят
Свои живыми видеть думы.
Я был зрачком, который проглотил
Тоску и ужас.
Видел человека,
Схороненного заживо живыми.
Я видел голову, надетую на кол,
Без шеи и спины.
И женщина металась под колом
И, руки простирая к голове,

Кричала:

«Сыне!»

Я был на поле боя, где врагов
Косила смерть
И варывы разрывали
Колючку с проволокой человеческих нервов.
Там умерла тоска моя. И там
Самоубийством кончил страх, а радость
Испечелилась в смерти и страданье.

Я ненавистью был. Был верой,
Был гневом и бессмертною мечтой.
Всю жизнь свою во сне и наяву
Я звал победу, чтоб она смела
Все злое на земле и стала
Воистину победным днем добра.

К чему догадки, доктор!
Самый острый резец болезни
Мне вонзился в сердце,
Когда я был победой.
Потому что
В ее рассвете был уже намечен
Зачаток поражения.

О, поражение победителя!
Не знаю,
Когда и как лакей и проходимец
Наставниками сделались моими.
Бессовестный стал совестью.
Доносчик —
Владельцем судьбы моей. И снова
Я гневом стал и ненавистью, но
Я был бессилен. Сила превратилась
Сама себе в тяжелые оковы.
Не мог я двинуться и дух перевести,
А тысячи ораторов кричали,
Что я дышу свободно и легко.

Душа моя заплакала от горя.
А ей в ответ на разных языках
Заверещали радиокоробки,
Что счастлив я.

С «Товарищи!» мы начинали и кончали сборы,
Как вечность, бесконечные... Но вот
Невипно обвиненные бесследно
И как-то незаметно исчезали,
Как в воду канув. Редкие из них
Обратно возвращались, онемев
И посевов, как мох на диких камнях.

Тогда-то, доктор, Болью стал я. Болью
Тяжелой без начала и конца.
Она росла. Кому я мог сказать?
Врагам?
Но кто мой друг и враг — узнай попробуй.
Допрашивали друга моего —
Не я ли враг?
Потом меня допрашивали строго —
Не он ли враг?
А боль моя росла
И сделалась хронической болезнью.

Верни потерянное, доктор! Надо
Мне долю человеческой тоски.
Гнев изнуряет душу. Мне тоска
Нужна, как отдых от слепого гнева.

Верни мне страх! Я с ненавистью только
Проигрываю тяжкие бои
Со всеми страшными людьми. Мне нужен страх
В советчики для этой битвы грозной.

Мне жизнь погибшей радости верни!
Боль убивает душу.
Дай мне радость!
Я радости хочу! Затем, что есть
Земля и травы, небеса и звезды
И люди есть правдивые, как правда.
И сила есть, перед которой в страхе
Срывается, как в пропасть камень, зло.

Но ты молчишь!
Что это?! Ты не можешь?
Скажи, что можешь!
Можешь, — говори...

НИКОЛОЗ БАРАТАШВИЛИ

СОЛОВЕЙ И РОЗА

На кусте росистом розы пел и плакал соловей.
Он насвистывал и щелкал, говорил влюбленно ей:
«О мучительница роза, дай увидеть, дорогая,
Как ты ночью расцветаешь, тайну сердца раскрывая».

Но восторгу светлой страсти тоже свой бывает срок:
Ночь спустилась на долину, легкий дунул ветерок,
И, когда певец умолкнул, вышла полная луна, —
Вся долина ароматом роз была напоена.

И заснул певец влюбленный, сладкой песней утомлен.
Встало солнце золотое. Птицы подняли трезвон.
Соловей проснулся, замер от нахлынувшей тоски,
Он увидел: с милой розы облетели лепестки.

В бедном сердце, полном грусти, струны все оборвались.
Он крылом в крыло ударил, в голубую взвился высь.
Он запел. И столько скорби было в песне неземной!
«Где мне боль свою развеять, птицы, сжальтесь надо
мною»

От рассвета до полночи розу я боготворил,
Не жалел ночей бессонных, песни, жизни не щадил,
Я желал совсем немного, не сбылось мое желанье,
Я хотел расцвета розы, а увидел увяданье».

КЕТЕВАН

Дикий берег Ксани крут.
Волны вольные бегут.
И прибрежных рощ кусты
Смотрят в волны с высоты.

Там сидит в печали горькой под ущербною луною,
Голову склонив к чонгури, тихо женщина одна,

И поет она, и плачет над холодной волною,
И распущенные косы с плеч сбегают, как волна.

«Ты, волна, угомонись,
Не кидайся пеной ввысь,
Успокойся, не зови
Чистой преданной любви.

Почему ты, мой любимый, по какому наговору
Необдуманно и быстро изменил своей мечте?
И мое святое чувство предал горькому позору,
Пренебрег любовью верной и поверил клевете?
Почему — ты в час восторга, бесконечно повторяя,
«Я твоим навеки буду!» — мне открыто говорил?
И мою земную радость, не увидевшую рая,
Так поверившую в праздник, необдуманно убил?

Почему ты беззаботность и невинность беззаботно
Покорил, своим признаньем обрекая на тоску?
В день весеннего расцвета, уходя бесповоротно,
Почему ты дал увянуть нерасцветшему цветку?

Без тебя в подлунном мире жизнь безрадостно
пустынна.

Есть одно лишь утешенье: вера сердца в мир иной.
Ты когда-нибудь узнаешь, как чиста я и невинна,
И найдешь меня в том мире, и останешься со мной».

Я у бездны на краю
Горький голос узнаю,
Различая сквозь туман
Стан воздушной Кетеван.

На ветру заолодела жизнь, лишенная опоры,
Утешений поздних слезы — не бальзам глубоких ран.
Только имя Амилбара повторили эхом горы,
Перед тем как в белой пене волн пропала Кетеван.

СУМЕРКИ НА МТАЦМИНДЕ¹

Святая Мтацминда, высоких раздумий гора.
На плечи твои ниспадают небесные росы,

¹ Акрополь в Тбилиси.

Прекрасны и дики гранитных уступов откосы,
И в отблесках солнца отрадны твои вечера.

Есть таинство тайны в твоей несравнимой судьбе.
И глаз покоряет открытая глазу с вершины
В серебряной дымке цветущая скатерть долины,
И дым фимиама цветы воскурят тебе.

По этим тропинкам на склоне печального дня
Я здесь проходил, размышляя в глубокой печали.
И вечер был тих, и туманны нагорные дали.
Природа дарила взаимностью братской меня.

Тревожно и нежно сияла ее красота.
И в сердце моем, как подарок, остались навеки
Высокого неба лазурные чистые реки,
Но мыслям моим недоступна небес высота.

За гранью небесной я сердцем тревожным парю.
Забыв про земное, ищу своим мыслям ответа,
Чтоб обросить тревоги в обители горнего света, —
Но смертным, увы, не подняться к тому алтарю.

Стоял я и думал, за горную глядя гряду,
А майские сумерки тихо заполнить успели
Дыханием ветра ущелий поющие щели,
И сердце мое находилось с природой в ладу.

На смену печалям приходит улыбок пора.
Ты вечно живая, и склоны твои не угрюмы.
Тебе доверяю свои сокровенные думы,
Ты друг одиноким — Мтацминда, святая гѳра.

Звезда за луною по небу плыла не спеша,
И сумрак окрестность заполнил своей тишиною.
Что можно сравнить с проплывающей в небе
луною, —

Невинную душу, когда расцветает душа.

Так сумерки шли на высокое темя горы
И мысли в слова облекались, подобные чуду.
Уступы Мтацминды, я вас никогда не забуду.
Мне сердце отрадой наполнили ваши дары.

В мое утешенье тот вечер остался со мной.
Его вспоминаю, когда я печалью сторблен.
И сразу от сердца отходят угрюмые скорби,
И Сумрак смывается Солнца рассветной волной.

ТАИНСТВЕННЫЙ ГОЛОС

Чей это голос? Почему
Он скорбен сердцу моему?

Лишь только я познать хотел
Мгновенный мир, родной предел
Покинул, где в кругу друзей
Шло время юности моей, —

С тех пор тот голос слышен мне.
Мой ум преследуя во сне
И наяву, сквозь явь и сон,
Твердит одно и то же он:
«Ищи свой жребий, свой удел,
Ищи себе достойных дел».
Не нахожу. Ищу опять.
Мне скорбных дум не отогнать.

Тот голос следует за мной
Упреком совести земной.

Но в чем? Душа моя светла,
Она не сотворила зла.

Ты ангел мой иль демон мой,
Или Судья судьбы иной,
Кто б ни был, — пред тобой стою:
Чем ты наполнишь жизнь мою,
Ответь и тайну приоткрой:
Мне жребий выпадет какой?

ДЯДЕ ГРИГОРИЮ

Кабахи, дядя, родины твоей
Тебя лишил завистливый язык.
Что может быть на свете тяжелей —
Жить без того, к чему душой привык.

Но в сердце живы милые места
И теневой, и светлой стороной
В глазах твоих родная красота
Не заслонилась красотой иной.

Тебе в плену на Севере невмочь,
Когда в Кабахи свищут соловьи
И украшают праздничную ночь
Пленительные сверстницы твои.

НОЧЬ В КАБАХИ

Люблю окрестности Кабахи, любезные глазам моим,
Прохладу тихой майской ночи, окутанную в легкий дым.
И света лунного нездешний таинственный полунамек,
И освежающий дыханье с Коджор летящий ветерок,
И закипающую бурно и вновь притихшую Куру —
Ее страстей необъяснимых неповторимую игру.

Та ночь была такую тоже, и свет ее меня бодрил,
Я, как обычно, по Кабахи в своем раздумии бродил,
Смеялись девушки, гуляя, и хвастались в кругу подруг
Своею праздничной одеждой, своим изяществом. Вокруг
Их круга юноши толпились, разглядывая их в упор,
Самонадеянно или робко завязывали разговор.
К себе не видя предпочтенья, ушла за облака луна,
К своим земным прекрасным сестрам законной зависти
полна.

Одна из девушек сказала Кафлану, наклоня стан:
«Никто не волен над собою» спой нам, пожалуйста,
Кафлан».

И он запел свободно, страстно, и песня тронула сердца,
И озарила новым светом в азарт вошедшего певца
И лица девушек застывших, вокруг певца сомкнувших
круг.

И грусть напополам с томленьем сердцами овладела вдруг.

Среди красавиц в белом платье стояла девушка одна.
Я увидел ее — и в сердце моем оборвалась струна.
Мне стало жарко и тревожно, я сам не знаю почему,
Расчет и смелость изменили мгновенно трезвому уму.

Когда-то я встречался с нею, но красоте не отдал дань.
Теперь она стояла робко, как в окруженье тигров лань.
Я видел, как изгибом шеи прекрасный излучался свет.
Она мой взгляд перехватила и улыбнулась мне в ответ.
И, ободренный этим взглядом, смиряя сердца перебой,
Я ей сказал: «Безмерно счастлив тем, что положено
судьбой
Мне вас сегодня встретить снова...» — И, тихо голову
склоня:
«Благодарю, — она сказала, — за то, что помните меня.
Плохая память нынче в моде. Знакомых помнить —
тяжкий труд».
А я: «Ни годы и ни моды ваш образ в сердце не сотрут...»

От этих слов по белой коже румянец разливался ал,
А ветер между тем украдкой ее одеждою играл.
Потом игриво, беззаботно вдруг легкий приподнял наряд
И обнажил ее колени, округлые, как виноград,
Потом луна лучом скользнула сквозь ткань по груди
налитой.
И сердце замерло. И мысли пленились этой красотой.

Но в это время кто-то третий, нежней меня и горячей,
Ее по имени окликнул. И — скрылся свет моих очей.

РАЗДУМЬЯ НА БЕРЕГУ КУРЫ

Я отправился в печали в тишину прибрежных скал
И своим угрюмым думам утешение искал.
Здесь я плакал в мягких травах, откровением дыша,
И сливалась с грустью мира грусти полная душа.
А Кура катила волны в ложе каменных оков,
Отражая в быстрых струях легкий трепет облаков.

Опершись о камень локтем, я течению внимал,
И простор земли и неба бесконечен был и мал.
И никто не ведал в мире, ни сегодня ни вчера,
То, о чем повествовала безглагольная Кура.
Почему, я сам не знаю, в этот час с горы крутой
Жизнь предстала предо мною бесконечной суетой.

В этот час, сосредоточась, размышляя, думал я:
Наша жизнь — сосуд скудельный, миг мгновенный бытия.

Кто свое насытил сердце, кто нашел всему ответ?
Нет предела превращенью и желанью меры нет.

Даже сильные владыки, чей престол непобедим,
В чьих руках мирская слава, ненадежная, как дым,
Те цари, которым равных нет в обители земной,
Поднимая меч кровавый, ополчаются войной

На соседние пределы, сея горе, кровь и страх,
Сами гибнут в час урочный и ложатся прахом в прах.
Даже добрый царь не может быть спокойным никогда
В славе доблестных деяний благотворного труда,

В той о будущем заботе государства своего,
Чтобы сын его не проклял в злобе имени его,
Чтоб за ним идущий следом в том далеком далеке
О делах его поведал на достойном языке.

Мы сыны и слуги мира. Нам судьбу его понять.
Слыша мира отчий голос, мы должны ему внимать.
Жалок тот, кого не тронет в мире радость и беда,
Кто живет в миру, о мире не заботясь никогда.

ЧОНГУРИ¹

Времен томительные звуки,
Воспоминанья горькой муки
Тревожат строй моей души.

Услышу ли в своей печали,
Чтоб струны радостью звучали,
Чтоб боль от сердца отлегла.

В твоём звучанье нет восторга.
Опять струна твоя исторгла
Лишь сердца раненого стон.

МОЕЙ ЗВЕЗДЕ

Звезда моей судьбы разгневана давно,
И мне в пылу борьбы любить ее дано.

¹ Струнный музыкальный инструмент.

Тревожно бытие, но для меня близка
Угрюмости ее холодная тоска.

Огонь моей звезды горит через туман,
Но что мне груз беды, тревога и обман, —
Когда моя звезда в метель едва видна,
Душа цветет и радость не бедна.

В каком бы виде ты ни показался мне,
Огонь мечты — в твоём живом огне,
Души высокий свет, прекрасный неба свет.
И твой привет смывает горя след.

Сквозь сумрачную даль блистай в моем пути
И смой мою печаль, и сердце просвети,
Печальная сестра небесного огня,
Как искрами костра, заворижи меня,

НАПОЛЕОН

«Что принесла мне власть?» — спросил Наполеон
И, Францию окидывая взглядом,
Все жертвы славы он увидел рядом
И в сумрак мысли погрузился он.

«Довольно! — он сказал. — Желаньям есть конец.
Я утвердил свою земную славу,
Мощь Франции и отдал ей по праву
Покорность завоеванных сердец.

Но духу моему мала земная плоть.
Я время в руки взял. И я — его надежда.
На нем моя величия одежда.
Меня ничто не в силах побороть.

Судьба. Но что судьба? Я с нею наравне.
Мне никогда возвышенная сила
Не изменяла и не изменила,
Не предпочла других питомцев мне.

Соперников не знал Наполеон,
Среди сильнейших мира самый сильный.
Мне равных нет, и даже мрак могильный
Со мной никем не будет разделен».

И много дней прошло. Его огонь потух.
И вновь воскрес по-новому в помине,
И, словно моря гром, тревожит нас доныне
И поражает мир его угасший дух.

КНЯЖНЕ ЕКАТЕРИНЕ ЧАВЧАВАДЗЕ

Твоя открытая душа
Неповторимо хороша
И в голосе, и в пенье.
В твоих глазах, глядящих вдаль,
Мое смятенье и печаль,
В улыбке — исцеленье.

Всегда и всюду в свой черед
Твое явленье, твой приход
Веселием отмечен,
Открытый смысл твоих речей
Отраден, как живой ручей,
Чист и добросердечен.

Я помню все твои черты,
Когда в застолье пела ты
Про «Соловья и розу»,
И в одиночестве своем
Забыл я тем блаженным днем
Своих печалей прозу.

МЛАДЕНЕЦ

Любезен мне младенца звонкий крик
И лепета неведомый язык,
Который лишь способна понимать,
Как радость рая, молодая мать.

Он мир воспринимает без забот.
Он материнской ласкою живет.
Заботливой улыбкой осенен,
Земную радость созерцает он.

Он радуется радостью без дум.
Что для него страстей мгновенный шум,

Когда родных рождением одним
Он заставляет тешиться над ним.

Что ж, лепечи беспомощно, пока
Тебя лелеет добрая рука,
Пока не повернулся пред тобой
Превратный мир обратной стороной.

СЕРЬГА

Вот мотылек
Садится на цветок,
И рад нарцисс его прикосновенью.
Так и серьга слегка
В колечке завитка
Заигрывает со своею тенью.

Как счастлив тот,
Кто дух переведет,
Губами тронув завиток под тенью,
Остудит пыл,
Которым полон был,
И передышку даст сердцебиенью.

Кто страсти груз
Прикосновеньем уст
Самозабвенно облегчит избыток.
Душой прильнет,
Пригубив, не прольет
Блаженного бессмертия напиток.

ОДИНОКАЯ ДУША

Кто потерял родных по крови, пусть
В отчаянную не впадает грусть.
Невосполнима в мировой глуши
Потеря только сродственной души.

Утратившие близких и родных
Находят мир в товарищах своих.
Родную душу потеряв, душа
Тускнеет, безнадежностью дыша.

Она теряет веру в этот свет.
Страшась, робеет. Утешенья нет.
Судьба ее не повернется вспять.
И некому довериться опять.

Пред нею одиночество, как ночь.
И радость мира отлетает прочь.
Есть памяти печальной бытие,
И только стон — отрада для нее.

* * *

Любимая! Я не случайно
В твоих глазах запомнил страх
И недоверенную тайну
Мне на замкнувшихся устах.

Но не оплакивали эти
Глаза печали мировой.
И лик твой был и чист, и светел
Прозрливостью неземной.

Теперь я оценил значенье
Тех слез, сверкавших в тишине.
Они пророчили мученье
Сиротства, тягостного мне.

Теперь, когда я вижу слезы
В глазах, твоим слезам сродни,
Сквозь стон моей житейской прозы
Я вспоминаю счастья дни.

МОЯ МОЛИТВА

Боже, взгляни на меня, как отец на заблудшего сына,

Страсти мои, приносящие зло, успокой.
Кто, как не ты — всемогущая воля и сила, —
Грешного сына поддержит надежной рукой.

О всеблагой, не лишай меня благ упования.
Вспомни: невинный Адам нерушимый нарушил
закон,

Жертвуя раем, свои исполняя желанья,
Рая блаженство почувствовал все-таки он.

Жизни источник, источника чистую воду
Дай мне испить и недуги мои утоли.
Челн моей жизни избавь от страстей. В непогоду
Тихую пристань открой мне на лоне земли.

Знающий сердце мое, чем оно надрывается, бьется,
В книге судеб наперед мои мысли прочти.
Что мне еще у тебя попросить остается?
Ты и молчанье мое за молитву святую сочти.

* * *

Ты, словно второе светило,
Рассеяла мрачную тень
И сердце мое просветила,
И светом наполнила день.

Ужель ты явилась навечно
В мою непробудную тишь
И смуту печали сердечной
Минувшим блаженством даришь?

Сияй чистотою лазури,
Раскинь золотые лучи.
В заржавленных струах чонгури
Молитвою жизни звучи.

Чтоб я, свою радость не пряча,
Блаженное зрел бытие
И в песне, ликуя и плача,
Восславил сиянье твое.

Клянусь, я не ради забавы
Пред светлые очи твои
Кладу отречение славы
Залогом бессмертной любви,

ЕКАТЕРИНЕ, ПОЮЩЕЙ ПОД АККОМПАНИМЕНТ ФОРТЕПЬЯНО

Касаньем рук
Рожденный звук
И песня-праздник
Уже познавшую обман,
Кровоточащую от ран
Мне душу дразнит.

Я созерцал
Лица овал,
Глаза и шею.
И разум мой
В тоске земной
Следил за нею.

Слеза светла
Из глаз текла
Светлей кристалла,
Грудь облежавшая сполна
Косы распущенной волна
Благоухала.

Лучи очей
Острей мечей
До сердца — мукой.
И улыбался юный рот,
Как роза, вполюоборот
Любви порукой.

МОИМ ДРУЗЬЯМ

Пока на вашу жизнь с улыбкой смотрит утро
И властвует любовь над горечью сердец,
Удары злой судьбы не замечая мудро,
Слезу обид утрите наконец.

За жизнью следом! Медлить не годится.
От пламени любви не отстраняйте лик.
Увы, смешон старик, который молодится,
И трижды жалок юноша — старик.

Хвалю того, кого в любую пору
Любой поры прекрасное зовет.
Довольно будет под гору и в гору
В быстротекущем времени забот.

Когда ж пройдет рассвет и полдень зноем
брызнет.

И ложь вокруг любви замкнет обычный круг,
Я вам даю совет во имя доброй жизни,
Поверьте мне, я знаю тот недуг:

Не увлекайтесь женщиной, чьей целью
Является игра, холодной страсти след,
Влюбленного слова — предлог ее веселью —
Ответную любовь не вызывают, нет.

* * *

Любимая! Бессмертные черты
Твоей души — причина немоты.

Хочу быть солнцем. Протянуть хочу
Закатный луч рассветному лучу.

Хочу звездой быть, предвестницею дня,
Чтоб ликовали соловьи на розах в честь меня.

Хочу, чтоб ты небесною росой
Сверкала над засохшей полосой,

Чтоб влажный блеск росы и солнечная высь
Жизнь озарили и переплелись

И до скончанья мира — без разлук —
Блаженный мир избавили от мук.

Ужель мое желанье не любовь?!
Тогда пусть солнце потускнеет вповь.

И пусть земля под мертвой синевой
Не пахнет розой, не шумит травой.

Пусть женщиной обычной станешь ты.
Но ты полна нездешней красоты.

В своей душе несешь небесный свет,
Для чувств моих определенья нет.

* * *

Я обнаружил храм в пустынном мире.
Был освещен светильником придел.
Хор ангелов, играющих на лире
Давидовой, согласно гимны пел.

Я странником, усталым от тревоги,
Искал успокоения привал.
И сердце, злом убитое в дороге,
Светильником священным согривал.

Принес я в жертву вместо фимиама
Своей любви чистейшую зарю.
Под сводами торжественного храма
Блаженствовал и мнил себя в раю.
Но светлый праздник радости не вечен.
Исчез в пустыне заповедный храм.
Блаженства быстро догорели свечи,
И — в сердце мрак со скорбью пополам.

Мой храм исчез бесследно, без остатка,
Спален дотла зловещим светом дня.
И в мире джи, где пусто все и шатко,
Остался мне светильник без огня.

Любви моей бесплодные свершенья
Не возведут на пещле храм святой.
Превратностью закрыты утешенья.
Я вновь один скитаюсь сиротой.

* * *

Люблю истому глаз твоих,
Вошедшую в свои пределы,
И обрамляющие их
Ресниц пронзительные стрелы,

Я знаю гибель в их огне.
Ведь ими раненный не может
Бежать от них. Понятно мне,
Какая буря их тревожит.

В них и надежда, и приказ,
И исцеленье в смертной дрожи.
И смерть под взглядом этих глаз
Бессмертья смертному дороже.

ГИАЦИНТ И ПИЛИГРИМ

Пилигрим

О гиацинт, где твой отрадный цвет,
Который миру посылал привет?
Где твоего цветенья аромат,
Что опьянял свободной жизни сад?

Гиацинт

О пилигрим, на родине моей
Мне в наслажденье щелкал соловей.
Там май шумит, сверкающ и лучист,
В зеленой роще соловьиный свист.
А я томлюсь в темнице без конца,
Не видя сладкогласного певца.

Пилигрим

Но твой уют надежен и хорош.
Ты утешенье в роскоши найдешь.
От холода и солнца твой побег
Здесь так оберегает человек...

Гиацинт

На что мне роскошь, пленнику в дому.
Темно и душно сердцу моему.
Здесь нет росы. Холодный ключ, звеня,
Не обтекает весело меня.
И ежевики призрачная тень
От солнца не спасает в знойный день.

Пилигрим

Но вспомни зиму, гиацинт. Зима
Тебя спалила б холодом сама.

А здесь от той беды наверняка
Тебя спасет хозяйская рука.

Г и а ц и н т

Последний час на свете есть всему.
Есть срок существованью моему.
Зимой не умирает сад земной,
А встречи ждет с возлюбленной весной.
Когда касатка запоет о ней,
Он зацветет всей зеленью ветвей,
У каждого привязанность своя,
Я расцвету, увидев соловья.

П и л и г р и м

Пойду искать по миру свой цветок.
Он, как и ты, от родины далек.
И, может быть, засохли от тоски
Врачующие сердце лепестки.

* * *

Змеятся локоны твои
По белой груди.
В глазах моих приют любви
Надежду будит.

Когда же ветер их завьет,
Скользнув по коже, —
Глаза мне завистью зальет
И сердце тоже.

* * *

Суровые ветры живительной жизни красу,
Прекрасный цветок мой, сгубили в зеленом лесу.
Он в блеске рассвета сверкал, обряженный в росу,
Но злобное время росу превратило в слезу.

Когда я увижу засохший его лепесток, —
В постылую жизнь животворный вливается сок.
Но длится недолго обманчивой радости срок,
И миг расставанья с последней утратой жесток,

* * *

Не ставь изменчивость, спеша,
В упрек мужчине.
Его любовь твоя душа
Не тешит ныне.

Увы, не вечна красота,
Дар смертной плоти.
За новой красотой мечта
Уже в полете.

Но есть другого чувства свет —
Он небом мечен.
Ему в любви измены нет,
Он чист и вечен.

Таких прекрасных душ родству
Бессмертье кстати,
Как откровенье естеству
Во благодати.

Лишь им доступны навсегда
В прекрасном рвенье
Бессмертной истины звезда
И озаренье.

* * *

Вперед бездорожье. Быстрее, Мерани!
Ворон каркнул. Скрываются горы в тумане,
Мчись, Мерани, свистящего ветра резвей!
Тяжкий мрак моих мыслей по ветру развей.

По горам и ущельям над дикою яростью вод
Нетерпенье мое захлестни быстротою в пути.
Через холод и зной, через пропасть земных непогод,
Не падая седока, обгоняя усталость, лети.

Я покинул отчизну, оставил друзей и родных.
Не увижу любимой и песни о ней не спою.
Свой рассвет и закат повстречав на распутьях иных,
Только звездам поведаю тайну свою.

Только скорости бега и вольности моря
Я остаток любви раздарю, раззадоря
Бурю. Ветер, тоску моих мыслей развей!
Мчись, Мерани, свистящего ветра резвей!

Пусть любимая слез не пролетит надо мною в тоске.
Пусть мой прах не схоронят на старом отцовском погосте.
Ворон выроет яму в пустынном сыпучем песке.
Вихрь ревущий засыплет мои одинокие кости.

Словно слезы любимой, роса упадет на меня.
Прочитанья родных мне заменит злоеца птица,
Так быстрее лети за предел уходящего дня.
Никогда твой хозяин с уделом своим не смирится.

Пусть умру одиноко, отвергнут судьбою,
Сталь врага навсегда презираема мною.
Мчись, Мерани, свистящего ветра резвей!
Тяжкий мрак моих мыслей по ветру развей.

Не бесплодно стремленье души, обреченной в борьбе.
Путь, пробитый тобой, не исчезнет бесследно, как дым.
Пусть собратьев моих, на извечную зависть судьбе,
Быстроногий скакун пронесет по дорогам крутым.

Впереди бездорожье. Быстрее, Мерани!
Ворон каркнул. Скрываются горы в тумане.
Мчись, Мерани, свистящего ветра резвей!
Тяжкий мрак моих мыслей по ветру развей.

НАДПИСЬ НА ЧАШЕ КНЯЗЯ БАРАТАЕВА

Наполнишь вином —
Веселие в нем.
Выпил? На радости!

МОГИЛА ЦАРЯ ИРАКЛИЯ

Князю М. П-чу Баратаеву

О славный царь, колени преклоняю
И слезы лью над именем твоим.

Ты отдал все отеческому краю —
Он царственным предвиденьем храним

Дивлюсь твоим пророческим заветам.
Заботы мудрой нахожу следы.
С твоих посевов собираю летом
Высоких мыслей сладкие плоды.

Твои сыны, заветов не нарушив,
Несут домой познаний чистый мед,
Любовь и просвещение. Их души
На севере растапливают лед:

Их добрый труд служения отчизне
Своим восходом озарит века.
И у кормила управленья жизни
Не меч войны, а мирная рука.

На Каспии сиянье голубое,
И шторм затих от Грузии вдали.
И заменили корабли разбоя
На Черном море дружбы корабли.

Мир праху твоему! Разумной силой
Ты гордый дух Иверии вознес.
Она склонилась над твоей могилой,
Над памятником, выросшим из слез.

* * *

Злой дух, наедине со мной открыто говори:
Зачем и кто тебя послал ко мне в поводыри?
Зачем ты разум возмутил, смутил души покой
И веру юности убил безжалостной рукой?
Ты разве это молодой моей судьбе сулил,
Учил померяться с бедой игрой свободных сил?
Среди страданий рисовал блаженный мир услад.
Ты мне свободу обещал и делал раем ад!
Где обещания твои сегодня? — дай ответ.
От светлых помыслов моих где потерялся след?
Где ты скрываешься сейчас, в какую канул тьму?
И колдовство твоё теперь бессильно почему?

Будь проклят день, когда тебе доверил я в тиши
Слепую жадность чистоты неопытной души.
Знать, суждено навеки ей, как в пропасти, пропасть.
И жажду духа моего не утоляет страсть.

Злой дух, оставь меня, уйди! Я в мире одинок,
Без ясной цели, без пути. Душою изнемог,
Умом изверился во всем над бездной пустоты.
И горе горькое тому, кого коснешься ты.

* * *

Я высушу слезы, тобою угадан.
Душою твою созерцая красу,
И пепел сгоревшего сердца, как ладан,
Безропотно в жертву тебе принесу.

В глазах твоих — райского лета цветенье.
Улыбка — отрадная суть бытия.
Погибель моя и навеки спасенье,
Безумье и ясная мудрость моя.

Склоняюсь пред этим божественным светом.
Твоим добродетелям жить и сиять.
Ты сделала сердце земное поэтом,
Чтоб этому сердцу тебя воспевать.

ЧИНАРА

На скале одинокой чинара стоит молодая,
Над крутою вершиной высокие ветви сплетая.
Там отраднo мечтать в благодатной прохладной тени,
Под журчанье воды забывая превратные дни.

Катит волны Кура. У чинары закинута рука,
Шелестящей листвы усыпляюще-сладкие звуки.
Верю в этот язык! Он, как мир, бесподобен и вечен.
Он живей и прекраснее всех человеческих наречий,

Как влюбленный к возлюбленной, рвется в тоске
бесполезной
В белой пене Кура к той вершине над сумрачной бездной.

Только брызги летят. А чинара стоит молодая,
И горда и надменна, зеленой вершиной качая.

Если только чинара под ветром нагнется устало,
От обиды Кура темным валом ударит о скалы.
Так же тайно и сильно страдает влюбленный навек,
Свет нездешной любви ощутивший в себе человек.

* * *

Хвала создателю твоих достоинств. Словно диво,
Они под солнцем и луной цветут красноречиво.
Я сын у матери один, но, поклоняясь свято
Одной тебе, тобой живу и гибну без возврата.

Я, словно некий странник, жил и нажил в жизни мало.
Есть только бурка у меня да острое кинжала.
Но что богатство мне, когда весь мир в твоём приветѣ
И равных сердцу твоему сокровищ нет на свете.

* * *

Когда я счастлив встречу с тобой,
С твоей улыбкой, радостнее мая,
Я говорю, в глазах твоих сгорая,
Перед твоею и моею судьбой:
Не знаешь ты, как ты любима мною!

Когда разлука повергает в грусть
Мой красотой похищенный разум,
Я, все печали собирая разом,
Высокой скорби сердцем предаюсь!
Не знаешь ты, как ты любима мною!

Я радостью с отчаяньем живу.
Душа моя бессонными часами
То с чистыми роднится небесами,
То кличет смерть, то грезит наяву, —
Не знаешь ты, как ты любима мною?

* * *

Синий цвет, небесный свет,
Неба синего привет,
Первозданный, неземной
С детства светит надо мной.

И теперь, когда остыл
Сердца опытного пыл,
В верности пред синевою
Отвергаю цвет иной.

Я в глазах любви ловлю
Синь, которую люблю,
Светлым облаком чудес
В мир сошедшую с небес.

И мечту земных забот
Синь заветная зовет,
Чтоб любовь сияла там
С синим светом пополам.

Вместо слез родных — на прах
На моих похоронах
Неба синего роса
На мои сойдет глаза.

Жизнь, сгоревшую догла,
Жертвенная скроет мгла,
И оставит легкий след
В синем небе синий цвет.

* * *

В благословенный день я — чаша — создана
И Марте вручена как радости избыток.
Кого гнетет тоска, пусть пьет меня до дна —
И тысячу скорбей развеет мой напиток.

СУДЬБА ГРУЗИИ

Историческая поэма

КАХЕТИНЦАМ

О кахетинцы, Грузии сыны
Исконные, не ведавшие страха,
Вы узами родства приобщены
К высокой славе Маленького Каха.

И если ныне в Грузии живут
Предвиденья Ираклия во многом,
Вам посвящаю этот скромный труд
И оставляю храбрости залогом.

Когда-нибудь за чашею вина,
В кругу друзей встречая час рассвета,
Перечисляя предков имена,
Не позабудьте имени поэта.

К-зь Н. Б.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

«Всевышний пастырь, час подходит лих,
Молю тебя о подданных своих:
На Грузию идущая беда
Тебе сейчас известна, как всегда.

Неисчислимы, господи, враги!
Всезнающий, грузинам помоги!
Над нашу судьбою господин,
Восстанови отечество грузин!» —
Так царь Ираклий высшего царя
Молил, отечество боготворя,

И, словно жертву к небесам, вознес
Взор, просветленный от горячих слез,
Своим войскам пред битвою веля
Собраться на Крцанисские поля,
Чтоб там достойный получил ответ
Жестокий и могучий Магомет.

И в это время с юга двинул враг,
Сияло солнце, разгоняя мрак,
И озаряло поле. Пред собой
Ираклий видел предстоящий бой
И воинов. И обратился к ним:

«Враг в дерзости своей необратим,
Идут войной неверные на нас.
Решается в неотвратимый час
Благословенной Грузии судьба.

Отваги вашей требует борьба.
Сегодня я, как подобает мне,
Средь воинов — со всеми наравне.
Оружие определит в бою,
Кто больше любит родину свою!»

«Благословен создатель твой, что вновь
Дал нам твою почувствовать любовь! —
Ответствовали воины царю. —
Мы все умрем, чтобы продлить зарю
Твоей судьбы. Ты у грузин один.
И что нам враг! Когда любой грузин
Свою надежду видит лишь в тебе,
Готовый жизнью жертвовать в борьбе
И умереть достойно за тебя!»

Ираклий, по-отечески любя,
Внимал присяге верных сыновей
В признательности искренней своей.

Раскат трубы, как гром, скатился с гор,
Войскам последний объявляя сбор.
И этот звук неукротимых сил
Героям Картли¹ дух воспламенил,
Отважил труса на кровавый час
И душу у храбрейшего потряс.

Жестокий бой подогревает гнев,
Как на добычу разъяренный лев,
Грузины ринулись на персиян.
Волна Куры смешалась с кровью ран,

¹ К а р т л и (Карталия) — восточное грузинское царство.

И покраснела пена у волны.
И обе стороны — распалены.
Сын Моурава — енисец Тамаз,
И Абашидзе — кахетинский князь,
Капланишвили — истинный герой,
Бараташвили, левой стороной
Командующий, — как один
Кулак, отвагой собранных грузин,
Ираклием соединенный впрок.
В разгаре битва. Подступает срок,
Как предки завещали, в этот день:
Из ножен — пашки, шапки — набекрень,
Порывом общим каждый осиян
И врукопашную на персиян.
Лишь мрак ночной в раздумье погрузил
Врагов и победителей-грузин,
Затихнул бой. Сраженья грозный вид
Грузинского царя не веселит.
Страшна победы дорогой цена.
Здесь юноши стояли как стена
За Грузию, за жизнь ее и честь.

Сегодня их имен не перечеть.
Развеяны героев имена,
И памятников нет. И письма
Молчат сегодня о презревших страх,
Лишь тишина покоит вечный прах.
Но вашу славу, долговечней плит
Могильных, провидение хранит,
Зовет на подвиг и из рода в род
В грядущие века передает.
О вашей славе не умолкнет весть,
Пока о Магомете память есть.

Царь приказал: «Полезней нам теперь
Вернуться в город, и захлопнуть дверь,
И укрепиться понадежней там.
Отвага завтра не поможет нам,
Когда нас здесь увидит Магомет.
Его войскам числа и счета нет.
А если мы за крепостной стеной
Укроемся, — в его глазах иной
Предстанет наша сила. На войне
Оправданы все хитрости вполне».

Все согласились с доводом царя
И в ту же ночь, не тратя время зря,
Вернулись в город, мужества полны,
В кольцо гранитной крепостной стены.
Настало утро. Но на этот раз
Лик солнечный за тучами угас,
Какой-то мрачный источая свет.
И подступил к Тбилиси Магомет.
Трехсуточная приступа беда
Не причинила крепости вреда.
И Магомет отдать приказ хотел
Войскам покинуть Грузии предел,
Надежду на победу потеряв.
Но был Иуда. В подлости лукав.
И изощрен в предательстве, и тих,
Пожертвовав сородичей своих,
Твердыню стойкости на берегу
Он отдал вероломному врагу.
Когда Ираклий об измене весть
Услышал, — гневом распалился весь.
И был готов обрушить, словно лев,
На Магомета беспощадный гнев,
Но было поздно. Хитрый Магомет
У городских ворот встречал рассвет,
Разыскивая в ярости того,
Кто отнял силу власти у него
Над Грузией, избавив свой народ
От трона иноземного забот.
А в это время доброго коня
Серебряными шпорами гоня,
Мелькая тенью меж гранитных скал,
Ираклий в Мтиулетню¹ скакал.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Волна Арагвы скалы бьет в упор,
Ей вторит шумом лес на склонах гор.
Накаты набегающих валов
Играют отраженьем берегов.
О милые Арагвы берега,
Отрада ваша сердцу дорога.
Пред этой красотой, легко понять,

¹ Мтиулетия — горная местность в верховьях Арагвы.

Любой грузин не может устоять.
Привычно спрыгнет с легкого седла
И позабудет важные дела,
Прервет на время самый срочный путь:
Хлебнет вина, приляжет отдохнуть.
Смежит глаза, пока пасется конь.
Проснется. Воду зачерпнет в ладонь,
Умоется и песню запоет,
И песня по Арагве уплывет,
С ее волной согласно прожурчит,
И дальний путь его не огорчит.

По небу разыгрался, языкат,
Над горной Мтиулетией закат,
И за Арагвой наблюдает с гор
Видавший виды боевой шатер.
В нем царь Ираклий пребывает. Взор
Его скользит по очертаньям гор
В задумчивости, и рука царя
Перебирает зерна янтаря.
С Ираклием советник Соломон.
Его судьба среди доблестных имен
Отечества. С отечеством един
Слуга царя, любимец всех грузин.
Где ныне люди, равные ему
По совершенству действий и уму?

Царь молчаливый долго наблюдал
Игру Арагвы по ущельям скал
И, тяжело вздохнув, промолвил он:
«Ты знаешь мое сердце, Соломон.
Тебе известна Грузии судьба,
Возможности, и сила, и борьба.
Ты исцелял мне раны в час потерь
Советами разумными. Теперь
Раздумий груз, как сыну моему,
Я доверяю твоему уму.

Я испытал, взошедши на престол,
Дух недоверия и произвол.
И насаждать не просто было мне
Дух преданности в этой стороне.
Я помышлял, что скоро, в свой черед,
Узнает благоденствие народ.

Но что случилось?! Средь родимых гор
Я получил предательства позор!
Теперь особенно позабывать не след,
Как жаждет нашей крови Магомет
В гордыне оскорбленной. Каждый час
К тяжелым бедам приближает нас,
На юге и на севере беда
Ждет мига подходящего, когда
Начнут открыто подданные мне
В междоусобной погрозят войне.

Я духом еще крепок, не таю,
Но годы подточили мощь мою,
И не похож Ираклий на того,
Каким ты прежде видывал его.
Кто может ныне доблестью блистать?
Кто Грузии опорой может стать?
Кто восстановит разоренный край?
О господи! Грузин не обрекай
На гибель! Что ты скажешь мне,
Советник мой?.. В далекой стороне
Россия есть. Меж нами с давних пор
Достойный существует договор
И вера одинакова у нас.
И в этот размышлений скорбный час
Защиту Грузии я вижу там
И Грузию — России передам!»

Внимающий суждению царя,
Столь быстрой сменой мыслей, говоря
По правде, был советник поражен,
И так царю, подумав, молвил он:
«Что ты сейчас сказать изволил, царь?!
Продли твои года, господь! Как встарь,
Цари и властвуй, Грузию любя!
Пусть этих слов не слышит от тебя
Отечество возлюбленных грузин...
И продавать свободу нет причин!

Уверен ты, что Грузии народ
В руках России счастье обретет?
Для государства схожесть общих вер
Всеобщему единству не пример.
У двух народов — разные черты.

Как отразится, понимаешь ты,
России сила на судьбе грузин,
И будет ли их общий путь один?
Взаимным уваженьем до конца
Проникнутся ли розные сердца?
Иначе, царь, людей правдивых круг
Ты обречешь на горечь тайных мук,
И память об Ираклии тогда
Кто сохранит на долгие года?
Нет, государь! Забудь свои слова!
Пусть Грузия останется жива!
Пусть так поступит чья-нибудь рука,
К правленью неспособная. Пока
Живет Ираклий, государства честь, —
В несчастье нашем наше счастье есть!»

«Мой Соломон, — ответил царь ему, —
Известно это сердцу моему,
Но для спасенья Грузии пути
Надежнее и лучше не найти.
Не мне в гордыне личности своей
Платить за славу кровью сыновей
Возлюбленных. Я мыслю как отец
Их жизнь благоустроить наконец,
Пока я жив. Лихие дни войны
Тяжелыми потерями полны.
И хорошо известно нам с тобой,
Какой урон принес вчерашний бой.
Благодаренье богу, Магомет
В одном Тбилиси ограничил след
И кровь в округе не пустил рекой.

Необходим для Грузии покой.
Лишь только под защитой русских нам
Под силу будет отомстить врагам.
И будь уверен — доброй славы глас
Среди потомков прозвучит о нас,
И тени предков обретут покой
Над беспощадной вечности рекой».
Смирив сердце из последних сил,
Царю советник тут же возразил:
«Твой замысел, о царь, меня дивит.
Ираклий знает, как светло горит

Отвагою грузинская душа,
Святой свободой родины дыша!»

«Мой Соломон, пусть мысль твоя права,
Но чем грузины подтвердят слова
Твои под гнетом роковых невзгод?
И как Ираклий выведет народ
На добрую дорогу мирных лет?
Я принимаю сердцем твой совет,
Своим раздумьям отрезая путь,
Но ты мои слова не позабудь:
Свою защиту, знаю наперед,
В России только Грузия найдет!»

Так размышляли в час беды большой
За родину болевшие душой
Царь и советник над былой грозой.

Глаза грузин туманились слезой,

Взошла луна и озарила вдруг
Мир радости, сверкающий вокруг,
И голубые звезды в вышине,
И горный воздух в чуткой тишине,
Арагва, освещенная луной,
Играющая вольною волной,
Исторгли тихий одинокий стон
Из уст царя. И вновь припомнил он
Дни беспечальной юности своей
И кахетинцев, искренних друзей,
Когда он, славой не обременен,
Не размышлял над суетой времен,
Героем был Кахетии родной
И не прощал обиды ни одной
Своим врагам. И долго царь глядел
На оскверненный родины предел.
Потом сказал: «Далеко до утра.
Нам возвращаться, Соломон, пора
В Тбилиси разоренный. Тяжек путь.
А я хочу еще раз завернуть
В Кахетию, чтобы постичь ее
Печалей и страданий бытие,
А ты в Тбилиси направляйся вновь.
Там жди меня и встречу приготовь».

Струится утра синеватый дым.
Ущельем Ксанским, думами томим,
Идет советник. Здесь его порог,
Сюда семью в сумятице тревог
Он поселил подальше от врага.
Он повернул на запах очага
И, вспомнив с государем разговор,
Раздумьям в сердце распахнул простор:
«О боже, слава делу твоему!
Ты власть даешь над всеми одному
И поручаешь править до конца
Равно судьбой глупца и мудреца.
И он, как в кости опытный игрок,
Их судьбами играет должный срок.

Но кто дал право для царей земных
Дарить другому подданных своих?
По своему желанью, наконец,
Попрать свободу подданных сердец?
Царю народ достоинство дает,
Чтоб царь собою защищал народ.
Народу служат помыслы царя.
И царь об этом забывает зря.
Быть может, царь, у скорбных дум в плену,
Преувеличил подданных вину
И сердце, преисполненное сил,
От Грузии печальной отвратил?
Но нет, Ираклий понимает сам,
Как он любезен Грузии сынам.

Какой он мыслью сердце нагрузил,
Столь преданное родине грузин,
Кто ведает об этом? Может, он
Обширней нас о нас осведомлен?
Божественные помыслы царей
Непостижимы для простых людей!»

В противоречья мысли погружен,
К порогу дома подступает он.
Его встречает, кротости полна,
София, досточтимая жена,
Чья красота и умный разговор
Еще не позабыты до сих пор.
Увидев мужа смутное лицо,

Зовет его подняться на крыльцо.
И, добрым взглядом мужа одаря,
Расспрашивает о делах царя.

«Боюсь, Софья, тяжелы дела.
Ираклия измена довела
До крайности. Его упорный дух
Встревожен и к моим советам глух.
И в грозном гневѣ наказатъ готов
За непокорность Грузии сынов.
Намерен он, короче говоря,
Просить защиты русского царя.
И я тогда не буду поражен
Переселением прекрасных жен
Из Грузии на берега Невы.
Тогда, Софья, обретете вы
В царе России — доброго отца,
В царице — мать. Без края и конца
Свободу независимости вдруг
И наслажденье роскоши вокруг.
Из Грузии до невских берегов
Не долетают голоса врагов.
Среди палат в чертогах царских там —
Все, что угодно для высоких дам.
Кто пожелает видѣть в том раю
Истерзанную Грузию свою?»

«Скорей мои пускай иссякнут дни,
Мне на чужбине тягостны они.
Холодным одиночеством дыша,
К родной душе не склонится душа,
Осиротевшая в чужом краю.
Ведь нежному не нужно соловью
Роскошной клетки. Лишь на воле он
Свободою родною упоен,
Равно поет и радость, и печаль.
Мне славы человеческой не жаль,
Когда свободы лишена она,
Как ясных звезд ночная вышина.
Ведь человек спасенье от невзгод
Лишь под звездой отечества найдет,
Где душ родство одним огнем горит

И сердце с сердцем просто говорит.
Зачем нам лицезреть чужих царей,
У нас свои достойней и добрей.
Мы к ним привыкли с отроческих лет,
И в нашем сердце им замены нет.
В своих страданиях на земном пути
Что нам еще положено найти?»

..... : : : : :
Предполагал заране Соломон
Застать жену в смятении, но он
Смятенья не нашел и на плечо
Своей жены склонился горячо.
О женщины тех незабвенных лет!
Благословенен вашей славы след
В истории отчизны! Почему ж
Не унаследовала ваших душ
Взлелеянная вами молодежь!
Подобных вам сегодня не найдешь!
Холодный отблеск северных светил
Сердца у наших женщин подменил,
Что им отчизны горе и успех,
Охотницам до собственных утех!
Отчизну на иные племена
Сменяет современная жена!

Взглянул, к Тбилиси приближаясь, царь
Сквозь слезы на развалины и гарь,
На горький прах родного очага,
На след кровавый лютого врага,
На дикое безлюдие кругом,
На ужас запустенья и разгром.
Лишь имена погибших в тишине
Накат волны передавал волне.
И понял царь, что из всего добра
Осталась только в целости Кура.

Так царь вернулся в город. В свой черед
За ним его последовал народ.
Отстроил быстро стены и мосты,
На этот раз не прежней красоты.

Но без тревог не может время течь.
Ираклий снова обнажает меч,
Чтобы престиж на севере спасти,
Чтоб поражение персам нанести.
А к старости таких набрался сил,
Что турок потесниться попросил
И подвигом себя прославил вновь.
Но тщетно было все! Его любовь,
Его душа, познавшая борьбу,
Давно решила Грузии судьбу.

МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ

ЛЕТО

Заполонили женщины метро.
Вагон летит в мельканье светотени.
И, как товар, оформленный хитро,
Белеют обнаженные колени.

И груди в блузах млеют от жары,
Как в лузах бильярдные шары.

Шелк, облегая округленность плеч,
Горит, как трут, и начинает жечь.
И пахнет серой в середине дня
От этого нездешнего огня.

Вагон метро. Сто женщин. Двести ног,
Как балюстрада мраморных балясин,
Пупок у каждой втянут в позвонок
И кожей снаружи опоясан.

У всех, согласно моде, синевой
Подчеркнута прямолинейность взгляда.
Но спрос проходит где-то стороной,
И в воздухе сгущается досада.

Сидят, махнув рукою на мужчин,
Модели Модильяни по порядку,
Как следствия утраченных причин,
Как сфинксы, потерявшие разгадку.

Не замечая, как один чужак
Стоит и от смущения не дышит,
Глядит на них сквозь окуляры так,
Как ангелы, и что-то в книжку пишет.

* * *

Через всех перемирий черту,
Через новой войны маету,
Как слепой марафонец в поту,
Все куда-то бежит человечество.

* * *

И вот ко мне из неоглядной дали
Явилась смерть без боли, без печали.

Моей судьбы последняя страница
Слезами ваши омрачила лица.

Я не заметил появления смерти,
Надписывая адрес на конверте,

Когда мое на стол склонилось тело
И светлое пространство потемнело.

Потом я без определенной цели
Куда-то шел проспектом Руставели.

И смех друзей, и звон застольных песен,
И голос птиц был чист и интересен.

Там стол от яств ломился под платаном
И виноград глумился над стаканом.

А в это время вы, меня оплакав,
Стояли долго среди могильных знаков,

Обычая и уваженья ради,
С задумчивой тревогою во взгляде.

И только я, наперекор кручине,
Уже куда-то мчался на машине.

Жизнь продолжалась, как всегда, сначала
И перекрестной рифмою звучала.

Весну спокойно заменяло Лето.
И Осень в Зиму превращалась где-то.

ПОЭТЫ

То — в тишине волнения пора,
То — в страсть движенья миг покоя вкраплен,
Но наша жизнь всегда чернильной каплей
Висит на самом острие пера.

* * *

Ты — здесь. Ты — рядом. Только чуду
Твое подвластно бытие.
На всем, чем я живу, — повсюду
Лежит владычество твое —
И в час труда, и в час забвенья,
В миг встреч дневных, ночных разлук...
Так волн морских нагроможденья
Мы ясно ощущаем вдруг,
Не видя их. Так вздоха толком
Не замечаем мы, дыша.
И подтверждает слово только,
Что в нас присутствует душа.

* * *

Что делать мне? Как мне о том сказать?
Где мне добыть покорность мысли слову?
Как мне присвоить и с моей связать
Твоей судьбы стихийную основу?
Как я гордиев узел развяжу?
Как роковую разрешу задачу
Ты — не моя? Зачем же я дрожу,
Страшась того, что я тебя утрачу?

МОНОЛОГ РЕМЕСЛЕННИКА

Продав перо и позабыв при этом
Свою причастность к рифмам и поэтам,
Родной язык на клей переваря,
Открыл я мастерскую кустаря.
Я склеиваю разные безделки:
Чернильницы, кувшины и тарелки,

Стекло, фаянс, пластмассу и металл —
И кажется, что сам я клею стал.

Стараюсь я, чтоб снова были святы
Обычай, надежды и мандаты,
Нарушенные клятвы и сердца,
Разбитые еще не до конца.
Над грудой этих неотложных дел
Я, словно старый Гамлет, поседел
И сгорбился, наладить торопясь
Времен и душ разорванную связь.

ВЫХОДЯТ ЗАМУЖ АНГЕЛЫ

Знать, посходили ангелы с ума:
На нашу Землю, в грешные дома,
По светлым струям дождика с небес
Спускаются, страстям наперерез,
Обменивают крылья на фату
И — свадьба славит брачную чету.
Выходят замуж ангелы. Пора
Земной любви, любовная игра
Им по душе. Им скучны и пусты
Молитвы, песнопенья и посты
Строжайшие. И гвозди из креста
Идут на каблучки. И неспроста,
Хозяйками войдя в семейный храм,
Толстеют наши ангелы.

А нам
Что оставалось делать, если нас
Любовь испепеляла блеском глаз
И мы готовы были за нее
Лететь на небо и в небытие?!

* * *

Когда под вечер замыкают звенья
Боль отчужденья и тоска времен, —
Я набиваю дробью вдохновенья
Своей души отстрелянный патрон.

К N...

Идти меня не призывай
К святыне нового порога.
Не жди. Я в твой не верю рай.
И знай — я не меняю бога.

И не играй со мной в слова
В открытую и под сурдинку.
Ты на своем пути права.
Я прав, торя свою тропинку.

Я знаю, веря в старину,
Что в ней прекрасно, что в ней плохо.
И от меня в твоём плену
Жди не смиренья, а подвоха.

Я маску друга или раба
На душу песни не надену.
Тебе сулит моя судьба
При первом случае измену.

* * *

Пространство — расстояние до Конца,
А Время — ожидание Окончания.
Всеми свой финиш. И томит сердца
Стремительность полдневного сияния.

Но вечер близится и тяжелеет взгляд.
И Мысль острее, и Надежда глуше.
И Расстояние с Ожиданием, в ряд
Встающее, тревожит наши души.

* * *

Я не глупец и не хвастун
Перед своей страной.
Как мне ее коснуться струн
Своей души струной?

Как оправдать и соль, и хлеб,
Как стать «одним из тех»,

Чтоб жил в судьбе ее судеб
Моей судьбы успех?..

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД

Дымится воздух. Высохли моря.
Земля дрожит и крошится порода.
Бежит, о передышке не моля,
В боях полуразбитая Природа.

Хрипят ущелий пересохших рты,
Земные недра стонут от разбоя.
И, как легионеры правоты,
Деревья молча умирают стоя.

Уходит жизнь из своего жилья.
Как ток, как стог, пылает поле боя.
И больше не услышать соловья
Потомкам в час вечернего покоя.

Уходит все. Последний чуя срок,
Бегут олени, уползают змеи.
И тигру инвентарный номерок
Уже не сбросить с арестантской шеи.

Природе не понять своей вины.
Все уже круг. Все ближе оккупанты.
И скверы в городах обречены
На верную гибель, как десанты.

С большим запасом прочности не зря
Построенные, беспощадно жалки,
Как всех военнопленных лагеря,
Бетонные пустыни — зоопарки.

Мы выиграли славную войну,
Мы вырвали победу у Природы,
Грозами оглушили тишину,
Леса срубили, отравили воды.

Чего ж еще! Давай кричи «Ура!»,
Пока не дорасходована смета

И не пришла последняя пора,
Последний срок последнего рассвета.

«ПОЭТ»

Оседлав трибуну с бою,
Словно пушечный лафет,
Крутит лихо головою
Перед публикой поэт.

Хлещет спереди и сзади,
А потом наоборот,
Словно пулю в пулю садит
Длинной очередью рот.

Шпарит, рифмами играя,
Той картиной веселя,
Где «от края и до края
Простирается земля».

И смеется, и зевает,
И печалится народ,
Потому что точно знает,
Что он скажет наперед.

Где прибавит к «солнцу» — «ярко»,
Где вздохнет — и потому
В виде лучшего подарка
Аплодирует ему.

Обе стороны неплохо,
Словно разные миры,
Соблюдают без подвоха
Твердо правила игры.

И смолкают в общем трансе
Восхищения вдвоем.
А земля плывет в пространстве
Словно бомба с фитилем.

Мимо ада, сбоку рая,
И не ведает о том,
Что «от края и до края
Простирается» кругом.

P. S.

Я говорю избитые слова
Затем, что в них подозреваю средство
Как можно дольше сохранить права
На юность и на золотое детство.

Я отдал дань новаторству и вновь
К своей старинной возвращаюсь лире.
И лучше рифмы, чем «любовь и кровь»,
Увы, не нахожу в подлунном мире.

Банальность или душевное тепло,
Наивность, запросившая отсрочку, —
Та самая, что мудро и светло
Естественностью оживляет строчку.

Так будем откровенны до конца,
Оценивая, не играя в прятки,
Высокие банальности лица
Поэзии, оставшейся в достатке.

Банальна ласка материнских глаз
И старые Истории страницы,
И женщины прекрасной, как алмаз,
Взгляд, поражающий из-под ресницы.

Он был в употреблении. Он стар,
Тот блеск алмаза яркий и печальный,
Тот Время поражающий кристалл,
Как Вечностью, Поэзией банальной.

Как тем самозабвением в ночи
Неповторимой страсти без расчета.
...А впрочем, хватит, сердце, не стучи
В давным-давно открытые ворота.

РИВА БАЛЯСНАЯ

* * *

Ты душу мне поджег.
И в пламени скользя,
Мне без тебя, мой бог,
Как без стихов, нельзя.

Я слишком много лет
Была святых святей,
Мучительный ответ
Ища среди людей.

Что сердцу и уму
Досада и упрек?
И вечным «почему»
Сегодня кончен срок.

Настало — маску снять,
В открытую глядеть.
Тебе повелевать
Моей душою впредь.

* * *

А ты прости сейчас меня, тоску и зависть извиня,
Насколько же твоя жена счастливее меня.

Она в сравнении со мной — как жухлая трава,
Но что поделать, — у нее есть на тебя права.

И незачем качаться ей рябиной на ветру,
Вести с душою и молвой позорную игру.

А у меня в плохой игре всегда веселый вид,
Хоть ночи длинные мои проплаканы навзрыд.

Любить — не только счастьем жить, тревогу утоля,
Моя любовь на мне лежит, как на плечах петля,

* * *

Я для тебя сгорела навсегда,
И этот свет остался одиноким.
Ты стал теперь мне дорог, как звезда
Своим огнем, холодным и далеким.

* * *

Мне кажется порой, что расстояний нет.
Есть бунт в крови, молчание — в ответ.
Не надо глаз. Как скульптор, поспеши
Прочтешь душой лицо моей души.
Коль можешь, изваяй мне сердце изо льда,
Чтобы растаяло оно слезою без следа.

Дошло к тебе, сверкнуло вдалеке
Солиной счастья на моей строке.
Ах, глупый мой, ты ищешь ложный след:
Есть только я, все остальные — бред.

* * *

Тик-так!
Тик-так!
Это сердца мерный такт.
Мне тревожно и легко.
Ходят песни высоко.
Песни чистые летят
От обид и от досад,
Бьются сердцу в унисон,
Стерегут мой легкий сон.

Тик-так!
Тик-так!
Это сердца мерный такт.
Скоро восемь. Ну и что ж!
Все равно ты, сердце, ждешь.

Ждешь, уставши от потерь, —
Ты придешь, откроешь дверь.

Тик-так!

Тик-так!

Сердце мечется не в такт.

Счастье милое двоих.

Чуть касаюсь губ твоих.

Сердце легкое, беда,

Улетает в никуда.

Хорошо, что я поэт, —

Для меня границы нет.

* * *

Идет гроза, и дождь прядет волокна,
Косые струи барабанят в окна,
Бьют в медь дверей настойчивой рукой.
Пусть мне в поводыри приходит непокой.
Мужают люди под грозой самой.
Омытый ливнями, свежее свет земной.
Бой закаляет нежность. Мир таков, —
Он штормом учит юных рыбаков.

ПЕТРУ ЗАДНИПРУ,

ГАЗЕЛИ

Цепочкою, с карниза на карниз,
В долинный мир спускаются газели.
Я — снизу вверх,
Газели — сверху вниз, —
Друг друга различаем еле-еле.

Смотрю на взлет отвесной высоты
Беспомощностью достиженья цели.
С вершины мира
В мир моей мечты
Божественно спускаются газели.

И свет их глаз,
Их грация и стать
Душе моей
Мир раскрывает шире.
И кто сейчас надумает стрелять —
Меня слепым
Оставит в этом мире.

БРАНКО РАДИЧЕВИЧ

РЕВНОСТЬ

Пел день тогда в вершинах тополей.
Я вспоминал тебя своей душою грешной.
Ты шла купаться облака белей.
Я мучился от ревности кромешной.
Я к рыбам ревновал, и ревновал к реке,
И к женственной ольхе твой образ, недотрога,
И юный клен к тебе тянулся налегке.
И на твоём челе росли два белых рога.

Пел день тогда в вершинах тополей.
Попарно звери шли. Сменили гнев на милость
Два белых родника, томясь в груди твоей.
Чтоб увидеть тебя, тростник на два коленица вырос,
Я на колени только мог упасть.
Мне страсти первородной было мало.
В очах твоих плыла туманом власть.
И все во мне кипело и страдало.

Пел день тогда в вершинах тополей,
И бедра крепкие, как бедра танцовщицы.
Два рога проросли на голове моей.
И ты бежала вдаль быстрее буйволицы.
Был сумасшедшим яростный галоп
С утра до ночи через луг и жито.
И я смотрел на побледневший лоб:
Зрачки — в зрачки, в открытую — открыто.

И день умолк в вершинах тополей.
Корнями кверху поднялись деревья.
Глаза у волка сделались добрей.
Шептали рыбы тайные поверья.
Два неба появились на реке.
Людским теплом любая ветка волгла.
И черный месяц выплыл вдалеке
И губы вытянул и тронул шкуру волка.

И день умолк в вершинах тополей.
И ты легла на папоротник колкий,
Рога пропали с головы моей.
А ты могла принадлежать и волку,
И мне равно в тот вечер. Наугад
Я уходил, я убегал чащобой.
И спину мне ожег упрямый взгляд
Твой или волка, — разбери, попробуй.

ИЗЕТ САРАЙЛИЧ

ПОСВЯЩЕНИЕ

Посвящаю тебе я глаза свои, губы и руки.

Песни.

Впрочем, что тебе песни дадут? Я писал их, молчать не умея,

Впрочем, что тебе песни мои! Ведь они не умеют любить.

Мы с тобой не похожи на птиц или на богомольцев.

Не упругие крылья, а сильные руки у нас

И последнее в Жизни не может быть нашею Смертью,

Ибо страсть нашей крови свое продолжение найдет.

Ты ведь женщина.

Девочка.

И не тебя ли

Мне в баллады мои августовский занес листопад.

У меня есть Люблю, неподвластное всем переменам.

Оставайся в глазах моих и доверяйся ему.

Мы еще проживем дольше наших холмов надмогильных,

Ибо мы научились и в грубости нежность беречь.

От гранат и ножей уходя, мы в себе убивали жестоко

Светлых ангелов,

Чтобы

Вернуть себе их чистоту.

Ах, потомки!

Когда-нибудь нас по багровым следам отыщите.

Под безмолвной землей только наших не трогайте тел.

Осторожней ступайте:

Ведь можно нам губы поранить

Или мертвые взгляды

Случайно в траве затоптать.

ЙОЛЕ СТАНИШИЧ

* * *

Ушел я в лес зеленый, кроткий,
Стряхнул оковы городов,
Смотал дороги, как обмотки
Моих скитальческих годов.

Весны зеленые туманы
Мне обнажили в тишине
Всю боль земли моей и раны,
Кровоточащие во мне.

Там заросли, как виадуки,
Сплетались с отраженьем звезд:
Ветвей внимательные руки
Держали шапки новых гнезд.

И этот лес в рассвете раннем
Был чувству моему под стать.
Я стал опять воспоминаньем.
Я стал желанием опять.

ЧИТАЯ СКАЛЫ

Дивлюсь на прекрасные миги
Познания первой зари.
Там скалы раскрыты, как книги,
Как первой любви буквари.

Там, между слоями, в неверной
Неволе встречающий день,
Сплетением огненных нервов
В базальт засучкован кремень.

Не молния ль это влетела
В скалу и застыла во тьме

И ждала себя до предела,
Своей удивляясь тюрьме?

И светит как рваная рана
Через железняк и гранит
И гневной звездой урагана
На сломанной мачте горит.

Горит, словно вызов железной
Тюрьме, обреченной на слом,
И время связует над бездной
Растрезанной ночи узлом.

Один я. Свободная птица,
Поющая песню, я.
И древняя эта страница
Застывшего здесь бытия.

Ущелья уходят, как штольни
В седые глубины веков.
И каменных скал колокольни
Молчат под грядой облаков.

ОРЛЫ СЕДЕЮТ...

Орлам в ущельях тяжело дышать.
Орлы седеют в ледниках,
Где тени
Их мощных крыл вмерзают в ледники.
Орлы седеют в скалах,
Где рассвет
Слепит глаза,
Где глупые птенцы
Срываются из гнезд,
Где солнце
Заходит, как бескрылое желанье,
Где сумрак рассыпает в вышине
Пригоршни звезд,
Где песни,
Слетев,
Не возвращаются обратно.
Орлы седеют над тоской ущелий
От бдения,

И капли молний
Им обжигают перья и печаль...

* * *

Над снежным нагорьем
Летят журавли...
Долетят ли?
Умолкни, сомненье!
И холодом
Крылья не тронь.
Как черные всадники
С копиями молний,
Рассейтесь,
Осенние тучи! Иначе
Заплачут о птицах
Далекой земли берега.

Под ними холмы
И долины пожаром дымились,
Их легкие крылья
Огонь погасить
Не могли.

Летят журавли
Над хребтами, покрытыми снегом.

* * *

Плющ, обвивая, убивает тополь
Побегами надежней тетивы.
И только ветер понимает ропот
Зеленой умирающей листвы.

Оковы слово оплетают тесно
И к горлу песни тянутся давно.
Но только Солнцу да свободной песне
Седую Землю исцелить дано.

Когда вернусь, наверно, тополь старый
Уже погибнет от тоски измен.

И отчуждением по глазам ударит
Слепое горе опустевших стен.

Но на судьбу ненужные укоры
Я в сердце одиноком затворю.
Уйду с печалью в сумрачные горы
И с ними на заре заговорю.

Склоняясь над живыми родниками
В зеленом царстве молчаливых гор,
Я буду слушать жадными глазами
Поэтов мертвых древний разговор.

ОДА ПАМИРУ

Живут Ганнибалы. Как прежде,
Кровавы Неронов дела.
Мне крылья высокой надежды
Гора на распутье дала.

Страх мучит в ночи Тамерланов.
Времен беспощаден клинок.
Но зори из тонких туманов
Сплетают Памиру венки.

Стоит он, раздвинув плечами
Седой караван облаков,
Рассвет пронося над ночами,
Над распрей племен и веков.

Стоит он, высокий, могучий,
У светлой надежды в чести,
И бремя страдания учит
Сквозь вечную бурю нести.

Я знаю дороги пустыни,
Где плавает мутная мгла.
Сейчас я увидел, как иней
Белеет на крыльях орла.

Сейчас я увидел, как в бездны
Ты стряхиваешь обвал.

Услышал, как грохот железный
Гремел по расщелинам скал.

Под каменной крышею мира
Понятна мне горская честь.
В суровой осанке Памира
Бессмертие мужества есть.

Он тянется к солнцу сквозь тучи,
И солнце всех ближе к нему.
И ветер не в силах колючий
Сорвать ледяную чалму.

Судьбою упрямой и дивной
Он с песней моей заодно.
И падают звездные ливни
Бездонным ущельям на дно.

* * *

Моя звезда
На яворе высоком,
И свет ее
По зелени разлит.
И ветер хочет
Бешеным наскоком
Сорвать ее
И вдребезги разбить.

Но он бессилен.
Всей судьбой доныне
Я оставался верен
Только ей.
Она одна
Сверкает на вершине
Моих надежд
И юности моей.

МИКОЛА БАЖАН

ПЕРВЫЙ СНЕГ

...И только твой след на чистойшей пороше,
Подчеркнутый синюю тенью, притих,
Уж сердцу теплее под легкую ношей
Парящих снежинками мыслей моих.

Они покрывают покровом волнистым
На сердце глубокие шрамы беды.
И снова под настом мне слышится чистый
Серебряный лепет весенней воды.

И сердце пульсирует почкой березы
В придуманном мною апрельском тепле,
Где настужь распахнуто небо и грозы
В сверканьи капель идут по земле.

А капли звенят и блестят как сережки,
С березовых веток бегут на карниз,
Чуть-чуть повисят, покачнутся немножко
И струнами страсти срываются вниз.

Весна наступает. И пахнет весной
Стыдливой, как девичий вздох, снегопад.
Мы — рядом. Мы медленно входим с тобою
В наполненный каплями музыки сад.

Созвучья колышутся травами в поле.
Мелодией вьется тропа через луг.
И тихое сердце по собственной воле
Спокойно вступает в заснеженный круг.

И я, через все проходя, вспоминаю
То, что никогда позабыть не смогу.
И нежно в ладонях своих поднимаю
Твой след, отпечатанный в теплом снегу.

На луг летит благословенье снега.
Он кружится, мелькает, мельтешит,
Колышется. Спешит на землю с неба
Тишайшей тайной опыта души.

Хмель сумерек седое сердце кружит
Под куполом серебряной зари.
И из глубин души летят наружу
Пурпурным фейерверком снегири.

И я пойду в ту даль за дальней далью,
И где-то там, забыв земные сны,
За тем пределом, над своей печалью
Растаю на ладонях тишины.

И новое пространство открывая,
Из снов земных вступая в сон иной,
Я молчаливо добреду до края,
Завороженный вечной тишиной.

ВАЛЬС СИБЕЛИУСА В ЛЕНИНГРАДЕ

Нике

В бессонницу белого света, неярко
Сквозящего в сумраке старых аллей,
Пустынной тропинкой Приморского парка
Мы входим, причастные грусти своей.

Прислушайся, милая, и запечалься
Движением лет и полетом минут,
Как вздохом, приливом старинного вальса,
Для радости нашей возникшего тут.

Прозрачность смещения света и тени,
Прозрачность и призрачность трав и воды.
И эти смычки, словно стебли растений,
По струнам поющим на грани беды.

И музыкой смыта дневная забота,
И светит предчувствия чистая даль

И сердца прозренья на пол-оборота
Звучаньем любви приглушает печаль.

И всеми оттенками звезд перламутра
Играет, на мель набегая, вода.

И белая ночь, уходящая в утро,
Там, в памяти нашей любви. Навсегда!

НАТАЛКА БЕЛОЦЕРКОВЕЦ

ДВЕ СКАЗКИ

I

Мальчик домой возвратился с войны.
В доме его ни дверей ни стены.
— Мама! — позвал он, по матери вет.
Только собака завыла в ответ.
Мальчик с собакою хлеб разделил.
На ночь шинель на двоих расстелил.
Лунною ночью в покой тишины
Белая мама спустилась с луны,
Сына ласкает, за кудри берет,
Ножку куриную Жучке дает.
— Не пожалею тебе ничего,
Ты приласкала сынка моего.

II

Щенок и мальчик в лопухах молчат.
Мать и собака на солдат кричат.

Мать и собака на ветле висят.
Щенок и мальчик в голос голосят.

...Как ясен день.
Как лопухи тихи.

Как тихо солнце смотрит в лопухи.

САД

Не боль, не боль,
Не смех, не грех,

А сад
И в том саду орех.

Орехов
На его ветвях,
Как добрых дел
В людских руках.

И для меня,
Круглее всех,
Один-единственный
Орех.

В живой траве,
Растущей тут,
Живые с мертвыми
Идут.

Идут сквозь боль,
Сквозь смех и грех,
В саду,
Где вырос мой орех.

* * *

На грудь мою твоя рука легла.
И тихо стало.
И закружилась солнечная мгла
И напугала.

Мне рук твоих не оттолкнуть, не снять.
Стою. Не умею.
Обнять бы мне тебя, поцеловать,
Но не умею.

Душа моя, рассудку вопреки,
Себя не прячет.
Но рвется сердце из твоей руки
И, слышишь, — плачет.

На Киев дождик с тихой рани
Идет весь день. И смуглый клен
В роскошно выросшем бурьяне
Читает летопись времен.

Летят года, как листья с клена,
Летят, серая, как зола,
С волной колеблемого звона
На души и на купола.

Отзолотеет Византия.
Придет монгол. Уйдет монгол.
И снега белая стихия
Прикроет жуткий произвол.

Но листья кленов на погосте,
Сама земля и солища свет
Согреют наших предков кости
И россыпь эллинских монет.

ГИМН

О юность, юность! Виноград и слива!
Хмель с яблоком! Но не твоя вина
В том, что немая смерть несправедлива
И самой крупной солью солона.

Но вновь и вновь, как звезды среди ночи,
Закрученные ритмом старицы,
Потухшие пленительные очи
На молодом лице повторены.

И эта юность новых побережий
Всей жаждой крови на пути вперед
Из уст в уста, как выдох счастья свежий,
Любовь приемлет и передает.

Там праздник тела моего и плоти,
Высокой страсти огненный виток,
Моя душа раскрытая в полете,
Как солнцем обнадеженный цветок.

А смерть всегда приходит слишком рано, —
Жизнь рвет, как парашютное кольцо,
Наносит окровавленные раны
Летающей пулей времени в лицо.

Седая Вечность точно и умело
За нею посылает корабли.
И вот, как соль, мое белеет тело
На черном хлебе вскопанной земли.

Но вновь и вновь, как звезды среди вояч,
Уже опять мелькают без конца
Прекрасно повторяемые очи,
Улыбки, губы, лица и сердца.

Нет смерти, нет! Мы любим на кладбище.
Мы жизнь воспринимаем во плоти.
В себе живых давно ушедших ищем,
Пророчествуя новые пути.

САВВА ГОЛОВАНОВСКИЙ

ГОРАЦИИ

Гораций Флак — первоизбранник муз,
Защитник Рима, призванный войною,
Повел себя, как паникер и трус,
И повернулся к мужеству спиною.

Струилась кровь на месте смертных сеч,
И Брут еще не утвердился в Риме,
Гораций Флак забросил щит и меч
И в тыл подался, прятаясь за другими.

Не удивил он подвигами мир.
Его в тылу иная страсть забрала:
Там он решил, что слог его сатир
И громких од надежнее забрала.

Издаലെка он воздавал хвалу
Солдатам паступленья и свободы.
Мечи героям делают в тылу,
Но храбрости — в траншеях пишут оды.

Отходчивы у воинов сердца:
И после боя тянутся к прощенью.
Я сам душой поэта и бойца
Учил любить и не учился мщенью.

Меч в плуг перековали кузнецы.
А я припоминаю без реляций,
Как погибали верные бойцы
И с поля боя убежал Гораций.

ЗИМНИЙ ЭТЮД

И вновь следы в полях позаметало,
И сумерек снотворна пелена.
Чистейшее накинув покрывало,
Извечным сном заснула целина.

Под белым пухом провода провисли.
И по сугробам, друг за другом в след,
Идут стволы, и в передаче мысли
Как будто бы другого средства нет.

Спокойна степь. Тиха, и благодушна,
И немотой велпкой хороша.
И, как ребенок, немоте послушна,
Молчит новорожденная душа.

И все сначала — первые попытки
Раскаянья, восторга и греха.
И предстоит впервые до калитки
Протаптывать тропинку для стиха.

МАРТ

Еще зима вчерашняя грозна
В каком-то озлоблении глубинам.
Но нежная рассвета желтизна
По горизонту проступает соком.

И снег захватывает синеву.
Туман, как пар, пластается над полем.
И запад розовеет наяву,
И душу наполняет непокоем.

Безмолвие. И утра сны легки.
И через легких снов непостоянство
Из труб струится серые дымки
В умытое прозрачное пространство.

Над шифером оттаявшим спираль
Седого дыма вьется мелким бесом.
Ее сшибает и уносит вдаль
Легчайший ветер над туманным лесом.

А день спросонок дышит с вышины,
Вернее, только пробует дыханье.
И стряхивает капли тишины
Дремучий бор под веток колыханье.

Дым, словно шерсть, клубится в мокрой мгле
В перемещение белизны и сини,
И припадает волнами к земле,
И заливает ямы и низины.

И этот дым, струящийся в тиши,
Показывает новую примету
Святой прямолинейности души
В ее стремление к высоте и свету.

ИВАН ДРАЧ

* * *

С чего ты, сердце, вздумало болеть?
Пора б тебе чуть-чуть забронзоветь, —
А ты кипишь от боли и от мук.
Огонь все шире раздвигает круг.
И там во мне, на золотом огне,
Жар-птица появляется на дне
Души моей. Торопится в полет
И мысль мою электрошоком бьет
В момент рожденья, раздирает грудь,
Раскраивает будничную суть,
Все твердое на свой кромсает лад
И все живое превращает в ад,
Из клетки ребер вылететь спеша.
И нищею становится душа.
В душе бездушно. Пепел да зола,
И маленькое перышко с крыла
Жар-птицы, вылетевшей из меня.
Тем перышком о клетоте огня
Пишу своих воспоминаний свод,
Весь прокопченный, словно дымоход.
Потом врачую язву странных ран,
Используя кавупер и катран¹,
И клятвою последнею клянусь,
Что я на пепелище не вернусь.
...Но чувствую, что это не конец:
Опять проклевывается птенец,
Растет и начинает токовать,
Вогнав мне в душу меч по рукоять.

СПИНОЗА

Чему-то научённые мальчишки
И в чем-то перенаученные сидят

¹ Кавупер и катран — лечебные травы.

И слушают транзистор, а над ними
Гудят в деревьях майские жуки.

Но жадные к познанию мальчишки
Жуков сбивают и, искусно им
Соломинки для скорости вставляя,
Пускают их в Галактику: лети!

Веселнем перенасыщен воздух,
И гулкий хохот катится в пространство.
А тучная корова на витрине
Крещатика рыдает.
...И летят

Ракетами по трассам межпланетным
Заплаканные майские жуки
К высоким звездам с жалобами на
Изрядно образованных мальчишек.

«Природа состоит из атрибутов
Законченных», — оповестил Спиноза
Научный мир,
но, чувствуя в себе
Соломинку, рванулся с пальца в небо.

ПИСЬМО КАЛИНЕ, ОСТАВЛЕННОЙ НА РОДНОМ ЛУГУ В ТЕЛИЖЕНЦАХ

Мне некому писать. Из всей большой родни,
Калина милая, остались мы одни.
Последней тетка, в том родном углу,
Поникла веткой, обронив во мглу
Серебряные листья на траву.
А ты — живи!

Во сне и наяву,
Оставив Вислу, Енисей, Дунай,
Спешу к тебе в благословенный край,
Из дальних стран лечу к тебе одной
И называю матерью родной,
Лицом касаюсь до твоих колен
И плачу, прославляя этот плев.
Мне некому писать. Осталась ты одна.

Со всей земли моей душе видна.
Куда мне деться? Я навеки твой.
Прошелести мне звонкою листвою,
Пусти по ветру огненную медь
И гроздьями червонными ответь.
На Енисей, на Вислу, на Дунай
За бабу Танасину отвечай
И за Килину тоже.

Как они

В тени твоей свои проводят дни
На свете том, судача о беде
На земляной завалинке.

Там, где,

Наверно, курят горький самосад
Дядя мой, что не придут назад.
О их судьбе нелегкой напиши
Великодушием своей души.
Ответь за них красой своих ветвей
Святой заботе внуков и детей,
Весенние соцветья им вручи
И памяти достойной научи,
И для меня, росу роя в Рось,
Хоть весточку сквозь время перебрось.
Пусть сок твоих калиновых корней
В моих побегах верности верней
Течет по жилам, пусть моя строка
Твоей печалью будет глубока,
Чтоб память о тебе осталась в ней.

Расти, моя калина, зеленой.
И мне калинописью отвечай
На Припять, на Севан и на Алтай,
Там, где мой конь крылами бьет снеча.

Ты — моя совесть. Ты — моя душа!
Так будь всегда здорова и права!
Ты не пойдешь, калина, на дрова.
За целый мир тебя я не отдам.
Так зеленой навстречу всем ветрам
И осеняй мои дела и сны
Бессмертным светом правды и весны.

МАДОННА-СТЮАРДЕССА

— Беги! — кричали летчики, — беги! —
...С чужим дитем сквозь гибели круги,
Сквозь крик и стон, через живой погост
Она бежала самолету в хвост.

И все погибли... Лишь она одна
Мадонною погибели со дна
Из-под обломков встала впереди
Людских тревог с ребенком на груди.

Сама ребенок. Но уже как мать
Она его умела понимать
И чувствовала, как под пиджаком
Грудь щекотало первым молоком,

И плакала. К обломкам корабля
За ней машину выслала Земля.
Жизнь продолжала в мире торжество.
А в Ней сияло жизни рождество.

СВЕЧА

На дне ночей моих
Свеча горит белея.
Шел ветер — не задул.
Шел вол — не потушил.
Шел резвый конь — но гривой не смакнул.
Шел танк — на цыпочках,
А самолет — с зонтом
Распахнутого неба —
И не погасили!
Нет!
Осторожно каждый проходящий,
Склонясь к моей, свою зажег свечу.
Шел ветер — со свечой.
Шел конь — и нес свечу.
И вол, и танк, и самолет несли
Своих свечей мигающее пламя.
Шел с маленькой свечой большой дворец.
И маленький комарик — большую нес свечу,

И где-то
На глубине ночей моих горела,
Не потухая, белая свеча.
Звучит во мне томительная радость,
Поэт во мне мучительная радость,
Невыразимая до немоты,
А где-то там, на дне моих бессонниц,
Свет излучает белая свеча.

* * *

Мне Грузии твоей грудь распирают горы,
и ветер в уши бьет, и стонет перевал.
Сурами видел я, в Рустави был и в Гори,
но рогом голубым ты путь мой оборвал.

Что знал я про тебя! И мне стихов отраву
из рога твоего дал выпить Пастернак,
и ты к губам моим свою подносишь Славу,
Проказник Солнечный, да разве можно так!

Характером иной, с твоей Земной дороги,
я вглядываюсь в мир через твою слезу.
Через твою судьбу смотрю на гор отроги
и в бездны пропастей, синеющих внизу.

В тридцать шестом году Бажан и Заболотский
стояли здесь с тобой и пили эту синь.
Сквозь сорок лет не перекинешь доски, —
плащ светозарный свой над бездной перекинь.

Гвоздику кинул ты. И та гвоздика вбита
в мою судьбу, как гвоздь. И верный сердцем ей,
за этот мир вступаю в бой открыто —
в своих губах с гвоздикой твоей.

ДМИТРО ПАВЛЫЧКО

* * *

Сними мне тихо легкою рукою
Снежинку с брови. Вынь из сердца лед
Печального пристрастия к покою,
Накопленного на пути вперед.

А впрочем, — нет! Знакомо сердцу ране
Двойное жало юного тепла.
Пусть этот лед, как нож, лежит на ране,
Чтоб уж не так болела и пекла.

* * *

Есть дней моих немало за горою,
За звездами в небесной глубине.
Прошедшее затеряно во сне,
Лишь то, что будет, обладает мною.

Обожжено мечтою огневою,
Грядущее формуется во мне.
В моей душе на стремени ремне
Играет время шпорою крутою.

Но есть на свете добрая рука,
Которая в мои надежды светом
Вливается, как нежная река.

Она дает мне право быть поэтом.
В моем стихе, ее огнем согретом,
Играет кровью звонкая строка.

* * *

Так чудно твой утренний голос
В мое залетал сновиденье,

И песня о стекла кололась,
Как ветра нагое движенье.

Текла синева без предела,
Мерцала звезда благодарно.
И легкие контуры тела
Светились сквозь дымку янтарно.

Они золотели волнисто.
И сердце, смеясь над бедою,
Звенело, омытое чисто
Восторга живою водою.

И гром пробужденья рассвета
Разбил темноту без усилья,
И влажная бабочка, где-то
На сердце, расправила крылья.

* * *

Ты — дождь. Я — клен. Высокой кроной
Ловлю тебя. И капли — врозь —
Моей вершины сон зеленый
Пронзают свежестью насквозь,

Чтоб листья, словно свечи жажды,
Твоей судьбой сиять могли,
Ты в душу мне приходишь дважды:
Сперва — с небес, потом — с земли,

* * *

Да, ты одна, моя любовь,
Даешь мне силу обновленья
И каждый день рождаешь вновь
Меня. Со дна души камня
Ты достаешь сама собой,
Как будто новые камни
С моим лицом. Ах, боже мой,
Останови свои затеи
И вдохновение не трать
В угоду каверзной указке

Игры лукавой. Я не тать,
Чтобы в чужой скрываться маске.
Я правдой искренней живу,
Где птица быть не может змеем,
И мне не надо наяву
Того, что свойственно лакеям,
Рабам с повадкой хитреца,
Тем, чья натура, как подушка,
Податлива. А я с лица
Упряма, и камню не игрушка.
Ну, что ж! Меняй меня, как бог,
Всей справедливостью до точки,
Чтоб не ослеп и не оглох
Мой дух в случайной оболочке.

МИРОСЛАВ ФЛОРИАН

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Был март. За городом в лощине
Сжигали прошлогоднюю траву.
В большой пожар домов и кораблей
Шутя играло маленькое пламя,
Похожее на плащ тореадора,
Разодранный об острые рога.
На этот плащ набрасывался ветер
В сто первый раз, и пара жалких искр
Мгновенно гасла на его ладонях.
Иль, может быть, играло пламя

в страсть,

В пожар — сильнее пожара городов,
Азартнее турниров? И когда
Ему для взлета не хватало силы,
Оно пласталось по земле и тихо,
Цепляясь за соломинку, ползло.

А в ком из нас нет выжженной земли,
Лощины обгоревших маргариток
И синих колокольчиков? На ней
Чернеет только ржавая заколка,
Готовая по-прежнему колоться,
Хоть нечего закалывать уже.
Зализывает дождик пепелище,
И новая веселая трава
Сквозь серый пепел прорастает. Здравствуй,
Не знающая гибели Весна!
От долгого спокойствия идиллий
Избавь меня и дай мне радость верить —
Сгнию ли я в болоте иль замерзну, —
Что я причастен к твоему огню.

КОНЕЦ ЛЕТА

Кончается лето. Все терпкое хочет
Быть сладким. Прохладней становятся
ночи,

Луна, словно чайная ложечка в чашке,
Звенит. И румяные яблоки тяжки.

И щеки твои и прекрасное тело
Любовь, распялась, обожгла и прогрела.

Как в яблоке, лето — в крови и на коже
Особую мету оставило тоже.

Но рук твоих, пахнущих лесом, лугами,
Я с нежностью робкой касаюсь губами

Как высшего дара Земли и немею.
Твоею судьбой поражен, перед нею.

ЛЮБОВЬ

1

Шипящую Землю из камня и пламени
Кузнец закалял в океанской волне.
И искры, как звезды, взлетали и плавали
И солью твердели в ночной вышине.
Земля застывала корой над вулканами,
От страсти палящей дрожа иногда,
И в сердце людское вошли, а не кауули,
Любовь и тревога, огонь и вода.

2

Ревет ураган и беснуются молнии,
Земля под дождем извивается вся.
Последним усилием борется с волнами,
Едва на извечной орбите вися.
Но буря прошла, и косматою гривою
Река отмывает на радуге грязь.
Земля улыбается небу, счастливая,
Глубокими шрамами страсти гордятся.

ГОВОРIT МАТЬ

Он родился. Небо светом
Озарилось, и пахнуло летом.
Это было, кажется, вчера.
Где же он, мой маленький? С дороги
Слово в утешение тревоги
Написать бы матери пора.

Может, он проходит диким лесом,
Может, пропасть меряет отвесом.
На седой качается волне.
Передайте, если вам не трудно,
Пусть он не рискует безрассудно.
Пусть хоть это обещает мне.

Возит уголь, или месит тесто,
Иль меж звезд определяет место
Звездолета, иль Вселенной лик
Перед ним сияет без предела,
И звезда лучом щекочет тело,
Залетев ему за воротник.

Мой он, мой! Он — все, что я имею!
Он красив? — я спорить не умею.
В этом сами разберетесь вы.
Он — раним, поглядывайте в оба.
И его порою портит злоба.
Женщины?.. И женщины, увы.

Что создаст он, что он уничтожит?..
Но меня он обмануть не может.
В миг прощанья на исходе дня
Он опять под сердцем шевельнется,
И вокруг, сияя, разольется
Вечное свечение огня.

* * *

Хоть травой обернись,
Раздробись на гравий, —

Я тебя, моя жизнь,
Не любить не вправе.

И трава не сама
Подогнет колена,
Но запахнет Зима
Ароматом сена.

Мелкой крошкой кремня
Заблестят капельки,
Приласкают меня
Детские ботинки.

Эту даль, эту высь
Гибель не очертит.
Как же мне тебя, Жизнь,
Не любить до смерти!

ДОМ НОЧИ

Илучей ночи сумрак не молчит.
В нем, лучший дом заканчивая в мире,
По звездной крыше кровельщик стучит,
Как шпагою о шпагу на турнире.

И штукатур берет ведро луны
И с нею поднимается на доски,
И обнажается лицо стены
Под белым откровением известки.

Сопутствует строителям успех.
Сияют светом залы и палаты.
И комнаты имеются для всех
Желающих — без ордера и платы.

И в этом доме ветер-почтальон,
Исполненный особого вниманья,

В любую сторону со всех сторон
Разносит сокровенные желанья.

И возле дома теплая река,
Как голубая молния — с плотины,
Ее потока легкая рука
Усталости выравнивает спины.

Стремительно летящая вода
Легко переворачивает лодки.
И платит за крушение иногда
Подарком неожиданной находки.

Любимая! Порасторопней будь!
И нам с тобой переселиться в силе,
Пока в больших бидонах Млечный Путь
По городу еще не развозили.

ДЫМ

Октябрь садится на краю зари,
Ботву картошки сыплет на бумажку,
Прикуривает, делает затяжку
И говорит мне:

— Мирек, покури! —

Сердечному вниманию внемля,
Я медленно вдыхаю без опаски
Шемящий запах клевера и ряски,
Твои мечты и грусть твою, Земля.

Вдыхаю все, что не вошло в слова,
Все, что осталось за пределом слова,
Что ежедневно повторяют снова
Деревья, волны, птицы и трава.

А что же мы оставим для молвы,
Для будущего мира постояльцев,

Когда нас время разомнет меж пальцев,
Как эту плоть картофельной ботвы.

МАЛЕНЬКИЙ РЕКВИЕМ

1

Небесный свод лежит на облаках,
Но знает глубину небес комета,
Та звездочка, мгновением в веках
Сгоревшая от перегрузки света.

Всей тяжестью на скальный грунт легли,
Наваливаясь, горы и долины,
Но меряется тяжесть всей Земли
Над крышкой гроба горстью мокрой глины.

2

Жизнь близких — белая страница,
Хоть нам отпущенные дни,
Как уголь — пламени, как птица —
Простору воздуха, сродни.

Они уйдут. И в спешке буден,
В поземке мелкой суеты,
Мы их улыбки позабудем
И характерные черты.

И в нас их жизнь себя означает,
Своей проявится судьбой —
Так в гулкой раковине плачет
Давно исчезнувший прибой.

АЛЕШОВСКАЯ ЗИМА

Декабрь. Зима. Продрогшие дома
Молчат, в снега укутанные жарко.
Ворчит, не зная почему сама,
С порога на прохожего овчарка.

Все замерло в синеем снегу.
Но вот на повороте скрипнул полоз.

И легкий колокольчик, на бегу
Лихих коней, выравнивает голос.

Морозной пылью замечает след
Мелькающих копыт. А у возницы
Из-под ресниц сияет синий свет
И синий иней липнет на ресницы.

Смеркается. За стенами квартир
Во всех домах, в любом окне, повсюду,
Горит одно простое слово — Мир —
В костре метели, сродственное чуду.

ЭДИТ СЕДЕРГРАН

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

УСЛОВИЕ

Я не могу
Без действия прожить.
И я умру — прикованная к лире.
Ах, если бы она была прекрасней
Всех лир на свете, я бы заплатила
Ей верностью пылающей души.

Тот, кто руками в ссадинах и шрамах
Не хочет рушить стену серых буден,
Пусть погибает молча у стены.
Он недостоин видеть солнце жизни.

ТРИУМФ ЖИЗНИ

Чего бояться мне? Я дочь Вселенной,
Частица малая ее великой силы,
Мир одинокий в сонмище миров,
Звезда, как точка окончанья жизни.
О, счастье жить, дышать и понимать,
Как ледяное время бьется в жилах,
И слушать ночь, течение ее,
Стоять и петь под солнцем на горе!
Вот я иду по солнцу. Я стою
На солнце, заполняющем весь мир.
Ты, солнце, рушишь, изменяя, время
И хитрости придумываешь, чтобы
Заставить жить меня: верно,
Кольцом змеи, седеющим утесом
В пучине моря.

Время, уходи
С дороги жизни! Ты убийца, время!
Мне солнце медом наполняет грудь.
Пусть звезды гаснут рано или поздно, —
Свети, звезда! У света страха нет!

ДОЧЬ ЛЕСА СВЕТЛАЯ

Ах, разве это было не вчера, —
Дочь леса светлая свою справляла свадьбу,
И вместе с нею веселились все?
Она была и птицей, и ручьем,
Тропинкой тайной и кустом веселым,
Она была бесстрашной и хмельной,
Она не знала этой ночью меры
Стыдливости и смеха, попросив
Калиновую дудку у кукушки,
Она прошла, танцуя, меж озер,
Наигрывая песенку, и — сразу
Ни одного несчастного не стало
На праздничной, на свадебной земле.
Дочь леса светлая не признает печали.
Над светлым ликом волосы ее
Светлы, и в них цветет мечта
И тайное очарованье страсти.
Вот почему на свадьбе у нее
Стояли гордо сосны по обрывам,
И елочки плясали между них,
И можжевельник пел на солицепеке,
И одевались в венчики ромашки,
Леса роняли семена в сердца
Людей, а у людей в глазах,
Переливаясь, искрились озера
И бабочки порхали над водой.

РОЗА

Я выросла в твоём саду, любимый,
И утолила жажду под дождем,
И напилась под ярким солнцем зноя,
И расцвела, и — жду тебя теперь.

БЛУЖДАЮЩИЕ ОБЛАКА

На горных склонах в ожиданье ветра
Блуждающие стынют облака.
Но ветер их не гонит по ущельям,
Не поднимает к солнцу выше гор.

И вот они совсем закрыли солнце, —
Висят тяжелые, как флаги будней,
И монотонно дни уходят в вечность,
Как музыка в раскрытое окно.

Еще пестреет осени ковер.
Крепки, как сахар, белые вершины.
В долину с гор спускается зима,
И горы улыбаются.

ЛЕВЕРНАЯ ВЕСНА

Все воздушные замки растаяли снегом в долине.
Все мечты утекли, словно полые воды под мост.
Из всего, что любила, осталось в сердечном помине
Только синее небо да бледная музыка звезд,

Ветер в ветках играет, и слушают ветер деревья.
Пустота отдыхает. И грезит вода о весне.
И старинная ель, охмелев от тумана доверья,
Одинокое облако тихо целует во сне.

ОЖИДАНИЕ

Я здесь одна у озера лесного
Дружу с большой семьей старых елей
И тайнами сердечными делюсь
С кудрявыми рябинками. Я жду.
Но никого не видно на тропишке.
Ромашки мне кивают головами.
Щекочет шею тонкий стебелек.
Все это называется любовью.

НОКТИУРН

В серебряном растворе
За дюнами вольна
Перебирает море
Полночная волна.

Печальные туманы
И серебро волны
Хранят, как великаны,
В долине валуны.

И веет до рассвета
Под белою луной
Благословеньем лета,
Мечтой и тишиной.

ЛЕСНОЕ ОЗЕРО

В янтарном солнце круча.
И с кручи видно мне:
Плывет по небу туча,
И остров — по волне.

А сладость до отвала
Насытила стволы.
И в сердце мне запала
Жемчужина смолы.

ОСЕНЬ

Деревья обнажились и открыли
Дорогу небу, воздуху и свету
В твой легкий дом на берегу высоком
И отразились в зеркале воды.
Там девочка в туманно-серой дымке
Несет цветы кому-то, а за нею
Взлетают стаи серебристо-белых
Птиц над горизонтальной водой.

ЧУЖИЕ СТРАНЫ

Душе моей чужие снятся страны,
И вижу я в далекой стороне
Два одиноких валуна, куда мне
Вернуться мысли тайные велят.
Картину эту некий чужестранец
На грифельной доске моей души

Нарисовал. Проходят дни и ночи,
Я думаю о том, что не свершится,
Печаль моей души утолена.

БЛЕДНОЕ ОЗЕРО ОСЕНЬЮ

Бледному озеру осенью
Снятся туманные сны
О белом весеннем острове,
Утонувшем в морской дали.

Бледного озера осенью
Зеркало, скрытое в тень,
Тихо глядит из просини
На умирающий день.

Бледное озеро осенью
Соединяет на миг
Жизни высокое небо
С гибелью сонной волны.

ВЕЧЕР

Я слышать не хочу печальной сказки слово,
Которую рассказывает лес.
Там вздох листвы
И хвойный шепот снова,
Там тени меж стволами bestолково
Сбегаются стволам наперерез.

Скорей к дороге!
Нас не встретит лихо,
Где меж канав, петляя наугад,
Дорога поднимается и тихо
Глядит на перевернутый закат.

НА БЕРЕГУ

Мне тоскливо и тревожно в серый день над серым морем.
Я смеюсь навстречу солнцу и люблю дразнить соленый
Ветер в брызгах белой пены над высокою волной.

Я живу в пещере вместе с темными нетопырями.
Я бела, и я красива, и глаза мои лукавы,
Не найдешь на целом свете ног прекраснее моих,
Я их мою то и дело и водой, и легкой пеной,
Руки у меня нежнее самой нежной белизны.
Я сияю счастьем, словно этот берег. А когда
Я смотрю в глаза прохожим, в очи путников случайных,
То они покой теряют до скончанья дней своих.
Отчего ж я опускаю тихо голову на руки,
Почему мне сердце давит непонятной боли груз?
...Я тогда ушиблась больно о скалу, когда хотела
Умереть, напрасно руки простирая вслед пришельцу,
Промелькнувшему однажды на пустынном берегу.

* * *

Скажи, затворница, когда-нибудь
Смотрела ль ты через решетку сада
На синие вечерние тропинки
Своих мечтаний?

Ощущала ль ты
На языке невыплаканных слез
Ожог соленый, в тихий миг, когда
Над сумраком нехоженых дорог
В кровавой туче исчезало солнце?

МОЯ ДУША

Моя душа об истине молчит.
Она смеется или тихо плачет.
Она не помнит и не защищает
И не умеет возвышать других.
Мне в детстве море опалило синью
Глаза, а в юности цветов
Краснее красной крови, а сейчас
Сидит передо мною чужестранец
Бесцветно-молчаливый, как дракон,
Но я не дева в красно-белом платье,
И у меня подглазины темны.

ПЕСНЯ НА ГОРЕ

Солнце в пене морской потонуло, и берег заснул.
А высоко в горах чья-то боль о несбыточном пела.
Песня падала в воду, и горького голоса гул
Затихал, умирая на кромке ночного предела.

И пришла тишина. И представила я в тишине
На вечерней скале одинокое сердце, от боли
Исходившее кровью и песней в седой вышине
О прекрасной судьбе, что уже не вернется боле.

СВЕЖЕЕТ ДЕНЬ

I

Свежеет день... Но вот моя рука,
Испей с нее тепло весенней крови.
Возьми ее. Тревожно и светло
Она белеет в сумраке вечернем.
Возьми желанья узких плеч моих...
Познания благословенна нечь,
Упившая на грудь мою твою
Доверчивой тяжелой головой.

II

Ты кинул розу красную любви
На грудь мою. Горячими руками
Держу я крепко, прижимая к сердцу,
Так быстро увядающую розу.
Возлюбленный с холодными глазами,
Я принимаю гордую корону
Из рук твоих, склоняясь головой.

III

Я впервые его увидела сегодня.
Задрожав, я узнала его. И сейчас
Еще чувствую сильную руку его
На запястье своем. Где ж мой девичий смех

И свобода с закинутой гордо надменной
Головой? Еще телом в восторге дрожащим
Ощущаю железную хватку. И слышу
Жесткий голос, хлестнувший по хрупкой мечте.

IV

Ты искал цветок,
А нашел яблоко.
Ты искал родник,
А нашел море.
Ты искал женщину,
А нашел душу.
Ты разочарован...

ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ

Пусть реки убегают под мосты,
Пусть у обочин светятся ромашки
И пусть леса склоняются к земле, —
Мне это все равно, все безразлично.
И черным стало белое с тех пор,
Когда не я, а женщина чужая
Ушла вдвоем с возлюбленным моим.

ОСЕННИЕ ДНИ

Прозрачны дни осенние. Прозрачны
Окрашенные в золото леса,
Улыбкой осененные осенней...
Как хорошо забыться без желаний,
Заснуть, устав цвести и зеленеть,
С венком вина рябин у изголовья...
Осенний день недолог, и его
Прохлады пальцы, и в прохладных снах
Повсюду видит он необозримый
Снежинок рой, слетающий с небес.

ЖЕЛАНИЕ

Я мечтаю: во всем нашем солнечном мире
О забытой поляне в пустынном саду,
Там, где греется кот на скамейке,
Там хотела бы я посидеть,
Прижимая
К сердцу белый, единственный в мире конверт.
Вот и все, что мне надо.

А ЧТО ЖЕ ЗАВТРА?

А что же завтра? Завтра, без тебя
Другие руки с той же самой болью.

Но я уйду, чтоб сделаться мудрей.
Потом вернусь в твои глаза обратно
С другого неба, с новым откровеньем,
Все с тем же взглядом, но с другой звезды,
С желаньем новым в старой оболочке;
Всей злостью и всей верностью вернусь,
Чтоб из пустыни сердца твоего
Вести борьбу жестокую с собою,
С предначертаньем собственной судьбы.
Затем с улыбкой шелковую нитку
Перевяжу на пальце, а клубок
Твоей судьбы запрячу в складки платья.

ГАМЛЕТ

Что хочет сердце смертное мое?
Оно молчит и ничего не хочет.
Из судороги неба и земли
Возникнул призрак серый, словно пепел.
Я думаю. Я знаю — он придет
В какое-то случайное мгновенье.
Он видит через запертую дверь
Меня и мне протягивает руку.
И выбора нет больше на земле.
Где истина? Над истиной туман.
Она живет меж змей и пепла в склепе.

Но я иду за ней и освещаю
Ей путь своим скорбящим фонарем.

В ЛЕСАХ ДРЕМУЧИХ

В лесах дремучих я блуждала долго
Тропинкой счастья детства моего.

В горах высоких я одна искала
Воздушный замок юности моей.

В твоём саду веселая кукушка
Отсчитывает счастье, но не мне.

НАДЕЖДА

Отныне быть хочу бесперемонной.
Высокий стиль не по моей душе, —
Закатываю рукава по локти,
Как на дрожжах стиха восходит тесто, —
Обидно, что нельзя испечь собор.

Форм благородство — цель моих желаний.
Я тоже современности дитя,
И дух мой тоже ищет оболочку
Достойную. И я должна испечь
Собор, пока живу на свете.

ЛЕТО В ГОРАХ

Поднимается в горы неяркое лето,
Зацветают луга.
Улыбается хижина старую дверью,
И негромко ручей, словно вечное счастье, журчит.

НЕ СОБИРАЙТЕ ЗОЛОТО И КАМНИ

Зачем вам, люди, золото и камни?
Да будут переполнены сердца
Живой мечтой, пылающей как уголь.

Доставьте драгоценные рубины
Из гордых взглядов ангелов.

Испейте

Воды холодной из колодцев ада,
Но только не копите драгоценных
Камней и побрякушек золотых,
Достойных разве жалких попрошаек, —
А подарите, люди, детям вашим
Еще никем не виданную силу
Прорваться сквозь небесные врата.

СКЕРЦО

На небе ясно, и на сердце ясно,
И я една с этой звездной ночью,
Сидящая, дрожа, на тонкой нитке,
Протянутой на землю от звезды.

Ты, словно преисподняя, о время,
Обманываешь нехотя меня
Опасностью для рук канатоходца,
Опасностью для легких ног моих.

Погибни, время!
Каждая звезда
В лицо мне говорит: «Я — это ты!
Побудь со мною!» — и целует в губы.
И звездное смыкается кольцо,
И всю мою земную оболочку,
Кружа, окутывает звездный пух.
Что делать мне, смеяться или плакать?
Мечтает вечер.

А морской король
Из раковины пьет и не напьется.
Встает плясунья посредине ночи
И — на колени, простирая руки,
Шлет поцелуй прекрасному вослед.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Дерево моего детства ликует вокруг меня.
Травинка меня приветствует, голову наклоня.

И я склоняюсь к травинке среди тишины лесной.
Все прошлое остается навек за моей спиной.
Моими друзьями отныне под сенью родных небес
Опять становятся озеро, берег его и лес.

Я мудрость беру у ели, чей синий шатер высок.
Мне истину мира дарит березы сладчайший сок.
Из стебля лесной травинки душа моя силу пьет.
Великий защитник жизни мне руку свою дает.

ОБ ОСЕНИ

Приходит осень. Золотые птицы
Летят на юг над синею водой.
А я одна на берегу песчаном
Сяжу и слышу тихое: прощай.
Прощанье велико и неизбежно
Мне будущую встречу обещает
И легкий сон с ладонью под щекою.
С тишайшим материнским поцелуем
На сердце и на сомкнутых ресницах:
— Усни, дитя, до солнца далеко.

СТРАНА, КОТОРОЙ НЕТ

По той стране, которой нет, тоскую.
Ведь то, что есть, — желать душа устала.
А светлая луна серебряные руны
Поет мне о стране, которой нет.
Там исполнение желаний наших.
Там нет цепей. Там лунная роса
Ложится на пылающие лица.
Я жизнь свою в горячке прожила.
Но как мне удалось, сама не знаю,
Найти страну, которой нет.
А в той стране в сияющей короне
Мой навсегда возлюбленный живет.
— Любимый мой! — зову я. Ночь молчит.
— Где мой любимый? — вопрошаю снова.
Высоко свод вздымается небесный,
И в бесконечных голубых глубинах

Теряется мой голос...

Но дитя

Страданий человеческих превыше
Небесных сводов простирает руки
И слышит сердцем: — Я есть тот, кого
Ты любишь ныне и обречена
Любить всегда...

СОШЕСТВИЕ В ЦАРСТВО ТЕНЕЙ

Смотри! У вечности в гостях
Поток бежит по дну.
И смерть играет здесь в кустах
Мелодию одну.

Смерть! Почему умолкла ты?
Мы шли издалека.
Изаголодались наши рты,
И души — в песне правоты,
Связующей века.

Венок, который снился мне,
К твоим ногам кладу.
Дай мне в диковинной стране
Увидеть череду
Колони и пальм, где, словно звёздой,
Сквозит волна тоски земной.

Я ОБОШЛА ГАЛАКТИКИ ПЕШКОМ

Я обошла галактики пешком,
Разыскивая красных ниток к платью,
Я чистотой предчувствия полна.
Там, посреди Вселенной, между звезд,
Висит мое искрящееся сердце,
И каждый вздрог его неповторимый
К другим безмерным устремлен сердцам.

ПОЛЕ
ПРИТЯЖЕНИЯ
ПРОЗА О ПОЭЗИИ

СВОЙ ПОЭТ

Перед памятью о нем я всегда чувствую себя виноватым, потому что обязан ему очень многим и в своей литературной судьбе, и просто в жизни. У каждого поэта должен быть *свой поэт*, и им стал для меня Александр Николаевич Благов. Он был тем старшим товарищем, слово и пример жизни которого были для меня образцом и ориентиром в моей ранней самостоятельности.

Мне шел пятнадцатый год. У меня не было никого и ничего, кроме неопределенных планов на будущее. И я поступил в Ивановскую текстильную фабрику-школу на ткацкое отделение. Сама школа, только что отстроенная, находилась в центре города, рядом с музеем, на улице Батурина, а общежитие — в конце этой же улицы, в двухэтажном красного кирпича фабричном корпусе, где среди сотни коек, накрытых разноцветными одеялами, было и мое место.

Один день мы учились, другой — работали на «Дзержинке номер два», маленькой фабрике, снабженной ткацким оборудованием всех систем. Фабрика эта была на окраине города, на берегу Уводи, около городского парка культуры и отдыха. И мы бегали туда на работу через весь город, вставая вместе со всем городом в четыре часа утра.

Со мной на одной парте сидел парень угрюмого вида, высокого роста, крепкого сложения, стриженный под машинку. Он смотрел исподлобья и старался выдвинуть подбородок вперед, подчеркивая и без того заметное сходство с юным Маяковским. Он даже ноги расставлял широко, как Маяковский, и басил. Он писал стихи и однажды показал мне целую тетрадку вырезок из газеты «Всегда готов», где уже печатался. Мы подружились и бегали на работу в свою «Дзержинку» вместе, и снег скрипел под нашими каблуками, и бесчисленные гудки заставляли ускорять шаг, и утренний морозец подбадривал нас и снимал остатки сна, застрявшего в уголках глаз.

Моего друга звали Гриша Рябинин. Он меня пригла-

шал к себе домой, где у него в сарае была своя библиотека. А у меня в тумбочке лежала только книга сочинений Некрасова, подаренная мне на выпускном собрании в сельской Бибиревской школе. Это было мое единственное сокровище.

Мы шли впритруску на свою фабрику и, по обыкновению, читали друг другу стихи. В тот раз была моя очередь, и я начал:

Будильник-друг, не измени,
В четыре к смене зазвени.
Не жди, когда сплет гудок. —
Буди, кричи в рабочий срок.

— А ты знаешь, чьи это стихи? — спросил мой друг. Я ничего не ответил.

— Брось притворяться. Ты же знаешь, что это стихи нашего Благова, — он так и сказал «нашего», — ты сам пишешь стихи, и вообще завтра после уроков я познакомлю тебя с Благовым. Он хоть и не Маяковский, но все-таки свой, ивановский поэт.

И вот мы входим в комнату местного отделения РАППа. Впереди Гриша, а я за ним, стесняясь своего дражного полубубка и залатанных брюк. Навстречу нам из-за стола поднимается худой человек небольшого роста. Валенки, пиджак, синяя ластиковая косоворотка с поясом, чуть свисающие по складкам доброго рта усы, очки в железной оправе, сползшие на самый кончик носа, поверх очков ясные улыбающиеся глаза, светлые, как мартовский день за окнами, удивленно вскинутые брови и над морщинами высокого лба чуть волнистые русо-каштановые волосы.

Вот так я с ним и познакомился, а вскоре и достал только что вышедший в московском издательстве «Федерация» большой сборник стихотворений Александра Николаевича. Назывался он «Ступени», и редактором его был Эдуард Багрицкий, поэму которого «Дума про Опанаса» я знал наизусть. Этот сборник стал моим другом, потому что духовный мир его стихов был миром окружавших меня людей и строчки из поэмы «Десять писем»:

Хочу я просто, как рабочий,
С рабочим другом говорить —

воспринимались мною, моей душой не как желание автора, а как уже существующая доверительность живого,

отзывчивого, обаятельного человека, сумевшего сочувствием и судьбой своей, своим терпеливым мужеством не то чтобы покорить мою душу, а придать ей опыт своей уверенности в жизни.

Александр Николаевич Благов был моим земляком по существу своего характера, по сути своей судьбы. Он родился в 1883 году в селе Сорохте самого бедного во всей Костромской губернии Нерехтского уезда, в семье безземельного крестьянина. Он учился в Писцовском двухклассном училище, потом батрачил у кулака, потом, как и большинство людей нашего текстильного края, пошел на фабрику. Он был ткачом, отбельщиком, машинистом, он знал не понаслышке, а по собственному опыту, что такое двенадцатичасовой рабочий день и что значит «волчий билет» безработного, уволенного с фабрики за распространение газеты «Правда». Так он проходил первые уроки марксизма, разбирался в том, «куда идти, в каком сражаться стане».

Он был рабочим, пролетарием.

Он знал и любил поэзию по святой необходимости своего таланта.

Когда я с ним познакомился, он был уже признанным певцом поднятого и обновленного революцией текстильного края. Он сам был и свидетелем и участником этого преобразования.

Мне — полсотни.
Что ж? Полсотни —
Еще годы не такие,
Чтобы только из каморки
Наблюдать за ходом жизни.

И он не был только наблюдателем. Он был строителем жизни всегда и во всем.

А в Иванове тогда было много писателей. Был еще жив старый гравер, первый председатель первого в России Совета рабочих депутатов Авенир Евстигнеевич Ноздрин, книгу стихотворений которого «Старый парус» я тоже отыскал. На литературные вечера, куда мы пробирались послушать Виктора Полторацкого, приходил стеснительный, сутулый человек, глухо покашливающий в кулак, глядящий на собеседника из-под нависших бровей детским печальным взглядом. Он читал стихи тихо, почти шепотом, и они были нежные и трогательные, как он сам. Звали его Дмитрий Николаевич Семеновский. Я встретился и с Ми-

хаилом Дмитриевичем Шошиным, и с Дмитрием Георгиевичем Прокофьевым. Все они были прекрасные люди, внимательные и строгие к нашим опытам, но Александр Николаевич был для нас самым близким. Наверное, его человеческая доверительность и громадный жизненный опыт, знание людей и жизни делали его таким доступным, а доступность сама по себе вызывала ответную волну высокого уважения.

А. Н. Благов прекрасно знал и русскую литературу и западную, и поэзия жила в его памяти, как в собственном доме, и он нас всегда удивлял, извлекая из своей копилки неожиданных для нас в те времена Бернса и Рембо, Верхарна и Шекспира, Мицкевича и Шелли, Петефи и Саади. Он не кичился своей начитанностью, а просто делился ею по щедрости своей души и радовался тому, что мы, схватывая это на лету, шли дальше и знакомились с этим богатством полней и шире уже самостоятельно в читальном зале центральной библиотеки.

Он мог от стихов Багрицкого перейти к Тютчеву и трезвость суждений Баратынского подкрепить горькой беспощадностью Тараса Шевченко.

Ему удавалось после чтения «Во весь голос» Маяковского как-то незаметно переключиться на «Персидские мотивы» Есенина. Он воссоздавал многообразный мир поэзии и жил в нем радостно и светло. И нас он тоже заражал этой радостью творчества, и мы были благодарны ему за это, и естественно тянулись к нему, и любили его со всей признательностью юности.

Он был беспощаден к пошлости. Он ценил знание и точность глазомером и опытом рабочей совести.

Вдали отраднo и светло —
Не быть быломu бездорожью.
И я, годам моим назло,
Шагаю вместе с молодежью.

Страна поэзии была для него страной вечной молодости, и он был верным подданным этой необыкновенной страны — всей своей жизнью, всей доброй душой.

Стихи его прозрачны и чисты. Они под стать той почве, тому миру, в котором они выросли. В них нет броскости, но в них есть глубина. В них мало игры, но есть необходимость. В них отсутствует вычурность рифмы, но есть святая интонация естественности.

Благов был верен своему Ивановскому краю, душе его

прекрасного, скромного народа, звучному округлому говору ткачих и прядильщиц, подмастерьев и раклистов, граверов и слесарей. В их судьбах — его судьба, его верность и исполнение своего долга и назначения.

Опыт прекрасного порыва творческой души всегда современен.

И мне кажется, что тот высокий нравственный настрой, с которым написаны «Десять писем», «Детство» и многие еще стихи, будет долго служить благородному делу формирования человеческой души.

А. Н. Благов не изменил рабочему Ивановскому краю до самого последнего дня, он умер на этой земле, не дожив трех лет до своего восьмидесятилетия. Он сам сказал о своей судьбе просто и вразумительно: «Я жизнью праздную не жил». И это так. И, склоняя голову перед памятью своего товарища Авенира Евстигнеевича Ноздрина, на склоне жизни он написал:

Он мой товарищ и ровесник,
Мы с ним встречали Пятый год.
Мы всей душой любили песни,
Что звали в бой, вели вперед,
Наперекор жестокой власти,
И не смолкали на пути...
В те дни мы с ним имели счастье
Под красным знаменем идти.

Вот такое было у него счастье в жизни. А я счастлив тем, что он был и остался в моей жизни и уйдет к новой молодости со своей песней, которая вносит свой цвет в неисчислимую мозаику вечно меняющегося калейдоскопа Поэзии.

1977

ЖЕСТОКИЙ ХЛЕБ НЕЖНОСТИ

У каждого родника свой исток, своя долина водосбора, со своими запахами трав, почвы и корней деревьев, растущих только в этой долине. Вода каждого родника имеет особый привкус, и иногда трудно определить его, потому что в него входит мельчайшей частицей своей индивидуальности каждая травинка, соприкасающаяся с ней.

Так, наверное, возникает и индивидуальность поэтического голоса, собирающая в многообразии своей долины жизни только ему свойственную интонацию, интонацию

неповторимости своей судьбы, и заполняет пустыню времени смыслом.

Владимир Жуков — мой земляк, родник его песни выбился наружу в исконной почве срединной России, в Иванове.

Нашей дружбе перевалило за сорок.

Когда мы познакомились, он оканчивал десятилетку, а я уже работал в газете. Мы жили на смежных улицах, заросших подорожником и разъезженных телегами. Около его дома была волейбольная площадка. На ней мы и познакомились.

Мы были влюблены в одну девушку. Звали ее — Поэзия. Между нами не возникало ссор.

Мы только начинали и были похожи на тех рыболовов, которые ловят рыбу чужими удочками. Нам кое-что даже попадалось, и мы по неопытности своей считали этот улов собственным.

Четыре года разницы в возрасте между нами в один прекрасный день стерлись одновременно полученными повестками из райвоенкомата.

Паровоз свистнул, перечеркнув бравурный гром оркестра. Дым, прибитый октябрьским дождем к земле, заволок лица провожающих, и теплушки, набитые оптимизмом юности, перестукивая колесами на стыках рельсов, понесли нас навстречу тревожной солдатской судьбе.

Мы чувствовали, но еще не понимали до конца, какие горы ответственности ложатся на наши плечи. Мы цели, дурачились последней дурашливостью прощающихся навсегда с юностью мальчишек. Станция «Юность» без возврата уходила в страну воспоминаний, затушеванную росчерками косого дождя, оглушенную грохотом колес и гудением телеграфных проводов. Эшелон летел в трагедию, и остановить его было нельзя. В раскрытые окна теплушки свистел ветер и уносил в бесконечность мира стихи нашего общего друга Николая Майорова, которые мне читал Жуков, лежа на голых досках нар:

Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
И ждем приказа нового. И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят

Это уже была не ловля карасей на чужую удочку, а предощущение своей собственной судьбы и судьбы поко-

ления. Мы знали, что колеса наших теплушек, как колесо военной неизбежности, не могут крутиться в обратную сторону. Но откуда нам было знать, что не удастся закончить даже полковую школу младших командиров, что нас в спешном порядке отправят в жесткий снег Карельского перешейка. Мы не предполагали тогда, что останемся в живых, а Коля Майоров рухнет замертво в смоленскую землю.

Прежде чем понять своей шкурой, что война — беспощадный, выматывающий физические и нравственные силы труд, жестокий труд, мы с Жуковым перед первым боем около походной кухни разрубили напополам буханку мерзлого хлеба, выпили по «мерзавчику» — так назывались стограммовые пузырьки водки, — закусили горячим борщом, обнялись по-братски и разошлись — он в свою пулеметную роту, а я в свою батарею. Встретиться нам суждено было только в 1945 году.

И ему и мне хватит на всю жизнь того промерзлого хлеба, который мы разрубили напополам.

Я приехал в Иваново из Ленинграда, ставшего для меня после крещения блокадой второй родиной. Мы встретились и пошли к своему наставнику, тишайшему человеку с голубыми глазами под навесом клочкастых бровей и неслышной походкой, с тихим хрипловатым голосом, произносящим только правду, к редкому русскому поэту Дмитрию Николаевичу Семеновскому. Он стал еще тише. Видимо, это сделали скрипка и смычок, висевшие на стене, — все, что осталось ему в память о его сыне, погибшем на Великой Отечественной. Он был рад в своей печали тому, что мы остались живы, хотя печаль его от этого стала острее. Вот тогда Жуков и прочел строчки, которых уже не вычеркнуть из моей памяти. В книгах Жукова это стихотворение называется «Пулеметчик»:

С железных рукоятей пулемета
Он не снимал ладоней
В дни войны...

Опасная и страшная работа.
Не вздумайте взглянуть со стороны.

Я помню, как Дмитрий Николаевич попросил повторить эти строчки и надолго задумался, и его задумчивое молчание было высшей степенью признания.

Меня эти строки ошеломили не сразу. Ошеломление пришло потом, когда я понял, что в них, в их предельной

сжатости до состояния жидкого кислорода, заключена судьба моего друга, весь его путь по всем кругам войны, все мужество его незаурядного характера, эталон его мастерства. Это было рождение поэта из глубин испепеленной души поколения, беззаветно растратившего себя для грядущей жизни Родины и утверждения ее мировых идеалов.

В творческой судьбе каждого поэта, отмеченного талантом, можно найти оптическое чудо, через которое видна его суть, его особенное свойство строить свой мир. Для меня, например, этим оптическим чудом, дающим возможность заглянуть в поразительный мир Пушкина, являются строки:

Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

В судьбу Есенина я смотрю через это горькое признание.

Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть.

Это оптическое чудо субъективно, и я не хочу узаконивать свой взгляд. У каждого человека, общающегося с тем или иным поэтом, может быть, да, наверное, и должна быть своя точка соприкосновения с ним, а возможно, и тождества.

Творчество Жукова я воспринимаю через приведенного выше «Пулеметчика».

Талант — это риск, смелость, мужество, правда. Эти качества — почва таланта.

Чтобы написать «Пулеметчика», Жукову надо было пройти, проползти на животе со своим пулеметом через кровавый снег и минные поля Карельского перешейка и за день до перемирия упасть в этот сыпучий снег, чудом выжить в госпитале от смертельной раны, получить белый билет и снова во время Великой Отечественной оставить институт и добровольно вернуться в армию, и пройти, командуя пулеметным взводом, от ленинградских болот до Праги, чтобы потом сказать самому себе перед чистым листом бумаги:

Не умаляй ни радостей, ни горя, —
Ведь ложь — она как звезды в сапогах.

Казалось бы, что жестокая квалификация чернорабочего войны должна была очерствить душу, выветрить веру в человеческое начало в человеке, заставить его замкнуться в отчуждении и тоске. Но Жуков шел на смерть ради самых человеческих идеалов, мужая и закаляясь в верности им. Эту верность он подтвердил тем, что стал коммунистом, эту верность подтвердила сама Родина высокими знаками признания его храбрости.

За плечами личного опыта поэта вставал грандиозный опыт поколения ровесников Революции. Это поколение ушло на фронт в пору становления, в лучшую пору человеческой нежности. И война, как заморозок по цветущей яблоне, должна была, казалось, похоронить под пластами жестокости этот благородный цвет жизни. Однако жизнь оказалась мудрее, она сохранила в наших душах пласты этой нежности в их нетронутой цельности. Стихи и поэмы Жукова нежны в прямом и точном понимании этого слова. Эта нежность переполняет его книги — «Солдатскую славу», «Эхо», «Иволгу», «Первую любовь» и вышедший в Ярославле сборник «Осенние версты». И мне не надо это доказывать. Мое дело дать ключ в руки читателя, для того чтобы он заглянул в этот мир опаленной порохом солдатской нежности, а лучшим ключом, как мне кажется, является стихотворение о черемухе. Сюжет его прост: в позднее полуночное метро спускается на эскалаторе военный с громадным букетом свежей подмосковной черемухи и раздает белое облако нежности встречному потоку уставших за день людей.

Жуков сам похож на этого военного, знающего цену жизни и прелесть радости, и он раздает свою нежность с естественной щедростью, радуясь тому, что запас нежности увеличивается от его щедрости, а впрочем, он, быть может, этого и не чувствует.

Поэзия — это влюбленность в жизнь, перехлестывающая барьеры обычного и делающего обычное праздником. Она по природе своей оптимистична. Оптимистична даже в тех случаях, когда касается самых трагических явлений нашей усложняющейся жизни, потому что призвание ее в утверждении жизни, ее вечной красоты, гармонии.

Поэзия не может существовать вне действия. Ее истоки — в благородстве человеческого труда, какой бы он ни был, доведенного до совершенства. Ее истоки — в тревожной и самозабвенной заботе о красоте жизни.

Поэзия интернациональна, потому что, рассуждая о

поэте, мы всегда находим в его творчестве связи с мировой поэзией, для которой он отдает обязательно поспильную долю своего кислорода.

Вот какие раздумья владели мной, когда я, прежде чем написать эти строки, перечитывал книги Владимира Жюкова.

1975

ВМЕСТО ПЕСНИ

Ярослав Смеляков!

О нем мне надо бы написать песню, а я пишу воспоминания.

Пишу и не верю, и не могу поверить, что его жизнь завершена.

Пишу и утешаю себя тем, что завершена его жизнь, но не его поэтическая судьба.

Правда, это малое утешение, — я сам его провожал в безвозвратную дорогу и знаю, что на желтой стерне этой осенней земли, под этим ветреным небом нам уже никогда не встретиться и не сказать друг другу каких-то скупых, ничего не значащих для посторонних слов, исполненных для нас двоих особого смысла. Я их говорю теперь один и молча моему Ярославу Смелякову, в минуты предрасветного раздумья, и всегда слышу его ответ в сказанном когда-то, но живущем сейчас, с новым и необходимым для меня оттенком.

Легкой жизни я просил у бога.
Легкой смерти надо бы просить.

Эти строчки я впервые услышал в блокадном Ленинграде от Леонида Ильича Борисова, тощего и сухого, как прошлогодний ольховый лист. У него были голубые глаза, и их острый взгляд сверкал над ввалившимися щеками, как лезвие бритвы. Он только что закончил тогда повесть об Александре Грине, и душа его была еще до краев полна романтического пафоса. Вот он мне и сказал, что эти строчки написал Бунин.

У Бунина я их не нашел.

Ярослав Васильевич тоже знал эти строки и тоже спросил однажды, не знаю ли, кто их написал.

Я вспомнил об этом, прощаясь с ним в последний раз, под тусклым осенним небом, навалившимся всей душной

тяжестью на мокрые ветви деревьев Новодевичьего кладбища.

Вспомнил потому, что знал о характере Ярослава Смелякова, о его горьком умении никому ни на что не жаловаться.

Вспомнил потому, что знал о трагических поворотах его судьбы и его каменном умении быть верным своему характеру.

А характер у него был тоже каменный, раз и навсегда вытесанный верой в дух своего времени.

Смерть была добра к Ярославу Васильевичу и не мучила его подробностями прощания с этим миром. Ему оставалось всего несколько недель до праздника шестидесятилетия. В жизни у него не много было праздников, поэтому он хотел встретить этот во всем его блеске.

А так как силенок было уже маловато, он решил перед своим праздником лечь в больницу, чтобы отдохнуть, собраться с мыслями и подправить здоровье. Он пошел в больницу весело, как в баню.

Пошел и занял свое место в белой, как белый свет, палате, и лег на больничную койку в положенный час отбоя, погасив настольную лампу, положив голову на казенную подушку, подсунув для мягкости ладонь правой руки под правую щеку, и накрылся казенным байковым одеялом.

Это был последний его жест. Последнее его движение.

Больше он уже не проснулся и не раскрыл глаз навстречу серому свету низкого ноябрьского дня.

Так умирают труженики.

Он умер. И в редкой роще моего поколения стало еще тише и просторней.

Он умер. И в гордом лесу русской поэзии прекрасное дерево его поэзии стало вдруг заметнее выделяться своей строгой конической кроной на фоне белых кучевых облаков с бездонными провалами ясной голубизны.

После похорон я не пошел на поминки, а побрел по московским улицам куда глаза глядели.

Шел и вспоминал его стихи. Они звучали во мне как музыка.

А потом, засыпая в «Красной стреле», я почему-то видел ажурные переплеты Эйфелевой башни, закрывшей все небо, и в середине этого железного переплетения косых конструкций звенел, переливался высокий голос:

Если я заболею,
К врачам обращаться не стану.

Обращаюсь к друзьям
(Не сочтите, что это в бреду):
Постелите мне степь,
Занавесьте мне окна туманом,
В изголовье поставьте
Ночную звезду.

Я не чувствовал, как скорость раскачивала вагон и он стучал колесами по стыкам рельсов, и не видел, как горела его, смеляковская, ночная звезда над всеми могилами земли и над всеми летящими через ночь поездами.

Ярослав Смеляков умер 27 ноября 1972 года. Умер на вершине подъема, самой смертью подчеркнув свою значимость.

Он был старше меня всего на три года. Но он был поэтом молодости моего поколения.

Таким он и останется. И время не будет старить его. Оно будет только прояснять его судьбу, уподобляя ее подвигу.

Судьбе Смелякова уготована добрая память, потому что он умел наполнять время особым смыслом, потому что человечность его исполосованной шрамами души пронизана светом самой революции и чиста ее чистотой.

Когда в разговоре с молодыми литераторами я говорю о том, что поэт — это не профессия, а судьба, что в этой судьбе синяков и шишек куда больше, чем яблок, что жир самоуспокоенности бездарен, — я всегда думаю прежде всего о нелегкой жизни Ярослава Смелякова.

Поэзия беспощадна в своей любви.

И Ярослав Смеляков знал это. Знал с самого начала, понимая свою ответственность перед временем, перед жизнью и смертью товарищей, перед белым листом бумаги с легкой тенью от скользящего дыма незатухающей папиросы.

Я хочу, чтобы в моей работе
Сочеталась бы горячка парня
С мастерством художника, который
Все-таки умеет рисовать.

Это была не только его собственная декларация, необходимость утверждения своего принципа отношения к жизни, — это становилось творческим воздухом поколения ровесников революции.

То, как он входил в мою жизнь, во многом похоже на то, как он входил своей судьбой в судьбу моего поколения, становясь и оставаясь его поэтом.

Поздней осенью 1930 года я оказался на привокзальной площади города Иванова. У меня не было никого и ничего, кроме чувства голода и слабой надежды на то, что там, где есть люди, не пропадешь, а слабой потому, что на вокзале мне почевать больше было нельзя — меня оттуда выставляли.

Потом я сам пришел в городскую комиссию по борьбе с беспризорностью, и меня направили в текстильную школу ФЗУ. Я стал учиться на ткацком отделении и жить в общежитии.

Рядом со мной за партией сидел высокий бритоголовый парень с наплывающим на глаза тяжелым лбом. Парень чем-то напоминал Маяковского.

— Рябинин, — буркнул он мне и замолк.

А однажды, когда в моей тетрадке по ткачеству, на лекции инженера Горицкого, заметил что-то рифмованное, сразу просветлел и после уроков потащил к себе домой.

И жизнь моя обрела смысл и надежду.

Мой новый друг Гриша Рябинин снял робость с души и дал веру в собственную силу. Мир стал прекрасным и удивительным.

Гриша уже печатался в местных газетах и журналах. У него был целый альбом вырезок. Он меня познакомил с секретарем комитета комсомола нашей школы Венямином Уемовым, потом с поэтами рабочего края Александром Николаевичем Благовым и Дмитрием Николаевичем Семеновским и с автором только что вышедшей в местном издательстве книжки стихов «Строительный сезон», редактором моей будущей первой книжки Виктором Полторацким.

Стихи, бывшие до этого моей погибелью, стали моим светом.

И все-то нам удавалось тогда. И учеба. И работа. И ежедневная стенная газета «За кадры». Мы захлебывались радостью поэзии. Она жила и ликовала в наших молодых, не знавших удержу душах.

А в походной сумке —
Спички и табак,
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак...

Мы знали и Пастернака, и Сельвинского, и Тихонова, и самого Багрицкого, написавшего эти стихи, но нам не

хватало во всей мировой поэзии еще только одного *нашего* поэта, не хватало ровесника по судьбе и времени.

И этим поэтом оказался Ярослав Смеляков, фотография которого висела в Гришиной комнате.

Смеляков связал для нас все времена в непрерывную цепь поэзии и открыл нам будущее, дал возможность уверовать в него. Он своим появлением в нашей жизни как бы прояснил, сделал понятнее и Гомера, и Пушкина, и Верхарна, и Брюсова, и Маяковского, и Ахматову. И даже Есенин в его присутствии не так уж безнадежно щемил душу.

Это была счастливая пора познания и удивления.

Смеляков радовал нас каждым своим новым стихотворением.

Он заставлял нас радоваться поэзии мира.

Но это, в силу жадности своего восприятия, мы тогда еще не понимали.

На своих комсомольских конференциях мы пели без дирижеров и усилителей, дружно и громко, так, что стены гудели:

На барже номер девятой
Умпа-а-ра-ра!
Мы служили с Ванькой-братом,
Их ты и да-да!

А он нас учил своими стихами, что это самое «умпа-а-ра-ра!» хоть и громко, но бессмысленно, а на «барже номер девятой» далеко уехать нельзя.

Смеляков был, как и мы, рабочим парнем, но он еще обладал редким качеством «мастерства художника, который все-таки умеет рисовать».

Мой друг Гриша Рябинин знал о нем все: и то, что он родился в 1913 году в городе Луцке, в семье весовщика железнодорожной станции, и то, что он после семилетки учился в московской полиграфической школе ФЗУ, и то, что у него выходит в 19-летнем возрасте вторая уже книга под названием «Работа и любовь», и то, что эту книгу, как и самое первое свое стихотворение в журнале «Октябрь», он набирал сам в наборном цехе.

И мы заучили эту книгу наизусть. От корки до корки.

Потом читали другие его стихи. Мы ходили по весенним берегам Уводи и по дорожкам сада «Первое мая» и бесконечное количество раз повторяли для себя и для друзей:

Посредине лета
Высыхают губы.
Отойдем в сторонку,
Сядем на диван.
Вспомним, погорюем,
Сядем, моя Люба,
Сядем, посмеемся,
Любка Фейгельман!

Этим стихотворением он освобождал наши души от глупого бодрячества, заставляя задумываться над прелестью окружающей нас жизни, над ее сутью, над неповторимым праздником юности. Он был серьезен и передавал эту серьезность нам, но легко, без нажима. И хотя он говорил, как бы предупреждая нас:

Только мне обидно
За своих поэтов.
Я своих поэтов
Знаю наизусть.
Как же это вышло,
Что июньским летом
Слушают ребята
Импортную грусть? —

мы, соглашаясь с ним, не были в обиде на его стихи, потому что грусть его стихов была светла и брала за живое какой-то отличной от «гражданина Вертинского» особенностью.

Только мне невероятно мало —
Открывая старые пути,
По пустым селениям журналов
Грустным и задумчивым пройти.

Значит, его душа искала многообразия в мире, старалась жить полнее. И эта жажда наполненности, подхлестнутая интонацией доверительной откровенности, несла нас на волне радости.

Мы были влюблены в Ярослава Смелякова всей целиной наших душ, всей своей наивностью. Его откровения становились нашими.

Он был прост и сердечен, но простота его была с особой изюминкой игры и недоговоренности, наводящей на тропинку собственной выдумки и игры.

Он не переходил дорогу другим поэтам — ни Ушакову, ни Асееву, ни Тихонову, ни Ахматовой.

Он не мешал нам читать и восхищаться Маяковским и

Есениным, Прокофьевым и Заболоцким. С ним легко уживались Гитович с Коваленковым и Корнилов с Павлом Васильевым. Он сам выигрывал от их соседства, а они обретали черты своих индивидуальностей в его присутствии.

Но он был больше всех нашим.

Его интересовала душа рабочего человека в его исторической перспективе. Интересовала не по командировке газеты, не по заданию редакции, а по внутренней необходимости. И планшайба в его стихах не была самоцелью и не заслоняла масштабность времени. Ему не надо было думать о гражданственности своей позиции, она, эта гражданственность, была его человеческой сутью.

Нам время не даром дается.
Мы трудпо и гордо живем.
И слово трудом достается,
И слава добыта трудом.

Своей безусловною властью,
От имени сверстников всех,
Я проклял дешевое счастье
И легкий развеял успех.

Я строил окопы и доты,
Железо и камень тесал,
И сам я от этой работы
Железным и каменным стал.

Бесценный опыт познания жизни через горький пот и кровавые мозоли собственной судьбы придал его лирике весомость и великое благородство.

Как же было его не любить и не ликовать вместе с ним над его жаждой утверждения прекрасной мозаики жизни и не плакать вместе с ним над его обидами! Впрочем, он очень рано научился плакать. Мужество знает только слезы восторга.

Его талант жил и мудрел вместе с беспощадным движением самой жизни.

Он первым брался за раскаленное железо времени не из желания «выпередиться», а по сознанию долга и чаще всех и больше всех обжигался.

Гранитные жернова времени перемалывали его судьбу, сплавливая ее с судьбами поколений, но зерно его творческой души оставалось каким-то чудом в первоначальной целостности.

Потом он скажет как бы вскользь в «Надписи на «Истории России» Соловьева»:

История не терпит суесловья,
Трудна ее народная стезя.
Ее страстицы, залитые кровью,
Нельзя любить бездумною любовью
И не любить без памяти нельзя.

Его душе были свойственны все градации чувств и настроений — от шелковой нежности до медного купороса сарказма.

Он был точен и последователен в своих раз на всю жизнь принятых пристрастиях. Вернее, он их не выбирал, они проявлялись и углублялись вместе с его талантом, вместе с движением жизни народа.

Жизнь его учила ответственности, и любовь его была строгой и бескомпромиссной:

И, глядя в прожитые дали
Отсюда, из своей земли,
Давайте вспомним в звездном зале,
Что мы и нынче, как вначале,
Не отступились, не солгали,
Не отошли, не подвели.

Это из стихотворения «Размышления у новогодней елки», эпиграфом к которому Смеляков взял строчку «Мы кузнецы, и дух наш молод...».

Еще строчки:

Добра моя мать. Добра, сердечна.
Приди к ней — увенчанный и увечный —
Делиться удачей, печаль скрывать —
Чайник согреет, обед поставит,
Выслушает, почевать оставит:
Сама — на сундук, а гостям — кровать.

Вот где истоки его щедрости, его умения раздаривать самого себя построчно. Разве мог он жалеть себя для народа, для людей!

Да нет, Смеляков об этом даже не задумывался. Ему не надо было об этом задумываться, потому что это чувство пронзительной любви к людям вошло в его кровь с материнским молоком. Он был трогателен и нежен в своих пристрастиях. И пронзительность его лирики держится на этой трогательной нежности, а стеснительность муже-

ства подчеркивает нежность, делая ее еще более действенной. Она возвеличивает и ошеломляет, совестит и очищает.

Корневая система истоков его творчества глубока и ветвиста. Общечеловечность его души — в интернациональной сути национального характера. Он не воспринимал народ как нечто отвлеченное от себя. Нет, он был сам частицей этого океана, и его душа, как капля океана, жила бурями и страстями всего океана.

И я любил и люблю его за это умение, за эту «вместимость», за его четкие строки, «полные любви и удивленья», отражающие мир озарений и трагедий человеческой жизни:

Пускай меня мечтатель не осудит:
Я радуюсь сегодня за двоих
Тому, что жизнь всегда была и будет
Намного выше вымыслов моих.

Он был певцом и строителем нашей жизни.

И высота нужна была ему затем, чтобы видеть дальше.

«Легкий шагок и широкий шаг. И над обоими красный флаг». Это он «снял» глупое утверждение антагонизма между Маяковским и Есениным, свел их вместе раз и навсегда и для себя и для всех, потому что сам ход истории подсказал ему это, и сам он, Ярослав Смеляков, встал вместе с ними под сень красного флага.

Традиции и новаторство его творческой судьбы — в традиции и новаторстве самой истории народа.

Стих Смелякова прост и емок, и сама его форма всегда соответствует содержанию. Она настолько едина с содержанием, что никогда не возникает необходимости обращать на нее внимание отдельно. Он умел видеть главное в жизни, в каждом ее проявлении. Это заставляло братья за перо, призывало к действию:

Я стихи писать не буду
Из-за всякой ерунды:
Что мне ссуды, пересуды,
Алиментные суды.

Пусть читают наши люди,
Веселясь и морща лбы,
Эту книгу многих судеб
И одной — моей — судьбы.

Как приобреталось это умение видеть зерно главного во времени и в себе, в каждом конкретном случае жизни, который он брал за основу, — дело самого таланта, его воспитания и самовоспитания.

За плечами Смелякова была школа рабочего класса, его заботливо-хозяйского отношения к вещественному и духовному миру. Этот процесс вызревания человеческой души, души строителя нового мира, сделан им эпически широко.

На морозе, затаив дышаще,
Выпили мы чашу испытанья.

Молча братья умирали в ротах.
Пели школьницы на эшафотах.

..... : : ?
Пыль клубилась. Печились потоки.
Трубачи трубили, как пророки.

И солдаты, медленно, как судьбы,
Наводили тяжкие орудья.

Дым сраженья и труба возмездья.
На фуражках алые созвездья.

Дух мужества поколения запечатлен Смеляковым и его товарищами по песне основательно, точно, по достоинству самого подвига и таланта. Эпос «Строгой любви» самого Ярослава Смелякова, эпос «Триполья» и «Моей Африки» Бориса Корнилова, эпос «Любавы» Бориса Ручьева и весь строй лирического потока поэзии его сверстников — в родниковой чистоте верности времени, вере в справедливость своего единственного убеждения. Это грандиозный мир начала нашего особого времени. С дистанции сегодняшнего дня он начинает сверкать всеми гранями подлинного чуда творческого духа поколения, беззаветности его общечеловеческого подвига.

Подвиг поколения стал мериллом и сутью поэзии, а поэзия поколения вошла как составная часть в сам подвиг поколения.

Ярослава Смелякова и его друзей по песне не зря называют комсомольскими поэтами. Не случайно их первые книги выходили в молодежных издательствах. Не зря сам Ярослав Смеляков, его творчество было отмечено премией Ленинского комсомола, а собрание его сочинений вышло в издательстве «Молодая гвардия» как продолжение

его молодости, как памятник его мятущемуся неукротимому духу.

И я сойду с блестящей высоты
На землю ту, где обитаешь ты.

Приблизюсь прямо к счастью своему,
Рукой чугуниной тихо обниму.

На выпуклые грозные глаза
Вдруг набегит чугунная слеза.

И ты услышишь в парке под Москвой
Чугунный голос, нежный голос мой.

Он был влюблен в свою Родину, в свою Россию всем восторгом и горем, всем пророчеством и недоумением, всей верностью подвига и просчета, всей святостью дерзания и откровения, всей тяжестью прозрения и испытания, наконец, всей стеснительностью и неуменьем сказать об этой любви. Он смотрел на Родину, на ее историю и на ее будущее глазами заботы рабочего человека, глазами младенческого удивления, глазами философа.

Она своею тьмой и светом
Меня омыла и ожгла.
Все явствспней ее приметы,
Попятней мысли и дела.

Мне этой радости допыне
Не выпадало отродясь.
И с каждым днем нерасторжнмей
Вся та преемственность и связь.

Как словно я мальчонка в шубке
И за тебя, родная Русь,
Как бы за бабушкину юбку,
Спеша и падая, держусь.

Он любил ее, свою Родину, всей сутью своей нелегкой жизни, всем своим восторгом, всем своим опытом прошлого и надеждой на грядущее.

И если в изголовье Есепина на кургане его памяти роняет желтый лист разметавшая по ветру звонкие косы березка, то над судьбой Смелякова, как бы завершая ее, стоит коническое чудо вечнозеленой ели, прекрасной в своем вечном наряде, колючей и ласковой...

А над ними обоими небо, одна верность беспредельной

сини, извечное начало, материнское начало прапаматери Земли.

Как скульптура из ветра и стали,
На откосах железных путей
Днем и ночью бессменно стояли
Батальоны седых матерей.

Я не знаю, отличья какие,
Не умею я вас разделять:
Ты одна у меня, как Россия,
Милосердная русская мать.

Это слово протяжно и кратко
Произносят на весах родных
И младенцы в некрепких кроватках,
И солдаты в могилах своих.

Больше нет и не надо разлуки,
И держу я в ладони своей
Эти милые трудные руки,
Словно руки России моей.

В государстве русского языка, в непрерывной цепи его поэзии есть звено Ярослава Смелякова. Оно не заменимо никем и ничем, его нельзя вынуть из общей цепи, эта цепь не то чтобы распадется от его отсутствия, она окажется неполной, и само отсутствие его звена будет напоминать, что оно было, должно быть.

От всех несправедливых обид, печалей и трагедий Смелякова спасала отходчивость русского характера, пушкинская отходчивость. Пушкину не было еще и двадцати лет, когда он воскликнул в «Руслане и Людмиле» со всем юношеским пылом, со всей строгой осмысленностью:

Мы весело, мы грозно бились,
Делили дани и дары
И с победенными сажались
За дружжелюбные пиры.

Ярослав Смеляков любил мир человеческих страстей во всех его проявлениях, любил и знал русскую поэзию и, как-то по-особому светясь, любил своего Пушкина как чудо, как неограниченную возможность человека в его пути к человечности.

Смею думать, пушкинская мечта о тех временах, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся», проявленная и усиленная идеями ленинской революции и огнем беззаветного, молодого, комсомольского энтузи-

азма, жила в нем как тяга к гармонии человеческого братства, глубоко, фундаментально.

Он был интернационалистом и на словах и на деле.

Впрочем, слова-то как раз и были его делом.

Он разговаривал в своих стихах с Фиделем Кастро и с Че Геварой, с Назымом Хикметом и Георгием Димитровым.

Его поэзия заинтересованно радовалась каждой победе рабочего человека в каждой точке земного шара, вспыхнувшей красным огоньком революционной надежды.

Он был сердцем и словом своим на всех баррикадах, где шел бой, справедливый бой за победу рабочего дела.

Он умел видеть мир во всем многообразии движения революции.

Он вставал в караул над всеми жертвами революций, над их солдатами и вождями и по-другому поступать не мог,

Терпенье нужно и геройство
И даже гибель, может быть,
Чтоб всей земли переустройство
Как подобает завершить.

И сам был добровольным переустроителем мира.

Он жил поэзией и знал ее.

Локаторы его заинтересованности улавливали каждое ее проявление, стоящее, с его точки зрения, внимания и заботы.

Сколько он отдал сил, темперамента, знаний молодым стихотворцам; сколько он затратил труда, времени и терпения на переводы своих братьев по перу из национальных республик — уму неостижимо! Результаты этой работы, исполненной рвения и увлеченности, трудно оценить по достоинству.

Он умел обыкновенные слова наполнять высоким звучанием времени.

Он обладал редкостным умением мыслить государственно, масштабно.

Он не признавал мелочности. Больше всего его бесила алчность зажившей душонки обывателя. А в нем самом иногда проглядывали черты воспетого им «рязанского Марата» — максимализм и чистота отношения с миром. Вступая в бой за свои позиции, он был непримирим.

Таким я его знал. Таким запомнил. Таким пронесу в своей памяти до конца.

Он был фабзайцем, и я тоже. Мне открыл его на пороге юности мой друг Гриша Рябинин, сосед по парте, напарник по гаечному ключу на фабрике имени Дзержинского и первый читатель моих словесных опусов, скрепленных рифмой. Он много обещал, мой Гриша Рябинин, и много ему было отпущено ума, таланта, и настойчивости, и силы, и красоты, и испытаний — под самую завязку.

У меня сохранилась только его послевоенная фотография, присланная в Ленинград из Ялты, где он ловил кефаль, и надпись на обороте: «Миша, вспомни о пропащем друге, это был хороший человек». Потом пришло сообщение, что стихи писать он бросил, а если что-нибудь когда-нибудь напишет, так это будет что-то вроде «Горя от ума». И я жду. Уже лет тридцать пять жду, когда он объявится снова.

Да, Гриша Рябинин открыл мне Ярослава Смелякова там, в Иванове, в юности. И мы знали с ним все, что писал и печатал в то время Ярослав Смеляков, наизусть. Он был нашим поэтом. И фотография его висела над книжным шкафом в сарайчике Гриши Рябинина. И на целом свете не было для нас красивее этого удлиненного лица с чуть опущенными уголками губ, с плоскими щеками, с чуть выдающимся носом и бесцветными бровями над темными прищуренными глазами, над которыми простирался высокий упрямый лоб, срезанный русой прядью волос, зачесанной с левого виска к правой стороне затылка. Да, еще на этом портрете выделялась темная рубашка с застежкой-молнией — предмет нашей тайной зависти. Правда, Гриша Рябинин на гонорар от первой напечатанной поэмы купил себе такую рубашку на «барашке» — так называлась барахолка в Иванове, — а я не мог этого сделать, потому что моей зарплаты на такую роскошь не хватало, а гонорары мне тогда получать было негде.

Я встретился с Ярославом Васильевичем уже после нашей победы в Москве. Но знакомиться-то, собственно говоря, нам было не надо. Мы уже знали друг друга, и нам стоило только обменяться взглядами и пожатием рук, чтобы закрепить это знакомство.

Я не скажу, что наши отношения были уж очень близкими, нет, они никогда не переходили в приятельство, этому, наверное, как мне кажется теперь, мешала жившая во мне и живущая сейчас мальчишеская влюбленность в его судьбу как в судьбу поэта молодости моего поколения.

Он был моим спутником во всем, что выпадало на мою долю.

Он был моей «строгой любовью», нравственным стержнем моей души, моих раздумий о мире и о времени.

Он был мне необходим и на площади, и в комнате в разговоре с глазу на глаз.

Меня радовало каждое новое стихотворение, каждая новая книга Смелякова. От года к году они становились все доверительней и человечней, и пронзительность их интонации наполнялась благородством мудрости, выросшей на почве опыта.

Смеляков любил слушать тревожное гудение жизни огромной человеческой семьи на всех материках планеты, на всех параллелях и меридианах, и, бывая за границей, он отыскивал для себя то, что было ему родственно, — проявление судьбы и характера рабочего человека, строителя и хозяина этого прекрасного мира.

Он был резок и беспощаден в спорах за рабочую правду, потому что она была и его правдой, и опытом его справедливой жизни. В нем жило и билось неистребимое удивление художника человеком, и он всей своей судьбой воспитывал в своих читателях это удивление.

Он умел греметь и говорить шепотом с какой-то ошеломляющей доверительностью и святостью чувства.

Вам не случилось ли влюбиться —
Мне просто грустно, если нет, —
Когда вам было чуть не двадцать,
А ей почти что сорок лет?

.....

И вот вчера, угрюмо, сухо,
Войдя в какой-то малый зал,
Я безнадежную старуху
Средь юных женщин увидал.

И вдруг, хоть это в давнем стиле,
Средь суеты и красоты
Меня, как громом, оглушили
Полузабытые черты.

И к вам идя сквозь шум базарный,
Как на угасшую зарю,
Я наклоняюсь благодарно
И ничего не говорю.

Лишь с наслаждением и мукой,
Забыв печали и дела,
Целую старческую руку,
Что белой ручкою была.

Я перечитываю прекрасные строки и удивляюсь, вспоминая и Пушкина, и Блока, и Бунина, этому вызывающему слезы восторга уменню передавать вечно меняющуюся зыбкость жизни, сотканной из нежности и любви, удивляюсь уменню передать высокий строй страстей человеческих.

Как сдержанно и изящно делал это Смеляков, истинный художник, знающий цену радости.

Он любил ездить по новым городам и строительством, на праздники и юбилеи.

Он любил всматриваться, вживаться в это могучее движение жизни, где «нет величия и страха, а лишь естественность одна».

Он видел в этом вечном потоке начало и конец каждой отдельной жизни, ее мгновенность и бессмертие, он не любил прогретой воды мелководья, его всегда тянуло на глубину. Он знал, что чистое течение жизни всегда выбрасывает на поверхность легковесную дрянь, бросающуюся в глаза и ноздри, а истинное в жизни не так уж заметно своей монументальностью, истинному незачем стремиться к показухе.

Он любил перекрестки жизни, где возникали связи времен и характеров. И себе в утешение, с мудростью и простотой вспомнил он о девочке, повязавшей ему на шею пионерский галстук:

Помню воздух,
Насыщенный праздником света,
Слышу туш оркестрантов,
Уставших играть.
...Не могу я
Доверие девочки этой
Хоть едва обмануть,
Хоть чуть-чуть осмеять.

Он был нежен с детьми и с животными, как большой, старающийся всеми силами забыть смертельную обиду ребенок. Иногда это ему удавалось. И иногда эта обида выходила наружу, и он мрачнел, делался колючим, задирстым и беспомощным в этой своей обиде, потом это состояние сменялось задумчивостью и сосредоточенностью и поисками родства с жизнью, с легкими ласточками радости, снующими над крышами человеческого муравейника.

Наступала просветленность души. Начиналась поэзия!.. Его судьба, его счастье, его жизнь.

Я любил его. Мне казалось и кажется, что его нельзя не любить.

Я вижу его и сейчас. Вот он смотрит на меня чуть грустным взглядом с той самой фотографии, которая висела над книжным шкафом в сарае Гриши Рябинина.

Я вижу его — вот он идет, окруженный разношерстными дворнягами, по осеннему лесу на своей даче в Переделкине, шурша модными ботинками по опавшим сухим листьям, чуть приподняв правое плечо, наклонив голову в неизменной кепочке. Идет о чем-то задумавшись, покуривая папиросу и слегка опираясь на палку...

У этой палки тоже есть своя история.

У меня с детства осталась привычка таскать в кармане перочинный ножик и что-нибудь строгать. И я делаю палки. Из можжевельника или ореха — у нас на севере, из кизила или граба — когда бываю на Кавказе или в Крыму. Потом обжигаю и полирую их. И мне это доставляет удовольствие. А потом я их дарю своим друзьям, которым уже требуются эти палки не для фасона.

Кажется, в Михайловском, Ярослав Васильевич попросил меня сделать и ему палку.

И я сделал.

Сделал из можжевельника. Высушил и отполировал и на ручке вырезал звериную морду.

Вот он и ходил с этой моей палочкой по осеннему лесу в Переделкине, прислушиваясь к писку синиц и к возне белочек на старой ели, около дупла. И ему было хорошо оттого, что в руке есть эта самая вырезанная мною палочка и что на нее можно опираться, а мне было приятно и грустно знать об этом.

Так он и ушел с этой палочкой в больницу, чтобы там у докторов набраться сил к своему празднику. На обратную дорогу она ему не понадобилась.

Праздник его шестидесятилетия не состоялся.

Остался праздник его поэзии.

А сам он остался спутником молодости моего поколения.

Только ли моего и только ли спутником?.. Его судьба начинает перерастать в явление национальной культуры.

Что бы он еще мог сделать? — спрашивать об этом непристойно. Он сделал то, что сделал.

Песня его жизни — песня его Родине.

Мир его души — всему миру!

ПО ПРАВУ РАЗДЕЛЕННОЙ СУДЬБЫ

Я знаю Ольгу Берггольц давно. Очень давно — с первой ее книжки, простодушной и радостной, выпущенной в начале тридцатых годов. И время, события этого времени нас уже подравняли в возрасте, и я могу говорить о ней как о своей сверстнице и, если хотите, как о самом себе, настолько мне близко все, что она сделала, и я понимаю то единственное ее право, с которым она определяет свое назначение:

Ты возникаешь естественней вздоха,
Крови моей клочкотанье и тишь,
И я Тобой становлюсь, Эпоха,
И Ты через сердце мое говоришь.

И это действительно позиция, а не поза. Как она естественна, эта позиция, для людей, чьи души преданы Родине, чья вера чиста и незапятнанна.

И только с чистейшим сердцем
и только склонив колена,
Тебе присягаю, как знамени,
целуя его края, —
Трагедия всех трагедий — душа
моего поколения,
Единственная,
прекрасная,
большая душа моя.

У Ольги Берггольц, поэта своего поколения, подвиг гражданский и подвиг поэтический самой судьбой слиты воедино. Их нельзя расчлнить: настолько крепко их взаимосвязь, что трудно пайти начала и концы одного и другого.

...Несмотря на стремительность времени, знакомство наше было постепенным, медленным. Сначала я прочел и запомнил ее стихи. Я и сейчас их помню. И почему-то мне особенно запомнилось из всей книжечки в серо-голубоватом бумажном переплете вот именно это стихотворение:

На углу случилась остановка,
Поглядела я в окошко мельком:
В желтой куртке, молодой и ловкий,
Проходил товарищ военком.

Это было в самом начале тридцатых годов в библиотеке Ивановской текстильной фабрики-школы, где я, неиз-

вестно по какому праву, был допущен к полкам и, естественно, не пропуская ни одного нового поэтического сборника. Я прочел ее книжку залпом, потом показал ее соседу по парте, приверженцу Маяковского, Грише Рябину, и он разделил со мной восторг моего открытия, не преминув, однако, заметить, что она слишком много кокетничает в этом стихотворении со своим военкомом. Он так и сказал — «кокетничает», и я удивился этому слову, которое тогда было каким-то чужим в нашем обиходном языке.

Кокетство кокетством, а военком запал мне в память, и я стал высккивать стихи Ольги Берггольц в ленинградских журналах.

Так произошло первое знакомство (о котором она ничего не знала и не могла знать), так она стала частицей моего воздуха, моего света, и мир от общения с ней, от одного ее присутствия становился ярче, шире, свежей, многообразней.

Потом товарищ военком прислал мне повестку.

И с этим, уже реальным, военкомом нельзя было спорить, потому что наступило его время, и мы смутно ощущали всю ту грандиозную ответственность, которая, как медленно оползающая с вершины века гора, оседала на наши плечи, как бы приучая к той неимоверной тяжести, которую надо будет вынести сквозь огонь и кровь накалывающейся катастрофы.

Я служил на полуострове Гангут.

За моими плечами уже была финская кампания — мерзлая кровь на заиндевелых валунах и мерзлом вереске, теплые ноздри коня и латунные звезды, вырезанные из котелков, на столбиках свежих могил друзей, уже соединившихся с вечностью.

За моими плечами была первая книга моих стихотворений, напечатанных Николаем Тихоновым в журнале «Звезда», в том самом журнале, где я когда-то высккивал ее стихи.

Вот так мы и сошлись, как два жнеца на одном поле, еще не зная друг друга, но уже соединенные временем и судьбой.

А фашист пер на Восток.

Он подходил к Москве. Он окружил Ленинград.

Я работал в газете «Красный Гангут», писал листовки, стихи, очерки. Я работал вместе с прекрасным художником Борисом Пророковым. Писем мы почти не получали. Газеты приходили с опозданием и редко. Богом

нашей связи с Большой землей был радист Гриша Сыроватко, принимавший сводки Информбюро и приказы Верховного Главнокомандующего.

Вот у него в радиорубке я и услышал ее голос из Ленинграда. Взволнованный женский голос, исполненный колдовской мужественности. Она читала свои стихи просто, как будто разговаривала со всем миром о той страшной трагедии, которую он переживал. И ее готовность пойти на все ради спасения этого мира брала за живое, как будто она проводила ладонями по моим щекам и заглядывала в глаза до той самой глубокой глубины, куда и самому себе заглядывать страшновато.

Мы будем драться с беззаветной силой,
Мы одолеем бешеных зверей,
Мы победим, клянусь тебе, Россия,
От имени российских матерей.

Я вслушивался в эти слова. Я впервые слушал ее голос. Это была наша вторая встреча, и не было между нами ни расстояния, ни времени. Она сняла своим голосом все эти четыреста пятьдесят штормовых километров от Ленинграда до Гангута, начиненных минами, пылающих и гремящих порохом и тротилом.

Она сделала это легко и незаметно.

И Сыроватко развел руками, когда она внезапно кончила, когда трескотня радиоразрядов прошла наши наушники, словно пулеметными очередями. А потом я услышал ее в ночь на 3 декабря в рубке тральщика БТЩ-218, куда я попал после соленой морской купели, и меня, единственный раз в жизни, прямо-таки выматывала качка. Я лежал на каком-то диванчике и сквозь боль и бред слышал опять ее голос:

Да, зубы сжав и брови сдвинув,
Не отведя от смерти глаз,
Мы отмечали грозный час
Двадцать четвертой годовщины.

Я слушал это и вспоминал, как мы встречали двадцать четвертую годовщину Октября там, куда уже не вернемся, на полуострове Гангут. Мы даже нашли где-то по глотку спирта, и я тоже об этом написал стихи:

Мы все переживем: тоску и стужу,
И, как сегодня, отстояв зарю,
Мы, вспомнив праздник, выглянем паружу
И молча улыбнемся Октябрю.

И пока я это вспоминал, боль отступила, дикие судороги желудка кончились и наш тральщик, как утюг раздвигающая шугу, подошел к Гогланду.

А потом я ее встретил в Ленинграде, весной сорок второго года, и нас не надо было знакомить — наверное, потому я и не запомнил подробностей этой встречи. Я понимал только одно, и чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь в моем тогдашнем ощущении: Ольга Федоровна Берггольц была не просто поэтом, она была голосом блокадного Ленинграда, пеленгом мужества, загадочной духовной сущью Победы, живущей во глубине глубин душ измотанных голодом и бомбежками ленинградцев. И время выбрало именно ее говорить обо всем этом со всем миром «по праву разделенного страдания», как она сама в этом призналась спустя несколько лет.

Находясь в самом эпицентре трагедии, где поединок жизни и смерти заполнил все пространство внешнего и внутреннего мира, где вечные нравственные категории совести и долга, мужества и верности стали во всей обнаженности и смыслом и двигательной энергией Подвига, она не имела времени рассуждать о назначении поэта — ей надо было через трагедию своей души, через горе утраты своих родных и близких понять трагедию своего города, своего народа и найти в себе нравственные и физические силы для сиюминутного действия.

Она могла погибнуть каждую минуту, на каждом шагу от голода или от обстрела, как погибли сотни и тысячи ее сограждан, в святой страсти своего непокорного духа, потому что сила ее убежденности в правоте и правде победы была выше голода, и страха, и самой смерти.

Она, сама того не понимая, стала живой легендой, символом стойкости, и ее голос был для ленинградцев кислородом мужества и уверенности и мостом, перекинутым через мертвую зону окружения, он помогал соединять пространства и души в один общий порыв, в одно общее усилие.

И этот опыт трагедии заставлял находить безошибочно точные слова — слова, равные пайке блокадного хлеба. Они не утоляли голода, но они были подтверждением уверенности:

Я никогда героем не была,
Не жаждала ни славы, ни награды.
Дыша одним дыханьем с Ленинградом,
Я не героистовала, а жила.

И эта жизнь в самой обыденности подвига была чудом и остается чудом, возвеличивающим человеческую душу. Ольга Берггольц падала в снег от голодного обморока, но находила в себе силы подняться. Я видел ее во время блокады, легкую, гнущуюся под ветром былинку, на заваленной снегом Малой Садовой, около Радиокомитета. Я встречал ее в дивизии Симоняка, в солдатских землянках и в цехах Кировского завода. Она была частицей Ленинграда, его живинкой, его необходимостью.

Она была ленинградкой, питеркой по самой своей душевной природе. Она родилась здесь в 1910 году, в семье врача за Невской заставой. И жизнь подарила ей все, что только можно пожелать: обаяние и страсть, талант и душу, золотую косу и глаза как проруби...

Подвиг ее поэтической души, совершенный ею в дни и часы трагических испытаний, был не только ее подвигом — он выросал в нечто большее, он становился символом, двигательной энергией, поднимающей человеческие души на общий подвиг Жизни.

Поэтому, наверное, все, что она делала во время блокады, все, что она писала, все, что она говорила в микрофон, осталось не только как документ, нет, — это все живо в самом воздухе мужества и беспокойства, которым дышит понимающий существо жизни Человек.

Учителями ее характера были русская поэзия и революция, их величайшая, преобразующая мир справедливость. Ее наставниками были Алексей Максимович Горький и Анна Андреевна Ахматова. Ее друзьями были Корнилов, Светлов, Твардовский.

В ее голосе живет голос времени, его динамика и его страсть.

И три тома собрания ее сочинений — это ее подаренная всем нам душа, щедрая и чистая. Вглядись в нее, вслушайся в нее.

Ленинград. Севастополь. Сталинград. «Первороссийск». «Верность»... Она ищет подтверждений своей уверенности, своей высокой правде — и находит их. Она пытается свою страсть сопрягать с высокой страстью беспощадного в своей строгости и чистоте времени. Она наполняет время смыслом.

Она многообразна и изменчива в своем неповторимом единстве.

Не спи, вставай, кудрявая!

Это Борис Корнилов про нее написал, хотя она никогда не завивала свои прекрасные, золотые, тяжелые, как необмолоченный сноп пшеницы, волосы.

Ее пытались изобразить кистью Богаевская и Альтман.

Ее пробовал вырубить в мраморе и дереве Василий Астапов.

Ее старалась передать на экране Алла Демидова.

И все эти попытки талантливы, каждая по-своему, и в каждой из них есть остановленный миг лика ее души.

А сама она... Ее стихи и поэмы, ее проза и ее драмы есть движение мысли, времени, чувства.

Ее поэтическая судьба, как и подобает истинно поэтической судьбе, всей своей неповторимой исключительностью лишний раз подтверждает вечную истину, что подлинный поэт не может быть ненародным, негражданственным.

Долог путь к вершине человеческого совершенства — кажется, чем ближе подходишь к горе, тем она становится выше. Но без стремления к этой вершине нет жизни, теряется ее смысл, пропадает призвание человека.

Я перечитываю книгу стихов Ольги Берггольц «Узел». Перечитываю, потому что трудно с одного раза постичь ее благородную, истинно поэтическую суть, понять истоки той силы гражданственности, на которой замешана эта удивительная книга. Она оптимистична высоким оптимизмом трагедии, она потребовала от автора полного откровения, полной правды души. «Узел» — действительно крепкий узел, завязанный художником для того, чтобы современники осмыслили выстраданное им, задумались над трудным прекрасным опытом народа, может быть единственным в мире опытом, который наверняка поможет человечеству реально поверить в жизненную глубину понятий Свобода, Равенство, Братство, в вечные идеалы, омытые кровью рыцарей Правды, не потерявшие своей солнечной теплоты и единственные в своей незаменимости...

В жизни у Берггольц было много трудного. Она вышла из всех испытаний чистой и светлой, умудренной и жадной до жизни, верной высоким идеалам и борющейся за них. В книгу «Узел» включены стихи, написанные с 1937 по 1964 год. Стихи, которые не включались в другие книги. Стихи, написанные в минуты мучительных раздумий. Собранные вместе, они засверкали обжигающей душу правдой, ударили в душу таким ослепляющим светом откровенности, боли и любви, что гражданственность автора,

по крайней мере для меня, поднялась до вершин подвига. И о чем бы ни писала в этой книге Ольга Берггольц — о любви или о предательстве, о мировой катастрофе или о личной трагедии, — все это пронизано тем ленинским духом правды и непримиримости, которые не могут не заставить читателя пристально посмотреть в самого себя, поверить во все самое высокое и чистое.

Ее творчество было и всегда будет современно мужеству.

С высоким строем поэтической души знакомиться никогда не поздно.

И вот она ушла.

Ушла тихо, неожиданно.

Ушла навсегда, оставив в самом осеннем воздухе этого прекрасного и тревожного мира какое-то легкое движение ветра, зыбко струящийся свист над просекой оголенной березовой рощи...

Я разучился плакать за две войны и блокаду.

Я могу заплакать только от радости.

За полтора месяца до ее смерти я разговаривал об этом с Ольгой Федоровной, сидя у ее постели в ее квартире на Черной речке, и она соглашалась со мной, и нам было хорошо оттого, что мы стали вот такими, что можем плакать только от радости.

Она разговаривала лежа, не вставая...

В ее жизни было все: любовь и война, клевета и слава. И сама верность ее мятущейся души была соткана из противоречий вечного поиска.

Она могла видеть дневные звезды из глубокого колодца своей памяти. И эти звезды остались от нее живущим. Остались в ее стихах, в ее прозе и драмах, в ее судьбе, причастной подвигу Ленинграда, великому подвигу света и весны, подвигу вечного обновления жизни.

Она ушла.

Ушла тихо и незаметно из больничного одиночества — беззвучной песней, слетевшей с запекшихся губ вместе с последним дыханием.

«Никто не забыт, и ничто не забыто!»

Эти ее слова, выбитые резцом времени на гранитных плитах Пискаревского кладбища, живут и предупреждают.

Она ушла. Ушла навсегда.

Я это знаю и не верю этому.

И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами —

Живые с мертвыми: для славы мертвых нет —

это уже Ахматова. Ну и что из того! Есть ли у вечной женственности начало и конец? Ведь сладкий голос Сафо от берегов солнечной Эллады все еще звенит над миром о любви и нежности...

Она никогда не думала о своей щедрости. Это было ее врожденное свойство. И она идет по Земле, песней своей утоляя печаль тех, кто в этом нуждается. Идет через зиму и лето — к Августу Человечества.

Идет наша Оля.

Наша Ольга.

Наша Ольга Федоровна.

Дочь и сестра Ленинграда. Прорицательница Победы и ее плакальщица.

Она идет легко и тихо. И ветер ее пшеничных волос чуть касается наших губ, освежая их своим пленительным прикосновением. Она идет в мир, названный ее словами: «НИЧТО НЕ ЗАБЫТО».

1979

ПАМЯТНИК НЕДОПЕТОЙ ПЕСНЕ

Мы движемся в одном потоке к совершенству мира и к совершенству самих себя. Ленинская революция была началом раскрепощения мысли народной. Великая Отечественная война была защитой созданного свободной мыслью, защитой духа созидания, защитой самой Поэзии — основы основ всего прекрасного и в человеке, и в народе.

Оставшиеся после Великой Отечественной войны в живых помнят, какой силой наполняла наши сердца написанная в самом ее начале песня:

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война!

И сейчас, когда я слышу слова этой песни, проникаюсь ее музыкой, в сердце моем одновременно закипают восторг и слезы, и я, оставаясь собой, уже реально начинаю понимать, что за моими плечами стоит народ, силы которого неисчислимы, и жизни моей нет ни начала, ни конца.

Сейчас передо мной лежит объемистая книга в восьмьсот страниц с мемориальным названием:

СОВЕТСКИЕ ПОЭТЫ,
ПАВШИЕ НА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Книга эта вышла в Большой серии «Библиотеки поэта», основанной Максимом Горьким. Все в этой книге, начиная с предисловия Алексея Суркова и кончая примечаниями составителей книги В. Кардина и И. Усок, исполнено благородного смысла и щемящей душу пронзительной торжественности.

И я иду по страницам этой книги, как ходят по песчаным дорожкам Трептов-парка или по каменным плитам Пискаревского кладбища на рассвете тихого июньского дня, когда одуряюще пахнет цветущая сирень, а на лепестках багровых тюльпанов еще, переливаясь, горят капельки росы.

Я душой своей иду по этой книге, как по песне моего поколения, случайно возникшей на привале и недопетой, потому что прозвучал сигнал тревоги, песня оборвалась на полуслове, но сама музыка ее, сам строй ее уже убедили душу, что эта песня когда-то непременно возникнет снова как раздумье перед новым свершением.

Истинная поэзия всегда беззаветна.

Мы живем в нерушимой круговой поруке между павшими и живущими. Нити этой незримой связи в последовательности нашего общего движения к человечности, добру и свету.

Пятьсот девяносто шесть стихотворений сорока восьми поэтов, чьи судьбы были оборваны железной рукой войны, сверстаны под один синий коленкоровый переплет.

Многие из них были моими друзьями. Многих из них я знал по голосу. Со многими беседую впервые. И все они живы для моей души. Они просто отошли от нашего общего костра на рассвете. К вечеру они обязательно вернутся и подбросят дров в затухающее пламя.

И первым подойдет к костру мой друг по Иванову, штурман подводной лодки, коренастый крепыш Алексей Лебедев, притушит прямую короткую трубку, взглянет на Полярную звезду и, немного картавя, прочтет:

Не плачь, мы жили жизнью смелой,
Умели храбро умирать, —
Ты на штабной бумаге белой
Об этом можешь прочитать.

Переживи внезапный холод,
Полгода замуж не спеши,
А я останусь вечно молод
Там, в тайниках твоей души.

А если сын родится вскоре,
Ему одна стезя и цель,
Ему одна дорога — море,
Моя могила и купель.

Подводная лодка Лебедева лежит где-то около Гогланда, и глубинное течение шевелит над ней гибкие водоросли. Лебедев погиб в ночь на 3 декабря 1941 года. В ту самую ночь, когда я возвращался в Ленинград с последним эшелонем с полуострова Ханко, когда наш корабль, подорвавшись на трех минах, беспомощно сел на «банку». Лебедев шел охранять нас.

В лепете певской волны, набегающей на гранитный берег, мне всегда слышится его глуховатый голос.

И вторым подойдет к костру мой товарищ и земляк, политрук пулеметной роты Николай Майоров и с юношеской стеснительностью произнесет:

Есть в голосе моем звучание металла.
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.
Не все умрет. Не все войдет в каталог.
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество как знамя пронесли.

«Что ж, — скажет он, — я очень много думал о будущем, но в будущем я уже ничего не напишу: проклятая пуля в февральской метели под Смоленском лишила меня этой возможности».

И третьим подойдет к костру мой ленинградский друг лейтенант Георгий Суворов, лихой гвардейский командир взвода противотанковых ружей, присядет на корточках, улыбнется широкой улыбкой, проведет ладонью по усам и, вынимая из полевой сумки самодельную тетрадь, скажет: «А ну, послушай:

В воспоминаньях мы тужить не будем.
Зачем туманить грустью ясность дней...», —

а потом, помолчав, добавит: «Ты мою книгу назови «Слово солдата». Я знаю, что это не особенно красивое название, но точное».

Потом я прочту эти стихи на мраморной плите в Сланцах, около которых погиб Георгий в 1944 году. Потом я увижу имя Алексея Лебедева на одной из улиц Кронштадта, а Коли Майорова — на одной из улиц Иванова.

А костер будет гореть, и на смену Мусе Джалилю подойдет Михаил Кульчицкий. И Кульчицкого сменит задумчивый Павел Коган и, может быть, споет вполголоса свою песню о бригадине.

А костер будет гореть, и фронтовое братство поэзии, задумчиво перебрасываясь уже ставшими вечными словами, будет сидеть у костра, и доброе пламя будет выхватывать из темноты молодые сосредоточенные лица лейтенантов и рядовых, героев и мучеников, навсегда оставшихся служить беспощадной Матери-Победе.

Их служба бессрочна, и даже министр обороны не может, не в силах демобилизовать их.

У них у всех двойная служба: служба защиты Родины и служба защиты Поэзии от мелочной и филистерства.

Книга, о которой я говорю, — книга беззаветного Подвига. И мне очень жаль, что я не смог упомянуть в своем разговоре всех сорока восьми авторов этой бесподобной книги. Вы можете беседовать с любым из них доверительно и открыто. У каждого из них свой голос и своя судьба, и все вместе они и жизнями своими, и песнями дали возможность тянуться к солнцу вашим жизням. Помните это и оставайтесь вместе со мной благодарными святой благодарностью этой книге — памятнику недопетой песне.

1967.

В БЕЛОМ ЧИСТОМ ПОЛЕ

...И все-таки он очень страдал от этих шрамов, от этих рубцов, от начисто слизанной языками огня кожи, от выгоревших на щеках и подбородке мускулов, от перекошенного века на левом глазу, от сведенных на руках пальцев в бугристых, еще кровоточащих наростах. Он страдал физически от осточертевшей боли, к которой так и не мог привыкнуть, но больше всего страдал от шрамов на душе, на самых ее чувствительных глубинах. Шрамы на лице потом зарастут рыжеватой шкиперской бородкой, глаз перестанет слезиться и сгоревшее веко как-то прикроется лихим волнистым чубом, но шрамы на душе останутся, останутся навсегда, как осколки раздробленной кости, и будут саднить и болеть все время.

Он дважды горел в танке, потому что уходил из танка, как это и положено командиру, последним: сначала вытал-

кивал товарищей, потом уже пробивался через адское
пламя газойля сам.

Вот человек — он искалечен,
В рубцах лицо. Но ты гляди
И взгляд испуганно при встрече
С его лица не отводи.

Он шел к победе, задыхаясь,
Не думал о себе в пути,
Чтобы она была такая:
Взглянуть — и глаз не отвести! —

так Сергей Орлов нарисовал себя и свою душу одновременно.

Я знал его еще до войны по статье Корнея Чуковского
в «Правде» и помнил его стихи, процитированные Чуков-
ским:

В жару растенья никнут,
Бегут от солнца в тень.
Одна лишь чупка-тыква
На солнце целый день.

Растет рядочком с брюквой
И, кажется, вот-вот
От счастья громко хрюкнет
И хвостиком махнет.

Эти стихи нельзя было не запомнить. В них — весь Ор-
лов, лаконичный, точный, урожденный поэт.

Мы познакомились с ним в конце сорок пятого года.
Впрочем, нам не надо было знакомиться. Мы просто встре-
тились, как две необходимости, на всю жизнь. Тогда мы
готовили к печати первую книгу его стихотворений. Орлов
назвал ее «Третья скорость». Это значит — боевая ско-
рость танка. На этой скорости он и вошел в поэзию.

...Мы были нужны друг другу всем, чем нас наградила
судьба, каждого в отдельности. Его тетрадка в картонном
переплете, пропахшая газойлем, та самая тетрадка, в ко-
торой я впервые прочел: «Его зарыли в шар земной», так
была похожа на мою тетрадку, в которой были записаны
моей рукой уже известные ему «Соловьи».

А потом была целая жизнь поисков, споров, путеше-
ствий, взаимных надежд и разочарований. Целая жизнь!

И вот его не стало.

Он упал как пулей подкошенный. Упал и не поднялся.
Упал. И на скошенном войной, уже покрытом зимним

снегом белом поле поколения ровесников Революции стало еще пустынное и холоднее. Его песня, как былинка, наперекор всем ветрам и вьюгам качала непокорной головой над снежным настом и всем своим одиночеством кричала о могучей весне, о будущем буйном цветении разнотравья, вставшего навстречу дьявольскому огню смерти и смертью свою сохранившего зерно жизни.

Больше нет Сергея Орлова.

Нет его, жженого, стреляного, нежного и верного! Сколько ни оглядывайся — не увидишь.

У него был чуткий поэтический талант, закаленный опытом мужества. Он был истинным сыном народа; песня его души — это приветствие и напутствие грядущему, спасенному подвигом его поколения.

Было бы неверным сказать, что Великая Отечественная война дала нашей поэзии блистательную плеяду поэтов, ровесников Сергея Орлова, таких, как Сергей Наровчатов, Семен Гудзенко, Георгий Суворов, Александр Межиров, Мустай Карим, Кайсын Кулиев, Михаил Луконин. Нет, они стали поэтами вопреки войне, а другие остались на ее полях, не успев сказать ни единого слова. Это, наверное, о них Орлов и написал свое удивительное стихотворение-памятник:

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.

Величие простоты этого стихотворения достойно солдатского подвига.

Безымянных солдат не бывает. Об этом он знал и помнил. У каждого из двадцати миллионов погибших в огненной круговерти войны были мать и отец, были имя, отчество и фамилия.

Сергей Сергеевич Орлов — солдат и поэт, верный долгу жизни и совести, славой слова своего и подвигом судьбы своей остается в поэзии русского языка, в поэзии русского характера.

Я не знаю, куда она затерялась, эта самая медаль «За оборону Ленинграда», его, Сергея Орлова, медаль, которую он мне показывал, медаль искореженная и смятая. Когда она была новой, он носил ее над левым карманом гимнастерки, над сердцем. И она защитила его от смертельного осколка в бою. Осколок смял и исковеркал ее вместе с комсомольским билетом, но сердце тогда осталось целым.

И вот сердце его треснуло, и никакой врач уже не мог его спасти.

Это сердце умело заботиться только о других. Так уж оно было устроено.

Оно треснуло от перегрузки. Треснуло и сломалось. И тихий звук, как колокольный звон, идет по белому полю скошенного войной поколения, идет и колеблет редкие жесткие былинки, поднимающиеся над снегом.

Их стало на одну меньше в белом чистом поле.

Минуют годы, но душа моя до последнего вздоха на этой земле так и не примирится с тем, что Сергея Орлова не будет.

Мне этому не поверить.

И что из того, что не его, Сергея Орлова, губы, а мои произносят слова, принадлежащие только ему:

Я требую немногого,
Немногого хочу —
Планету за порогом,
Всю в солнце, как бахчу.

.....
Да, может быть, травинку
С росинкой в желобке,
Травинку с паутиной
Одну на сквозняке, —
Когда мой сын, не старый,
Да и не молодой,
Со мной прощаться станет,
Обросшим бородой.

Что из того, повторяю я, что эти слова говорит не он, а я, все равно они живут в мире и вечно будут жить на планете, похожей на солнечную бахчу, будут жить и в малой капельке росы, застрявшей в ложбинке малой травинки, в капельке росы, отражающей большое солнце.

1980

САЛЮТУЯ ЖИВУЩИМ

Он так и останется на все времена ровесником комсомола. И в дни праздника юности ему было бы шестьдесят лет, и я бы, наверное, полетел из Ленинграда в Волгоград, на его родину, на его Волгу, о которой он так нежно и проникновенно говорил в своих стихах, я полетел бы к

нему, как летал десять лет назад из Ленинграда в Волгоград вместе с героем фронтового братства, нашим общим другом и ровесником Сергеем Орловым. Но его тоже нет, как и Луконина, ему тоже, как и Луконину, никогда не будет шестидесяти лет. Оба ушли. Луконин первым, Орлов — через год. А я еще до сих пор не могу примириться, да, наверное, так до конца дней своих и не примирюсь с мыслью, что их нет и не будет.

Будут их юбилеи. Будут праздники их бессмертных мужественных книг, только их самих уже не будет на этих прекрасных праздниках. Они сами ушли навсегда. И Михаил Луконин и Сергей Орлов. И тот и другой от разрыва сердца, от этой трещины через все предсердие, через весь желудочек, через все сердце, как через земной шар от полюса до полюса.

Юбилеи будут. Кому ж справлять юбилеи, если не им! Но уже никогда Михаил Луконин не скажет, обращаясь к своим гостям, как он это говорил на своем пятидесятилетии, с улыбкой очаровательного великодушия пополам со стеснительностью: «Друзья мои! Вы очень щедрые люди. Я благодарю каждого из вас за то, что вы подарили мне по три дня своей жизни. Извините уж меня за то, что я заставил вас так безбожно тратиться».

Михаил Луконин — это особая страница русской поэзии. Страница бессмертного духа, мужества и собранности, нежности любви и великолепия верности.

Его комсомольская юность прошла на родной Волге, на Сталинградском тракторном. Здесь, в его цехах, будучи фабзайцем, он сам себе сделал гаечный ключ, как ключ к своей собственной жизни, умеющий отмыкать все тайны человеческого бытия. Здесь он начал писать стихи и играть в нападение «Трактора». Он был форвардом по самой своей натуре. У него был свой рисунок игры и на зеленом футбольном поле, и в поэзии. Он был всегда впереди, был по складу своего характера добровольцем.

Таким он ушел в снег и мороз Карельского перешейка в 1939 году с лыжным батальоном, вместе с товарищами по Литературному институту имени Горького.

Он был неунывающим и надежным товарищем.

На него было можно положиться во всем: и в жизни, и в рифме.

Он не умел филонить.

Он был рыцарем оружия и слова.

Слушайте, как он говорит:

Ганабин обладал еще истинно поэтическим песенным даром. Он был превосходным моряком и верным товарищем в нелегкой матросской судьбе, запевалой и гармонистом, и его звонкий, легкий голос воодушевлял матросские сердца перед боем и утешал их в скорби о погибших товарищах.

Я флоту очень благодарен:
Я окроплен морской волной,
Морской волной —
Живой водой!

Ваня Ганабин! Иначе мне его и не назвать. Он был юн, и его льяняные вьющиеся волосы, как золотой венец, обрамляли милое улыбочливое лицо, освещенное огнем голубых глаз, как светом самой верной верности. Он был родом из Южи, маленького городка, затерянного в небогатых полях и перелесках Центральной России, и в его характере эта Россия светилась и жила как само июльское солнышко в подсолнухе.

Он был смел и храбр и никогда не кичился этим. И ушел очень рано, с подъема на самую крутую горку своего расцвета, с душой, распахнутой к радости отвоеванной им жизни.

Ваня Ганабин отдал свою песенную душу людям, раздарил ее беспощадно и легко, расточил ее по капле в песне и любви.

Он любил петь, подыгрывая себе на баяне, незаметно становясь центром вернейшего товарищества. Умел грустить вместе со всеми под вздохи полонеза Огинского, и эта грусть, как вольный ветер, снимала с истомленных войной душ коросту ненависти, наполняла их светом веры и мечты.

Таким он и остался в своих стихах и песнях, в нашей памяти. Когда я был в Сопоте, в том самом городе, который освобождали балтийские матросы и в боях за который был ранен и контужен Ваня Ганабин, я забрел в древний собор. Там было прохладно и тихо, и эта прохладная тишина располагала к раздумью, к уравновешенности. А пустота старого собора была особой пустотой высокой сосредоточенности. И когда тихий старый монах по узкой винтовой лестнице стал взбираться на балкон, я посмотрел ему вслед и увидел орган — чудо датских мастеров семнадцатого века, орган с серебряными птицами и зверями, причудливыми деревьями и ангелами с трубами победы в руках, готовыми вскинуть эти трубы и, прижимая

их к губам, наполнить мир восторгом. Орган запел, и мир наполнился торжеством музыки, и солнце сквозь цветные витражи заиграло на серебре и золоте, и серебряные птицы с веселым щебетом замелькали в снопах синего, голубого, желтого и красного цветов, и вдруг я увидел, как ангел с лицом Вани Ганабина поднял золотую трубу — и время ушло, ушла смерть!

Осталась Поэзия. Ее чудо.

Она пела и ликовала.

И я плакал от счастья жизни и памяти.

И Ваня Ганабин встал рядом со мной во всем трепете своей юности, всем подвигом своей души, верной жизни!

Потом я вышел в мир старых зеленых лиц, красной черепицы и желтого песка, на который бесконечной чередой накатывались свинцовые волны Балтики, и черные стрижи с пронзительным визгом взмывали в пронзительно голубое, как глаза Вани Ганабина, небо.

1980

ПЕВЕЦ МУЖЕСТВА

В 1966 году летом мы хоронили Александра Ильича Гитовича. Он умер в Комарове на 57-м году жизни, в расцвете своего мастерства и таланта, оснащенного мудростью жизненного опыта.

Мы хоронили Гитовича на Комаровском кладбище, исполняя его волю. Стоял ветреный, перемешанный дождем и солнцем день, и с его окаменевшего навсегда лица не сходила добрая улыбка. Он, покидая навсегда этот удивительный мир, прощался с ним достойно, как свойственно воину, исполнившему свой долг.

Прямые сосны, устремляясь вершинами в высокое небо, шумят над его могилой, и ямбический шум их вершин торжествен и печален. Иногда мне кажется, что этот шум похож на его стихи.

Гитович всегда был певцом мужества. И в первой его книге «Мы входим в Пишпек», и в «Артполке» сам строй стиха походил на армейскую амуницию, потому что мужество не терпит расхристанности. Естественно, что он был похож на свои стихи, — подтянутый, спортивный, собранный.

Я узнал его таким в блокадную зиму 1941/42 года, когда он работал в газете «Боевая красноармейская». Он

не сидел в редакции. Если ему надо было написать о снайпере, он уходил вместе с ним на передний край в засаду и сам всматривался в оптический прицел и открывал свой счет справедливой мести. Если ему надо было написать о летчике, он отправлялся с ним в полет и нажимал на гашетку бомбометателя.

Он не мог поступать иначе. Это было закономерностью характера, свойством души, свойством стиля, гармонически выражавшим душу.

Он был строг и беспощаден и к себе и к своим товарищам. Об этом лучше всего свидетельствуют его стихи, векомость и точность его прекрасных переводов классических китайских поэтов и то, что осталось в его рабочем столе, то, что продолжает его беспокойную жизнь сегодня.

Он не любил дешевого успеха и не искал его.

Он любил как это положено истинному поэту, путешествуя, новые горизонты земли и души. Средняя Азия, Карелия, Корея и Армения... Он был всегда в походе, и стихи его кратки, как привалы.

Не так-то уж много людей, которые после смерти Александра Гитовича сказали: «Какого поэта мы потеряли!» Уверен, что куда больше людей, которые говорят и еще скажут: «Какого поэта мы открыли», — потому что истинная поэзия всегда на полшага впереди.

1968

ЛЕТАЮЩИЙ МАЛЬЧИК ОБЯЗАН ЛЕТАТЬ

Я пытаюсь положить на бумагу
Или высечь из камня
То состояние,
От которого захватит дух,
Как это случилось со мною
Однажды в детстве...

Эти строки принадлежат моему старому другу поэту Виктору Гончарову. Он стал поэтом в годы Великой Отечественной войны. Он знает войну по тому, как в атаке тело останавливает встречная пуля и оно, теряя движение, падает в пропасть беспомысленности. Виктор Гончаров трижды падал, обливаясь кровью, на отвоеванную им святую землю России. Он умел смотреть вперед, когда бежал в атаку, не отворачиваясь от гибели. Комсомольский билет в нагрудном кармане его гимнастерки был пробит встречной

пулей, пробит навывлет вместе с грудью. Но он об этом не написал, наверное потому, что на бумаге это выглядело бы уж очень красиво и неправдоподобно и неправдоподобной красотой не захватило бы дух. Поэтому он и писал о другом, более обыденном, более суровом. Я помню его первые стихи:

Больной, как будто бы грапату,
Бутылку бромную берет,
И снова сонную палату
Корежит хрипкое: «Вперед!»
Он все идет в свою атаку,
Он все зовет друзей с собой...

Он так и погибнет на госпитальной койке, этот парень, прошитый пулеметной очередью, с бутылкой брома в руке. Он умрет в атаке, отдавая все силы, всего себя грядущей жизни, которой так и не увидит. Вместо него «...внесут кого-то к нам в палату на ту же самую постель». Этот парень умрет, не приходя в себя, не выбравшись из грохочущего коловорота войны, и вместо него к нему домой придет печальная гень безжалостной женщины со странным именем Похоронка.

О нем останется только беспощадная правда поэзии в стихах его соседа по палате Виктора Гончарова. И стихи эти всей кровоточащей, горькой правдой утешали души близких парня, примиренного с вечностью.

А о себе Виктор Гончаров напишет другое:

Когда тебя бессонной ночью
Снарядный визг в окоп швырнет
И ты поймешь, что жизнь короче,
Чем южной звездочки полет,
Пусть, слава жизни, и ночь, и осень,
Отбой горняксты протрубят...
Глотая кровь, ты сам попросишь
Своих друзей добить тебя.
Но не добьют...
Внесут в палату,
Дадут железных капель пить,
Наложат гипс, и в белых латах,
Как памятник, ты станешь жить.
И выйдут!
Как из пеленок,
Ты в жизнь шагнешь из простыней,
Нетерпеливый, как ребенок,
Спешащий к матери своей.

Гончаров напишет это о себе, не задумываясь о том, что здесь биография его поколения.

У стихов Виктора Гончарова есть железная необходимость написания — признак неистребимости поэзии. А когда за стихами стоит опыт жизни, жертвенный опыт души, пытавшейся защитить сами истоки жизни, стихи вызывают то самое чувство, от которого «захватывает дух», как это случилось с Виктором Гончаровым, по его собственному признанию, в детстве.

С первой его строки поэт Виктор Гончаров стал для меня человеком надежным. А ведь как важно знать, что человек, идущий с тобой рядом по дороге жизни, — надежен! Я знал об этом и потому, наверное, не так часто смотрел в его сторону, и теперь жалею о своей невнимательности.

В стихах Виктора Гончарова я постоянно чувствовал направление, как бы параллельное азимуту поисков и моей души.

От этого псиного лая,
Лишенная теплого сна,
Котенком на крышу сарая
Забралась худая луна.
Мне тоже куда-нибудь надо...
Опять там, где сердце, болит...
Как будто сквозь заросли сада
Засада за нами следит.

Как и Виктор Гончаров, я учился смотреть в ту сторону, где должна захлестеть буря, как и он, понимал, что поэзия не может жить без двух свойств — удивления и предупреждения.

Однажды я устроил себе праздник — обложился книгами Гончарова, перечитал его однотомник, и сборник поэм («Мечта») — он их называет ладами, — поэм, написанных белым стихом, и первую часть стихотворной повести «Летающий мальчик».

Я удивлялся его удивлениями, тревожился его тревогами, очаровывался его очарованиями:

Но ты позволь мне мальчиком остаться,
Которого невзгодами секло,
Чтоб с улицы тобою любоваться,
Расплющив нос о толстое стекло.

Мир Виктора Гончарова, к моему восторгу, оказался гораздо шире моего представления о нем. Он был вонисту праздничен, как это и положено поэтическому миру.

И прелесть праздника, неподдельная молодость его души
закружили мою душу.

И все я изъездил, что можно,
Куда невозможно — летал.
И сам вдруг травой придорожной,
Сухим подорбжвннком стал.

Истинный поэт всегда нообычен в своих трансформациях. Он умеет смещать времена и даты, поднимать звезды со дна лесных озер и прикреплять их на свои места на августовском небе, он может слушать живую душу дерева и соединять континенты. Он в родстве со всем необозримым миром жизни. Может утешать плачущую бог весть по какому поводу девочку и кормить с ладони неоперившихся птенцов погибшей пеночки в гнезде.

Он может все. На то он и поэт.

Он может летать. Просто так летать. Забраться на пожарную каланчу или на башню водокачки. Забраться тогда, когда весь мир во главе с главным сторожем спит. Забраться — и полететь над школой и железнодорожной станцией, над крыльцом собственного дома и над окном знакомой девочки из параллельного класса.

Ему это совсем просто, ведь он поэт.

Правда, Виктор Гончаров эти волшебные свойства перенес на другого человека. Только вы ему не верьте: летающий мальчик из волшебной сказки под таким названием — это он сам, это он летал, когда весь мир во главе с главным сторожем спал. Конечно, он, иначе откуда бы ему знать, как это так можно летать человеку без мотора и крыльев, по своему собственному хотению!

Виктор Гончаров совершал эти полеты в детстве, совершает и сейчас. Летаёт, но не признается в этом. Летающий мальчик обязан летать до глубокой старости.

Ах, рыбка, красноперка золотая!
Ты так мала, иди себе, гуляй.
И, рыбку золотую отпуская,
Я грустью переполнен через край.
Мне нечего просить у этой рыбки,
Нет у меня желаний сверхземных.
Качаясь в лодке, как ребенок в зыбке,
Давным-давно я убаюкал их.
Та песня, что хотелось,
Не сложилась.
Вино, что пил,
Хвороба отняла.

Та женщина, которая любила,
Упала вдруг,
Упала да разбилась,
Как стопочка
Пустая со стола.

Но праздник удивления и предупреждения на этом не кончался. Уж если человек с детства умеет летать без мотора и крыльев, сам по себе, — значит, любое чудо ему впору.

И я дивился на празднике встречи с Виктором Гончаровым не только высокой человечности его поэзии, не только прекрасному дару сочувствия, заключенному в поэтическом слове, точном и пронзительном. Я дивился еще глазам и рукам Виктора Гончарова, умеющим видеть и воспроизводить красками на бумаге и полотне, резцом в каменной плоти базальта и гранита зримый мир волшебства, сопутствующий его поэзии.

Я дивился на этом внезапно открывшемся для меня празднике нравственной чистоте и музыкальности русского слова и атмосфере самого творчества, его истоков и загадок на будущее. И снова я повторял про себя слова моего старого товарища по песне:

Когда я смотрю на то,
 Что мной сделано,
 Мне кажется,
Что это всего-навсего
 Только дорога
К тому, от чего захватывает дыхание.

Летающие мальчики не теряют своего исключительного свойства до конца жизни. Жизни, которая похожа на полет из вчера в завтра. Мой старый друг, наверное, это знает. Летающие мальчики обязаны летать. Никто кроме них этого делать не может. И жизни, очевидно, надо, чтобы они летали. Из вчера в завтра. Потому что без этих полетов и жизнь не в жизнь.

И я опять повторяю для себя и для всех слова моего друга и сверстника:

Мой соловей перед зарей поет.
Все спят еще, лишь я проснулся только.
От пения мне радостно и горько
И на душе тяжелый тает лед.

Прислушайтесь. Соловей поет. И на душе от его песни, правда, тает тяжелый лед. Капля по капле тает. И это так прекрасно, что захватывает дыхание.

1983

ПОЭТ И ЕГО ПОКОЛЕНИЕ

Поколение ровесников нашей Революции — особое поколение, поколение самой высокой верности делу своих отцов. Эту верность оно доказало жизнью и кровью на полях сражений Великой Отечественной войны. Это поколение устояло в смертельной схватке с фашизмом, победило фашизм, но почти все осталось там, на переднем крае фронтовой линии, в невысоких курганах братских могил печали и бессмертной славы.

Марк Максимов — поэт этого поколения. Его личную судьбу солдата и поэта нельзя отделить от судьбы его сверстников. Их подвиг — это и его подвиг. Его поэзия — это их и его собственная судьба и биография.

Марк Максимов родился на Украине в городе Сновске в 1918 году в семье лесничего, в тех самых местах, где начиналась легендарная партизанская слава Николая Щорса. Сабельный отсвет этой славы лежит на всей судьбе Марка Максимова.

Он прирожденный поэт. Его незаурядный талант, подогретый великой романтикой революции и гражданской войны, его мальчишеская душа, раз и навсегда зачарованная революционными бурями, выбрали единственное направление к действию.

...И яблоки у глиняной стены
Узнали, обступая полукружьем,
Как в дни боев рожденные сыны
Берут в бой отцовское оружье.

Я прочел эти стихи в журнале «Звезда» в 1939 году, прочел и понял наперед, что у меня есть на свете еще один верный друг, с которым я могу разделить все, что мне положено сделать в жизни, — в этих стихах был тот воздух мужества, которым дышало все наше поколение, готовясь к битве за мировую человеческую справедливость. И тогда, во время нашей первой заочной встречи, я понял, что у моего поколения появился еще один запевала, и мне стало не то чтобы легче, а уверенней на одну песню жить на этом свете. Стихотворение называлось «Наследство». Оно воодушевляло и обязывало одновременно.

И я взял его с собой в свою дальнюю дорогу.

В этом стихотворении весь Максимов, его характер, почерк, его гражданская и поэтическая индивидуальность, солдатская собранность, беспощадное умение отсекал все

лишнее, умение, свойственное мастерам, — но об этом тогда не было времени думать.

Началась война. Великая Отечественная война. Битва за жизнь не на живот, а на смерть, Марк Максимов, бывший студент Киевского педагогического института, оказался в армии, где ему и положено было быть по долгу и по убежденности. Потом волею судьбы он оказался в знаменитой партизанской бригаде Гришина и стал командиром конной разведки бригады. Наверное, сабельный свист щорсовской славы, сверкнувший над его колыбелью, привел его к партизанским кострам Гришина...

С Марком Максимовым я познакомился в конце 1944 года в Москве на квартире Павла Григорьевича Антокольского, для которого все мы, после гибели его собственного сына, были кем-то вроде сыновей. Все поэты фронтового поколения, будто по уговору, в Ленинграде шли к Николаю Семеновичу Тихонову, а в Москве — к Павлу Григорьевичу Антокольскому. Тихонов и Антокольский были своеобразными аккумуляторами, вдохновителями и первыми открывателями поэтов Великой Отечественной войны. Мы с Марком Максимовым пожали друг другу руки как старые знакомые и не скрывали, на радость Павла Григорьевича, радости нашей встречи.

С тех пор прошло почти сорок лет поисков, потерь, находок и разочарований, поездок, встреч, застолий и похорон. Судьба подарила нам — тому и другому — сорок лет живой жизни. И при любой встрече с Максимовым, при любом разговоре с ним из глубины моей души всегда вставали стихи, которые он читал тогда, давным-давно, на квартире Павла Григорьевича, во время первой нашей встречи. Вот они:

Жен вспоминали
на привале,
Друзей — в бою.
И только мать
Не то и вправду забывали,
Не то стеснялись вспомнить.
Но было,
Что пред смертью самой
Видавший не один поход
Седой рубака крикнет:
— Мама! —

...и под копыта упадет.

Это стихотворение написано за линией фронта в немецком тылу в 1942 году. Это — трагическое стихотворение:

сама трагедия своей подчеркнутой дерзостью говорит о непобедимости жизни.

Так же как и сверстники по литературе и войне, Марк Максимов стал поэтом не благодаря, а вопреки войне. Великий подвиг ровесников Максимова дал ему возможность смотреть на мир и оценивать судьбы этого мира с вершины этого беспримерного подвига. В силу таланта, закаленного опытом мужества поколения, Максимов сумел сказать об этом поколении свое поэтическое слово.

Слово Максимова — емкое слово.

Стиль Максимова — четкий стиль.

Нет, не угрюмым стал и грубым,
Кто на прицеле глаз держал:
Тому,
Кто вправду шел по трупам,
Примять ногой травинку жаль.
Он стал взыскательней, и, верьте,
Он любит жизнь еще нежней!
А хвастает привычкой к смерти
Лишь тот,
Кто не встречался с ней.

Сорок лет служит Марк Максимов советской поэзии. Служит всем своим талантом и опытом мастера. Служит всей верностью единожды на всю жизнь принимавшего присягу солдата.

Все, за что брался и берется Максимов, он делает с полной отдачей таланта, силы и беспощадности к себе самому. Он исполняет свой добровольный и единственный долг так, как это положено убежденному в своей единственной правоте мастеру.

Кроме стихотворений и поэм, он написал блистательные по своей правде и динамике стиля очерки о партизанской бригаде, в которой служил, о верных друзьях и легендарном командире Гришине. По сценарию Максимова была поставлена прекрасная кинолента о героической жизни бесстрашного революционера Камо. Как и положено истинному интернационалисту, добрую дань своего таланта Максимов отдал переводам. Он перевел на русский язык поэму Тараса Шевченко «Наймичка», поэму Назыма Хикмета «Зоя», книгу стихов перуанца Сесара Миро, книгу осетинского поэта Дуата Дарчиева, стихи грузинских друзей Григола Абашидзе, Ираклия Абашидзе, Симона Чиковани и Хута Бирулавы. Он занимался этим делом

сближения песенных душ народов вдохновенно и ответственно.

Вершина творческой судьбы Марка Максимова входит в становой хребет великого подвига поколения ровесников нашей Революции, свершений этого беззаветного поколения. И когда Марк Максимов, размышляя о судьбе своего поколения, говорит:

В чем мы жили так,
а в чем — не так, —
Новые мальчишки разберутся.
Но не троньте памяти атак,
А не то погибшие проснутся, —

я вслушиваюсь в дыхание этого стиха, вижу, как, поднимаясь, колеблется завиток Вечного огня над одним из невысоких курганов в партизанских лесах Белоруссии, и отсвет этого огня ложится на лицо моего старинного друга, обрамленное седой шевелюрой.

1983

«ЗНАК ДОВЕРЬЯ ВАШЕГО»

«Мы не любили индивидуалистов...» Эта фраза, как бы случайно вставленная в как бы случайно написанную заметку о своей судьбе, лучше всего и сейчас характеризует его самого, Илью Френкеля, одного из первых комсомольцев, скромного, застенчивого человека, истинного поэта, умеющего всегда оставаться самим собой и в жизни, и в строчках отличных стихов, продолжающих его жизнь уже независимо от него.

И если уж разобраться до конца, то он окажется очень серьезным в нелюбви своей к индивидуалистам. Это было и осталось знаком его поколения и знаком его личного, индивидуального человеческого и поэтического характера. Он верно пронес в себе эту черту до своих семидесяти пяти лет, до своей благородной седины, до этого вот взгляда прикрытых окулярами внимательных глаз, переполненных сочувствием, готовым сию же минуту превратиться в действие.

Иногда мне кажется, когда я перечитываю его стихи или вспоминаю о нем, что он когда-то, давным-давно уяснил простую и благородную истину, что прекрасное дело переустройства мира надо начинать с самого себя, и, свя-

то веруя в эту истину, вылепил себя, свою индивидуальность, ненавидящую индивидуализм.

Во время войны он написал песню «Давай закурим» и как бы поделился не своей махоркой, а душой своей, внимательной и доброй, со всеми, кто слышал слова этой песни или напевал их сам в минуты раздумья и сосредоточенности перед своей совестью и перед совестью мира.

Над пыльной кровавой долиной
Багровый закат задрожал,
И горестный запах полынный
Как будто за солнцем бежал.
И рев орудийного хора,
Откуда неведомо, вдруг
Закрыл на мгновение, как штора,
Огромный немислимый звук.
То, смерти уставы нарушив,
Над боем прошли журавли
И злые солдатские души
Горючей тоской обожгли...

И то, что душа его умела одновременно видеть и сам бой, и журавлей над этим боем в клубящемся зловещем грохоте пушечного дыма, возвышало его стихи, наполняя их сочувствием и преодолением трагедии.

И я рад, что эта беспокойная сочувствующая душа живет в его отмеченных особой индивидуальностью стихах и немного грустно произносит:

Мне дороже всех реликвий
Знак доверья вашего.

Что ж, она достойна его, этого доверья. На все время достойна.

1978

ГОЛОС ВРЕМЕНИ

Лучше всего с поэтом разговаривать наедине, доверительно и откровенно, слушая его голос, проникаясь его песней, спетой, быть может, наспех, но с неповторимой интонацией свидетеля и участника событий, с неподкупной правдой человека, имеющего право сказать: «Свидетельствую сим!»

Анатолий Тимофеевич Чивилихин имел это простое право — подо всем, что он нам оставил, написать: «Свидетельствую сим!»

Он был моим товарищем по песне. Я знал его разным: веселым и насмешливым, отчаявшимся и грустным, но никогда не видел его лживым, — чистота очень большой правды жизни была в самом существе его характера, в голубизне открытого взгляда.

Читателю мало дела до того, что мог сделать поэт, ему важно прежде всего, что он сделал. Но мне все-таки очень хочется видеть в лице читателя человека, способного душой своей понять и оценить тот порыв, который был заложен в характере поэта, назревал и не успел полностью вылиться в строки, достойные его таланта.

Я не могу примириться с горькой мыслью, что Анатолия Чивилихина нет, мне до сих пор кажется, что он уехал в какую-то очень длительную командировку и не сегодня-завтра обязательно должен вернуться и снова поразить чем-то удивительным, тем, что я сам искал, а он нашел и выразил ярче, точнее.

И хотя мы с ним впервые встретились в сороковом году, мне кажется, что я его помню давным-давно, с самого детства. Это, наверное, потому, что мы оба волжане и я бывал еще мальчишкой в Мологе, в городке, где он родился. Я знал Анатолия Чивилихина по рассказам его отца-садовода, так, словно сам лазил к ним в сад через забор и набивал за пазуху пахнущую медом антоновку.

Сейчас над тем городком ходят высокие волны Рыбинского моря, а к куполу колокольни прикреплен бакен, чтобы проходящие суда не наткнулись на купол. Иногда засушливым летом этот купол поднимается над водой, как начало сказки о граде Китеже. Я могу на мгновение закрыть глаза и увидеть, как под церковными сводами, лениво перебирая плавниками, плавают пудовые сомы и в лилово-зеленоватые квадраты окон кидается испуганная рыба мелочь.

И словно через слой воды, сквозь нарастающее время я слышу опять глуховатый, чуть окающий, полный иронии, твердый голос:

Где дремлют в бездействии грозном
Лишь чуда морские дни —
Зажгутся подобные звездам
Людских поселений огни.
Вторженья бетона и стали
Там разума власть утвердят.

Веков быстролетные стаи
Над нашей землей пролетят.

Быть может, силошает историк, —
И в том его будет вина,
Что первых разведчиков моря
Потопут в веках имена.

Он не очень много думал и печалился о том! будут или не будут наши стихи жить в будущем, — для этого было слишком мало времени в его солдатской судьбе. Он больше всего жил настоящим. Убеденность в пользе передачи вот этой текущей секунды бросала его в разные концы нашей родины, стремление услышать голос сверстника на пронзительном ветру времени вело на поиск и открытие. Опыт войны научил его остроте восприятия и сдержанности. Они живы в его стихах, упругих как пружина.

Старший товарищ и друг Анатолия Чивилихина поэт Александр Гитович писал:

Не для того я побывал в аду,
Над ремеслом спины не разгибая,
Чтобы стихи вела на поводу
Обозная гармошка красная.

Стихам Анатолия Чивилихина близка и любезна эта мысль. На его стихах хорошо пригнанная армейская форма, не броская, но до предела ладная, как бы сделанная для трудного перехода.

В стихах Чивилихина есть еще одна счастливая особенность — он умел плотно соединять лирику и эпос, поэтому по его стихам, очень личным, вы можете путешествовать как по времени. Клятва одного солдата в стихотворении «Мы прикрываем отход» вырастает в клятву поколения:

Не думай, — умру, от своих не отстану.
Вон катер последний концы отдает, —
Плыви, коль поспеешь, скажи капитану:
Мы все полегли. Мы прикрыли отход.

Слияние своего «я» с общим, умение своим личным служить общему, естественность этого высокого гражданского пафоса, думается мне, сулят стихам Чивилихина долгую и достойную жизнь.

Надо только уметь увидеть этот бакен над затопленной Рыбинским морем Мологой, надо только довериться этому бакену.

1964

ПО ДОЛГУ СОВЕСТИ

У Дмитрия Константиновича Острова было очень чуткое и отзывчивое сердце, обладавшее острым чувством справедливости. Оно брало на себя непомерные нагрузки. Четыре раза оно отказывало, почти переставало биться и только благодаря упорству врачей снова входило в четкий ритм. Наконец, в пятый раз, оно не выдержало и на шестьдесят пятом году жизни остановилось навсегда.

И если жизнь человеческая сравнима с лестницей, то судьба человека, его призвание и есть не что иное, как преодоление этой, с каждой завоеванной ступенькой все увеличивающейся, все прибавляющейся высоты. Конечно, человек может остаться там, внизу, и навсегда отказаться идти по той лестнице вверх, это в его воле, но это считается позором между настоящими людьми. Дмитрий Константинович рано уяснил это и выбрал путь разведчика, неизведанный путь вверх, на котором выковывался характер, своя манера, свой стиль.

Наверное, он глубоко понимал слова, сказанные когда-то его земляком, прекрасным писателем Андреем Платоновым: «Без меня народ неполный», потому что в своей работе, в раскрытии духовного мира своих героев он был безошибочно точен, а герои его рассказов и повестей всегда находили свое место в общем движении, в грандиозных усилиях строительства нового мира. Они жили открытой жизнью и умирали с достоинством ради жизни других.

Справедливость его героев естественна, она живет в их характерах незаметно, как сама собой разумеющаяся, она является как следствие их труда. Дмитрий Остров умел наделять своих героев высокими признаками деятельности, благородством и сам в семье своих героев был своим человеком, и его биографию, точнее биографию его души, легче всего найти там, в его рассказах, в словах и фразах, из которых он так умело лепил душу человека, идущего в гору.

Он умел строить свои рассказы так, что у читателя возникало ощущение, словно он, читая их, как бы входил в чистую горницу с вымытыми окнами, с выструганными полами, с капельками янтарной смолы на сучках золотых сосновых бревен, в горницу с чистейшим отстоявшимся воздухом, располагающим к душевному откровению и вза-

имному доверию, из которого потом непременно между автором и читателем возникало родство.

Дмитрий Остров обладал врожденным вкусом к русскому слову и умел пользоваться словом бережно и заботливо.

Он знал жизнь нашего «прекрасного и яростного мира», выражаясь словами Платонова, не понаслышке, а по утверждающему и трагическому опыту своей судьбы, судьбы своего народа.

Сын паровозного машиниста из борисоглебского депо, он с детства любил встречный ветер движения, благородство самого труда, его поэзию, его скрытое чудо, делающее человека человеком. Он верил самой глубокой верой в облагораживающий и поддерживающий на высоте человеческую душу труд. Его герои и саму войну воспринимают как тяжкий неотвратимый труд и побеждают этим трудом и своею в него верою.

Его творчество, начавшееся с небольшого поэтического и дерзкого сборника рассказов «В окрестностях сердца», потом выровнялось, наполняясь мудростью жизни и разумной осторожностью опыта, вошло в русло той манеры классической русской прозы, которая дает возможность полного раскрытия индивидуального начала.

И он стал ниточкой, наматывающейся на огромный клубок нашего наследия и, как теперь очевидно, необходимой в этом клубке.

Он был в своем творчестве добр добротой рабочего человека, бережливого ко всему сущему в этом мире, видящего в этом мире возможности неограниченного преращения.

Он был исполнен веры в человека вопреки всему.

Трагическая повесть об исковерканной судьбе Капельки глубоко человечна своей беспощадностью. Она необычна по ракурсу, но этот ракурс как раз и дает понять гибельность эгоцентризма, ставшего сутью выродившегося человека. Воспитательное значение повести неоспоримо.

Дмитрий Остров был всю войну, всю блокаду здесь, в Ленинграде, и его рассказы этого времени, собранные в книгу «Огонек в окне» (она вышла сразу после Победы), до сих пор остаются маленькими шедеврами. В этих коротеньких, на полторы-три страницы рассказах между абзацами есть какая-то полоса многозначительного молчания, объясняющая секрет наполненности, емкости и точности каждой фразы.

В одном из этих рассказов, так и названном: «Когда надо молчать», восемь разведчиков уходят за «языком». Под колючей проволокой переднего края тяжело ранят разведчика Каткова. Он корчится от боли, боясь закричать, боясь криком помешать своим товарищам выполнить задание. И когда друзья вернулись, «два пленных испуганно смотрели на начальника штаба, на разведчиков, на умирающего Каткова. На коленях перед Катковым стоял сапер Спиридонов:

— Вася! Ну, чего же ты... Теперь можно... Ты слышишь? Теперь можно кричать, друг мой... Вася...

На следующий день сапер Спиридонов выстругал дочечку и попросил меня написать несколько слов, посвященных памяти Каткова.

Он любил пошуметь — этот Катков, любил петь песни, любил посмеяться и всегда сторонился молчаливых людей. О нем много можно было бы рассказать, но дочечка была такой маленькой, а хороших слов у меня было так много, что они, пожалуй, не поместились бы на ней».

Краткость от богатства — вот как можно определить этот лаконичный и поэтический стиль, свойственный прозе Дмитрия Острова.

Он был взыскателен и к себе, и к молодым писателям, работе с которыми отдавал много времени и душевной энергии, и те из них, которые стали теперь с его помощью на крепкие ноги в нашей сегодняшней литературе, всегда с особой теплотой вспоминают эту островскую требовательность.

На первый взгляд герои рассказов Д. Острова неприметны. Неприметен их труд, скромнен характер. Но это мнимая неприметность, и определение «простые люди» для них оскорбительно. Они сложны, и скромность поднимает их в незаметном деле на высоту общечеловеческого подвига. Они как бы говорят всей своей судьбой: «Я — человек, и вся моя жизнь для людей».

1972

ПОЭТИЧЕСКАЯ ДУША

Татьяну Григорьевну Гнедич мы давно знаем как блистательного переводчика байроновского «Дон-Жуана». Этот перевод — подвиг ее жизни, и он не случаен; любовь

к иноязычной поэзии у Татьяны Григорьевны в крови. Еще Александр Сергеевич Пушкин и все просвещенные люди России восхищались переводом гомеровской «Илиады», сделанным ее предком Николаем Ивановичем Гнедичем, верным слугой отечественной словесности.

А для того чтобы с таким тактом, поэтичностью и точностью перевести на русский язык творения байроновского гения, как это сделала Татьяна Григорьевна, конечно же, надо обладать кроме знания языка поэтическим талантом.

Талант, редкостное владение высоким строем поэзии были присущи истинно поэтической душе Татьяны Григорьевны Гнедич, и в этом можно убедиться, читая сборник ее оригинальных стихотворений.

Она писала всю свою жизнь. И в университете, и в штабе партизанского движения в блокадном Ленинграде, и в тяжкие дни несправедливой обиды. Стихи помогали ей. Были ее собственным благородным убеждением. Были ее добровольной прекрасной кабалой и вольной волей.

Она всегда помогала молодым, начинающим стихотворцам. Учила их уму-разуму и вкусу, вернее, помогала им проявлять свой талант и вкус. Она делала это увлеченно и убедительно.

Поэзия была ее судьбой.

В поздний час, когда в оконной раме
Ночь идет в конвое фонарей,
Силу слов, простертую над нами,
Мы невольно чувствуем острей...

Под диктовку тайного желанья
На листке бумаги в этот час
Властно возникают очертанья,
Обретая жизнь помимо нас.

Позабыв тревоги и утраты,
Мы стремимся в звездный водоем
И с невольной нежностью собрата
По движенью крыльев узнаем...

...Татьяне Григорьевне не суждено было дожить до праздника выхода первой и единственной книги ее собственных стихотворений.

Она ушла, не завершив своих замыслов, разнообразных и удивительных, но ее творческая душа осталась в благородном беспокойстве ее поэзии.

1978

БОЛЮ О ПЫТА И НАДЕЖД

Если бы меня спросили, какая главная черта характера Андрея Андреевича Мыльникова как художника и как человека, я бы ответил, что этой чертой мыльниковской творческой индивидуальности является обстоятельность, фундаментальность. За что бы он ни брался, в любом деле он пытается проникнуть в самую суть, подойти к той абсолютной ясности, когда все встает на место и сомнения уходят, или временно бросить то, что не получается, и заняться другим делом, чтобы опять с новой энергией вернуться к недоделанному, беспощадно перекромсать начатое, подойти к нему с другой стороны, но все-таки добраться до истины. Меня всегда поражает неугомонность его творческого духа в поисках совершенного выражения опыта своего времени.

Такой уж он, Мыльников, и в малом и в большом. Так уж он воспитал себя. И мне очень нравится его настойчивость, беспокойная неудовлетворенность, требовательность прежде всего к себе, к собственному творчеству, к делу собственной судьбы.

Недавно я был несколько дней с ним вместе, на вершине зеленого июля, еще не тронутого призрачным намеком осени, июля, пронизанного дождем и солнцем, животворящими волнами влажного тепла и света.

Мы ходили с ним по лесу, бродили по берегам озера, заросшим малинником и нежнейшими метелками цветущей медуницы, заполонившей своим запахом весь безграничный мир июльской щедрости. Великое чувство наполненности жизни обновляло нас своей вечной молодостью, как бы замедляя и проясняя время. Это был наш праздник, вдруг ни с того ни с сего подаренный нам по какому-то непонятному волшебству.

Потом мы ловили рыбу. В лодке. Вчетвером. И у всех у нас клевало. У всех, кроме Мыльникова. Он сидел на носу лодки и немножко растерянно и недоуменно смотрел на наши успехи. Мы вытаскивали окуней. Потом пошла плотва. Наши поплавки то и дело подсакивали на легкой волне, лески пружинили, и на дно лодки шлепались серебряные живые слитки. А насадку на мыльниковской удочке даже ерши не нюхали. Он менял глубину и насадку. Он пробовал закидывать в разные места — справа и слева лодки. И все равно — как отрезало. Поплавок был невозмутим, как сам Мыльников, восседав-

ший в белой шапочке на носу лодки. Он, как всегда, умел ждать. И его отражение в лучах выбегающего из грозовых туч солнца, золотясь и растекаясь, раскачивалось на легких волнах. Он умел ждать и дождался своего, той самой точки, того самого мгновения, когда у него все сошлось. Пока мы в азарте клева распутывали перепутанные лески, он, как-то незаметно маневрируя согнувшимся в дугу удилищем, подвел к лодке и молчаливо, без подсачника, придерживая леску рукой, выкинул в лодку красавца окуня, этого полосатого тигра камышовых зарослей. Это был действительно окунь, годный и в уху, и на сковородку. Он петушился, распуская, как крылья, плавники, он бил хвостом, стараясь напряжением упругого горбатого тела выскочить из ведра. И весь наш улов как-то сразу поблек.

А Мыльников сидел на носу и улыбался в белую бороду, насаживая нового червяка, предоставляя нам полный простор с мелкой завистью переживать его удачу. Мыльников и здесь оставался Мыльниковым, человеком, верящим в удачу и знающим пути к этой удаче, вернее, терпеливо и неотступно умеющим отыскивать пути к ней.

Потом мы направились к берегу, и хозяин лодки, сидящий на корме, обкатывая на малых оборотах свой новенький «вихрь», вел лодку бережно, не спеша, но все-таки невысокая встречная волна, шлепаясь о нос лодки, обдавала нас мелкой бисерной пылью, и волны теплого и свежего воздуха накатывались поочередно на лодку, разливаясь внутри нас блаженством и покоем.

Мы были полны этого прекрасного покоя, когда подходили к красному домику на зеленом холме, окаймленном березами. Их грациозные тела струились снизу вверх, закручиваясь легкими зелеными конусами, и над ними стояли свист крыльев и щебетание ласточек, вылетающих из гнезд и заполнивших своей дикой стремительностью все вечернее небо. И мы смотрели на них задрав головы, радуясь и удивляясь этому ласточкиному празднику, не замечая грома, поднимаемого реактивными моторами маневрирующих самолетов.

Мы понимали, что от этого грохота двадцатого века уйти некуда. Наше время и здесь было вместе с нами, и мы были в нем.

А молодые ласточки, в первый раз испытав сладость полета, не захотели в эту теплую ночь почевать в тесных гнездах. Они устроились на крыше и на сосне, на двух

мотках ромбообразно намотанной проволоки телевизионной антенны. Я спал в мезонине красного домика и всю ночь сквозь сон слушал их возню на коньке крыши и слабое попискивание.

И под эту ночную возню и писк молодых ласточек я думал о судьбе хозяина красного домика, о прекрасном художнике и удивительном человеке Андрее Андреевиче Мыльникове. Я знаю его с 1945 года, с незабываемого года нашей Победы, когда в мастерской Игоря Грабаря Мыльников приступил к своей дипломной работе, к той самой «Клятве балтийцев», которая принесла автору громкую славу первоклассного художника и встревожила всех, кто увидел в ней себя и своих товарищей, а также величие и цену нашего общего подвига по спасению Родины. Это был праздник не только самого художника, это был праздник времени, праздник памяти, оставленной на полотно. Картина ошеломила меня своим благородным совершенством, неподкупной правдой, пронзительностью воздействия, сочувствием и естественностью мужества. Она воспринималась как памятник поколению, остановившему темную реку смерти. Она воспринималась как разговор с будущим, без переводчиков и посредников, а так — глаза в глаза, душа в душу. Спустя тридцать с лишним лет я увидел ее снова на выставке дипломных работ студентов художественных вузов страны. Она не потеряла силы воздействия. Наоборот. Время как бы прояснило ее, подтвердило ее, как клятву, опытом своих свершений.

Вот с такой позиции, с такой высоты Мыльников и начинал свой путь, свою трудную дорогу в гору. Его творческая сила и врожденное чувство ответственности искали нового приложения, выдалбливая новую приступку в неподдающемся обработке граните заманчивой высоты, вздымающемся отвесно. Он был виден на этой высоте всем, потому что высоко забрался. Он понимал, что он — в разведке, что отступления нет и быть не может, да он и способен был на отступление.

Мастерская монументальной живописи в Институте имени Репина, где он остался преподавать, потом стал и профессором, и академиком, и бессменным руководителем мастерской, всегда привлекала к себе внимание целенаправленностью работ студентов, серьезностью тем, глубиной их осмысления и мастерством исполнения. Тридцать лет он отдал этой мастерской.

Он бывает здесь почти каждый день, наблюдая, со-

ветуя, помогая талантливой юности найти себя, найти в себе смелость и умение выразить свое по-своему. Он учит видеть, думать и не отступать. Он строг и великодушен, требователен и отзывчив. Он относится к студентам так же, как относились к нему в свое время его учителя, как он относился сам к воплощению своих замыслов на холсте или бумаге.

А больше всего он любит оставаться один на один с холстом и мольбертом, с противоречивым миром своей беспокойной души, требующей выхода. Он понимает, что истины вырастают на отвесной стене сомнений.

Он упорен в поиске того единственного решения, которое, по его убеждению, точнее всего выражает через его душу его время, страсть, боль и веру его современников. Чем дальше, тем больше у него становится вариантов поиска при решении задуманного. Я благодарен тому, что в течение трех с лишним десятилетий мог наблюдать его душу, жить и дышать кислородом его поиска, беспокойством его тревоги и радоваться его продвижению вверх по гранитной стене сомнения. Я учился у него беспощадности к самому себе и благодарен ему за эту науку, потому что понял на истории его творческой судьбы одну простую истину: для человеческой души нет предела совершенства.

А душа его росла от картины к картине, набирая мудрость, емкость, предельно скупую выразительность.

Несколько лет назад он написал и выставил свой «Полдень» — свою «Даная», свою «Венеру», свою «Олимпию», — свою обнаженную модель женщины на фоне застывшего в удивлении леса и озера, отражающего типайший лес и привставшее на цыпочки небо. Он написал сущность самой красоты, беспомощной и великой, написал ее как начало всех начал, как чистейший источник жизни. Написал как предупреждение, как крик об ответственности, потому что умеющий видеть обязательно соотнесет ее мир с дьявольским светом атомного взрыва. Около нее можно о многом задуматься, потому что узлы между нею и жизнью многочисленны и крепки.

Я знаю вариантов тридцать этой картины, вариантов законченных, а сколько их было соскоблено и переписано! Такой уж он, Андрей Андреевич Мыльников, такое уж у него требовательное отношение прежде всего к себе и потом — к миру.

Мало кто знает, сколько было перепробовано матери-

алов, сколько было пересмотрено документов, сколько было сделано вариантов, прежде чем на занавесе в Кремлевском дворце съездов появился профиль ленинской головы, ставший изобразительным символом времени, знаком нашего века. Я видел изображение этого знака на подпольных листовках в Латинской Америке, на транспаранте студенческой демонстрации в Лондоне, я видел этот профиль, тщательно перерисованный неумелой детской ручонкой на выставке в детском саду.

И никому в мире нет сейчас дела до того, сколько и как мучился над этим изображением художник, сколько он затратил на это энергии и драгоценного материала души, да редко кто и знает вообще, что это сделал Андрей Андреевич Мыльников. Он попал в точку: авторство художника настолько совпало с движением времени, что время как бы взяло авторство на себя.

Мыльников обладает основательными знаниями, опытом и творческой памятью. Иногда эта чрезмерность познания своими наслоениями мешает ему, как мне кажется, полнее и непосредственнее выразить себя. Но ведь индивидуальность каждого следующего художника не есть ли конгломерат из опыта предшественников, скрепленный новым характером, взявшим на себя продолжение эстафеты? И не лежат ли в основе его творческой индивидуальности живой пример взаимосвязей и взаимовлияний на пути к человеческому братству, о котором не может не мечтать ни один подлинный художник?.. Не знаю. Это покажет будущее. Но поиски Мыльникова, думается, не напрасны, они находят нити родства, а не различия, и помогают подготавливать души людей современного мира к решению глобальных проблем человеческой жизни на Земле.

Об этом мы с ним говорим во время наших молчаливых встреч, потому что мы научились разговаривать полупаузами и жестами, потому что мы научились с ним, отталкиваясь в своих размышлениях от одной точки, идти параллельными путями к одному результату.

Он работает много. Живет наполненной жизнью. И его фантазия, как мне кажется, так и не даст ему никогда покоя.

В издательстве «Аврора» вышла большая монография, посвященная творчеству А. А. Мыльникова. В конце этого издания помещена репродукция с картины «Прощание», удостоенной Государственной премии СССР. Кар-

тина была закончена в 1975 году и в том же году показана. Это своеобразный памятник подвигу поколения. В пространстве картины только двое: мать и сын. Ему идти в бой. Ей ждать и, надеясь на победу, делать все за себя и за него. Он стоит как образ всех двадцати миллионов, не вернувшихся с дымных полей войны, и она смотрит на него, еще живого, еще не тронутого войной, но уже приобщенного к вечности подвига, смотрит в его глаза с надеждой и тоской всех тех матерей, которые так и не дождались с войны своих сыновей. Их только двое. Мать и сын. И ее лицо как поле жизни, перепаханное раскаленными траками, с двумя родничками светящихся неистребимой волей жизни и страхом глаз, с глубокой бороздой прикушенных скорбных губ, с поднятыми уголками бровей, переходящих в продольные морщины прикрытого тенью от платка лба. И на груди мнущие белый платок руки. Это руки всей России, всех матерей мира. Они прекрасны тем, что на них незримо запечатлены следы всех человеческих дел, украшающих землю. Они, как две песни жизни, благословляют его, даже, может быть, зная, что он не вернется.

Их только двое. Мать и сын. В роковой миг прощанья. Прощанья навсегда. Их двое. И над ними дымный хвост пожара, застилающий правую четверть светлого неба с крестами столбов телеграфной линии, с покосившимся брандмауэром уцелевшего дома, с батальоном солдат вдали, которых через минуту он бросится догонять.

Перед этой картиной можно плакать о величии подвига, воссиявшего над бездонной пропастью материнского горя. Эта картина—песня мужеству и благородству, вздох удивления, слеза восторга и скорбь памяти одновременно. Она доступна и естественна. Ей можно кланяться, как самому подвигу нашей Родины.

На эту картину ушло года три. Жаль, что Мыльников многие варианты уничтожил, пока не пришел вот к такому окончательному решению. А ведь сначала у него прощалась просто женщина с мужчиной, потом жена с мужем, потом любимая с возлюбленным, и, наконец, на полотне появились мать и сын. Причем в чертах матери стал просматриваться, по крайней мере для меня, образ матери самого художника, милой Веры Николаевны, женщины благородного достоинства и редчайшего умения одним своим присутствием делать других чище и светлее. Когда ответ ее души, ее материнского благословения лег

на картину, та ожила и засветилась таинственным озарением жизни. От нее повеяло благородной нежностью и печалью, и в каждом штрихе появилась пронзительность чуда.

А художник пошел дальше. Раза два в течение последних десяти лет он побывал в Испании и, как это говорится, «заболел» ее историей, ее трагедией и надеждой.

В его мастерской появились три новых полотна: «Коррида в Мадриде», «Распятие в Кордове» и «Смерть Гарсиа Лорки». Три креста Испании, три вспышки страсти и мысли, три крика предупреждения. Полотна полны сочувствия и недоумения, горя и веры, как будто сам он, Андрей Андреевич Мыльников, стоит рядом с Федерико Гарсиа Лоркой, с нежнейшим поэтом двадцатого века на нашей земле, стоит вместе под невидимыми дулами винтовок, нет, не стоит, а уже с картонной, смятой пулями грудью падает на зрителя и не может упасть, а все ждет помощи, смертельно не желая расставаться с этой темной землей, заросшей колючим татарником. Эта заключительная часть триптиха, как памятник расстрелянной песне, поднимает поэта над временем. В средней же части триптиха молодая мать в отсветах то ли пожара, то ли мировой катастрофы, прижав к груди, несет своего первенца, несет, как надежду жизни, и в глазах ее мольба уже сменяется решительностью.

А на первом холсте — арена и чудовищно чернеющий бесформенной тучей, поверженный на кровавый песок бык с высунутым языком и закатившимися глазами и над ним роскошный Победитель, как мраморный крест, испещренный ажурным узором серебряной канители, стоит, и его лицо исполнено темной страсти, как лицо палача.

Это триптих — беспощадное раздумье над судьбой Испании, над судьбой мира и жизни. И хотя триптих уже обнародован, художник продолжает над ним работать, выделяя одни детали и убирая другие.

Он беспощаден в самом процессе творчества и к себе, и к материалу, и иногда мне кажется, что он только тем и занят, что отсекает от воображаемой картины лишнее. Он видит ее на полотне готовой во всех мельчайших подробностях рисунка и колорита и убирает кистью все ненужное. Это свойство живет в нем, в его методе с давних времен, тех самых, когда он в Академии художеств с первого курса архитектурного отделения перешел в мастерскую монументальной живописи Игоря Грабаря; и, види-

мо, учитель и ученик сразу нашли тот единственно необходимый в этом случае язык высшей доверительности, язык правды, правды понимания жизни и ее выражения, ее устремленности в завтрашний день, ее способности незаметного завоевания зрителя.

...Вот так лежал я и, глядя в белый скошенный потолок мансарды, думал о своем друге. А за открытым окном уже мычали коровы, и запах парного молока и клевера переваливал через подоконник и щекотал поздри.

Я спустился вниз. Хозяин уже был на ногах. Мы поздоровались и, не стовариваясь, задрали головы, потому что все небо заполонили ласточки. Они сновали на всех этажах светлого утра, прошивая его легким свистом крыльев, и, видимо, радовались тому, что их небо не трещало по швам от грохота сверхзвуковых самолетов.

Мы тоже были рады этому.

1979

ПОЭТ НЕПРИМЕТНОЙ ВЕЧНОСТИ

Когда я смотрю на офорты и рисунки, исполненные китайской тушью на рисовой бумаге искусной рукой моего давнего друга, тонкого и изящного мастера, вдумчивого хранителя и учителя красоты Василия Михайловича Звонцова, мне приятно думать о том, что наши штреки идут параллельно в одной и той же трудной породе времени и удары его сердца звучат в унисон ударам моего, как бы подбадривая уверенностью общего поиска.

Мы ровесники с ним. И я знаю и люблю его давно и нежно. И одно только ощущение, что он есть в этой жизни, делает мою жизнь увереннее и полнее, а то, что над колыбелями наших судеб сиял свет костров революции, дает нам возможность понимать друг друга с полуслова. Наверное, это чувство слитности поколения — чувство солдат, всем опытом своих судеб понимающих, что человечество едино, что сейчас у народов мира есть одна-единственная дорога ради общего восхождения. И мы много думаем об этом. Об этом нельзя не думать.

Когда я бываю в его мастерской на девятом этаже выстроенного в самом устье Невы дома и любуюсь солнечным блеском Финского залива с дымками буксиров и стремительными росчерками белой пены за подводными крыльями «метеоров», вижу, там, на самой кромке горизонта,

лиловато-сиреневый абрис Кронштадта, я думаю о судьбе моего друга, подносящего к глазам еще мокрые оттиски с зеркальных цинковых пластин и как бы всматривающегося в мир, оттиснутый типографской краской.

Он прекрасен в своей работе, нетороплив и аккуратен. Им можно залюбоваться. И я люблюсь им. Его глазами, чистыми и светлыми, его седеющей бородой, окаймляющей округлое лицо. Любуюсь свисающим на правую сторону лба тяжелым чубом волнистых волос, прикрывающих глубокие борозды морщин; люблюсь его мастерской, прибранной, проветренной, наполненной скользящими запахами красок, реактивов и таинственной нетронутостью бумаги, готовой принять на себя волны отражений души художника; люблюсь разложенными по струганой глади стола и развешанными на стенах рисунками и оттисками и вижу, как в них проявляется его душа, беспокойная, трепещущая жизнью, ее светом, как солнечное свечение над блеском залива с дрожащим на горизонте размытым в сиреневой дымке Кронштадтом.

На работах Звонцова каждая травинка поет песню жизни по-своему.

На листах, посвященных Пушкинскому заповеднику, звучит вечная музыка этих волнистых просторов земли, березовых и сосновых перелесков, разбегающихся во все концы лета, заглядывающих на бегу в тишайшие зеркала озер, как в глаза бессмертной любви и страсти. Как это ему удастся выхватывать ростки жизни и переносить их на бумагу, превращая их в символы жизни, в знаки вечности!

Ах, как прекрасна эта веточка белого шиповника в стеклянной банке! Она как птица, расдутившая стреловидные листья перышек, готовая выскочить из прозрачной воды, на миг уцепиться лапками стебля за округлую крайину банки и на глазах вспорхнуть и растаять в клубящемся мареве звонкого осеннего дня.

Мир художника богат, и скупость штриха и цвета не умаляют его, а, наоборот, обнажая, подчеркивают это богатство, как бы говорят: чем больше это богатство, тем бережливее к нему должно быть отношение.

Где он этому научился? Да, наверное, там, в деревеньке Вахонькино, затерянной в лесах Вологодского края, от своего отца, сельского учителя, да, наверное, там, под Старой Руссой, лежа в воронке от авиабомбы, переживая артобстрел и наблюдая за ландышем, вставшим на цы-

почках над срезом развороченной земли и стряхнувшим капельку росы на измазанный в глине рукав его гимнастерки. Василий Михайлович был прекрасным защитником Родины, потому что в душе был прекрасным художником, влюбленным в мир света своей земли, в неоглядность ее чуда. Он окончил войну подполковником, начальником штаба дивизии. Он был и остался великолепным педагогом, это у него наследственное от отца. После окончания Академии художеств он остался на кафедре графики, вырастил много учеников, которые теперь сами участвуют в борьбе за благородную гармонию человеческого познания, продолжая в этом учителя. Василий Михайлович Звонцов — коммунист по самому складу своего характера, по чувству ответственности, выработанной общением с людьми и заботой о наполненности их жизни.

Он не умеет считать трат энергии своей души, это не в его характере.

Он, как дерево на осенней поляне, стряхивает удивительные листья со своих веток, и они летят, подхваченные ветром времени, доступные всем и радующие всех, кто берет их в руки.

Он учит красоте человеческую душу, потому что знает истинную красоту мужества человеческой души по опыту своего поколения ровесников Революции, по своему собственному опыту.

Я люблю наблюдать за ним, когда он работает, за его крепкими руками мастерового, за поворотом округлых плеч крестьянина, за всей плотно сбитой фигурой человека, скупого на жесты и движения.

Тонкая точность и филигранность его штриха соответствуют его характеру — нежному и твердому, как острие штихеля, которым он виртуозно действует, словно лесковский Левша, подковывающий блоху.

Он умеет видеть в обыкновенном подорожнике, пробившемся меж бетонных плит космодрома, спокойную уверенность жизни в своей правоте.

Он умеет всегда остаться самим собой. Поэтом неприемной вечности.

1977.

СЕМЬЯ СОВРЕМЕННОКОВ

Наверное, у скульптора талант находится где-то в самых кончиках пальцев. По крайней мере, так мне показало-

лось, когда я впервые наблюдал за работой Василия Астапова. Его сосредоточенные глаза смотрели на натуру внимательно, как бы прощупывая ее объемность, вникая в ее суть, а руки, большие, добрые руки мастерового, жили самостоятельной жизнью, и маслянистая голубоватая глина мягко и упруго скользила в пальцах, приобретая, прежде чем попасть на каркас, какую-то только одним им ведомую форму.

Такие руки я видел у ткачей, заправляющих в станок новую основу, — грубоватые, темные от машинного масла руки, с поразительной остротой и четкостью чувствующие тончайшие нити и справляющиеся с их немислимым переплетением без помощи глаз. Такие руки я видел у сапожника дяди Саши, безногого инвалида гражданской войны, который одновременно умел, подколачивая подметку, читать газету, положенную на верстак, или всучивать в просмоленный варом конец щетину. И была в движениях этих рабочих пальцев не заученная механичность, а высокая артистичность. Такие руки я видел у неапольского грузчика. Он лежал в тени стоящей на стапелях красавицы яхты. На ее лакированной поверхности зыбко скользили отраженные блики знойного моря. Он спал. Возле него на старой газете лежали остатки завтрака: недопитая бутылка кьянти, надкусанный помидор и недоеденный кусок хлеба. Грузчик отдыхал, откинув набок голову и сложив на груди тяжелые кисти рук. Руки — в голубоватых переплетениях вен, с твердыми, резко очерченными ногтями, с подушками восковых мозолей, со следами мазута на тыльных сторонах ладоней — лежали покойно.

Они умели делать все, эти руки, грубые и ласковые одновременно. Без таких рук мир действительно как без рук! Он ими держится. Я думал об этом, глядя на руки Астапова в его мастерской, полной спокойного тихого света, запаха земли и гипса. Руки работали, преобразуя увиденное глазами в новую форму, как бы останавливая время, чтобы продлить его в этой форме на долгие времена.

С Астаповым я встретился впервые в блокадном Ленинграде, в узкой высокой комнате у постели больного поэта. Тело поэта, укрытое до подбородка одеялом, не двигалось, не жило. Жили лишь руки, воспаленные влажные глаза и губы, произносящие слова. Я с трудом улавливал смысл этих слов, до моего сознания доходил только укачивающий ритм, изредка подхлестнутый монотонной рифмой. Поэт видел мир только в зеркале, поставленном

напротив окна. Окно было крест-накрест проклеено бумажными полосами. Время от времени в зеркале вспыхивали зарницы канонад и бомбежек. Поэту не хватало воздуха, и его стихи об атаках и сражениях были похожи на бледные ростки картофеля, проросшего в темном подвале.

Мы ничего не могли сделать, чтобы наполнить его комнату нашей страстью к жизни, ненавистью к врагу. Поэт все равно видел мир через свое зеркало, привык к этому и не мог иначе. Астапов сидел у изголовья поэта — широкоплечий, плотный, строго-внимательный. Свой шлем танкиста он положил на подоконник. Его переполняла ненужная жалость и делала его лицо непривычно скорбным. Когда Астапов глуховатым голосом начал читать свои беспощадно суровые стихи, в комнате запахло перегаром пороха, горящей броней и сырым валежником, хрустящим под траками. От волнения он взял шлем с подоконника, и его пальцы забегали по ребристой округлости «чертовой кожи», потом нащупали звездочку и, сосредоточившись на ней, успокоились.

Сейчас я опять слежу за пальцами Астапова, перебирающими глину, скользящими по ней, как по ребристой округлости танкового шлема, там, на 8-й Советской улице, у постели больного поэта, мысленно переношусь туда и вижу в тусклом зеркале над кроватью поэта лицо Астапова и слышу его глуховатый голос:

Я по полю смертников шагаю,
Враг из рожи бьет из автомата.
Но иду я, в сердце ужас спрятав,
Пляску близкой смерти презирая.
Пусть зубами проскрежещет мшна,
В клотья разрывая человека.
Я пред нею не стигаю спину
И не жмурюсь опаленным веком.
Я остался гордым, как и прежде...

Я вслушиваюсь памятью в эти слова и опять смотрю на Астапова, как бы сравнивая его, сегодняшнего, стоящего передо мной в своем измазанном комбинезоне, с тем, которого я видел впервые на 8-й Советской.

Неисповедимы человеческие пути! И в каждой судьбе есть своя закономерность. Наверное, в том, что он перестал писать стихи и взял в руки глину, была своя, единственно правильная необходимость. Важно то, что поиски, какими бы они ни были, привели к празднику результата этих поисков.

Он родился в городе Грозном в семье потомственных рабочих. В двухмесячном возрасте лишился отца. На руках у матери осталось четверо ребят. Он хорошо уяснил себе, что такое хлеб и как он добывается. Окна их дома выходили к предгорью, где уже начинали маячить в седой терпкой полыни ажурные основы черных нефтяных вышек. И он вместе с оглашенной голопятой оравой ребят с утра до вечера играл в «красных» и «белых».

Потом была школа. Пионерский отряд и стенная газета. Драматический кружок и первые стихи. В 1934 году Василия приняли в комсомол. Он увлекся рисованием. Уроки рисования вела в городской школе скульптор Елена Ипполитовна Мроз. Он пробовал лепить и с увлечением стал помогать своей учительнице закончить большой барельеф к десятилетию Чеченской автономной области. И теперь его нельзя было оттащить от глины. Он начал понимать мир на ощупь. Однажды он выпросил у отчима молоток и зубило, вырубил в песчанике барельеф Ленина и от благодарности души своей подарил его учительнице. Это была первая самостоятельная работа, первый успех среди товарищей, первая похвала и первая гордость, которые привели к единственному решению — быть скульптором.

В 1934 году в пионерском лагере «Чипки» он вылепил двухфигурную композицию пионера и пионерки, и они стояли около линейки посредине лагеря.

К X съезду комсомола Василий сделал барельеф «К светлomu будущему», который показывался на краевой конференции комсомола в Пятигорске, и газета «Молодой большевик» похвалила его.

Жаль, что он не знал тогда самой технологии формовки. Все работы были выполнены в глине и погибли. Сохранились только желтые выцветшие вырезки из газет, где на слепых клише слабо проступают контуры динамичных фигур, идущих к солнцу.

Это была учеба. Жадная и порой торопливая проба своих возможностей.

В 1937 году он окончил школу и, подчиняясь одной-единственной мечте, поступил учиться в Одесское художественное училище на скульптурное отделение. Учился увлеченно. И «Как закалялась сталь» Николая Островского и стихи Владимира Маяковского стали его настоящими книгами, наставниками души, моральным и этическим кодексом жизни. Высокая романтика ленинской

революции жила в них и требовала полной самоотдачи. Громадное слово «долг» требовало громадного наполнения. И это слово властно заставило оставить резец и пойти в конце 1939 года в райвоенкомат, остричь пехотные вихры, сменить комбинезон на серую солдатскую шинель и отправиться с эшелонам под Ленинград.

До Петсамо прошел Василий Астапов по ржавым, заметенным поземкой болотам, по мерзлому, лиловому, как застывшая кровь, вереску, по выжженным перелескам, через противотанковые рвы и надолбы, через проволоку и развороченные толлом доты. Много друзей оставил он в сыпучих снегах и на ледяных валунах Заполярья и поверил навсегда, что ничего нет на свете крепче и благороднее солдатского братства.

Никогда эти беззаветные люди, полные огня молодости, не уйдут из его сердца. Потом память вернет его к ним, заставит задуматься и воскресить их в бронзе и граните. А сейчас, на скулых привалах, он снова берет карандаш и закрепляет рифмой пережитое. Правда, в апреле 1941 года ему удастся выкроить время и вылепить пятифигурную композицию «Наше знамя на доте» для выставки красноармейских художников округа. Правда, он и во время Отечественной войны найдет «щель» между боями и сумеет сделать несколько работ, но все это будет наспех и не удовлетворит его требовательности. Только здесь, на поле смертельных боев под Ленинградом, он поймет, что ему еще очень многого не хватает, что одним желанием в искусстве не возьмешь, что потребуются годы труда, самозабвенного и тяжелого. Мысли о гибели, пусть даже случайной, отойдут куда-то далеко-далеко, и их заслонит мечта во что бы то ни стало выдюжить, выжить в этой борьбе и поступить в Академию.

И мечта его сбылась. В 1945 году он стал студентом Всероссийской Академии художеств. Его учителем был скульптор В. А. Синайский. Доброе слово о его работах говорил изумительный мастер А. Т. Матвеев. Василий Астапов сам начинал понимать свою силу. Это были радостные дни поисков и открытий, бесконечных и жарких студенческих споров. Дни уверенности в правильности своего пути и в силе своего характера.

Вперед — диплом и работа. Увлеченный, святой и вдохновенный труд. Мечты и загадки. Философское осмысление той бури, которая прошла по сердцам его современников и не сломала эти сердца, а только закалила

их своим ледяным огнем, протерла колючим снегом розовые очки и раскрыла перед глазами неистовый мир борьбы и страсти.

И я опять смотрю на торопливые, беспокойные пальцы Астапова, мягко перебирающие голубоватую, масляно лоснящуюся глину. Я думаю о его удивительно упорном характере, характере художника-коммуниста, весь свой талант отдающего красоте нашего яростного мира.

Я смотрю на его внимательные, немного усталые глаза, глаза видевшего жизнь человека, умеющего постоять за эту жизнь твердо и основательно.

Гранит и гипс, глина и мрамор, песчаник и бронза горели под его руками. На всех художественных выставках одна за другой стали появляться работы Астапова. Его произведения путешествовали с передвижными выставками по стране, принося автору доброе, заслуженное слово признательности.

Я смотрю на бронзовую голову старого большевика Чернокозова, верного друга Николая Островского. Островский называл его Батя, а в одном из писем писал: «Меня с тобой навсегда связала дружба, ведь мы с тобой типичные представители молодой и старой гвардии большевиков». Я вижу человека большой воли, лицо рабочего и философа, умудренного опытом борьбы, внимательного, строгого, влюбленного в жизнь, завоеванную собственными руками. Есть в этом лице воля и ласковость, требовательность и прямолинейность, заботливость отца и прозорливость учителя. Ему можно верить, за ним можно идти, потому что он может научить всему главному в жизни.

И опыт жизни этого замечательного человека Астапов передал точно и выразительно, запечатлев навсегда его образ в тускло поблескивающей бронзе.

Этот портрет как бы возглавляет, дает тон всей обширной серии портретов современников, написанной Астаповым. А в друзьях у Астапова очень много современников, целая галерея. Нефтяник Зуев и боксер Феронов, слесарь Уланов и хлопкороб Закиров, инженер Шлягин и учитель Кашинцев, студент Мужурьянц и виноградарь Мигеров, сталевар Романов и колхозник Кучубек, старый большевик Аршавский и полярник Муров, Серго Орджоникидзе и чабан, отдыхающий на камне, Анна Ахматова и мать скульптора, Ольга Берггольд и Станиславский. Запечатленные в бронзе и мраморе, в граните и гипсе

се, они разошлись по музеям, рассказывая о многообразном мире, о душевной красоте советского человека.

Это целая семья современников — беспокойных строителей нового мира, вылепленных со страстью, с убежденностью. В каждом из них есть опыт жизни и мысль, беспокойная творческая мысль.

Астапов много размышляет о связи времен и поколений, вглядывается и вслушивается в жизнь, понимая все возрастающую ответственность художника перед собой и перед временем.

Он понимает, что прекрасное серьезно. Серьезное отношение к миру определило его характер.

Вот он решил вылепить автора «Интернационала» Эжена Потье. Сколько через его руки прошло материала! Он списался с переводчиком Потье Александром Гатовым, он просмотрел весь имеющийся в архивах и музеях иконографический материал, связанный и с самим Эженом Потье, и с его временем, и с жизнью и деятельностью композитора Пьера Дегейтера. Он пробовал сотни вариантов, пока не остановился на одном-единственном, отвечающем его внутреннему состоянию, его представлению об этом образе.

Собственно, он лепил не Эжена Потье. Он лепил «Вставай, проклятым заклеянный» — и выразил суть этих слов в пластике.

Он побывал в Индии, и после этой поездки семья его бронзовых, гипсовых и гранитных друзей пополнилась ликами Востока, и мудрость и божественная красота стихов Рабиндраната Тагора как бы витает неким облаком над его изваянной головой, прекрасной в своем творческом величии.

От Василия Павловича Астапова можно ожидать многого, потому что он сделал много и этим своим творческим делом, как бы подготовил себя к более глубоким свершениям, потому что для настоящего художника нет предела на пути к совершенству.

1967

КНИГА О ДРУЗЬЯХ ИСТИННОГО ДРУГА

Любить искусство — это не профессия, а врожденная черта характера, и этой редкостной чертой счастливо обладает автор оригинальной по форме и по содержанию книги Борис Федорович Семенов. Он назвал книгу «Вре-

мя моих друзей», это очень точное заглавие: книга воспоминаний рождена талантом дружбы.

По специальности Б. Ф. Семепов художник-график, иллюстратор книг, но это только небольшая часть его деятельности. Я знаю его давно. Нашей дружбе с первого взгляда минуло больше сорока лет. Чего-чего мы не затевали за это время. И, как ни странно, многие из затей — совместно с нашими друзьями — нам удавалось превратить в живое дело.

Мой друг обладает удивительной способностью видеть в каждом человеке изюминку и превращать ее, иногда вопреки самому обладателю «изюминки», в живой цветок творчества, в радость.

Мой друг там, где среди его друзей возникает нечто интересное, и он незаметно в это интересное вкладывает свой запас дрожжей заинтересованности, отменного вкуса и настойчивой трудоспособности.

Не без его энтузиазма еще во время войны возник журнал «Костер». Не без его инициативы и влюбленности в новую идею «Ленинградский альманах» превратился в журнал «Нева», не без его практических советов начала выходить «Аврора».

Я бы мог при желании продлить список его «подключений» к начинаниям своих друзей и его собственных затей, от авторства которых он поразительно умеет незаметно уходить в сторону. Да и эту книгу, написанную с величайшим трудом и любовью к каждой запятой, он, если его спросить, наверняка поставит в заслугу настойчивости своих друзей, заставивших его, Бориса Федоровича Семенова, взяться за перо. Он писал эту книгу долго и увлеченно.

Он не может жить без увлеченности, увлеченности людьми прежде всего.

«Задолго до того как я сел писать свою книгу, странички моих блокнотов были усеяны заметками о прекраснейших людях, о тех, кто сделал жизнь мою действительно счастливой, — читаем мы у Б. Ф. Семенова. — Нет, бог не обделил меня друзьями, и почти никогда я не знал мук одиночества.

Нет возможности перечислить людей с поистине золотыми сердцами, каких встречал я за свою жизнь. Часто я записывал меткую фразу, мимолетное словцо, как щелкает на ходу, пытаюсь остановить мгновение жизни, человек с фотоаппаратом».

Это книга о друзьях истинного друга. И портрет истинного и прекрасного друга возникает, как чудо, из мозаики характеров его друзей (В. В. Лебедева, Д. И. Хармса, А. Ф. Пахомова, Александра Вьеденского и многих других художников, поэтов, ушедших и живых).

Мне остается только позавидовать вашей возможности войти через эту книгу в круг влюбленных в мастерство своего дела людей.

1982

БЕССМЕРТИЕ «ПЕСНИ О ГАЙАВАТЕ»

Генри Лонгфелло прожил долгую, наполненную жизнь. Многообразное его творчество, верное высоким идеям гуманизма, воистину благородно. И есть в его наследии поэтическая вершина — «Песня о Гайавате», поражающая до сих пор мир своей человечностью, красотой духовного строя ее героев, простотой и отточенностью формы. «Песня о Гайавате» по праву входит в сокровищницу мировой поэзии как гордость и слава американской литературы.

Поэма эта была написана в 1855 году и сразу, в течение полугода, выдержала тридцать изданий, ошеломив и очаровав читателей самой Америки, и пошла по всему миру, сделав Лонгфелло знаменитым поэтом. О нем стали говорить, что он открыл американцам Америку. С этим утверждением нельзя не согласиться, но ради истины стоит разъяснить, что он открыл завоевателям Америки, потомкам этих завоевателей ту Америку, которую они истребляли огнем и мечом, исконную Америку, вековую культуру ее подлинных хозяев, их мудрость, их величие. Это было подвигом Лонгфелло перед всем миром. Вот почему к всемо тянулись человеческие души, вот почему ее переводили на другие языки и зачитывались ею, восхищаясь ее неподкупной красотой и правдой.

Русский язык прекрасен еще и тем, что его поэты, всей судьбою своей служившие ему, перевели многочисленные образцы всей мировой поэзии, тем самым неизмеримо расширив горизонты его звучания. Конечно, они не могли пройти мимо и этого бессмертного творения Лонгфелло. Впервые русского читателя в отрывках с ним познакомил Д. Л. Михаловский еще в конце семидесятых годов прошлого века. А потом «Песне о Гайавате» очень повезло: за ее перевод на русский язык взялся со всей

молодой страстью и влюбленностью Ивас Алексеевич Бунина и вышолнил его со всем блеском и великолепием неподражаемо тонкого мастерства.

Перевод Бунина — чудо, равное по значению чуду оригинала. Только благодаря бунинскому переводу «Песня о Гайавате» вошла в душу русского читателя, прибавив долю своего кислорода к воздуху русской культуры.

Поэма прекрасна естественной прелестью жизни. Герои ее исповедуют мужество, свободу, красоту и любовь. Она помогает растить духовный мир человека. И в этом неоценимая заслуга Бунина, как бы перенесшего душу Лонгфелло на русскую почву.

Кирилл Владимирович Овчинников впервые прочел «Песню о Гайавате» будучи студентом-дипломником Института имени Решина, прочел и «заболел» ею. И на выставке дипломных работ выпускников института 1959 года я впервые увидел его гравюры, посвященные «Гайавате». Они и тогда произвели на меня доброе впечатление и запомнились.

С тех пор прошли годы радостного труда и поисков, разочарований и открытий. И вот работа завершена. Овчинников не иллюстрировал поэму, а как бы создал ее графический перевод, и эти двухцветные и трехцветные гравюры, исполненные на линолеуме точными и выверенными в бесконечных вариантах штрихами, воссоздали ее мир с тем мастерством и влюбленностью, которые позволяют верить в подлинность изображенного резцом мира.

Художник расширил мир поэмы. Он придал ей своим искусством дополнительные краски и объем, но остался в тех же рамках меры и красоты, в которых создавалась поэма самим Лонгфелло, в которых она переводилась на русский язык Буниным.

Эти гравюры озаряет Поэзия. Та самая Поэзия, о которой так проникновенно и мудро сказал создатель «Песни о Гайавате» Генри Уодсуорт Лонгфелло: «В жизни высший смысл сокрыт».

1965

ПРЕКРАСНЫЙ СВЕТ ЖИЗНИ

На всех выставках книжной и станковой графики, где мне приходилось встречаться с Ксенией Александровной Клементьевой, меня всегда поражала в ее работах непо-

средственная естественность глубины образа, его завершенность и артистическая (другого слова, наверное, и не подберешь) аккуратность каждого штриха, легкого, певучего, выверенного.

Ее работы всегда, отличаясь «лица необщим выражением», выделялись индивидуальностью самого выбора темы, самого предмета изображения и его трактовки. В них всегда жила убежденность художника, переходящая в убедительность. Эта особенность, это свойство жило и живет в ней с самых ранних начал, с того самого первого урока, на котором учитель, рассматривая впервые ее рисунок, сделанный с натуры, рисунок, который казался ей чудом совершенства, вдруг передвинул лампочку: тени сместились, и ее «надежда» на глазах сломалась, а учитель сказал: «Нужно рисовать не то, что сверху, а то, что внутри». И эти слова стали тем стержнем ее незаурядного таланта и жизненного опыта, который сформировал характер, пытливый и упрямый, выстроил неповторимую творческую индивидуальность.

Вот я сижу сейчас в ее комнате на четвертом этаже старого дома по улице Каляева, в комнате с высокими окнами, и дивлюсь жизни этой женщины, ее молодым глазам и скупым жестам, исполненным благородства, и ее душе, оставленной на бумаге, ее душе, размноженной в тысячных тиражах книг, которые она углубила своим прочтением, — и в тургеневской «Асе», в его «Вешних водах» и «Первой любви», в «Детстве» и «Отрочестве» Льва Николаевича Толстого, в «Русских женщинах» Некрасова. Начинаю улавливать жизнь и судьбу самой Ксении Александровны Клементьевой. Ее рисунки автобиографичны, и тут уж никуда не уйдешь, воистину — биография, чья бы она ни была, прежде всего отражает того, кто ее писал, и, естественно, портрет, чей бы он ни был, прежде всего портрет того художника, который его создал.

Да, поэтому я и находил в тургеневских героинях, в героях Льва Николаевича Толстого и Некрасова черты матери Ксении Александровны, воспитанной этой блистательной литературой, — великое родство искусства связывало времена и судьбы в один поток истории русского народа.

За плечами Ксении Александровны бескрайнее поле жизни, с тремя революциями и четырьмя войнами, с дальними дорогами и эшелонами поездов.

И она живет жаждой необоримой тяги за черту доступ

ного горизонта. Ей все еще хочется заглянуть за тот предел, куда уходит белая ночь, за ту черту, откуда встает над зубчатой кромкой леса солнце.

Она знала Маяковского и Хлебникова, Наримана Нариманова и бесстрашного Камо, ее друзьями были Владимир Лебедев и Натан Альтман.

Наполненности ее жизни можно позавидовать. Но эта наполненность — не ради наполненности, эта наполненность — ради щедрой самоотдачи, ради той радости, которую она раздает всем, с кем встречается на перекрестках искусства. Окно ее души всегда открыто для всех, и каждый в этом окне может найти для себя свое чудо, своего коня удачи, который примчит его к единственно необходимой победе.

Взгляд ее ясен. Душа ее беспокойна. И то, что она, Ксения Александровна Клементьева, делает, наполнено прекрасным светом жизни.

1979

ПЕСНЯ ЧЕРЕЗ ОКНО

У каждого человека свой подвиг и своя трагедия.

За светлым широким окном своим чередом идет время, перетасовывая дожди и снега, синие осколки январских звезд и колдовство белой ночи. Весной в окно, отряхиваясь первой зеленью, заглядывает голенастый тополь. Зимой с метелки голых прутьев тополя ветер сдувает шапки инея. Изредка на голые ветки садится стайка воробьев. За окном вечной своей новизной поет и шумит жизнь, полная неразрешимого таинства.

Занавеска отодвинута в сторону, и в окно входит милый дневной свет. На подоконнике кактус — колючий, как человеческая судьба, и такой же причудливый и необыкновенный. Справа от окна маленький столик. Слева — этажерка с книгами и телевизор. Две тахты, койка и шкаф. На стене две акварели и портрет молодого парня; видимо, увеличенный со случайной фотографии.

В этой комнате живут три женщины.

Бабушка, мать и дочка.

Три женщины ждут мужчину. Ждут давно, с 1943 года. Он смотрит на их жизнь с увеличенной случайной фотографии, молодой и сильный, такой, каким ушел на

фронт, такой, каким сгорел в своем танке на переправе через реку Сож.

Бабушка ждет сына. Мать ждет мужа. Дочка ждет отца. Они свыклись с ожиданием.

Дочка не видела отца.

Мать с утра уходит на работу в свой Институт защиты растений. Бабушка стара, но расторопна в своей обыкновенной житейской заботе и суете.

У внучки — книги, телефон, телевизор и окно.

Внучка видит мир только в окно, через колючий кактус своей судьбы.

К ней приходят друзья и преподаватели из университета. Иногда приходит негодующий на свою беспомощность врач.

А иногда...

Я телевизор выключаю,
Я в гости не зову друзей.
Я все читаю, все читаю
Жизнь замечательных людей.

Старик Андерсен все-таки может дарить чудеса. Он посылает добрую фею — Поэзию.

У Гали Гампер был полиомиелит. Она ни разу не ходила по зеленой траве босиком.

Но в комнате поселилась четвертая женщина — Поэзия. И она научила добрую душу воспринимать радость мира, научила, может быть, высшей радости человека — умению делиться с людьми певучим словом души, делиться своим удивлением миру.

Мой легкий, мой везучий день.
Я беды, как кусты, раздвину,
Заброшу голубую тень,
Как шарф за праздничную спину.

Это подвиг. Подвиг преодоления самого себя.

Мне очень хочется, чтобы и вы услышали этот чистый голос. Эту песню через окно. Потому что чистый голос песни всегда необходим человеку.

Мне хочется, чтобы он был необходим и для вас.

ОХРАННЫЕ ГРАМОТЫ

Очень хороший писатель — явление, как правило, редчайшее.

Для меня таким редчайшим современным писателем является Николай Иванович Сладков. Я люблю его книги. Мне близко пронизывающее их чувство любопытства, беспокойства, великое чувство родства со всем живым в удивительном мире, который нас окружает.

Николай Сладков родился в рабочей семье в Москве, но рос, учился и жил в Ленинграде. Он был городским мальчишкой, умеющим постоять за себя и товарищей из своей ватаги. Он не отличался от других сверстников ничем. Но это казалось с первого взгляда. А при более пристальном знакомстве в нем обнаруживалась необыкновенная любовь к свету и солнцу, и сам он был похож на росток татарника, который пробил каменную корку асфальта у входа в подворотню и этой тягой к жизни поразил воображение.

Ветер пространства стал щекотать ноздри мальчишки запахом бесконечности. Для него все вокруг становилось удивительным. Это свойство, заложенное в его натуре, требовало выхода. И сама жизнь, чувствуя его желание, шла ему навстречу, помогала видеть необыкновенное в обыкновенном, помогала понимать каждую травинку, проклюнувшуюся через стену отчуждения.

Коля Сладков пошел в кружок юннатов при Зоологическом институте АН СССР, кружок, над которым шефствовал, щедро раздаривая свою душу детям, один из первых строителей советской детской литературы Виталий Валентинович Бианки.

Учитель и ученик. Помните, что написал на своем портрете, подаренном юному Пушкину, Василий Андреевич Жуковский? — «Победителю ученику от побежденного учителя». Ученик непременно должен превзойти своего учителя, в этом высшая заслуга учителя, его право на бессмертие. Вот что сказал Виталий Валентинович Бианки своему лучшему ученику Николаю Ивановичу Сладкову во время одной из последних прогулок с ним: «Старые и опытные соловьи обучают пению молодых. Как говорят птицеловы, «ставят их на хорошую песню». Но как ставят! Не тычут носом, не принуждают и не заставляют. Они просто поют. Изво всех своих птичьих сил стараются петь как можно лучше и чище. Главное — чище! Чистота сви-

ста ценится у них превыше всего. Старики поют, а молодые слушают и учатся. Учатся петь, а не подпевать!»

Эти слова Виталий Бианки сказал своему лучшему ученику на пороге той двери, из которой уже не возвращаются обратно. И ученик записал слова учителя и пошел, как это подобает настоящему ученику, дальше учителя. Пошел уже один, постепенно окружая себя собственными учениками и повторяя им слова своего учителя: «Каждое поколение — я в этом уверен! — должно и обязано избавить идущих за ним хотя бы от бед и невзгод, какие выпали на его долю».

Все на свете держится на продолжении. Страшен подражатель! Он замыкает круг — и жизнь вырождается. Это Сладков понял давно и каждым словом каждой своей книги с поразительной настойчивостью и умением вкладывает эту истину в души своих читателей.

В этом его заслуга, его судьба.

Где бы ни был Николай Иванович Сладков, в любом краю земли, в любом деле он остается прежде всего писателем, той беспокойной душой, для которой все песни земли сливаются в одну радость непобедимой и вездесущей жизни.

Как-то из очередного своего путешествия Николай Иванович прислал мне фотографию. Прислал затем, чтобы я удивился его удивлению. Ему удалось сфотографировать на берегу бурной, захлестнувшей берег весенней реки, на смутном фоне голой тайги — сразу четырех медведей. Причем два из них стояли на четвереньках, а два стали на задние лапы, и глаза всех четверых были устремлены в сторону фотоаппарата, и были в этих глазах удивление и тревога.

Николай Иванович Сладков прислал мне эту фотографию, чтобы я порадовался, что еще не всех медведей переловили и распределили по циркам и зоопаркам, что есть еще дикие медведи; чтобы я, глядя на фотографию, глубже и основательнее понял его, писателя, душу, заключенную вот в этих словах: «Я слишком хорошо знаю диких лесных животных, чтобы быть охотником и стрелять в них. И мне непонятна такая любовь к природе, когда обьясняются в своей любви с ружьем в руках».

Я смотрел на редкостную фотографию и вслед за Николаем Ивановичем Сладковым повторял: «За всю жизнь я столько задолжал природе, что сейчас неловко у нее даже грибы брать...» И другое признание Николая Слад-

кова мне по сердцу: «В душе я охотник. Но не за шкурой и мясом и не с дурацким ружьем в руках. Я сам себе ружье, я сам собой прицеливаюсь и собой стреляю».

Я смотрел на фотографию и ощущал в душе волну любви к ее автору и родство с ним. Сладков мне родствен. Потому что всегда, даже в холодных блокадных ночах, как бы склепанных из грома и железа, я искал «старинного родства» со всем живым на земле.

Так прекрасно знать, что ты не один, что вместе с тобой по дороге к истине идет едипомышленник!

Я читал книги Николая Сладкова, исполненные высокой поэзии и любви. Я проникался его тревогой. Мне становилось, как и ему, страшновато оттого, что «скворцы в пригородах все реже подражают иволгам и соловьям и все чаще мотоциклам и гудкам электричек».

Я читал книги Сладкова и вместе с ним путешествовал по вечно молодой земле, удивлялся чуду разнообразия жизни в океане и в тайге, в тундре и в пустыне, в плавнях и в заоблачных горах, подпирающих небо. Я побывал вместе с ним на Кубе и в Африке. Пролетел с его белыми журавлями от истоков Оби через Туркмению и Афганистан к маленькому болоту на севере Индии, где белым журавлям стало нечем кормиться.

Это были не праздные путешествия, нет! Они расширяли в моих глазах трепетный мир жизни, требующий нашей защиты.

А однажды, читая книгу Сладкова, я словно бы сам отправился в пещеру... Держа в зубах электрический фонарик, я залез в узкую щель между камнями, приняв ее за вход в пещеру, и попал в тупик. Прямо перед собой я увидел змею и оцепенел от неожиданности. Мои руки заклинились в узком проходе и окаменели, а фонарик вывалился. Змея, медленно перетекая по камням, двинулась к моему лицу, и я закрыл глаза. А потом прошла вечность. Я почувствовал легкое прикосновение травинки к лицу и замер, поняв не разумом, а кожей, что это змея трогала меня своим раздвоенным язычком. Потом я открыл глаза и увидел, что змея обвила фонарик и грелась у его тепла. Она успокоилась и не препятствовала моему выходу из ее жилища.

Книги Николая Сладкова просты и очаровательны простотой и очарованием самой природы. Они учат мужеству правды, мудрости терпения.

Эти книги светлы и прозрачны, как отражение перво-

го луча восходящего солнца в той капле росы на ивовом листе, которую собирается слотнуть соловей, чтобы остудить разгоряченное песней горло.

Книги Николая Ивановича Сладкова стали для меня охранными грамотами всего живого на нашей прекрасной земле.

1980

ПОСЛЕ ТОГО, КОГДА ВСЕ КОНЧЕНО

Весна вошла в полную силу. Она завязала все узлы жизни, перед тем как передать ее завтрашнему лету для созревания, для вечной эстафеты. На Комаровском кладбище зелень заполнила все. Она почти непроницаема, только редким лучам удается пробить густое сплетение сосновых вершин, дотянуться до земли и, остановившись, помочь малому побегу иван-чая выпрямиться, стяхнуть прошлогоднюю хвоинку и потянуться всей скрытой тайной жизни к солнцу.

Я стою, прислонившись к золотой колонне соснового ствола в зеленом сумраке леса, пронизанного солнцем, стою и слушаю шорох корней и веток, поразительную музыку преображения, и душа моя сладко замирает на этой границе ушедшего и не появившегося.

Я стою, смотрю на оседающий холмик уже увядших венков и цветов и вижу, как майский жук, деловито перебирая лапками, взбирается по белому камешку к фанерке, на которой чернильным карандашом написано:

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
ТОРОПЫГИН
1928—1980

Я не был здесь, когда с ним прощались близкие, не видел слез, не слышал печальной музыки и последних слов прощания, я не бросил на крышку гроба свою горсть земли. Я не хотел и не мог с ним прощаться. А сейчас пришел и вот стою, прислонившись к стволу сосны плечом, в этом золотом соборе, пронизанном солнцем, и слушаю мир, слушаю течение времени, которое идет через меня, гудит в ушах и бьется во всем моем теле.

Я слушаю тайны жизни и смерти. Я причастен к ним. И мне, живому, трудно поверить, что его, Владимира То-

ропыгина, нет, потому что взаимный свет наших отношений не может уйти из этого мира до тех пор, пока существует моя память.

Наполненный гулом весны, я вспоминаю.

Четыре месяца назад мы находились с ним в одной больнице: он на пятом этаже, я — на третьем. Я заходил к нему пять-шесть раз на дню, в то время, когда был свободен от процедур и обходов. Здесь, в больнице, он дошел до своей палаты сам, без помощи нянь и сиделок. Он принес с собою тетрадь и шариковую ручку, несколько книг и рукопись. Он пришел с твердым намерением выздороветь.

Потом он перестал вставать с койки, и его уверенность в выздоровлении стала угасать, но он не показывал вида, вернее, старался всеми силами не показать другим, что он знает о том, что ему уже не встать на ноги.

18 января он сначала прочел, а потом по моей просьбе записал в мою тетрадку:

Веселые забавы
Полузабытых дней:
Вино, желанье славы,
Любовь, тоска по ней —
Все прахом разлетелось,
А породил тот прах
Лишь старческую смелость
В поступках и словах.

На следующий день он прочел и записал в ту же мою тетрадь следующее:

И опять листва густая
Будет рощу накрывать,
Защебечет птичья стая
Над рекою, и опять
Хмарь уйдет в низину, тая
В свете солнечного дня.
Будешь ты совсем другая,
Потому что нет меня.

Больше он уже ничего не написал и не напишет. Это были последние слова, которые напелтала ему муза на больничной койке. Как с удаленного левого легкого переполз на кости. Я знал, что дни его сочтены, он догадывался об этом и молчал так же, как и я.

И вот я стою перед холмиком увядших венков и цветов, прислонившись к золотой колонне соснового ствола, и чувствую плечом, как земля разговаривает с небом. Я слы-

шу этот разговор, но не могу уловить его смысла. Я смотрю на колышек, вбитый в перевернутый кверху желтой суглинистой подкладкой пласт почвы, на майского жука, выползшего из земли, перебирающего с поразительной согласованностью тремя парами лапок, выпускающего из-под твердых надкрылий слюдяную перепонку еще не опербованных в полете крыльев.

Зачем я слежу за этим майским жуком? Может быть, весна нарочно его подсунула под мой взгляд, чтобы отвлечь от сосредоточенности?

Нет! — воспоминания опять из подспудных глубин выбиваются наружу.

Я вспоминаю. Он пришел ко мне семнадцатилетним мальчиком осенью 1945 года, сразу после войны. Он еще учился в школе. Я жил тогда на четвертом этаже башни в доме № 8 по улице Союза Печатников. Это было странное восьмигранное сооружение, продуваемое ветром со всех сторон. Перил на лестнице не было, а на площадке второго этажа углубление, выбитое каблуками, прикрывалось толстым слоем железа. Этот железный лист грохотом своим предупреждал о появлении гостей. Первым, о ком он предупредил, был Сергей Орлов, вторым — Иван Демьянов, третьим — Володя Торопыгин.

Володя принес стихи и стал, как и Орлов с Демьяновым, своим человеком на «башне», потому что он был истинным поэтом по самой природе своего характера.

Время, которым мы потом дышали, постаралось как-то незаметно сравнять нас в возрасте и сделать товарищами уже на всю жизнь, а поэзия помогла нам обрести чувство взаимной необходимости.

Это было время надежд, и сам процесс становления характеров и овладения мастерством шел вровень с пониманием ответственности перед жизнью.

Потом он поступил в университет, и мы стали собирать для издания первую его книжку, и я по его новым стихам начал догадываться, что скоро он должен прийти ко мне вдвоем. Я не ошибся. На «башню» вместе с ним пришло милое чудо с темной косой и крутыми бровями, под которыми в тростниковых зарослях ресниц пылали темной глубиной бездонные проруби верности и лукавства.

И вот она стоит сейчас в двух шагах от меня, с глазами, полными неистребимой печали, под скорбными, сведенными углом широкими черными бровями.

.. Она уже не плачет. Она научилась плакать в одиночку.

Ей предстоит жить памятью, работой, взрослыми детьми, живущими своими судьбами.

Я знаю мужество ее души, ее терпение и умение брать три четверти его непомерного страдания на себя. Я видел это сам. Я видел, как рак, это проклятие двадцатого века, превращал тело моего друга, полное силы и благородства, в какой-то комок, похожий на только что вылупившегося из яйца аистенка, выпавшего из гнезда в траву. Он был нелеп и беспомощен, как этот аистенок, но аистенка можно было поднять в гнездо, а друга моего уже отвергла сама жизнь, и никакие самые жестокие лекарства не могли заставить его тело снова распрямиться. Пока сознание не покинуло его, рак был для него болью самого времени. И он боролся с этой болью до последнего.

...Я смотрел на ее опущенные плечи и не пытался ее утешать, потому что утешение в этом весеннем лесу, наполненном торжествующей жизнью, было лишним, кощунственным.

Потом я долго ходил между могил, дожидаясь ее, и слушал вечернюю переключку щеглов и чечеток, томительную песню иволги, подчеркнутую схожим с метрономом голосом кукушки...

У Володи слово не расходилось с делом. Он был человеком действия. Что бы ему ни поручали: литературный отдел комсомольской газеты «Смена», редактирование «Костра» или «Авроры» — он отдавал себя этим обязанностям целиком. И я любил его за эту преданность делу, за это редкостное умение собирать вокруг себя талантливую поросль.

Он был поэтом и редактором, журналистом и переводчиком, был прозаиком и драматургом.

Он умел слушать время, понимать его и служить ему. И его обнаженная, отзывчивая и легко уязвимая творческая душа осталась в живом деле, сделанном им для радости других.

Я начинаю вспоминать его стихи и его лицо, осененное доброй улыбкой, когда он читал стихи вслух. Я слышу его голос и опять возвращаюсь к холмику увядших цветов и венков. Взгляд мой уходит в глубину печали стоящей со мной рядом женщины и, следуя за ее взглядом, останавливается на белом столбике с прибитой к нему фанеркой. Теперь мы видим оба, как майский жук, забравшись на верхний конец колышка, выпускает из-под жестких коричневых надкрылий янтарные слюдяные крылышки, вибри-

руя ими, снимается с колышка, жужжика делает круг над нашими головами и скрывается в непроницаемом навесе зеленой хвои.

Не стовариваясь, мы поворачиваемся и медленно идем на дорогу, и я сквозь томительный голос иволги слышу голос моего друга:

Спасибо, сосны! Я смотрю на вас
И становлюсь спокойным и счастливым:
Так ваша красота несуетлива
И так необычна каждый раз.

Высокие стволы благодарю
За прямоту, за медное горенье,
За их неуправляемое стремленье
Все выше, выше — первыми в зарю...

Он, этот голос, теперь уже принадлежит всем и всему:
людям, птицам, земле и небу, весне и осени...

1980

ПОЭЗИЯ ОСТАЕТСЯ

Поэт уходит.

Поэзия остается.

Ушла Нина Алтовская. Ушла и больше не вернется. Но под синим колоколом дня все еще звучит и будет долго звучать, отдаваясь, как песня жаворонка, ее неповторимый голос. В этом голосе влюбленность в песенное слово русского языка и завораживающая человеческую душу тайна поэзии.

Лист к листу летит в поля
золотым вальсом.
А куда летит Земля?
А опять за летом!

Повторенье старых нот,
мир в четыре краски:
зелень, синь и желть,
а вот
и снежок январский...

Кто-то непременно, прочтя эти стихи, задумается о своей судьбе, о своем назначении в круговороте жизни, задумается о своей дороге на этой земле и об этих стихах, вдруг возникших на обочине дороги, как ромашка, но

ромашка необычная, умеющая своей неприметностью западать в память и возникать там, в памяти, подобно маленькому солнышку в сумерках уходящего дня. Возникать и светиться.

У стихов Нины Альтовской есть обязательность написания. Им свойственны любовь и сочувствие. В них даже сама прония улыбочива и чиста светящейся чистотой доверительности.

Стихи были для нее жизненной необходимостью, ее судьбой — судьбой человека талантливого, души открытой, светлой, всегда доброжелательной к людям.

Прочь зависть, суета, ожесточенье —
все мелкое, все низменное прочь, —
встань за плечом моим стихотворенье
и ясный день наавтра напорочь!

Она много работала в многотиражных газетах (особенно долго на Балтийском заводе), уставала, училась на отделении журналистики Ленинградского университета по вечерам. Была матерью и хозяйкой дома. Свободного от каждодневных забот времени оставалось совсем мало. И оно было для Нины Альтовской целиком заполнено поэзией.

Нина Альтовская родилась в Ленинграде, но часто бывала на родине своих дедов в городе Кинешме. И поэтому в ее стихах жизнь предстает увиденной с двух этих точек зрения: с плоского каменного берега Невы, с площади Революции Ленинграда и с высокого обрыва Волги, со ступеней Балтийского завода и из соловьиных зарослей сирени над волжской пристанью.

Она была истинным поэтом, не умеющим жить без поиска.

Она умела быть в своих стихах беспощадной к самой себе.

После себя Нина Альтовская оставила четыре сборника стихотворений. Последняя книга «Диктанты сентября», ясная и чистая по мысли и чувству, единая в разнообразии своем, по звучанию, включает новые стихи и лучшее из того, что ею было создано прежде.

В одном из стихотворений она написала о своей судьбе:

Вся жизнь моя — признание в любви.

Наверное, так оно и есть на самом деле, ведь о поэте никто точнее его самого не скажет.

1983

БИОГРАФИЯ СТИХОВ

Книга избранных стихотворений и поэм Сергея Давыдова — книга его творческой судьбы. В ней собрано лучшее из того, что он успел написать в своей еще далеко не законченной творческой жизни.

Он родился в 1928 году на Алтае, но там он только родился, а вырос, и окреп, и прирос душою к земле людей в Ленинграде на Васильевском острове, на острове корабелов и художников, на острове зеленых лип и тополей, легких парусов, наполненных свежим ветром, и синего неба над белыми барашками Финского залива, — он, этот самый Васильевский остров, был академией его жизни, его увлеченностей и его человеческой верности своему призванию, своей ответственности перед жизнью. Здесь он бегал в школу и гонял на пустыре футбольный мяч, здесь учился владеть веслом и словом. И здесь, на берегу Балтики, в пионерском лагере под Мартышкином, увидел войну, увидел, как самолеты с черными свастиками пикировали на Кронштадт и черная грива дыма застирала июньское солнце.

Отец ушел на фронт, а он попытался устроиться в военную спецшколу, но не взяли по возрасту. Блокадную зиму, страшную зиму 1941/42 года, он оставался вместе с матерью в Ленинграде, и вместе с ней, полуживой от голода и холода, был эвакуирован по Дороге жизни на Большую землю. Очнулся он в Шарье, в той самой Шарье недалеко от пушкинского Болдина, где была потом похоронена его сверстница Таня Савичева, так и не сумевшая поправиться, а его выносили, он выжил, но уже больше не увидел материнских глаз. Мать его тоже, как и Таня Савичева, не смогла вернуться к жизни.

В Шарье находилось в эвакуации ленинградское Училище военных сообщений. Сергея приняли воспитанником в музыкантский взвод и выдали форму, но подвела суцкая малость — отсутствие слуха. Однако он все-таки попал в армию, в 1566-й зенитный полк, и на шестнадцатом году жизни принял присягу, потом окончил полковую школу и стал сержантом, заместителем командира пулеметного отделения. Он видел войну своими собственными глазами сквозь линию прицела зенитного пулемета, и первые его стихи были напечатаны в дивизионной газете.

После демобилизации он стал работать токарем на заводе «Севкабель». Он вырос, окреп, силы у него хватало

и на работу, и на занятия в вечерней школе и в гребном клубе. А для стихов оставались ночи.

Первый сборник стихотворений Сергея Давыдова вышел в 1956 году, и это стало началом его литературной биографии. Он работал много и упорно. Много путешествовал и пристально вглядывался в жизнь. От книги к книге росло его мастерство и расширялся горизонт ответственности. Он писал стихи и прозу, работал на радио и в кино, был влюблен в спорт и в заманчивые дороги к новостройкам. Он умел быть верным товарищем своим сверстникам по жизни, и добрая сила, которая играла в мускулах его крепкой и рослой фигуры, и нежность, свойственная этой доброй силе, оживали потом в его стихах.

Он научился служить поэзии так же преданно и увлеченно, как и самой жизни. И поэзия стала его судьбой уже на все время, отпущенное его творческой душе — душе, открытой совершенству, удивлению и сочувствию.

1983

ЛЮБОВЬЮ ПРОДИКТОВАНО

Виктор Астафьев — писатель редкостного умения вглядываться в жизнь народа, подмечать в ней все, судить это подмеченное, размышлять о нем и сочувствовать человеческой душе, на которой держится зыбкая жизнь современного мира со всеми его надеждами и просчетами, частностями и глобальностями.

Виктор Астафьев умеет заряжать своим беспокойством читателя, подключать его душу к деятельному познанию, к беспощадной любви своей души.

За эти свойства, наверное, его и любят читатели, за это люблю его и я и жду его книг, откровенных, исполненных надежд и сомнений.

В книгах Астафьева всегда чувствуется железная необходимость их создания. Они возникают из глубины жизни, как некая панацея самой жизни, для ее утешения, для спасения ее веры в свое совершенство.

Они суровы и нежны одновременно.

Они сочувствуют, лечат, убивают и дают надежду.

В них — очистительная свежесть правды жизни, простирающаяся из сегодня в завтра, и чувство великой ответственности перед сегодняшним и завтрашним днем.

Новый роман В. Астафьева «Печальный детектив» прочитан. И я вслед за автором повторяю про себя его рас- суждения:

«Реальность, бытие всего сущего на земле, правда — сама земля, небо, лес, вода, радость, горе, слезы, смех, ты сам с кривыми или прямыми ногами, твои дети. Правда — самое естественное состояние человека, ее не выкрикнуть, не выстонать, не выплакать, хоть в любом крике, в любом стоне, песне, плаче она стонет, плачет, вздыхает, смеется, умирает и рождается, и даже когда ты привычно лжешь себе или другим, — это правда, и самый страшный убийца, вор, мордорот, неумный начальник, хитрый и коварный командир — все-все это правда, порой неудобная, отвратительная. И когда великий поэт со стоном воскликнул: «Нет правды на земле, но нет ее и выше!» — он не притворялся, он говорил о высшей справедливости, о той правде, которую в муках осмысливают люди и в попытке достичь высоты ее срываются, погибают, разбивают свои личные судьбы и судьбы целых народов, они, как альпинисты, лезут и лезут по губельно отвесному камню. Постигание правды есть высочайшая цель человеческой жизни, и на пути к ней человек создает, не может не создать ту правду, которая станет его лестницей, его путеводной звездой к высшему свету и созидающему разуму».

Так Виктор Астафьев пишет о назначении человека, назначении своего героя Леонида Сошнина, так он определяет в новом романе свою судьбу и назначение. С таких позиций смотрит он на жизнь и пишет ее картину, следуя своему прозрению.

Роман «Печальный детектив», так же как и его главный герой оперативный уполномоченный богом забытого Хайловского района где-то в глубине Сибири, силен горькой, беспощадной правдой, обнаженной и обнадеживающей страстной верой в истоки жизни и в созидательное высокое назначение человека на земле.

И сам роман, и его главный герой созданы великой любовью автора к жизни, к людям, к взлетам их души и к слабостям, к их отчаяниям и выстрадавшим надеждам. Главный герой, и окружающие его люди, и весь мир природы от последнего листика на продавленной нерадивыми тракторпстами озимке до ярко сияющих загадочных звезд в августовском бархатном небе выписаны талантливо, глубоко, объемно, ярко. Когда читаешь роман, как-то забываешь о том, что это книга, а взаправду живешь и дей-

ствуешь вместе с героями, огорчаешься и надеешься, негодуешь и радуешься их прозрениями и ошибками, истинной чистотой их нравственных начал.

И сам автор, и главный герой его Леонид Сошнин, отпочковавшийся от щедрой души автора, личность самостоятельная, незаурядная, — люди большого мужества и беспощадного добра.

Оперативный уполномоченный Хайловского района Леонид Сошнин — слуга и ревнитель закона, но слуга не каменной тяжести буквы закона, а его живой человеческой сущности. Сошнин живет в этом забытом богом «обезмужиченном» крае, среди деревень с заколоченными окнами домов, с запущенными дорогами, необрунными полями, с печальными глазами вдов, превратившихся от горя и работы в старух. Он живет наравне со всеми в этой жизни, понимая ее печаль и отчаяние. Он гонится за бандюгами и пропойцами. Он несет людям справедливость. Ради этой справедливости он ввязывается в драку и получает нож в спину и пули из-за угла. На Сошнина надеются и его ненавидят. Он гонится за пьяным загулявшим полярником, угнавшим грузовик. Сошнина сбивают, врач чудом возвращает его к жизни. Потерявший человеческий облик уголовник нападает на него с навозными вилами и распарывает плечо. И снова тот же чудо-врач спасает его от смерти. А начальство увольняет на пенсию.

Он скромнен, мужествен, безотчетно смел и человечен, этот оперативный уполномоченный из Вейска.

Он живет в гуще жизни, где у каждого человека свой характер, своя ни с кем другим не сравнимая индивидуальность, выписанная незаурядным искусством мастера с такой любовью и верой, с таким сочувствием, которое рассеивает мрак запустения жизни как нелепое наваждение, и сама правда становится той высшей нравственностью, которая вновь поднимает головы людей и заставляет их в который раз верить и надеяться на зеленое поле жизни под синим небом весеннего дня.

«Печальный детектив» — книга трудной правды, трудной любви и надежды. Это книга великой животворящей искренности. Виктор Астафьев давно знает, что выше правды нет ничего на свете, и свято придерживается этой по строчкам выстраданной им истины. Отсюда нелегкий оптимизм веры в победу высоких нравственных начал жизни народа, освещающий книгу.

Прочтите эту трудную, горькую книгу, и на душе у вас станет легко от правды, которой она дышит.

1986

И ХЛЕБОМ ИСПЫТАНИЙ...

«И хлебом испытаний...» Так называется роман Валерия Мусаханова, выпущенный Ленинградским отделением издательства «Советский писатель». К сожалению, роман вышел небольшим тиражом, а до выхода отдельной книгой в журналах не печатался, поэтому, наверное, его мало знают читатели и намертво молчат о нем критики. А поговорить о романе следует. Он заслуживает большего распространения и внимания. Он относится к категории книг предельной тревоги, таких, как распутинский «Пожар», как «Печальный детектив» Виктора Астафьева или «Плаха» Айтматова. Этот роман тоже подобен крику предупреждения над бездной, и надо сделать так, чтобы этот крик услышали, чтобы он не заглох в пустыне равнодушия, чтобы он достойно «поработал» в запущенных полях нашей человеческой нравственности.

Роман сложен в той мере, в какой сложна современная жизнь, в которой все частное и личное становится глобальным, а ответственность растет с непомерной быстротой на всех горизонтах деятельности человека.

Война отвратительна еще и тем, что мины взрываются после войны и беспощадно калечат душу нового поколения, душу безотцовщины. Главный герой романа Валерия Мусаханова Алексей Щербаков, блокадный мальчишка, тоже получает контузию и осколок от этой мины, взорвавшейся после войны: постепенно скатываясь по накатанной дорожке вседозволенности, он начинает жить в соблазнительной тени закона и становится, незаметно для себя, преступником, человеком отверженным, ущербным, человеком без совести и чести, человеком двойной души в ночного света. В результате он оказывается осужденным на двенадцать лет.

В своем романе Валерий Мусаханов взваливает на себя непомерно тяжелую задачу — вывести душу подопечного героя, нравственного инвалида войны, на истинный путь чести и совести, путь, достойный человека, чтобы потом, в заключение романа, сказать самому себе и своим читателям: «Я неколебимо убежден, что в прошлом, если

подходить к нему с подлинным историзмом, заложен оптимистический потенциал».

Путь жизни Алексея Щербакова, путь преодоления самого себя, трагичен, труден и жесток. Правда этого пути со всей неопровержимостью — художественно — доказана.

Роман написан от первого лица, это по-особому подчеркивает его исповедальность. Она постепенно нарастает в душе героя и наконец становится той двигательной энергией, которая пресбражает человека, круто поворачивая его жизнь, возвращая его самого к нравственным началам, составляющим его первородную сущность. Хлеб испытаний героя горек и беспощаден. Вершина самопознания — крута, обрывиста, малейшая самооблажка грозит тут же уничтожить результаты всех усилий и снова отбросит в пустыню отчужденности, за полярный круг бледного полубытия. Хлеб испытаний горек, к нему не привыкнешь, и бледное солнце избавления призрачно и безнадежно светит сквозь холодный туман полярного круга. Но жизнь идет и там, жизнь презревших закон и скатившихся по наклонной плоскости вседозволенности за полярный круг зябкого полубытия.

Идет год за годом. «Мне было двадцать семь лет, и девять из них я провел в заключении, подчиняясь заведенному распорядку подъемов, проверок, отбоев», — вспоминает Алексей Щербаков. За это время он стал шофером. Он знал машину как самого себя, словно машина была продолжением его тела. У Алексея была работа. Именно работа спасла и выручила его. И он это запомнил не только памятью, но каждым мускулом.

Случилось так. Недалеко от лагеря, на нефтепромыслах, произошла авария. На одной из скважин вспыхнул пожар, и огненная струя адского пламени белым жирным нездешним светом осветила мертвенно-белый снег и, потушив звезды, превратила небо в черное бесконечное пространство.

Буровики не смогли справиться с пожаром сами. Им на выручку пришла армейская артиллерия. И у нее тоже ничего не вышло. А белый жирный огонь преисподней, вырвавшись наружу, продолжал неистовствовать. И тогда капитан, командовавший пушками, очевидно не в первый раз вступивший в единоборство с разнузданным подземным огнем, выбрал себе в помощники заключенного Алексея Щербакова. Пока они тренировались, столб подземного огня покрыл копотью белый снег и лица буровиков.

И вот два грузовика, набитые взрывчаткой, колесо к колесу идут на свистящее и щелкающее пламя. Дверцы с машин сняты. За рулем одной машины артиллерийский капитан, за рулем другой — Алексей Щербаков. А пламя с каждым поворотом колеса все ближе, чудовищный свист и щелканье — все громче, жара — нестерпимей. Как они вместе, капитан и Щербаков, выбросились из кабин, никто не видел и не слышал. Все были оглушены взрывом и ослеплены навалившейся темнотой. Пожар был потушен, а в личном деле заключенного Алексея Щербакова появилась запись: «С риском для жизни принял меры, оказавшиеся решающими для ликвидации очага огня».

Его освободили досрочно.

Он ехал в родной Ленинград и «боялся той, уже раз пережитой неприкаянности, болезненного чувства своей ненужности, посторонности в жизни города».

Он стал работать таксистом. Но прошлое не отпустило его сразу, и он опять, только с большей осторожностью, стал жить не по закону, а в тени закона. Он стал рабом старых связей преступного мира, и вырваться из этих сетей было гораздо трудней, чем освободиться досрочно из лагеря.

Но жило в его измаявшейся душе вместе с этой мрачной безнадежностью великое чувство любви к женщине, чувство, очищающее человека от скверны, поднимающее душу из грязи бытия и заставляющее ее вести человека на подвиг. Это чувство диктует сказать самой любви, освободившей душу от накипи двойственности и обмана, слова прекрасной правды и страшной жестокости: «Нам придется расстаться, наверное, очень надолго...»

Да, Алексей Щербаков стал настолько свободным человеком, что мог теперь судить себя самым беспощадным образом, а дело добровольного признания своей вины перед правосудием стало для него первой необходимостью.

Пути человеческих судеб неисповедимы. Но путеводный огонь правды, живущей в человеческой душе, может сделать чудо, этому чуду никогда не поздно свершиться, если человек захочет.

Я сухо пересказал суть романа Валерия Мусаханова.

В самом воздухе этой доброй и высокочеловечной книги слышится крик предупреждения перед бездной, из которой не так-то легко выбраться...

1987

ПЕРЕКРЕСТОК ЖИЗНИ

Крылья таланта за плечами Глеба Горбовского опалены тревожным дыханием нашего времени. У этих крыльев есть сила, и опыт преодоления, и вера, неистребимая вера в победу гармонии, в ее истоки.

Глеб Горбовский родился здесь, в нашем Ленинграде, в семье учителей, и, наверное, любовь к поэзии, к празднику книги, к познанию была воспитана спецификой самой семьи, самым воздухом просвещенности, которым он дышал в детстве. Он родился в 1931 году. И жил и рос здесь, на Васильевском острове, здесь бегал в школу со своими сверстниками, и отсюда весной сорок первого года мать увезла его на каникулы на родину его отца, на милую Псковщину, в деревню Горбово, в мир тех самых горбовских мужиков и баб, из которого и вынес его отец свою фамилию.

Мать оставила его у родни на каникулы, на лето.

Но три месяца этих каникул превратились в четыре года грохота и огня, пепла и крови, голода и нищеты, человеческого унижения и упорства.

Что такое фашизм, он увидел глазами своей души, всей ее детской чистотой и впечатлительностью.

Это была жестокая школа. Школа колючей проволоки и окрика. Школа пули и виселицы. Школа восторга мести и жажды справедливости.

Он увидел глазами своей детской души народ, его горе, его силу и благородство. Он понял, что жестокость есть орудие страха. Понял и узнал цену хлеба и слова. Он очень рано стал взрослым. И этот опыт жестокости не ожесточил и не озлобил его души, а, как потом оказалось, проявил и утвердил в ней то истинно человеческое, что в ней было заложено.

Вот так и шло воспитание его характера — обидчивого и отходчивого, умеющего совмещать несовместимое и воспринимать мимолетное, выхватывая из него самую суть.

А потом, в ремесленном училище, на самой грани дерзкой юности, пришли стихи, пришла поэзия, заморозила его душу, обескуражила и возвеличила ее, открывая какие-то еще непонятные, но донельзя заманчивые перспективы. Она стала неотвязной. И он пошел за ней, как за своей судьбой. И другой дороги уже не было и не могло быть.

Потом он служил в армии, учился в полиграфическом

техникуме, скитался рабочим с геофизической партией по Сахалину и по Якутии, срывался, негодовал и снова затишал над белым листом бумаги, как над самым непостижимым чудом.

Мастерство и свой почерк пришли не сразу. Но они пришли. Он овладел ими, и соблазн легкого успеха отскочил, напугавшись его колючести, характер взял свое и сумел отличить сомнительное приятельство от товарищества.

У него вышло полтора десятка книг стихотворений. Это — книги Горбовского. У них своя судьба, свой мир, свой воздух любви и пристрастий. Они человечны, эти книги Глеба Горбовского. Они сотканы из таланта, из мастерства и опыта. И мир его любви стоит крепко и основательно на этом крепком, единственно возможном для поэзии фундаменте.

Поэзия помогает человеку по крупинке наращивать внутри своей души стержень высокой нравственности, так сейчас необходимой человеку в осмыслении своего места в жизни, своей ответственности перед самим собой и перед миром.

И заряд этой высокой нравственности свойствен стихам Глеба Горбовского, они излучают его.

Спится Земля —
Голубая, как детство.
Бездна пространства.
И — некуда деться.

Мир Горбовского создан любовью и добром. Он насторожен и прекрасен, как само наше время, ошеломляющее нас и поднимающее нас к действию.

А теперь Глеб Горбовский занялся еще и прозой. Я только что прочитал его новую повесть «Вокзал». Прочел эту повесть — и вспомнил стихи, которые знаю давно:

Приходите ко мне почевать.
Мягче ночи мой — только сны.
Я из трав соберу вам кровать
На зелененьких пожках весны.

Приходите ко мне молодеть.
Ванну примете в горной реке.
Надо только рекой овладеть
И держать ее гриву в руке.

Приходите ко мне погрустить,
Это лучше всего у костра.
Надо голову чуть опустить
И тихонько сидеть до утра.

Я вспомнил эти стихи потому, что и в прозе Глеб Горбовский остается поэтом, остается верным себе, своей внимательности к миру, трогательности своей влюбленной в жизнь души. Но сам он об этом едва ли знает, да, наверное, и знать ему об этом незачем.

Его повесть «Вокзал», как теплая ночная река, снимает неверие и усталость, заставляет еще раз оглянуться вокруг себя на этот поразительный человеческий мир, выйти на перекресток пестрых человеческих судеб, таких разных и таких похожих, — и поверить в свое единственно редкостное человеческое назначение, в трепет и гром тревожной и прекрасной жизни.

Я должен еще добавить, что эта повесть, как ночная река, полна отражения добрых звезд полуночного неба, их тайн, загадок и откровений. Она полна доверия истинной поэзии, и ее глубинное течение открыто, как русская душа.

А то, что она написана рукой знающего цену и прелесть своего труда мастера, умеющего из слов воссоздавать человеческие души, — в этом, надеюсь, согласятся со мной, закрывая последнюю страницу повести, ее читатели.

1979

СОЗВУЧЬЕ СЛОВ ЖИВЫХ

Великая поэзия есть возвышенный праздник души. Сколь ни соприкасайся с ней, она не тускнеет от повторения. Наоборот, при каждом новом прочтении она открывает новые грани.

Поэзия роднит человеческую душу с миром, делает ее мужественней и светлей, приближая ее к костру человеческого братства.

И как это великолепно, что слова Александра Сергеевича Пушкина, обращенные к Чаадаеву: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» — стали для моего поколения первой присягой верности и любви к Родине, к синему морю и к голубому небу, к ландышам и звездам, к сладости хлеба и к мудрости познания.

Поэзия есть нравственная атмосфера времени, поднимающая нас к высотам творческого духа человека на бесконечных путях его совершенствования. Все это я говорю потому, что у меня сегодня тоже праздник, праздник необычно радостный, и мне хочется поделиться этой радостью со всеми, кто не имеет глухой души отчуждения, замкнутой на корысти и себялюбии.

У меня в руках два изящно изданных томика в зеленых, под кожу переплетах, в превосходно оформленных, окаймленных золотом суперобложках, с четкими надписями на корешках: «Русская лирика XIX века».

Все в этих томиках достойно похвалы. И бумага, и печать. И верстка, и лаконичные по своей манере и выразительности портреты и рисунки художника Г. Клодта. И отличающийся тонким вкусом подбор самих стихотворений, сделанный добрым знатоком русской поэзии Владимиром Николаевичем Орловым, и написанное им поэтически точное и емкое предисловие.

Антология начинается стихами Василия Андреевича Жуковского, этого рыцаря творческого духа. Великая заслуга его в том, что он познакомил просвещенную Россию своего времени с образцами мировой поэзии и тем самым подготовил благодатную почву для возникновения такого

явления, как Пушкин. Но и его собственные стихи пленительны и сегодня.

И оба томика лирики высочайшего класса, лирики, знакомой мне с детства, лирики, которую я когда-то знал наизусть, плакал и ликовал над нею, снова захватили меня своей живой страстью, взбудоражили душу своим бессмертным беспокойством, наполнили сердце великой гордостью за откровения русской души и красоту русского языка, как бы созданного для высокой поэзии. И я вслед за Батюшковым повторяю сегодня: «О память сердца! Ты сильнее рассудка памяти печальной». И я счастлив наполненностью этих слов.

Листаю страницу за страницей и восхищаюсь каждым шедевром (а в этих томиках собраны только шедевры), имеющим свое назначение и корневую систему в своем времени, и зеленую крону в нашем. И мне приятно думать, что у внутреннего мира моего поколения была такая удивительно насыщенная почва, ему было где и из чего набираться духовного опыта.

Листаю страницу за страницей и в который раз дивлюсь неопределимому богатству родников творчества своего народа и его поэтов, зеркально отразивших эти родники в блистательной глубине своей лирической поэзии, и в который раз повторяю вслед за Михаилом Лермонтовым:

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

Говорить о лирике прошлого века — это значит говорить о грядущем, потому что она всем своим строем, всей своей потрясающей человечностью устремлена в будущее. Она полна верой в кровное родство свое с песней завтрашнего дня. И я вновь склоняю голову пред тихой скромностью Евгения Баратынского:

Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земли мое
Кому-нибудь любезно бытие:
Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах...

И мне приятно знать о том, что мои корни там, в прошлом веке, в мучениях и снах, в вере моих предшественников. Что их пример служения своему народу и светлomu

опыту человечества, пример, потрясающий своей дальностью и человечностью, покоряет меня сегодня.

Лирическая поэзия — это опыт беспокойной души, как бы парящей над связью времен и поколений, несущей на крыльях своего откровения предупреждение и наставление, самую жажду открытия и красоты правды.

Поэзия ищет не раздора, а согласия, потому что она верна гармонии поступательного движения истории. И я вместе с Николаем Некрасовым говорю над вечным огнем моих утрат:

Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы —
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей...

И мне от этого повторения, от сочувствия, идущего из прошлого века, легче дышится и надежней смотрится в тревожный завтрашний день, как будто все сорок пять темпераментов и голосов, заключенных под обложками этих томиков, живут во мне и делают меня богаче на сорок пять преодолений вершин человеческого духа.

Вот какой праздник подарило мне это путешествие в высокогорный лес русской лирической поэзии прошлого века. Она не постарела, нет! Ее доброе пророчество, ее сочувствие, подтвержденное угаданным ею опытом, сделали ее весомей и значительней в нашем сегодняшнем борении, в наших сегодняшних поисках мира и света.

1978

ПОЭТ, РЫЦАРЬ, ЧЕЛОВЕК

Все эти три высоких слова, написанных с большой буквы, относятся к Василию Андреевичу Жуковскому — удивительному явлению в истории нашей Родины, в судьбе нашей отечественной литературы.

Жуковский заслужил признание своих потомков подвигом благородной жизни, отданной без остатка служению прекрасным идеалам современников, лучших людей России.

В нем не было ни лжи, ни раздвоенья -
Он все в себе мирил и совмещал.

Так определил суть личности Жуковского Федор Иванович Тютчев, его ученик и последователь.

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемя им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.

Так написал о нем с пронзительной благодарностью Александр Сергеевич Пушкин, предрекая будущее своего учителя и заступника. Он написал это признание, обращаясь к портрету Жуковского, и само время золотом по красному граниту начертало эти слова на цоколе памятника Жуковскому в сквере у Адмиралтейства в Ленинграде.

Я видел своими глазами в январе 1942 года, в самый тяжелый месяц блокады, на чистейшем снегу перед чуть склоненной бронзовой головой памятника в белой шапочке снега и в белых эполетах — красные цикламены признательности, положенные чьей-то рукой. Я оцепенел перед этой картиной полумертвого промерзшего города и живыми цветами, как будто они были моими цветами, имели самое непосредственное отношение к моей личной благодарности Жуковскому.

...В ночь на третье декабря 1941 года я вместе с последним караваном кораблей, эвакуировавших гарнизон, возвращался с полуострова Ханко в Ленинград. И где-то на траверсе Таллин — Хельсинки наш корабль наскочил на минное поле и попал в вилку обстрела береговых батарей.

Многие герои Гангута погибли, многие попали в плен, а добрая половина с транспорта «Иосиф Сталин» была снята и доставлена тральщиками на остров Гогланд.

Я помню ночь на этом острове, ночь после трагедии, после дикой качки в штормовом осеннем море, окончательно вымотавшей нас. Помню сарай, битком набитый солдатами и матросами, пытавшимися согреться после ледяной купели в этой пронизанной колким ветром темноте, наполненной простудным кашлем и сиплым дыханием сотен глоток. Каждый старался поплотнее прижаться к товарищу, отойти от кошмара катастрофы. И для того чтобы отогнать от своей души и от душ своих товарищей ви-

дения только что пережитой гибели, я начал читать «Кубок» Жуковского:

Кто, рыцарь ли знатный, иль латник простой,
В ту бездну прыгнет с вышины?

И сразу наступила тишина сосредоточенности:

И волны спиральсь, и пена кипела:
Как будто гроза, наступая, ревела.

И воеет, и свищет, и бьет, и шипит,
Как влага, мешаясь с огнем,
Волна за волною; и к небу летит
Дымящимся пена столбом...

В пронизанном ветром сарае людям открывалось в строках Жуковского чудо пережитого ими самими. И они находили в словах поэта и мужество свое, и волю к жизни, и жуткую необходимость нелепой смерти, и призыв к справедливой мести, и реквием по друзьям, нашедшим свою могилу в ледяной воде Балтики.

Приходит, уходит волна быстротечно!
А юноши нет и не будет уж вечно.

Это было и сочувствием и наказом одновременно, как будто сам Жуковский присутствовал среди нас как «Певец во стане русских воинов» и словом своим воодушевлял наши души на подвиг жизни и смерти, который надо будет совершить на рассвете завтрашнего дня и, собрав силу и волю, подготовиться к нему.

Вот почему цикламены у памятника Жуковскому я считал своими личными цветами, цветами моих боевых друзей своему Поэту за его сочувствие и пророчество.

На поле бранном тишина;
Огни между шатрами;
Друзья, здесь светит нам луна,
Здесь кров небес над нами.
Наполним кубок круговой!
Дружнее! руку в руку!
Зальем вином кровавый бой
И с падшими разлуку.
Кто любит видеть в чашах дно,
Тот бодро ищет боя...
О, всемогущее вино,
Веселие героя!

...А фляги со спиртом все-таки кое у кого тогда уцелели на ремнях, и глоток спирта снимал кашель и тревогу одновременно, и сам Жуковский был с нами в этом промозглом сарае, битком набитом героями прошлых битв и будущих сражений. С нами был «Кубок» Жуковского, поэзия его певучей души, поэзия братства, мужества и удивления.

Я знал Жуковского и любил его покоряющие душу стихи и баллады с юношеских лет. Эта любовь с годами становилась осмысленной и подтвержденной опытом жизни.

Нравственный стержень благородной души Жуковского до сих пор верно служит ориентиром для многих и многих.

Василий Андреевич Жуковский родился 29 января (по старому стилю) 1783 года в селе Мишенском Белёвского уезда Тульской губернии в усадьбе помещика Бунина. Отцом его был сам помещик Бунин, а матерью пленная турчанка Сальха, которую Бунин купил как рабыню, но сына не записал на свою фамилию, а заставил своего приживальщика А. Г. Жуковского стать нареченным отцом мальчика. И хотя этот мальчик воспитывался в семье своего подлинного отца, все его звали «турчонком», и это, естественно, на всю жизнь отразилось на характере будущего поэта, на его умении сочувствовать униженным и оскорбленным. Великая благодать сочувствия человеческого сделала жизнь Жуковского и все его творчество высокогуманным. Он стал, сам о том не думая, нравственной совестью своего времени и остался в этом проявлении своего благородства в своей поэзии для всех времен.

Он был гениальным поэтом и человеком. И, понимая свое назначение во времени, добрую половину, если не больше, своей творческой энергии затратил на переводы, на то, чтобы познакомить читающую публику России с образцами мировой поэзии. Он сделал это блистательно, как и подобает мастеру, понимающему свою ответственность. Грандиозная работа Жуковского-переводчика равна по своему истинному результату — подвигу. Этим подвигом своей души Жуковский подготовил ту почву, на которой стало возможным возникновение такого явления, как Александр Сергеевич Пушкин. Этого никогда не надо забывать.

Он был великодушен и бескорыстен, был абсолютно лишен зависти и обиды. И когда Пушкин написал «Рус-

слана и Людмилу» — Жуковский подарил ему свой портрет с надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя в тот высокаторжественный день, в который он окончил свою поэму «Руслан и Людмила», 1820, марта 26, Великая пятница».

Переводы переводами! Но переводы Жуковского необычны. И в этом тоже надо разобраться, и прежде всего вспомнить высказывание о переводах самого Жуковского: «Переводчик в прозе есть раб; переводчик в стихах — соперник». Жуковский действительно был соперником Гёте и Шиллера, Байрона и Вальтера Скотта, Бояна и Гомера. Он как бы пересаживал произведения великих поэтов на почву русского языка и неназойливо делал их достоянием своего читателя, расширяя его горизонты родства.

...И новый скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.

Я не знаю, думал ли Осип Мандельштам, отчеканивая эти слова, о своем предшественнике Василии Андреевиче Жуковском. Но он, по-моему, этими словами очень точно определил метод, творческое отношение к своим переводам Жуковского, его проникновение в самую суть общения с поэзией, в которой прозревало, очевидно, великое братство людей, — не зря же он сам говорил о том, что «поэзия есть бог в святых мечтах земли». А что может быть святее и прекраснее братства человеческих душ, которому служит и которое проповедует на всех сущих языках мира поэзия народов Земли! В этом проявлении гения подвиг Жуковского особенно грандиозным кажется сейчас, являясь образцом и примером для современных переводчиков поэзии мира. Следуя Жуковскому, они сближают души континентов и народов, приближая праздник родства всего Человечества, праздник всеобщей Поэзии, осененной самой гармонией Природы.

Но Жуковский не только скальд, умеющий чужую песнь произносить как свою, — он поэт, и поэт великий, и вершина дерева его благородной поэзии до сих пор поднимается над подлеском, как могучий тысячелетний тис, готовый по великой доброте своей принять на себя удары всех молний.

И я прислушиваюсь к его голосу, как к голосу пророка, ищущего в сомнениях зерно истины.

Не часто ли в величественный час
Вечернего земли преображенья,

Когда душа смятенная полна
Пророчеством великого виденья
И в беспредельное унесена, —
Спирается в груди болезненное чувство,
Хотим прекрасное в полете удержать,
Ненареченному хотим название дать —
И обессиленно безмолвствует искусство...

Чем выше поэт, тем глубже трагедия его души, трагедия, через которую он ценой своей жизни переступает по собственной воле. Поэт говорит: «Поэзия час от часу делается для меня чем-то более возвышенным. Не надобно думать, что она только забава воображенья... Но она должна иметь влияние на душу всего народа». Все это современно. Очень современно. Потому что у подлинной поэзии нет старости, нет страха перед будущим и подобострастия перед прошедшим.

За трогательно наивной трагедией «Светланы» надлежит просматривать трагедию души самого Жуковского, за которого так и не выдали замуж обожаемую им Машу Протасову, потому что он был «турчонком», незаконнорожденным сыном помещика.

Успех поэзии Жуковского начался с «Певца во стане русских воинов» — одической поэмы героям 1812 года, затмившим великой славой мужества своего славу побежденного ими Наполеона. После этого успеха Жуковский был приглашен ко двору и стал наставником детей русского царя и самого царского наследника. Так Жуковский-поэт волею судеб сделался царским приближенным. Но и в орденах и лентах царского вельможи он оставался верным принципам добра и сочувствия, переполнявшим его творческую душу.

Это он добивается смягчения ссылки Пушкина. Это он помогает Баратынскому освободиться от солдатчины. Это он добивается разрешения и помогает А. И. Герцену выехать за границу.

Это он... Мне хочется продолжить рассказ о великодушии и гуманности поэта чуть-чуть по-иному.

В 1979 году я побывал в Киеве на празднике воссоединения народов Украины с народами России. Это был добрый и размашистый праздник, подсвеченный канделябрами цветущих каштанов и оглашенный соловьиными голосами расцветающей весны. Ради этого праздника была открыта выставка шедевров русской живописи. И когда я увидел на ней — в весеннем праздничном Кие-

ве — портрет Василия Андреевича Жуковского, написанный кистью одного из величайших художников своего времени Карла Брюллова, мое сердце зашлось таким восторгом, что слезы признательности промыли мои глаза и наполнили видимый ими мир радостью, верой в прекрасное будущее.

Если хорошенько разобраться, праздник этот сделал для меня Василий Андреевич Жуковский. Ведь он затеял это дело, он был его инициатором. И Брюллов написал портрет Жуковского во всем блеске его благородной красоты и одухотворенности — ради того, чтобы на вырученные деньги выкупить из позора крепостной каторги не кого-нибудь, а Тараса Григорьевича Шевченко, его гениальную душу, равную по своему звучанию душам Жуковского и Брюллова.

И сама красота этого благородного действия гениев осветила меня на этом празднике неистребимым светом человеческого доверия.

Вот как простирается поэзия и судьба Василия Андреевича Жуковского через два почти века на наше время. Она оживает, и цветет, и просвещает наши души своим неиссякаемым благородством, и зовет нас к совершенству, заставляя быть лучше и достойнее своих великих предков, в нашей жизни, полной своих нужд и печалей, поисков своих путей к человеческой радости.

Поэзия бессмертна. Она создает в конечном результате своего действия нравственную атмосферу творческого духа народа и времени. Судьба и поэзия Василия Андреевича Жуковского верно служат этому.

Надо беречь его наследие, чтобы искать в нем и сами истоки нравственных начал, и силу для их продолжения в нашем времени.

Василий Андреевич Жуковский был рыцарем Слова.

Слово было для него судьбой и делом. Он был великим мастером своего дела, мастером из того могучего сорта людей, на плечах которых все держалось, держится и будет держаться в этой жизни на нашей земле. И, памятуя об этом, мне хочется, чтобы и вы вместе со мной прочли вслух его прекрасные стихи:

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: *их нет*;
Но с благодарностию: *были*.

С ПУШКИНЫМ

Здесь, как о будущем рассказ,
Живет поэзия повсюду...

«В Милайловском»

Невозможно себе представить Александра Сергеевича Пушкина страстным охотником, вскидывающим ружье на поднятых собаками дупелей или в пустых осенних полях спускающим борзых вдогонку убегающему зайцу.

Стрелял он, правда, из пистолета неплохо, пулю в пулю всаживал, но это была стрельба для разрядки, что ли, от деревенского вынужденного одиночества.

Иногда он принимал участие в стрельбе около баньки в имении Осиповых в Тригорском, когда к молодому Вульффу вместе с Пушкиным являлся из Дерпта неутомный Языков и они от избытка чувств падали в белый свет, как в копеечку, на радость притворно пугающихся дочерей Осиповой, да и самой хозяйки, любившей повеселиться вместе с молодежью.

Но это была игра, а не охота.

Да и в книгах у Пушкина вы не найдете воспевания охотничьей страсти. У него и Дубровский убивает медведя не по доброй воле.

Пушкин любил жизнь во всем ее живом многообразии. Он любил слушать иволгу, следить за утиными выводками на сонной предзакатной глади Маленца, жирующими около камыша, на открытой воде, возле обнесенного срубом родничка, из которого брали на усадьбу воду для савара.

Он, наверное, от души радовался этому пестрому поющему пернатому миру скворцов и дроздов, соловьев и синиц, снегирей и дятлов, тетеревов, рябчиков и куликов, токующих на отмелях Сороти и Кучане, аистов, разгуливающих в поисках лягушек на заливном лугу, подвижных как ртуть трясогузок, помахивающих длинными лопаточками хвостов на всех дорожках, спующих тут и там по своим неотложным делам.

Он любил слушать кукушку, ее однообразно задумчивый голос, голос самого быстротечного времени, голос, как бы обязывающий наполнять это время смыслом жизни. Он любил жизнь. Радовался ее движению.

И как бы в ответ на эту любовь многоликая, пестрая жизнь славит его и поныне в заповедных местах его оча-

рований, его страстей и тоски, его бессонных раздумий о прошлом и грядущем, о связи времен и поколений, о томительной прелести любви и удивления человеческой души, такой же беспредельной в своих свойствах и желаниях, как окружающий ее мир.

Александр Сергеевич любил жизнь любовью творческой, беззаветной, вызывавшей ответную волну любви от всего, к чему обращался его светлый гений.

Мне иногда кажется, что белый аист, свивший гнездо на высокой ели у самого входа на усадьбу со стороны Маленца, закидывая голову и рассыпая сухую барабанную дробь часто-часто вибрирующим клювом, как бы прилетел из вчерашнего, пушкинского века, сместил времена, связав судьбы этих вереницей идущих людей, идущих каждый день на свидание с Пушкиным, с теми днями, когда Пушкин сам томился здесь, ликовал и плакал, восхищался и скорбел, прозревая и угадывая смутные очертания будущего своим духовным взором. И в этой реальности связи есть неизъяснимая прелесть веры в силу человеческого духа.

...Здесь была пустыня. Немецкие фашисты не оставили здесь камня на камне. Все было в золе, в пепле, в колючей ржавой проволоке, и тощий суглинок был обезображен рвами и траншеями и начинен минами.

Они даже заминировали саму могилу Пушкина, там, на холме Святогорского монастыря.

Безумцы! Песня взмыла жаворонком над минным полем.

Запрокинь голову, прищурь глаза, чтоб тебя не ослепило солнце, и послушай — он звенит, этот невидимый жаворонок, и вызывает во всем живущем ответную песню радости жизни, весеннего ее обновления.

Да, я помню эту пустыню. Но я не помню, как она превратилась опять в мир пушкинского удивления.

Он снова возник естественно и неожиданно, как песня жаворонка в солнечное утро над изумрудной рожью, по которой прошел ветерок и смахнул прохладную росную пыль, освежив дыхание и прояснив глаза.

Да, я помню, как вот на этих голых, обожженных валунах, еще с не смытой дождями гарью, въевшейся в поздраватую каменную плоть, плотники закладывали первый венец пушкинского дома.

Пролетело тридцать с лишним лет. Сколько людей прошло через этот порог за это время мимо колыбели са-

мой поэзии, не замечая того, что эта колыбель отстроена заново?..

Но я помню, что здесь была пустыня.

И забывать об этом преступно, потому что забвение равносильно самой катастрофе, грозящей живой душе мира.

Светлый гений Александра Сергеевича Пушкина уже вне зависимости от нашего желания сопровождает каждого из нас всю жизнь от первого до последнего дня. Он всеобъемлющ и поэтому необходим нам как доверительный советчик, как учитель и утешитель, как пример всех тех благородных качеств и свойств человека, которые и делают его человеком.

Мы остаемся благодарными ему за этот поразительный опыт нравственных начал в течение всей своей жизни: и в момент ее раскрытия, и на вершине ее торжества, и на склоне дней, у того рубежа, когда нам как очищение в наших помыслах и в раздумьях о жизни вдруг приходят на память примиряющие с вечностью мудрые слова:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть...

И для меня тоже мой прекрасный Пушкин начинался тогда, в золотую пору младенчества, когда моя мама, качая зыбку сестренки, зимним вечером пела тихим грудным голосом «Буря мглою небо кроет...». Пела ради того, чтобы сестренка заснула, и ради того, наверное, чтобы успокоить какую-то бурю в своей душе.

И я забывал при звуке этой песни о морозной тьме там, за окнами, о ветре, который так страшно елозил по стеклу веткой липы, растущей под нашим окном, и свистел каким-то нездешним свистом в печной трубе.

Мама моя была неграмотной, и она, наверное, не знала, что эту песню написал Пушкин, да ей до этого не было никакого дела, она, эта песня, существовала для нее как воздух, как небо и земля, как зимняя ночь за окном, полная тревоги и неожиданности, полная надежды на завтрашний рассвет, на сияние света радости над бесконечными снегами с тенью синих сугробов.

Пушкин мне так же, как и всем, кто с ним общался, открывал Родину в волшебной ее конкретности, и ученый кот на золотой цепи, рассказывающий сказки, был действительно тем чудом живой поэзии, которая заполняла мальчишеское воображение и делала окружающий мир трепетным и волшебным.

Его поэзия приобщала к любви, глубинной и неизменной.

Я помню, как учитель нашей сельской школы Александр Николаевич Куракин, красавец с волнистыми капитановыми волосами, единственный человек во всей округе носивший галстук, читал нам вслух:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!

Я не знаю, вспоминал ли эти слова мой однополчанин Дмитрий Молодцов там, на левом берегу Невы, во время тяжелого боя, когда разрывали железное кольцо блокады Ленинграда, бросаясь на амбразуру фашистского дзота, смертью своей прикрывая своих товарищей.

Может быть, в секунду духовного взлета он не вспоминал этих слов, но я уверен, что подвиг его души был воспитан и этими пушкинскими словами.

Я думал об этом недавно у могилы Дмитрия Молодцова, на месте его героической гибели. Я зачерпнул полную горсть речного, высушенного морозом песка, и он тек из кулака тонкой струйкой долго-долго на скованный белым снегом холмик скупой солдатской памяти.

Пушкин учил нас верности и благородству:

Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Какая пронзительная человечность в этих словах, рыцарски великодушных и мудрых, как сама жизнь, как ее неумиращее звучание. В них надо вслушиваться, сосредоточиваясь на их откровении, сверяя свой внутренний мир с их обнаженной, пульсирующей трепетом жизни сутью. Это чудо проникновения в человеческую душу, умения заставлять верить эту душу в свое высокое призвание.

Пушкин народен. Колодцы и истоки его поэзии — на самой глубине прекрасного. Только так, очевидно, и можно понимать его зовущую к вершинам народность.

В День Победы — 9 мая 1945 года — Пушкин тоже пришел на этот великий праздник утверждения победившей жизни. Я ощущал его живое дыхание в робкой зелени сиреневых куртин на Марсовом поле и не мог отстраниться от наваждения этих слов, от этой высокой истины:

Да здравствует солнце!
Да скроется тьма!

Я понял только одно в этот благословенный день: что, оказывается, там, в холоде и голоде блокады, в адском сплетении грохота и огня, мы жили и этой пушкинской верой в праздник разума, и он пришел по пеплу и крови просветленной Победой.

Таков он, гений Пушкина.

Поэзия всегда там, где из искры возгорается пламя. Она — как кислород для этого пламени. Истинная поэзия не может быть не гражданской. И творчество Пушкина — неоспоримое тому подтверждение.

Время идет, и неотвратимость поступательного движения самой Истории поднимает все выше ленинскую правду моей земли над трудным путем человеческого прогресса, и поэзия Пушкина с самых первых дней революции сроднилась с ней.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал.

Вспоминая эти слова, я мысленно переношусь в июнь сорок девятого года, в только что восстановленный из руин, еще пахнувший не совсем просохшей краской Царскосельский лицей и вижу полуприкрытые полукружием тяжелых век, горящие темным огнем глаза Пабло Неруды, слышу его гортанный голос. Неруда стоит на том же самом месте, где когда-то стоял Пушкин, читая стихи Державину на выпускном экзамене. Неруда не знает об этом. Но я слышу в переводе его слова, слова поэта, принимающего пушкинскую эстафету:

Пушкин, ты старший брат
поэзии и свободы!
Далеко за пределами
своих обширных
границ — твоя Родина...

В некрологе, напечатанном в «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду», Александр Сергеевич Пушкин был назван «солнцем русской поэзии».

Мы можем добавить сегодня к этим прекрасным словам, что это солнце незакатно, что свет его идет все дальше, шире, что время не затуманивает, а проясняет твор-

ческую благородную душу поэта, открывая в ней все новые грани.

Пушкин современен потоку самой жизни.

И как пророчески точно, проникновенно и открыто сказано у него:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа...

Пушкин, его образ, не смываемый временем, его светлый гений, открывающий все новые горизонты, — это наш праздник.

...Я люблю приезжать в Михайловское, в эти места заповедных очарований.

Добрый хозяин Пушкинского заповедника Семен Степанович Гейченко приучил меня по своему примеру вставать рано, вместе с петухом, который, слетев с яблони, где он ночует, разводит золотую радугу крыльев, набирает в грудь воздуха, выгибает шею и оглашает этот притихший, готовый преобразиться мир мощными перекатами голоса.

Мир начинает оживать на наших глазах. И радость пробуждения жизни захватывает нас своей песней, своей свежестью, и стрекот мотоцикла, как пулемет, прострочивший рассвет, кажется диким и нелепым.

А потом понемногу начинают сходить посетители. Сначала одиночки, для которых здесь все свято, все преисполнено особого высокого смысла. Потом появятся экскурсии, потом толпа начинает пестреть на всех дорожках, и голос иволги на фоне людского говора, как голос скрипки, все-таки сводит к одному знаменателю разногласию наступившего дня.

...Заповедник есть заповедник, и в нем стрелять не положено. Поэтому в нем много всякой живности — и летающей, и бегающей. А когда осенью начинается охота, вся птица с окрестных озер слетается на Маленец и Кучане, под защиту Пушкина. А это прекрасно.

1974

БЕРЕГИТЕ ПУШКИНА СЕЙЧАС

Сто пятьдесят лет тому назад был убит Александр Сергеевич Пушкин. Он был убит на глазах современников. И никто не заступился за него. Никто его не спас. Не сбылось его полушутливое пророчество о собственной смерти:

ни чума его не подцепила, ни мороз не окостенил; непроворного инвалида и шлагбаума тоже не было. А палач нашелся. И, наверное, он знал, «на что он руку поднимал». Знал — и выстрелил. Выстрелил безжалостно и точно. Это убийство вдруг со всей беспощадностью обнажило страшную суть случившейся беды, — словно Россия с самим Пушкиным потеряла сказку о справедливости.

В истории человеческих отношений на земле убийство поэта не было новостью. «Сперва поэтов убивают, чтобы цитировать потом», — скажет со свойственной ему задиристостью Евгений Евтушенко, скажет так о Франсуа Вийоне, но эти слова можно отнести и к Пушкину, и к Лермонтову, можно отнести к Лорке, Маяковскому, Есенину, Твардовскому, Смелякову... Это — правда, а от правды никуда не уйдешь.

«Истинная поэзия — это любовь, мужество и жертва», — напроорочествует о своей судьбе нежнейший поэт двадцатого столетия Федерико Гарсиа Лорка, расстрелянный фалянгистами и так ими захороненный, что Испания до сих пор не может найти могилу своего светлого гения, поразившего своим талантом все континенты нашей Земли, где люди не могут жить без поэзии, потому что между поэзией и справедливостью знак равенства.

Да, на земле идет непрерывная война за справедливость. Люди борются за власть справедливости. Но беда состоит в том, что когда они этой власти достигают, то, в большинстве случаев, забывают о справедливости власти и превращаются в деспотов и диктаторов.

Одной беды напасть
Для всех определилась:
Идет война за власть,
А не за справедливость.

Проповедник нравственных начал человека Луций Анней Сенека, по всем правилам своих воззрений воспитывал Нерона, но из Нерона вырос такой кровавый деспот, который уничтожил прежде всего своего учителя.

Пушкин знал историю Сенеки и Нерона. Знал он также наставительное обращение Гавриила Романовича Державина: «Богов певец не будет никогда подлец» и его оду «Властителям и судиям», которая и сегодня звучит возвышенно и смело:

Ваш долг есть: сохранять законы,
На лица сильных не взирать,
Без помощи, без обороны
Сирот и вдов не оставлять.

..... : : :
Не внемлют! — видят и не знают!
Покрыты мздою очеса:
Злодействы землю потрясают,
Неправда зыблет небеса.

Державин благословил Пушкина. И Пушкин оправдал это благословение. По примеру Державина, как и он, отталкиваясь от «Оды к Мельпомене» Горация, Пушкин написал свой вариант «Памятника», в котором точно и ясно сказал о своей судьбе:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал.

Истинный поэт всегда пророк своей судьбы. Но пушкинский «Памятник» не только итог и пророчество, это гимн назначению поэта, исполненный веры и надежды, гордости и благородной силы понимания своей ответственности в движении истории.

«Памятник» Пушкина, как духовный маяк, светил и светит всем следующим за Пушкиным поэтам русской земли, волшебным мастерам русского слова, хранителям любви, сочувствия и утешения.

Я слышу — сквозь визг раздираемого дьявольской силой металла, сквозь пронзительный скрип фанеры, на которой женщина тапит по Невскому блокадной зимой на кладбище тельце высохшей от голода дочки, закутанное в тряпье, — слышу голос, свободный и гордый, как голос самой родины:

Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.

Это говорит Анна Ахматова. Говорит векам и народам, маршалам и солдатам, вождам и арестантам. Говорит на том же самом языке, на котором писал, словами которого думал наш Пушкин, а Россия всей своей историей не смогла его спасти от гибели.

«Ненависть бесплодна!» — кричу я завтрашнему дню, и выстрелом с Черной речки мне отвечает мое прошлое.

Оплывая, гаснут свечки
В смутной памяти времен.
Белый снег на Черной речке
Красной кровью обагрел.

Гробовщик стругает доски,
Крестится на образа.
Гасит Пушкину Жуковский
Отгладевшие глаза.

Стонет мир. В метельном гуле
Кругом ходит голова,
И летят в века как пули
Лермонтовские слова.

Никогда метели белой
След кровавый не замести.
В откровенности несмелой
Покраснела наша честь.

Длится гибель друг за друга,
К своему идет концу.
И наотмашь хлещет вьюга
Красным снегом по лицу.

Пушкин мешал высокой правдой творческой души всем, кто стоял у власти и позабыл о справедливости власти. Потому-то его и убили.

Перед гибелью Пушкин чувствовал, что беда ходит за ним по пятам и что на этот раз ему от беды не уйти. Он готов был встретиться с нею глаза в глаза. Он смотрел прямо в дуло пистолета. Он не зажмурил глаз...

Пушкин был великим мастером русского слова. Он достиг тех совершенных вершин поэзии, откуда виден завтрашний день мира и дорога к нему. Поэт передал нам это великое русское слово свободным и чистым, каким и представляла себе его в страшный час нашего отечества Анна Ахматова.

Будем же достойны нести это великое русское слово каждый к своей вершине.

Человечество не может спасти атомная бомба. Жизнь может спасти и спасает только Гармония.

Шота Руставели, простившись с этим миром вдалеке от возлюбленной Грузии, своим «Витязем в тигровой шкуре» спас грузинское слово, то самое слово, которым говорит современная, спасенная этим словом Грузия.

Это чудо. И мы не должны забывать об этом чуде в скербный день гибели нашего Пушкина.

В мире много поэтов, а Пушкин у нас один. Один во

всей вселенной русского языка, на котором мир говорит о празднике Мира.

Пушкин живет в наших душах, как и язык, на котором он говорил всему миру о тех временах, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся».

Мы не смогли уберечь Александра Сергеевича Пушкина от гибели во время его жизни.

Будем же беречь Пушкина сейчас, на празднике бессмертия его гармонии, будем беречь в самих себе благородный дух его поэзии на вечной дороге совершенства человеческой души.

1987

ПОДВИГ ПОЭТА

Так же как Волга, возникая из родничка, собирая в себя ручейки и речки, обретая силу, накапливая ее, расширяет русло и во всей красоте и могуществе пересекает Россию, становясь ее главной рекой, так и поэзия Николая Алексеевича Некрасова, возникнув на берегах Волги, вобрав в себя красоту и силу русского народного языка, печаль и боли людей труда, их надежду и веру в свое будущее, обрела значение могучего потока, глубокого и широкого, захватившего своими волнами глубинные процессы жизни, стала истинной песней народа о его судьбе.

Да, Некрасов еще при жизни стал поэтом своего народа, глашатаем его чаяний. И вершина его гения — рядом с вершинами Пушкина и Лермонтова. Но у некрасовской поэзии своя собственная красота, свое озарение, своя любовь и ненависть, своя вера и мечта, и доколе будет жить на земле и удивлять людские души пленительное русское слово, не померкнет слава одного из его прекрасных мастеров.

Талант, какой бы он ни был, без познания жизни, без высоких идеалов останется пустоцветом. Талант закаляют и отшлифовывают борьба, высокие стремления к совершенству, слитность поэта со своим отечеством, понимание главного в тех исторически прогрессивных процессах, которыми живет народ.

Некрасов знал народную жизнь России своего времени болью собственной жизни.

Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную,

Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.
Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя...
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»

Некрасов начал формироваться как поэт еще при жизни Пушкина. Был жив Гоголь, и юный Лермонтов проклинал и пророчествовал, оттачивая острие своего таланта, расплачиваясь арестом и ссылкой за гнев и возмущение, которыми были переполнены написанные кровью сердца его стихи.

Соревноваться с Пушкиным и Лермонтовым было нелегко, это правда. Но это соревнование начисто отметало надежду на легкую удачу сочинительства гладких виршей. Свою первую книгу «Мечты и звуки» Некрасов с грустью скупил сам. И уничтожил свое незадачливое детище. Видимо, в то время он понял навсегда, что путь подражания ничего хорошего не даст. Подражатель изводит с вершины то, чему подражает, в конце концов губит саму идею, и только продолжатель способен сделать свое собственное открытие, найти себя, свой язык, свое место в литературе.

Некрасов чувствовал всю ответственность за ту эстафету, которую он мысленно брал у своих великих предшественников. Судьба Пушкина и Лермонтова... Трагические выстрелы... Рука, наводившая пистолеты на того и на другого, была сильна и беспощадна, глаз, наблюдавший за целью через прорезь прицела и мушку, был натренирован и зорок.

Здраво оценивая соотношение сил, Некрасов знал: есть лишь один путь. Он стал учиться глядеть вперед «без обычного страха». «Мечты и звуки» с их философской и нравственной неопределенностью отныне бесповоротно заслоняются «музой мести и печали». Служение народу становится главной целью его жизни и творчества, его напряженной работы публициста и редактора, а по сути дела — организатора литературного процесса прогрессивных сил тогдашней России.

В нашей литературе всегда было так: писатель, поэт — это обязательно еще и общественный деятель в широком понимании слова. Это началось с первого нашего писателя-профессионала, с Пушкина, а может быть, даже и с Ломоносова, и продолжается до сих пор. Некрасов был

поэтом-деятелем. И его пример прекрасен и поучителен.

Его многолетняя деятельность на посту редактора «Современника» и «Отечественных записок» не имеет в истории себе равных, разве что потом Алексей Максимович Горький возьмет на себя такую же воистину подвижническую роль. Но это уже будет другое время, другой мир, другие возможности, в его распоряжении будет уже возделанная почва и, главное, пример и опыт Некрасова.

Как организатор Некрасов умел находить и объединять, предопределять и предугадывать, чувствовать веление самого времени. Все лучшее, что было создано тогда в России, напечатано в некрасовских журналах. Белинский и Добролюбов, Достоевский и Толстой, Тургенев и Салтыков-Щедрин, Чернышевский и Успенский, Островский и Гончаров, Герцен и Огарев, Писемский и Решетников, Гаршин и Писарев... Вся эта блестящая плеяда, обессмертившая русскую литературу, поднявшая ее значение на недостижимую высоту, прошла через страницы редактируемых Некрасовым журналов. Блестящие умы России — ее интеллектуальный мир — были сосредоточены здесь и группировались вокруг Некрасова. С вершин нашего времени это ясно и каждому человеку, уважающему историю борьбы благородных рыцарей своего народа.

Сам же Некрасов, вспоминая о начальной поре этой титанической борьбы, писал:

Праздник жизни — молодости годы —
Я убил под тяжестью труда
И поэтом, баловнем свободы,
Другом лени — не был никогда.

И дальше — о своем стихе, в котором живет

Та любовь, что добрых прославляет,
Что клеймит злодея и глупца
И венком терновым наделяет
Беззащитного певца...

Жизнь Некрасова — подвиг. Ежедневно в течение тридцати лет свершаемый подвиг. Подвиг упорной и последовательной борьбы за счастье своего народа. Борьбы с дикостью невежества и произвола, борьбы с властями и цензурой, борьбы с самим собой, выматывающей и очищающей, когда «над душой воцаряется мгла, ум, бездействию, вяло тоскует», когда душа так жаждет, чтоб «все

в гармонию жизни слилось». А эта гармония, дразня, убеждает все дальше и дальше. И сомнения «рыцаря на час» — этой удивительной по беспощадности к самому себе исповеди — приводят к чудовищным выводам:

Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано...

И рядом с этим, как бы в утешение самому себе, как бы в ободрение своим товарищам, как бы в назидание идущим следом, слова, исполненные веры, почти крик заклипания:

Да не робей за отчизну любезную..
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет все, что господь ни пошлет!
Вынесет все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе...

Некрасов знал свой народ, знал не понаслышке, а по разделенной судьбе. Он с полным правом мог сказать о своей подвижнической жизни: «Я лиру посвятил народу своему». Художник обязан обладать опытом познания жизни. Без этого опыта нет художника. У Некрасова кроме богатейшего знания народной жизни, кроме опыта ее познания был еще особенно развитый дар сочувствия. Дар сопереживания. Он понимал русский характер во всех его гранях, светлых и темных.

С каким состраданием и точностью рисует он образ исковерканной рабством души, не вынесшей надругательства и так чудовищно отомстившей обидчику:

Яков на сосну высокую прынул,
Вожжи в вершине ее укрепил,
Перекрестился, на солнышко глянул,
Голову в петлю — и воги спустил!..

Этот трагедийно сложный образ, воплощение его в слово под силу лишь могучему таланту, оснащенному доскональным знанием душевной жизни и человеческой сути своего героя. Да, Некрасов далек от упрощения. Истинно великое — просто. Таковы убеждения, стиль и форма Некрасова. Не прибеднение перед простым русским человеком, а титанический, непрекращающийся труд по

раскрепощению духовной силы народа, подспудных запасов его интеллекта. Не взгляд сверху вниз, а понимание ответственности, наложенной на художника самой историей. И эта простота делает Некрасова великим художником.

Никто, пожалуй, в русской поэзии не отдал такой трогательной дани женщине, как Некрасов. Созданные им образы прекрасны. Женщины Некрасова деятельны и вдохновенны, любовь их благородна и светла, красота их скромна и величественна.

В игре ее конный не словит,
В беде — не сробеет, спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет!

Он подарил нам «Орину, мать солдатскую», образы декабристок, жен мучеников, загнанных в свинцовые рудники Сибири, которые разделили трагическую судьбу своих мужей. Он оставил нам лирические стихи, исполненные уважения к женщине, восхищения ею.

Сколько песен создано на певучие стихи Некрасова, сколько их сейчас еще звучит — песен, поднимающих человеческую душу, очищающих ее, как это и положено песням! Более ста лет звенит колокольчик некрасовской «Тройки» и томит сердца безысходной женской тоской, более ста лет мечут искры веселья на праздниках затейливые некрасовские корабейники...

Во времена Пушкина и Лермонтова, во времена Некрасова не было специально детских писателей и детской литературы. И Некрасов первый пишет стихи о детях и для детей. Кто из нас не восхищался «Генералом Топтыгиным», кто из нас не плакал над страницами поэмы «Мороз, Красный нос»? Кто из нас не был признателен дедушке Мазаю, кто из нас не застывал в восхищении перед картинами родной природы, с такой теплотой и впечатлительностью написанными Некрасовым?!

И здесь, в этих стихах, посвященных детям, поэт оставался верен себе. Он воспитывал чувство любви к родине, чувство благородства и гордости, он звал юных к действию, к деятельности, потому что сам знал и сладость трудового пота, и цену хлеба.

Некрасов — мастер, тонко понимавший и чувствовавший время. Его друзьями были блестящие мыслители-современники: Белинский, Чернышевский, Добролюбов.

И так же как у Пушкина «Евгений Онегин», так же как у Толстого «Война и мир», у Некрасова есть своя вершина мастерства и идейной сосредоточенности, есть лебединая песня его жизни — поэма «Кому на Руси жить хорошо». Это энциклопедия крестьянской России прошлого века, энциклопедия характеров крестьян, их быта, труда и праздников и непревзойденных картин природы, выписанных с влюбленностью, присущей Некрасову. Это памятник времени и призыв к справедливости, это глубинное вскрытие сложного внутреннего мира своих героев. Это новаторство не ради новаторства, это форма, подсказанная самим материалом, это мастерство высшего качества, доведенное до той превосходной степени, когда оно кажется естественным как дыхание и незаметным.

И эта некрасовская вершина, как и вся его жизнь, исполненная труда, поиска и сомнения, устремлена ввысь, в грядущее. Поэма Некрасова — пример осуществления высокого призвания человека, понимавшего это призвание и исполнившего свой долг.

Россия оценила его жизненный и поэтический подвиг. Когда Некрасов, измученный болезнью, последними усилиями воли боролся за жизнь, к нему пришли студенты. Это было признание.

Поэзия имеет свойство запечатлевать время для всех времен. Время Некрасова через его поэзию открыто и для нас.

Он — наш современник. Опыт Некрасова лег в основу стихов Блока о России. Опыт Некрасова помог Маяковскому стать Маяковским, а Есенину — Есениным. Опыт Некрасова живет в нашей советской поэзии и продолжается ею.

Некрасов жив, и слава его действенна,

В рабстве спасенное
Сердце свободное —
Золото, золото
Сердце народное!

Это благодарное сердце славит сегодня своего поэта,

1971

ВЕТРЕНАЯ ГЕБА

Один дорогой для меня человек недавно подарил мне томик стихотворений Федора Ивановича Тютчева. Томик

этот вмещает в себя почти все поэтическое наследство поэта. И я ношу его с собою. Он прямо-таки прирос к моей душе, вступившей по возрасту в свойственную тютчевской поэзии атмосферу. Да ведь сколько ни читай Тютчева, каждый раз открывается какая-то новая грань его гения.

Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет!..

Эти строчки написаны в 1837 году как слово прощания с Александром Сергеевичем Пушкиным. Они замыкают глубокое раздумье Тютчева о судьбах времени, о России и ее поэте. Он назвал Пушкина первой любовью. Но ведь у самого Федора Ивановича была и первая любовь, и вторая, и третья — самая мучительная и прекрасная. Любовь есть любовь, первая она или вторая, ее дело возвышать человеческую душу, приобщать к высшему состоянию восторга, света, добра и ответственности.

Любовь прекрасна в любом случае! И любовь к самому Тютчеву, к его поразительным откровениям, исполненным благородства, заключенным в скупые строки, окаймленные рифмой, простирается до того самого предела, какой ощущает человеческая душа на своем взлете совершенства, на своей вершинной точке прозрения и ликования.

У меня эта любовь к Тютчеву началась давно, еще в первом классе сельской школы, с «Книжки для чтения». Она, как это и подобает любви, началась с признания, вот с этих самых строк:

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Я читал это вслух у классной доски перед учителем и своими товарищами. Мне казалось, словно эта самая гроза играла за окнами школы над бибиревским прудом, накатывая тучи от Бекетной горы и сверкая молниями, словно она была во мне и на каких-то легчайших неведомых крыльях несла меня по необъятным пространствам зарождающегося воображения:

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,

Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

И праздник этой грозы уже нельзя было остановить; он шел по зеленой траве, и березки на пригорке подбирали ажурные подошвы первых листьев и пускались в пляс. Вот они уже подходят к самым окнам школы, захватывают и кружат меня в своем хороводе:

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной и шум нагорный —
Все вторит весело громам.

С тех пор я никогда не боялся грозы. Мне всегда хотелось бежать навстречу молнии и грому, раскинув руки, захлебываясь струями дождя и мокрого ветра.

Но ведь в «Книге для чтения» не было строфы, заключающей стихотворение. Я ее прочел только через два или три года. Она меня ошеломила тогда и поставила в тупик:

Ты скажешь: ветренная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокопящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

Меня поразило это непосредственно ко мне относящееся доверительное обращение. Оно сбilo меня с толку, потому что я не знал тогда, что эта самая Геба — богиня вечной юности — на пирах олимпийцев была виночерпием, и ей даже разрешалось ласкать орла, сидящего у ног Зевса, и подносить ему нектар. Я об этом не знал, а расспросить учителя боялся, потому что доверительность обращения: «Ты скажешь» — отрезала пути к расспросам. И я жил в этом мире предположений и догадок, пока не наткнулся на книгу «Легенды и мифы Древней Греции». Красота мира ожила для меня и наполнилась медом нового смысла, и я до сих пор дивлюсь этой картине проникновения в сущность родства человеческой души с окружающим миром:

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...

Это пришло потом. Это я беззвучно повторял, когда ходил по заросшим дорожкам запущенного кладбища Новодевичьего монастыря в Ленинграде. Кладбищенские деревья пылали октябрьским огнем, и прочищенная дождем и солнцем голубизна светилась, как прорубь в вечность, в еще не облетевших шапках кленов и тополей.

Я прошел от могилы Некрасова к могилам Врубеля и Фофанова, потом остановился у креста над могилой Федора Ивановича Тютчева.

Я стоял с обнаженной головой в тихой прозрачности этого хрустального дня, и кленовые листья, кружась, слетали к изголовью тютчевской могилы.

Тютчев не писал стихов. Они каким-то чудом возникали в нем и росли, как листья на клене. Потом он ронял их, как клен, и шел дальше по своей человеческой дороге любви, горя, удивления и сочувствия. И только ему одному дано было понять:

Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных:
Все зримое опять покроют воды,
И божий лик изобразится в них!

Я стоял и думал — в этом медленном кружении слетающих кленовых листьев, в этой хрустальной тишине, в середине отстраненного раздумьем городского грохота — о своей признательности упавшим на мою человеческую дорогу бесценным листьям тютчевской души.

Сколько раз я повторял себе и друзьям своим, повторял громко, в полный голос, шепотом, про себя, и молча, в воображении:

Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,
Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!
Над вами светила молчат в вышине,
Под вами могилы — молчат и оне.

Воспринимал это и как приказ об ответственности, единственно неизбежный приказ последней силе и собранности.

Я стоял в красном кружении отгоревших, оттрепетавших таинством жизни листьев и слушал время. Как Тютчев умел расширять горизонты человеческой души и учил ее не бояться масштабности этих горизонтов!

Чудеса делала тютчевская поэзия — его ветреная Геба — богиня вечной юности, его мучение и спасение, его

погибель и торжество. Он был целиком в ее власти, хотя сам и не думал об этом.

Когда Мария Александровна Ульянова провожала своего второго сына в его первую ссылку в Сибирь, она подарила ему не что-нибудь, а томик стихотворений Тютчева. И куда бы ни забрасывала судьба Владимира Ильича Ленина, он никогда не расставался с этим подарком. Он любил свою мать преданно и доверчиво. И мать знала, что нужно для души ее сына в его человеческой дороге. Она была любящей и прозорливой матерью.

Я, кажется, видел этот томик. «Кажется» я говорю потому, что уж очень много с тех пор прошло времени. Я был мальчишкой, и в каждой моей кровинке пели, переливаясь всеми красками, всем трепетом единственной веры в свое назначение, тютчевские слова:

Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперед!

Мне довелось побывать в Москве, в Кремле, в ленинской квартире. И я запомнил его рабочий стол и стол, приставленный к рабочему столу, и на этом приставленном столе, покрытом зеленым сукном, кусок чугуна первой плавки восстановленной доменной печи, присланный Владимиру Ильичу металлургами, и поразившую мое воображение скульптуру из желтовато-белого камня, изображавшую обезьяну, рассматривавшую человеческий череп, подаренную Ленину одним американским бизнесменом, и еще я запомнил лежащую на этом же столе книгу, раскрытую на той самой странице, где было напечатано уже знакомое мне:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.

В великом подвиге моего поколения — защите Родины в тяжкие дни и ночи Отечественной войны есть одухотворяющий свет тютчевской поэзии. Трудно, почти невозможно проследить и оценить степень ее воздействия и влияния. Атмосфера поэзии просветляет и сдерживает чувственное сознание человека; расширяя мозаику мира, учит человека ответственности.

Обладая поразительной силой прозрения, Тютчев вмещивался в космический хаос мира, стараясь понять себя, свое назначение в его движении:

Природа — сфинкс. И тем она верней
Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века
Загадки нет и не было у ней.

Тютчев умел трагедией своей души сочувственно угадывать боль и трагедию той жизни, которая, «как подстреленная птица, подняться хочет — и не может», и, как бы останавливая себя в размышлениях, предупреждал:

Кто смеет молвить: *до свиданья*
Через бездну двух или трех дней?

В тютчевской поэзии все превосходно, все отлито и отчеканено из чистого золота самой высокой пробы. Все выстрадано собственной болью или пропущено через такое сочувствие, которое равно самому страданию или любви. Его сомнения похожи на ступени той лестницы, которая поднимает к истине, поэтому его поэзия истинна и обязательна. Он не писал стихов. Он их ронял, как роняют листья осенние деревья. И можно представить себе, как он сам неспешной походкой ходил по засыпанным красными листьями дорожкам царскосельского парка, присаживался на скамью и поправлял клетчатый плед, натягивая его на зябнувшие плечи. И мне кажется, что на сегодняшних листьях, слетающих к надгробью, есть какая-то отметина взгляда его все замечающих глаз:

Во сне ль все это снится мне,
Или гляжу я в самом деле,
На что при этой же луне
С тобой живые мы глядели?

А высоко в небе сквозят в вершинах кленов и тополей проруби зябкой синевы, и кажется, что листья слетают с неба, с каких-то других планет и галактик, как письма признания. И женщина одиноко и неспешно подходит, шурша листьями, и останавливается рядом со мной, потом нагибается, подбирает красный кленовый лист и так же тихо уходит, прижимая его к груди. Потом появляется детский сад, похожий на стайку пингвинов, и деловито начинает собирать листья. Я тоже снимаю со своего плеча слетевший кленовый лист, наполовину затекший зеленоватой желтизной, и кладу его в маленький томик меж-

ду страницами. И в который раз вбираю глазами оставленные и мне знаки:

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...

1978

ВЕТЕР ВРЕМЕНИ И ПОЭТ

...И вот я вижу, я представляю себе, как через огромный материк русской культуры, пересекая его сверху вниз, оплетая его бесчисленными руслами притоков, течет, как Волга, набирая силу движения и звучания, неиссякаемая река русской поэзии.

Из каких сокровенных глубин народной души просочилось ее начало, в какой океан человеческого братства идут волны ее благородства?..

Этот поток могуч и необратим, и бесчисленные его истоки идут из утреннего тумана истории, из малых родничков песен и притч, сказаний и легенд, из глубин творческого духа народа-языкотворца.

Он непостижим в своем величии. У его истока плачет вещей голос Ярославны, гудят гусли скоморохов и начинает ликовать медная труба Державина. Через утренние плесы и старицы Жуковского, отразившие сияние звезд мирового неба, он спешит к весеннему разливу пушкинского гения, и звезды мирового неба начинают дивиться его красоте и силе, его уверенности в торжестве человеческого братства. Потом этот поток переходит через лермонтовскую горловину трагедии к жажде собранности и великой печали равнинного течения некрасовского голоса, оставляя, как загадки, тютчевские глубины откровения.

Река русской поэзии течет в океан человеческого братства, достойно неся в себе бессмертный опыт народа, его истории. Она хлещет через барьеры лжи и несет чистую правду времени будущему.

И есть в этой необыкновенной реке блоковский перекат.

Александр Александрович Блок!

Судьба наградила его всем: красотой и силой, мужеством прозрения и великодушием гения. Он врос в свое

время, и время это уже невозможно представить себе без его поэзии.

О, весна без конца и без краю —
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита! —

так, вопреки всему, как и подобает истинному рыцарю, он видел и славил жизнь, тайные истоки ее творческих начал и никогда не изменял этому высокому оптимизму, даже на краю гибели.

Он был истинным поэтом, а истинная поэзия всегда имела свойство заглядывать вперед, стягивать к своему магнитному полюсу меридианы всех тревог времени. Поэзия никогда не искала благополучия. Ее стихией были тревога и боль.

Истинный поэт! Чтобы им быть, мало одной одаренности, надо еще иметь судьбу, сродственную с судьбой времени, надо еще быть на высоте понимания движущих сил времени, надо чувствовать все звенья бесконечной цепи жизни и обладать творческой верой в себя, в мир, в чело века.

Чем талантливее поэт, тем он крепче срастается нервными волокнами своей души с миром и временем, тем большую, по своей воле, берет он на себя ответственность.

Александр Блок понимал: «Жить стоит только так, чтобы предъявлять безмерные требования к жизни: все или ничего; ждать неожиданного; верить не в «то, чего нет на свете», а в то, что должно быть на свете; пусть сейчас этого нет и долго не будет. Но жизнь *отдаст* нам это, ибо она — прекрасна».

Блок был птицей своей стаи. Его миром был мир высокой просвещенности. Он был рожден в семье потомственных русских интеллигентов: его дед был ректором Петербургского университета, отец — профессором права, мать — писательницей, переводчицей. Его женой стала дочь великого русского ученого Д. И. Менделеева.

Но истинная поэзия — это торжество индивидуальности, а не индивидуализма. Творческая же индивидуальность так устроена, что обязательно оказывается на переднем крае жизни, — душа ее может дышать только на самых пронзительных сквозняках времени.

А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!

Розовый туманный круг «Стихов о Прекрасной Даме» оказался тесен для души поэта. Душа запросилась на вольную волю высшей ответственности. Аполлон от дворянства, двадцатитрехлетний филолог, рыцарь Прекрасной Дамы увидел то, что в конечном счете изменило его судьбу, придало ей полновесную значимость, а слову поэта — ответственность. Он увидел главное и своим прекрасным четким почерком написал на белом листе:

ФАБРИКА

В соседнем доме окна жолты.
По вечерам — по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота,
А на стене — а на стене
Недвижный кто-то, черный кто-то
Людей считает в тишине.

Я слышу все с моей вершины:
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ.

Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули.
И в жолтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.

Он переписал это набело и поставил внизу дату: «24 ноября 1903». Это была первая ступень, с которой Блок начал подниматься к вершине своей жизни, поэзии, своей человеческой судьбы.

1903 год. Время, когда «Победоносцев над Россией простер совиные крыла». Когда уже пробуждались силы первой русской революции. Год Второго съезда РСДРП, съезда размежевания и создания ленинской партии рабочего класса. Поэт Александр Блок был далек от этих проблем, но сама правда поэзии расставляла в лабиринте его духовного мира те точные ориентиры, которые давали ему возможность в одиночку выбрать правильное направление. С мокрого и серого ноябрьского дня, когда была написана «Фабрика», сочувствие души Блока стало перерастать в уверенность и убежденность. Процесс происходил медленно, болезненно, но бесспорно, хотя

мертвенный болотный морок символизма, еще курясь, туманил его высокое окно и застилал горизонт. Но просветление души, вопреки всему, шло через правду трагедии времени, и красный жесткий снег с Дворцовой площади, завываясь воронками, хлестал в его лицо и просветлял зрение, а он, Александр Блок, как никто, умел слушать ветер, не отвращая от него лица.

Он любил, как это любят все поэты мира, ходить по улицам своего города, сверяя ритм биения своего сердца с изменчивым ритмом окружающей жизни людей и деревьев, камней и воды.

Он любил ходить по торцовым мостовым площадям, по тротуарам Невского проспекта, по набережным бесчисленных петербургских каналов. Шаги Блока звучали по гулким спинам мостов, по узким тропинкам петербургских пригородов и кладбищ. Он любил свой город и с каждым взглядом на него, с каждым вздохом обнаруживал новые узелки родства с его прошлым и с его будущим. Поэт жил горем и трагедией, величием и тоской своего города. Слышал залпы его баррикад и видел красную, как знамя над баррикадой, кровь, вмерзшую в снег, затоптанный солдатскими каблуками и подкованными копытами лошадей.

Он был беспощадно правдив и верил в праздник правды. Он страдал, не показывая вида, как это подобает мужеству.

Первая русская революция обнажила всю несостоятельность самодержавия, весь его «прогнивший хлев». Блок искал «дорогу к делу», мучительно искал. Он видел, «как тяжело лежит работа на каждой согнутой спине». Призрачная неопределенность символизма мешала ему дышать и мыслить, верить и любить, и он все чаще стал переступать через символистские каноны. Он первый из символистов понял подвиг Максима Горького, увидел в нем пример служения народу. Блок и сам в письме к С. Городецкому признавался в том, что «искусство должно изображать жизнь и проповедовать нравственность».

Внутренняя борьба изматывала и в конечном счете просветляла его беспокойную творческую душу.

Гроба, наполненные гнилью,
Свободный, сбрось с могучих плеч! —

чтобы сказать так, нужны были сила, воля и убеждение.

Александр Блок, был многогранен в своей лирической

стихий, и в каждой грани его таланта светилась истина, открытая поэтом для себя (она же — для самого себя поставленная века): «человек есть *будущее*».

Он умел любить трогательно и пронзительно.

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.

Так пел ее голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, — плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Это стихотворение написано в августе 1905 года, после расстрела у Зимнего, после баррикад и демонстраций, на одной из которых самому Александру Блоку довелось обжечь ладони о древко с пылающим живым языком пламени красным кумачом, — Блок нес знамя впереди демонстрации. Что это было? Случай? Или роковое совпадение случая с убеждением? Не знаю. Но думаю, что отсвет кумача сверкал в молодых и гордых глазах Александра Блока как высший знак счастья, как сама судьба и вера в победу справедливой, единственно справедливой судьбы.

Блок написал стихотворение «Девушка пела в церковном хоре...» как молитву, исполненную сочувствия утратам и жертвам. Стихотворение было дорого самому Блоку. Каждое свое публичное выступление он заканчивал именно этим, отмеченным какой-то особой чистотой и уравновешенностью вздохом.

А потом были «Вольные мысли» —

Высокий гимн о том, как ясны зорь,
Как стройны сосны, как вольна душа...

«Вольные мысли», как четыре чаши отборного белого ямба, стоят особняком в лирике Александра Блока и в русской поэзии. Они жизнеутверждающи по мысли и чувству, скульптурны по форме, просты святой мудростью

самой природы и прекрасны ее глубинной и вечной красотой. Они пахнут прогретой июльским солнцем водой, жарким можжевеловым и поющим на гребнях дюн песком. Они бегут как четыре волны по гладкой отмели взморья.

Моя душа проста. Соленый ветер
Морей и смольный дух сосны
Ее питал. И в ней все те же знаки,
Что на моем обветренном лице.
И я прекрасен — нищей красотой
Зыбучих дюн и северных морей.

«Вольные мысли» — одна из вершин блоковской гармонии. И если все, что было написано до «Вольных мыслей», можно и должно считать воздухом, первородной оболочкой, то начиная с них появляется зрелость Блока, та ясность мысли и точность формы, которые и делают его поэтом своего времени. Здесь начинается лирический эпос Блока.

Спустя пять лет после «Вольных мыслей» он признается себе: «Пора развязать руки, я больше не школьник. Никаких символизмов больше».

Так наступает осознанность гражданского долга поэта. Он встанет перед новым днем и скажет:

И, наполняя грудь весельем,
С вершины самых снежных скал
Я шлю лавину тем ущельям,
Где я любил и целовал.

Да, прошлое забыть нельзя, и оно волей поэта оживает под его пером трепетом сегодняшней жизни и устремляется в завтра.

И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнет ковыль...

«На поле Куликовом». Какая сила у этих стихов! Какая железная связь слова со временем! Какая возвышающая душу верность Родине и долгу! Они покоряют человеческую душу сразу и не отпускают от себя уже нигде и никогда.

Я впервые прочел эти стихи мальчиком, как эпитафия, взятые Николаем Тихоновым для первой его книги «Брага». Через эпитафию я узнал о существовании поэзии Александра Блока, и разыскал его книги, и очаровался

ими на всю жизнь. Слова Блока стали эпитафией жизни моего поколения и моей собственной судьбы. Недаром мой сверстник поэт Арон Кошштейн, погибший в бою, последнее стихотворение закончил словами: «И вечный бой! Покой нам только снится. Так Блок сказал, так я сказать бы мог».

В годы реакции, наступившие после разгрома первой русской революции, в годы приниженности человеческой души, потерявшей веру, Александр Блок становился соборнее, ясней, проще и глубже. Кажется, Пушкин и Лермонтов, Тютчев и Некрасов, вся поэзия его предшественников вставала за плечами Блока высоким строем и выдвигала его вперед как своего продолжателя.

И Блок, понимая ответственность своего назначения, как бы перекликаясь с Пушкиным, стал говорить

О том, что мы в себе таим,
О том, что в здешнем мире живо,
О том, как зреет гнев в сердцах,
И с гневом — юность и свобода,
Как в каждом дышит дух народа...

Впрочем, «Возмездие», он так и не закончил — очевидно, возрастающая требовательность к жизни, к самому себе и к своему слову заставила его пересмотреть первоначальные планы романа, он задумался об этом и упустил время. Но законченные главы и наброски сами по себе являются лучшими образцами поэзии Блока.

...узнаю тебя, начало
Высоких и мятежных дней.

Блоку всегда приходила на выручку вера в будущее, она ставила крест на пророчестве гибели. Но поэт видел в трагедийном начале поэзии высший оптимизм правды жизни. Он уже приучил свою душу «к вздрагиваниям медленного хлада». Он ждал ослепительных лучей из будущего. Ждал и верил в них. Жизнью и смертью верил.

Пускай я умру под забором, как пес,
Пусть жизнь меня в землю втоптала, —
Я верю: то бог меня снегом запас,
То вьюга меня целовала!

Он был лириком по природе своего гения. Его удивительные стихи о любви, об ошеломляющем откровении страсти — буйные как июньские грозы, светлые и чистые,

как майское утро, тревожные, как августовская ночь, переливающиеся блеском, как мартовский снег на солнце.

Снежный костер его страсти и обожания необычен. Блок вывел романс из ресторана, сделал его песней любви, таинственной и заманчивой. Удивительный мастер, он помогал самой природе рождать чудо.

И в зареве его — твоя безумна младость...
Все — музыка и свет: нет счастья, нет измен...
Мелодией одной звучат печаль и радость...
Но я люблю тебя: я сам такой, *Кармен*.

Блок сделал романс принадлежностью высокой поэзии. Вслед за Блоком Сергей Есенин в «Москве кабацкой» и в «Персидских мотивах» по-своему, поэтически осмыслил романс. А потом блоковский опыт, быть может ничего не зная о нем, повторит в «Цыганском романсеро» великий брат Блока по песне и любви Федерико Гарсиа Лорка...

В душном вакууме безвременья поэтом Александром Блоком владело чувство упорства, противостояния «мерзостям жизни», то чувство преодоления, на котором держатся все человеческие деяния. Блок двигался к вершине своего гения, — к чему бы ни прикасался его талант, он высекал искры.

Фрагменты «Возмездия», драма «Роза и крест», «Снежная маска», «Клеопатра», «Три послания», «Друзьям», «Поэты» и, наконец, «Россия» с ее пророчески заклинательной интонацией:

Ну что ж? Одной заботой боле —
Одной слезой река шумней,
А ты все та же — лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ящика!..

Эти стихи надо читать, как читают присягу, с той верой в судьбу своей Родины, с которой идут на смертный бой. Есть в этих стихах простор и воля волшебной любви, благородство силы и достоинство страсти. Они, как жаворонок под синим колоколом дня над розовым полем клевера, льются сами по себе прямо в душу человека, просветляя ее и наполняя верой.

Россия! Сколько раз Александр Блок прикасался к твоим ранам и к твоей истории, какой верой в твою судьбу он наполнил музыку твоего имени, прославляя тебя! Это была любовь сына и творца к истоку своей жизни, к роднику своей одаренности, к чаше своего мучения и восторга. Поэт был всегда верен тебе своим словом, наполненным страстью жизни, и жизнью, отданной слову.

Он любил твой язык, как мастер, расширяя его границы, углубляя его звучание.

Ты, знающая дальней цели
Путеводительный маяк,
Простишь ли мне мои метели,
Мой бред, поэзию и мрак?

Иль можешь лучше: не прощая,
Будить мой колокола,
Чтобы распутица почная
От родины не увела.

К кому это обращение — к родине, к женщине, к самому себе? Не все ли равно! Это сама беспощадность очищения души, это — алмазная грань совести, снимающая коросту корысти с глубоких шрамов своих обид и сочувствий чужому горю.

Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России —
Забить не в силах ничего.

Испепеляющие годы!..

Но и в эти годы есть голубые провалы нечаянных радостей. Есть радость «Итальянских стихов», написанных словно бы чистым золотом по белому мрамору. Как будто медь торжественной латыни, которая цела ему в уши с надгробных плит Данта и Теодориха, со всей отчетливостью запела в его собственных стихах, чистых, как весенняя лазурь неапольского горизонта, наполненная скрытой силой подземного огня Везувия.

В «Итальянских стихах» — необъяснимое очарование торжественной простоты и пышная строгость венецианских дождей, полдневное спокойствие русского характера и сосредоточенность на прекрасном незнакомом мире, уже связанном узами родства с миром собственной красоты и надежды.

И есть в эти испепеляющие душу годы мудрая сказка

«Соловьиного сада» — песня о соразмерности страсти и долга; притча о безрассудности желания и ответственности свободы, гимн несказанной прелести знойного неба, цветущего зеленого побережья и ослепительно бирюзового моря. Ассоциативный строй поэмы прост и многообразен. И даже обнажение главной мысли поэмы — «Заглушить рокотание моря соловьиная песнь не вольна!» — не снимает мозаики, разносторонности ее восприятия, потому что она гораздо шире заложенной в ней идеи и ее нельзя расчлнить холодным способом привычного анализа.

Да ее и не надо анализировать. Она создана не для анализа, а для восторга по поводу красоты мира, красоты человеческого ума и чувства. Все в этой поэме предельно сжато, но от этого простор отраженного мира не теряет своих широких горизонтов. Поэма празднична по звучанию, потому что праздничен труд, который возвел и увенчал розами белую ограду соловьиного сада.

Да, этот труд праздничен, но и трагичен, он оборачивается тяжелыми потерями.

И Блок будет вновь бродить по своему городу, как все поэты мира, в поисках чуда, пока наконец не поймет, что

...через край перелилась
Восторга творческого чаша,
И все уж не мое, а наше,
И с миром утвердилась связь.

Поэт опять — в который раз! — прислушивается к ветру времени, пытается понять, о чем он поет. И опять пойдет лабиринтом улиц и переулков, вышагивая, вымеряя и выверяя ритм своей души соотносительно с первым ритмом мира. И пролетят года и миры перед его мысленным взором. И он опять задумается:

Что счастье? Короткий миг и тесный,
Забвенье, сон, и отдых от забот...
Очнешься — вновь безумный, неизвестный
И за сердце хватающий полет.

Ему уже не выйти из этого круга. Он — поэт. Он не может жить без раздумий о мире. Такова уж его судьба. Он на веки веков приговорен к этому прекрасному беспокойству. Он и после смерти своей не даст покоя всем, кто захочет взглянуть в его вселенную, кто попадет в соловьиный сад его поэзии, в его космический корабль, стар-

товавший из своего земного дня в завтрашний день человеческого восторга и страдания.

Лирическая летопись души стала у Блока, к нашей радости, духовной летописью времени. И его «Авиатор», гибнущий на глазах у жадной до сенсаций публики, силой размышлений поэта встает из обломков как некий символ времени, проецируется на события и страхи наших дней:

Иль отравил твой мозг несчастный
Грядущих войн ужасный вид:
Ночной летун, во мгле ненастной
Земле несущий динамит?

Как правило, эти «летуны», как бы предупрежденные Блоком, плохо кончали, ища спасения или в монастыре, или в сумасшедшем доме. Их разум был опален страхом или раскаянием. Адское пламя атомного взрыва шло за ними как расплата за содеянное зло.

Блок видел своими вещими глазами «пляску смерти», слышал чутким слухом, как «кости лязгают о кости»:

Живые спят. Мертвец встает из гроба,
И в банк идет, и в суд идет, в сенат...
Чем ночь белее, тем чернее злоба,
И перья торжествующе скрипят.

Мертвец распоряжается жизнью живых, и «петроградское небо мутится дождем», и по приказу мертвецов живые убивают живых, и поэт не может стоять в стороне от этих событий. Он вместе с народом, и шовинистический угар не ослепляет его трезвого взгляда. Он видит, как ползет по лесам и полям России, по ее городам и весям «отравленный пар с галицийских кровавых полей». И поэт признается себе, и времени, и всем временам:

Да. Так диктует вдохновенье:
Моя свободная мечта
Все льнет туда, где унижение,
Где грязь, и мрак, и нищета.

У него хватает силы и мужества, «пускай грядущего не видя, — дням настоящим молвить: *нет!*».

Блок не может стоять и не стоит в стороне от дикого грохота войны. На его плечах тоже шипель бесприсветно серого цвета, серого, как туча горя и печали, закрывшая над Россией солнце жизни. Поэт с народом, в народе. Он сам частица этого необозримого множества воли и характера, множества, которое мертвецы предали и завели

на минное поле. Вступая в перекичку с Некрасовым, Блок сам начинает размышлять о той одной-единственной душе, которой «не вернуть своих детей, погибших на кровавой ниве». Он создает потрясающий образ скорбящей России:

Чертя за кругом плавный круг,
Над сонным лугом коршун кружит
И смотрит на пустынный луг.
В избушке мать над сыном тужит:
«Нá хлеба, нá, нá грудь, соси,
Растц, покорствуй, крест неси».
Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты все та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней.
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?

Это написано в 1916 году. На третий год мировой войны. За год до нашей революции. Это написано в год моего рождения. Написано о моей родине, России, и о моей матери Елене Васильевне. Это написано о миллионах матерей мира, об их доле, об их глазах, полных горючих слез и надежды. И я могу плакать над этой запечатленной судьбой от сочувствия и восторга перед нею, оттого, что сам причастен к истории и жизни моего народа, знаю его отходчивую душу.

Изнурительное бремя войны измотало народ и в деревне и в городе. Разруха, нищета, голод, беда. Демагогия Временного правительства. Мыльные слова, потерявшие почву и значение. И пылинка далеких стран на лезвии карманного ножа при всем воображении не заменит хлеба, которого нет. Блок в эту пору все больше сближается с Горьким, работая с ним по его приглашению в издательстве «Всемирная литература». Он переводит Исаакяна и финских поэтов. Он прислушивается к речам ораторов на митингах, вглядывается в запавшие глаза солдат, в их обросшие щетиной лица. Он добросовестно разгребает «прогнивший хлев» самодержавия, работая в комиссии по расследованию его преступлений. Блок «всем телом, всем сердцем, всем сознанием» «слушает революцию». Он надеется на ее очистительную бурю и накануне Октября записывает в дневнике: «Один только Ленин верит, что захват власти демократией действительно ликвидирует войну и наладит все в стране».

Блок ждет революцию и приветствует ее. Он видит в ней единственное спасение России и поэзии. И когда Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет после победы Октября пригласил в Смольный художественную интеллигенцию Петрограда, чтобы обсудить с нею вместе насущные вопросы развития культуры, — в Смольный пришло несколько человек, среди них были Александр Блок и Владимир Маяковский.

Блок пошел вместе с народом и отдал ему все свои силы, знания и опыт. Он это сделал по собственной воле и убеждению, после долгих лет глубочайших раздумий над судьбами России, над путями и перепутьями ее художников.

«„Мир и братство народов“ — вот знак, под которым проходит русская революция. Вот о чем ревет ее поток». Так писал Александр Блок. И его слово не расходилось с делом, потому что его делом было слово, обнаженная революцией правда слова.

Великая сила революции создавала своих великих художников, и эти художники, дыша воздухом ее веры, создавали шедевры, достойные революции. Среди них поэма Александра Блока «Двенадцать».

Блок первый по-своему услышал и воспел Революцию. Его песня стала первым памятником Революции и лебединой песней поэта, вершиной его гения, вершиной, с высоты которой виден весь трудный путь подъема, вся долина поэзии, возделанная его руками. Это вершина, примечательная для других художников, вершина, достойно венчающая сложный и прекрасный путь поэта к народу, к празднику человеческого братства.

«Двенадцать» Александра Блока — первый ориентир Октябрьской революции в поэзии. Маяковский напишет «Хорошо!», Демьян Бедный «Главную улицу» — потом, после поэмы Блока, когда она разойдется по всему миру, вызывая удивление и восторг друзей нового мира, злобу и ненависть — в лагере реакции, у внешних и внутренних врагов республики.

Блок написал «Двенадцать» по горячим следам, через два месяца после победы Октября. Написал быстро, за несколько дней. Очевидно, сам материал, сам напор событий, перспектива, которая вдруг открылась перед духовным взором Блока, так захватили и воодушевили его, что он, по обыкновению очень строгий судья всего выходяв-

шего из-под его пера, на этот раз, окончив поэму, записал в дневнике: «Сегодня я — гений».

Сойдя со страниц газеты, уже отделившись от своего создателя, поэма начала самостоятельную жизнь. Сила ее воздействия была огромна. Она объясняла. Предупреждала. Звала. Организовывала:

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Она подбадривала, наполняла верой, воодушевляла:

Вперед, вперед,
Рабочий народ!

Блок всегда имел чуткий слух. Он умел, как никто, слушать и понимать ветер времени. И ветер победившей революции свистел в его поэме, наполняя ее неистовый мир свежестью и надеждой. И рваный ритм стиха был под стать убыстренному революцией ритму жизни. Сама необычно новаторская форма поэмы, ее разговорно-лозунговый строй, сама определенность ее революционной направленности делали ее доходчивой, действенной.

Всей собранностью своих двенадцати глав она учила собранности характера и души.

Она стала народным явлением. Явлением революции, Взрывной силой ее действия.

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!

Поэма, естественно, потребовала от Блока средоточия всего опыта, всего мастерства, собранности последних сил построчечно растраченного здоровья и души. Он отдал поэме все, ничего не пожалел, ничего не оставил себе. Она как бы опустошила его и физически и духовно.

На большее у него не хватит сил.

Правда, он еще увидит, как

Высоко — над нами — над волнами, —
Как заря над черными скалами —
Веет знамя — Интернационал!

Правда, он еще успеет сказать человечеству:

В последний раз — опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

Это святая правда, что «песня с бурей вечно сестры». И в великой кладовой культурного наследия человечества есть слово судьбы русского поэта Александра Блока. Есть в могучей реке русской поэзии блоковский пережат, живой, бунтующий, клопочущий страстью и необоримой силой устремленности в завтрашний, светлый день мира. Этот пережат возник на пережате мировой истории, и вместе с породившей его революцией он держит связь времен и поколений. Надежно держит.

Словно обращаясь к миру и к себе, размышляя о своей судьбе, Александр Блок говорит:

Пусть душит жизни сон тяжелый,
Пусть задыхаюсь в этом сне, —
Быть может, юноша веселый
В грядущем скажет обо мне:

Простим угрюмство — разве это
Скрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!

...Так пусть этот юноша, стоя у пережата истории, найдет в себе силу и право повторить, размышляя над своей судьбой, вслед за Блоком:

Сотри случайные черты —
И ты увидишь: мир прекрасен.

1980

ОХОТНИК ЗА ПЕСНЯМИ МУЖЕСТВА

Русский поэт Николай Степанович Гумилев родился в Кронштадте 15 апреля 1886 года в семье военного корабельного врача. Вскоре после рождения сына семья Гумилевых переехала в Царское Село, потом в Грузию, в Тбилиси, где юный гимназист пробует писать стихи и даже печатает одно из них в «Тифлисском листке». В 1903 году Гумилевы снова возвращаются в Царское Село, и семнадцатилетний Николай поступает в седьмой

класс Николаевской царской гимназии, той самой, директором которой был тогда Иннокентий Анненский.

Очевидно, смолоду Николай Гумилев рос очень упрямым и настойчивым человеком. Он хотел быть героем, поэтом или путешественником и воспитывал в себе чувства мужества и бесстрашия.

Еще гимназистом, в 1905 году Гумилев издал первый сборник своих стихотворений «Путь конквистадоров», где вполне определенно говорил о своем назначении:

Как конквистадор в панцире железном,
Я вышел в путь и весело иду,
То отдыхая в радостном саду,
То наклоняясь к пропастям и безднам.

Это была не только декларация, но попытка самоутверждения личности, попытка найти достойное место под небом, желание сделать позу позицией.

«Путь конквистадоров» — первый выход поэта к читателю, начало, может быть, неосознанного спора с Бальмонтом и Блоком, начало утверждения будущих собственных взглядов на поэзию.

От книги к новой книге растет мастерство Гумилева, стих обретает громкость, энергию, а сам автор превращается постепенно в путешественника и охотника за песнями мужества.

Потом он объявит о несостоятельности символизма, начнет проповедовать свою теорию поэзии, назовет ее загадочно и звонко: *акмеизм*, но эта теория, как покажет время, подобно ниспровергаемому ею символизму, ни на йоту не приблизит поэзию ни к жизни, ни ко времени.

А ведь поэзия, как сама жизнь, непрерываема. Ее поток перехлестывает через мели и перекаты и отстаивается на глубинах, чтобы вместе с самой жизнью двигаться дальше. Он пересыхает с затуханием жизни и возрождается с ее пробуждением; любой капле, любой струе всегда найдется место в непредсказуемом, как сама жизнь, потоке поэзии. Этот поток особенно усиливается от весеннего наводка предчувствий грядущих войн, катастроф и революций. Не случайно Велимир Хлебников в книге «Учитель и ученик», выпущенной в 1912 году, замечает как бы вскользь: «...не следует ли ждать в 1917 году падения государства?» — и в этом нет никакой мистики: предчувствия поэзии продиктованы необходимостью времени.

Поэзия сильна индивидуальностями.

Был символизм, но от него остались Блок, Брюсов, Белый. Ушел футуризм, но остался Маяковский. Был имажинизм, но остался Есенин. Был акмеизм, но остались Ахматова и Гумилев. Все яснее простая истина, что без индивидуальности Николая Гумилева поток поэзии явно не полон.

К счастью, в юности мне попала в руки прекрасная книга. Она была внушительна по размерам и тяжела на вес. Под именами составителей И. С. Ежова и Е. И. Шамурина на белой мягкой обложке крупными красными буквами было напечатано: «РУССКАЯ ПОЭЗИЯ XX ВЕКА», а ниже мельче чернело слово: «Антология». Эта книга была выпущена в свет в 1925 году издательством «Новая Москва». На семистах тридцати страницах, в две колонки, здесь были напечатаны стихи ста двадцати восьми поэтов начиная с Мережковского и кончая Светловым. Эта книга вышла всего в пяти тысячах экземпляров, но я ее встречал у многих своих друзей поэтов и просто у ценителей поэзии.

У меня эта антология тоже есть. Я ее выменял на офицерский паек 8 сентября 1942 года в блокадном Ленинграде около Дома книги у одного старика, пережившего страшную зиму.

Радости моей не было конца. В книге открывалось прекрасное единство русских поэтов начала двадцатого века, точнее, первой его четверти. Теперь антология была лично моей, и я путешествовал по ее страницам и почти половину стихов знал наизусть, и в моей душе — в блокадном Ленинграде — уживались рядом со строками Иннокентия Анненского:

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной молю ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света, —

стихи рабочего теплоэлектроцентрали Никифора Тихомирова, напечатанные в той же антологии:

Мы с тобой родные братья:
Я — рабочий, ты — мужик,
Наши крепкие объятья —
Смерть и гибель для владык.

Это была самая демократичная по составу поэтов антология.

А с Никифором Тихомировым, как и со многими участниками книги, я потом познакомился лично. Эти знакомства продолжаютсЯ. Несколько дней тому назад в международном аэропорту Ленинграда мне довелось встречать девятинадцатилетнюю участницу все той же антологии поэтессу Ирину Одоевцеву, одну из учениц Николая Степановича Гумилева, вернувшуюся из Парижа в родной город на Неве после шестидесяти пяти лет эмиграции...

Вот я и думаю сейчас о том, что все поэты мира — родственники, что истинная поэзия, как и все подлинное искусство, никогда не была и не может быть контрреволюционной.

После окончания Царскосельской гимназии Гумилев поступил на филологический факультет Петербургского университета. Потом жил в Париже. Слушал лекции в Сорбонне. Совершил несколько путешествий в Африку. Был в Абиссинии и Сомали. Пребывание в Африке длилось в общей сложности около двух лет. А в 1914 году Гумилев ушел добровольцем в русскую армию. По свидетельству однополчан, он был безрассудно храбрым солдатом, за что и оказался награжден двумя Георгиевскими крестами и произведен в прапорщики.

Между тем вслед за книгой «Путь конквистадоров» Гумилев выпустил другие: «Романтические цветы», «Жемчуга», «Чужое небо», «Колчан», вышли пьеса в стихах «Дитя Аллаха», поэма «Мик», сборник стихов «Костер», «Фарфоровый павильон», «К синей звезде», переводы из Теофиля Готье («Эмали и камеи»), С. Т. Кольриджа («Поэма в старом моряке»), перевод древневавилонского эпоса «Гильгамеш».

Гумилев работал много, беспощадно к самому себе, оттачивал свой стиль, свою манеру. И хотя все, что он писал, было, в общем, далеко от событий надвигающейся революции, в его поэзии тем не менее чувствовался ветер мужества и озон близкой грозы, которую он не мог не приветствовать. В стихах и прозе Гумилева, в его рецензиях и выступлениях на литературных вечерах, в организованной им литературной студии билось живое дыхание, тревожный ритм времени. Некоторые критики называли Гумилева последователем Киплинга и Рембо. Он знал их действительно хорошо, как и всю французскую и современную ему английскую поэзию. Но все-таки он был поэ-

том русским и писал о тайном трепете русской души на русском языке для русского читателя. И этот читатель был благодарен поэту за открытый им мир прекрасной и благородной романтики, за свежий ветер мужества, за любовь к жизни, за вечную и таинственную ее красоту, которой дышали стихи.

И я, четырнадцатилетним мальчишкой, с восторгом читал соседу по парте в Ивановской школе ФЗУ Грише Рябину запомнившееся наизусть со второго прочтения в антологии Ежова и Шамурина (тогда библиотечной!), ошеломившее своей таинственностью «Шестое чувство»:

Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которую дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.

Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и несемной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?

Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать —
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Обречены идти все мимо, мимо.

Как мальчик, игры позабыв свои,
Следят порой за девичьим купаньем
И, ничего не зная о любви,
Все ж мучится таинственным желаньем.

Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья.

Так век за веком — скоро ли, господь?
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

Нас, влюбленных сразу в Маяковского и Есенина, Тихонова и Багрицкого, это стихотворение заставляло думать об удивительной, захватывающей безграничности мира и человеческой души, нашей души, имеющей какие-то свои очаровательные неразгаданные тайны. Гумилев не мешал нам любить Маяковского и Есенина, Тихонова и Багрицкого. Он расширял наш мир познания чем-то неизведанным и заманчивым. И мы ехали в «Заблудившем-

ся трамбасе» — «через Неву, через Нил и Сену мы прогремели по трем мостам», и «Пьяный дервиш», превратив трамвай в парусник, вырывал из-за пояса пистолет, и на палубу с брабантских розовых манжет сыпалось легкое золото кружев. А парусник шел по Нигеру, и винты пароходов его крокодилы разбивали могучим ударом хвостов. Представить это нам было не трудно. И мы были благодарны Гумилеву за этот первозданный мир, требующий от человека мужества и великодушия.

Я помню, как в мутный осенний день 1942 года с «невского пяточка» на правый берег Невы, в редакционную землянку вернулся мой друг Георгий Суворов. Его лицо и плащ-палатка были перепачканы в крови и глине. Он посмотрел на меня, устало сел рядом на нары, сдернул с высокого прекрасного лба пилотку, закинул назад сплывшие от пота волосы и прочел:

И так сладко рядить Победу,
Словно девушку в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.

Я ему ответил тоже стихами Гумилева — такая уж между нами была заведена игра:

Я бродяга и трущобник, нечутевый человек,
Все, чему я научился, все забыл теперь навек,
Ради розовой усмешки и напева одного:
Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его!

Георгий Суворов улыбнулся мне, потом освободился от плащ-палатки — не скинул ее с себя, а вылез из нее, не снимая сапог, вдвинулся в глубину нар и заснул. Он тоже знал стихи Гумилева по моей антологии, а занимать у Гумилева храбрости ему не надо было.

Гумилев был нашим поэтом. Нам казалось, что в своих стихах он понимал нас. Иногда мы собирались на Зверинской улице в доме № 2 на шестом этаже, на кухне в квартире Николая Семеновича Тихонова. Гумилев был улан. Тихонов — гусар. Они оба были поэтами нашего солдатского братства.

Белоголовый, обветренный до бронзового каления, выносливый, как Дворцовый мост, хозяин на Зверинской сам читал гумилевскую «Молитву мастеров», и его рокочущий голос мы слушали как откровение:

Всем оскорбителям мы говорим привет,
Превозносителям мы отвечаем — нет!

Упреки льстивые и гул молвы хвалебный
Равно для творческой святости не потребны,

Вам стыдно мастера дурманить беленой,
Как карфагенского слона перед войной.

Тихонов кончил читать. Раскурил трубку. Затянулся. Выпустил дым и произнес тихо и раздельно: «Это ошибка. Зря его расстреляли. Он ни одного слова не напечатал против Советской власти». И снова умолк. Только эхо дальней канонады чуть тронуло гулом перекрещенные бумажными лентами стекла.

В этой нацеленной тишине раздался голос Марии Константиновны, жены Тихонова. Сколько она знала наизусть стихов, подсказывала всем, кто сбивался, подсказывала и самому Тихонову, и, грешным, нам, терявшимся от стеснительности... На этот раз, вслушиваясь в ее голос, только на второй или третьей строфе я понял, что она читает стихотворение Гумилева «Мои читатели»:

...Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне,
Замерзавших на кромке вечного льда,
Верных нашей планете,
Сильной, веселой и злой,
Возят мои книги в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.

Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца,
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта

..... : : ?
Я учу их, как улыбнуться,
И уйду, и не возвращаться больше.
А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелет взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю
И, представ пред лицом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно его суда.

Мы опять умолкли. Каждый про себя понимал, что прекрасному нужна тишина.

«Не метр был Гумилев, а мастер», — скажет Марина Цветаева. И это останется правдой о Гумилеве.

Жестокость отвратительна сама по себе. Она непростительна, когда от нее погибает Поэт. Правда, у истинного поэта нет смерти.

Прекрасно, что сейчас творчество Николая Степановича Гумилева возвращается из полузабвения к своим читателям и круг Поэзии становится шире не только для Охотников за песнями мужества.

1987

ВОЛЬНЫЕ ПТИЦЫ ХЛЕБНИКОВА

Среди редких явлений российской словесности есть особенное, вызывающее искреннее удивление, имя ему — Велимир Хлебников.

Исполнилось сто лет со дня рождения Велимира Хлебникова, и мы не смогли обойти вниманием эту примечательную дату, поскольку имеем дело с высоко одаренной личностью, оказавшей и продолжающей оказывать своим творчеством заметное влияние на советскую поэзию.

Владимир Маяковский считал Велимира Хлебникова своим другом и учителем. Стоит и сегодня прислушаться к словам Маяковского: «Поэтическая слава Хлебникова неизмеримо меньше его значения... Биография Хлебникова равна его блестящим словесным построениям. Его биография — пример поэтам и укор поэтическим дельцам». Сам же Хлебников, размышляя о своей судьбе, сказал: «Одна из тайн Творчества — видеть перед собой тот народ, для которого пишешь».

Он и писал о победе Революции, которую предсказывал и ждал, писал одним из первых:

Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы,
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на ты.
Мы, воины, строго ударим
Рукой по суровым щитам.
Да будет народ государем
Всегда, навсегда, здесь и там!
Пусть девы споют у окопца
Меж песен о древнем походе
О верноподданном солнца
Самодержавном народе.

Эти строки были написаны 19 апреля 1917 года. В последующем варианте стихотворения поэт заменил слово «самодержавный» на «самосвободный».

Хлебников гордился тем, что «Россия тысячам тысяч свободу дала». Он понимал, что «мировая революция требует мировой совести». Он знал, что говорил, верил в это всем существом своего сознания и осознания собственной судьбы в судьбе времени.

Он так знал родной русский язык, так умел плавать в его океане, что все ошеломляющие нас исключительности языка были для него нормой:

Чертí не мелом, а любовью
Того, что будет, чертежи.

Его сердце билось в унисон — удар в удар — с беспокойным сердцем народа, билось так не по приказу, а по чувству кровного родства высшей степени.

Велимир Хлебников родился в семье русских интеллигентов-подвижников 28 октября (9 ноября) 1885 года в ханской ставке Малодербентского улуса калмыцкой степи, или, как он сам писал, — «в стане монгольских, исповедывающих Будду, кочевников». Его отец, Владимир Алексеевич Хлебников, был ученым-орнитологом, посвятившим жизнь изучению птиц, искавшим в мире бескрайней степи, прожженной солнцем и освищенной метелями, родства человеческой души с живой душой народа, населяющего эту землю, и со всем многообразием живой жизни природы на земле. У него были пристальные глаза и неиссякаемое любопытство ученого. Оставленные им записи о тогдашних нравах и обычаях калмыков стали теперь, спустя столетие, уникальными свидетельствами истории, прежде всего для самих калмыков. Потом он один из организаторов первого, учрежденного В. И. Лениным Астраханского заповедника. Он хотел, чтобы его дети продолжали начатое им дело, стали, как и он, естествоиспытателями. Он учил их этому, и сын Велимир с великой радостью уезжал или уходил с отцом в бескрайнюю калмыцкую степь и знал ее обитателей — от кузнечика до лебедя — с детства.

Он учился у отца понимать птичий язык и язык травы и ветра, но не стал орнитологом. Он стал поэтом, его младшая сестра Вера — художницей. Поэзия околдовала душу Велимира Хлебникова, и тот мир, который очаровал его с детства, вошел в его стихи, полные волшебства и музыки.

Эти стихи, свежие, как утренний ветер в ковыльной

степи, как запах диких лотосов в дельте Волги, можно назвать вольными птицами Хлебникова. Они доверчивы и диковаты одновременно.

У колодца расколотся
Так хотела бы вода,
Чтоб в болотце с позолотцей
Отразилсь повода.
Мчась,
как узкая змея,
Так хотела бы струя,
Так хотела бы водица.
Убегать и расходиться.

Показательно и прекрасно, что первая книга Велимира Хлебникова, выпущенная к столетию со дня его рождения, вышла на родине поэта, в Элисте, в дикой когда-то калмыцкой степи. Книга сделана, как любое хорошее дело, с большой любовью и вкусом. Она являет пример того, как надо издавать поэзию. В книге реально воплотилось чувство братства наших поэзий, их живая взаимосвязь. Мы благодарны калмыкам за исключительно бережное отношение к поэтическому наследию Хлебникова как к наследию своего земляка, расширяющего творческие горизонты их национальной культуры. Книга «Ладомир», вышедшая в Элисте, подтверждает ту святую истину, что все великое в духовной деятельности человека вырастает на перекрестках добра и света, любви и дружбы. Я радуюсь самой возможности калмыков издавать у себя такие книги.

Велимир Хлебников был поэтом поиска. Он пытался говорить с птицами на птичьем языке, с травами — на языке трав, с облаками — на языке облаков, с водой — на языке воды, с прошлым — на языке прошлого и с будущим — на языке грядущего свободного человечества. Он пытался предсказать это будущее и создать язык для него.

Хлебников был из той категории русских людей, которых при жизни считают чужаками, а после их ухода, спохватившись, называют пророками.

Когда я смотрю на фотографию Велимира Хлебникова, на это прекрасное лицо с высоким лбом, на лицо, чуть удлинненное и суживающееся к подбородку, на лицо с пухлыми, почти детскими губами, налитыми, как вишни, соком жизни, когда я смотрю в его глаза, широко раскрытые, полные наивного удивления и доверия, когда смотрю на это лицо, чем-то напоминающее лицо молодого Рахмани-

тельное, дающее человеку возможность заглядывать в свой завтрашний день.

Хлебников ставил перед своей поэзией невероятные задачи создания общечеловеческого языка. Он занимался этими проблемами как ученый и поэт одновременно.

У него хватало смелости говорить палачам первой русской революции: «О, рассмейтесь, смехачи!» В этом был не только эпатаж, но и великая вера во что-то очень заманчивое.

Поэт верил в победу справедливости. Он прежде всего сам себе говорил:

Сегодня снова я пойду
Туда, на жизнь, на торг,
на рынок,
И войско песен поведу
С прибоем рынка в поединок.

Его стихи ошеломляли, как мог ошеломить его взгляд даже с портрета в книге. Взгляд по-детски чистый и наивный, пронзительный взгляд неподкупной правды.

Я с мальчишества помню его стихи:

Когда умирают кони — дышат,
Когда умирают травы — сохнут,
Когда умирают солнца — они гаснут,
Когда умирают люди — поют песни.

Позже я убедился в том, что это суцая правда, а не только красивые поэтические слова. И сейчас в глубоком раздумье я повторяю рассуждение Хлебникова:

Годы, люди и народы
Убегают навсегда,
Как текучая вода.
В гибком зеркале природы
Звезды — невод, рыбы — мы,
Боги — призраки у тьмы.

Он умел «пить голубые ручьи чистоты». Он был бескорыстен в дружбе и в любви. У него не было ничего, потому что он умел раздавать то, что имел, тут же, всем, кто в этом нуждался. У него были Вселенная и Вечность. И этим он был счастлив.

Друзья — шутя, а враги — с неприкрытым ехидством называли его председателем земного шара. Сам же он это звание принимал всерьез, старался быть достойным его и в слове, и в деле. Между словом и делом у него не было

различия, потому что слово было делом его судьбы и жизни.

Велимир Хлебников оставил богатое и разнообразное наследие, в котором необходимо разобраться. Эту благородную работу начали когда-то Юрий Тынянов, Николай Степанов, Николай Харджиев, Наум Берковский. Сейчас ее продолжают Виктор Григорьев, Рудольф Дуганов, Владимир Альфонсов.

Время нас убеждает в том, что Маяковский поторопился, сказав: «Хлебников — не поэт для потребителя... Хлебников — поэт для производителя». Время заставляет нас согласиться с иным толкованием: «Хлебников — поэт, тропка к которому загромождена, — писал Н. Я. Берковский. — Много тут виноваты друзья и комментаторы, уверявшие, что Хлебников — «поэт для поэтов»... Поэзия Хлебникова сильна прежде всего своим содержанием, не речетворством и трудными опытами по части слова и стиха, а своим смыслом и объемом этого смысла».

Творчество Хлебникова живет и становится духовной необходимостью для людей. А тем, кто при его жизни издевался над ним и над его творчеством, он ответил сам:

Еще раз, еще раз,
Я для вас вечерняя
Звезда,
Горе моряку, взявшему
Неверный угол своей ладьи
И звезды:
Он разобьется о камни,
О подводные мели.
Горе и вам, взявшим
Неверный угол сердца ко мне:
Вы разобьетесь о камни,
И камни будут насмехаться
Над вами,
Как вы насмехались
Надо мной.

Хорошо зная прошлое, Велимир Хлебников умел мужественно смотреть в будущее и потому был великим путешественником в пространстве и во времени.

Его стихи — вольные птицы из вчерашнего дня. Они летят к нам в наше завтра. Поэт Велимир Хлебников всегда будет современником тому, кто в поиске. Современником завтрашнего дня.

1986

ПРЕКРАСНА МАЯКОВСКОГО СУДЬБА...

У гениальных людей не бывает легкой судьбы, потому что они в одиночку ворочают камни истории.

Маяковский на развалинах старого мира, увидев образ нового и поверив в него, строил мост нового искусства, искусства революции.

Он был поэтом Советской власти. И его поэзия, новаторская сама по себе, по своей социальной сути, искала и находила новые русла, естественно обретая новаторскую форму.

Маяковский будет необходим всегда. Его гений могут отрицать только люди непросвещенные, не понимающие диалектического движения времени, или провокаторы и враги этого движения.

Обыватель вообще страшен. Литературный обыватель в рясе философствующего пророка — бедствие! А сколько их было на пути Маяковского! Сколько их осталось сейчас!

Гений Маяковского традиционен в своей основе, в умении служить самым прогрессивным идеям времени, то есть в том, что прежде всего отличает нашу отечественную литературу, которая подготавливала почву революции, иногда, может быть, даже не до конца сознавая, что она делает. Ее выручила необоримая тяга к правде. И это роднит Маяковского с Пушкиным и Лермонтовым, с Некрасовым и Блоком.

Вокруг Маяковского шли, идут и будут вспыхивать самые яростные споры, которые лишней раз доказывают его значимость, его гениальность. И, что бы мы сейчас ни решали в своем литературном деле (да только ли в литературном!), мы не можем обойтись без Маяковского, потому что он — как воздух, которым, хотим мы этого или не хотим, а дышать — надо!

Я ж
с небес поэзии
бросаюсь в коммунизм,
потому что
нет мне
без него любви.

Наследие Маяковского огромно. Лирика. Публицистика. Сатира. Театр. Кино. Радио. «Многопольная» система его хорошо организованного хозяйства, к нашему счастью, дала небывалый урожай, семенами которого кормилось и кормится прогрессивное искусство современного мира. Оно

там, где идет передний край борьбы за человеческую справедливость.

Маяковский, так же как и Пушкин, понимая ответственность своего призвания, сам рассказал о времени и о себе, как бы подытоживая свой труд, в поэме «Во весь голос». И пушкинские строки:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал, —

находятся в кровном родстве со строчками Маяковского:

Явившись
в Це Ка Ка
идущих
светлых лет,
над бандой
поэтических
рвачей и выжит
я подыму,
как большевистский партбилет,
все сто томов
моих
партийных книжек.

Здесь возникает родство по самоотдаче, по благородству служения, по ответственности за сказанное.

Говоря о Маяковском и его времени, я вовсе не хочу умалять достоинств и достижений всех поэтов, работавших с ним в одном тягле. Просто с вершины его наследия виднее сама революция и ее перспективы. Он, как никто из его современников, умел находить основные узлы противоречий своего времени и со всей убежденностью распутывал их, подводя их раздробленность под единый знаменатель политической ясности.

Маяковский, как и подобает истинному гению, сложен, но это сложность поиска, сложность колоссального труда, в котором «изводишь, единого слова ради, тысячи тонн словесной руды». Он умел мыслить любимыми категориями: от «Нигде кроме, как в Моссельпроме» — до «Вселенная спит, положив на лапу с клещами звезд огромное ухо». Масштабность его творческого диапазона удивительна.

Мелкая душонка всегда ищет в судьбе великого человека, не гнушаясь фальсификацией и передергиванием, ту, с ее точки зрения, задиришку, которая оправдывала бы ее собственные мелкотравчатость и подлость. Картежник, присвоивший не положенные ему суммы, оправдывает се-

бя перед судом совести, вспоминая Некрасова. А непризнанные гении, наверно, хотели бы оставить из всего сделанного Маяковским одну-единственную фразу:

Бывает — выбросят, не напечатав,
не издав...

Но ничего из этого не получается. Переделывание и воспевание жизни идет путем Маяковского, невероятно сложным, порой трагическим путем. А «дрянь пока что мало поредела» — это, к сожалению, правда.

Но дрянь, кроме того, что она дрянь и дурно пахнет, имеет еще одно свойство, от которого она и хотела бы избавиться, да не может, — это способность своим присутствием еще ярче оттенять и подчеркивать прекрасное.

Маяковский был политическим поэтом, ясно знающим свою цель и место. Он был провидцем и, как никто, умел заглянуть в грядущее, увидеть «за горами гóря солнечный край непочатый». В его характере лежала не стихия, а математическая организованность. В этом, видимо, сказались опыт партийного подполья, школа Бутырской тюрьмы и полицейского надзора, о которой он вспомнил сам: «11 бутырских месяцев. Важнейшее для меня время».

Он вышел из глубин народа и знал эти глубины.

Маяковский — народен. Его стихи, как в свое время стихи Пушкина или «Горе от ума» Грибоедова, вошли в народный язык, обогатив и расширив его.

Два десятилетия напряженной борьбы, война в разведке на переднем крае, где нужно вести наступление на всех фронтах без четкого определения границ и одновременно держать круговую оборону. Это выматывало даже слоновые силы.

И —

я

с удовольствием

справлюсь с двоими,

а разозлить —

и с тремя, —

очевидно, было сказано не столько для устрашения врагов, а для самовзбадривания. Врагов Маяковскому хватало с излишком. Вспомним стихи Николая Асеева:

И вот,

покуда — признать, не признать? —

раздумывали, гадая,

вокруг него

Поэт совершенно другого диапазона и манеры, но такой же, как и у Маяковского, предельной чистоты и честности перед временем и собой, Анна Ахматова в сороковом году, предчувствуя надвигающуюся мировую бурю, закончила свое стихотворение «Маяковский в 1913 году» словами:

И еще не слышанное имя
Молнией влетело в душный зал,
Чтобы ныне, всей страной хранимо,
Зазвучать, как боевой сигнал.

Опыт Маяковского — в нашем распоряжении. Дело современной поэзии не в подражании этому опыту, а в его расширении, потому что идеологические битвы революции усложняются.

Судьба Маяковского прекрасна. Гений Маяковского жив, потому что дело гения живет бесконечно долго и замены не требует.

1968

КАК ПЕСНЯ ИВОЛГИ.

Когда мне случается слышать имя Сергея Александровича Есенина или думать о нем, читая его стихи, мой слух, мою душу, все существо мое начинает наполнять пронзительностью и чистотой серебряная песня иволги, словно иду я в бесконечной сутеми березовых стволов, по высокой утренней траве, под тенью зеленых неподвижных вершин, уже озаренных рассветом, иду и слушаю трехколенную флейту, и ее звонкое и необыкновенное по своей свежести звучание завораживает меня, приобщая к какой-то непостижимой тайне жизни. Этот звук как бы снимает с моих глаз пелену только что окончившейся ночи, проясняя окружающий меня мир, проявляя его подлинную поэтическую сущность.

Флейта иволги, промытая росой, берет верх над всем разнообразием птичьего хора, над всеми чечетками и дроздами, над пеночками и поползнями, над малиновками и зябликами, над ласточками и жаворонками, подчиняя их радость какой-то определенности единства, родства. Флейта иволги становится тем веретеном, на которое наматывается нить звучания самой жизни, и голос кукушки на ее фоне в своей привычной обыденности незаметно отмеряет, как метроном, время.

Я теперь скупер стал в желаньях,
Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне.

Восхищение перед искусством так рассказать о движении своей души заставляет как бы замереть перед этим чудом и на мгновение, равное вечности, увидеть полет этого коня, прикоснуться к его движению, соединяющему времена и миры и превращающему благодарные слезы в звенящее мерцание созвездий.

Это и есть, наверное, поэзия, томительная необъяснимость ее обаяния.

Иволга — птица редкая, она прилетает в наши березовые леса позднее всех и вьет гнезда, сплетая их, как гамачки, в развилках сучьев высоких, уже оперившихся зеленую берез. Она начинает петь в конце мая или начале июня, и все в березовом лесу подчинено голосу этой золотой с черными подкрылками птицы, вся музыка леса прислушивается к ее голосу. А как красиво в полете золотое веретено ее стремительного тела на фоне ослепительно светлой утренней сини! Потом она замолкает на неделю, на две, на три — выводит птенцов. А в июле запеваает опять, но в ее голосе уже появляются нотки озабоченности и тревоги перед обратным путем в Африку — ведь улетает она уже в августе, одной из первых.

Я пришел на эту землю,
Чтоб скорей ее покинуть.

Но весь этот мир, истомленный зрелостью, живет еще ее серебряным голосом и долго не забудет его; оледенелые ветки берез на пронзительном февральском ветру будут позвякивать друг о друга, и в этом хрустальном звоне мелькнет отголосок ее песни как напоминание о торжественном празднике летнего блаженства зелени, промытой грозой, и розовый конь жизни будет нести нового всадника по неоглядным полям, по светлым лесам — к радости.

Это и есть поэзия, ее святое таинство, ее завораживающее душу благородство.

Иногда мне кажется, что жар-птица, озаряющая своими крыльями русские сказки, пленительные и чистые, наверное, и есть преображенная творческим духом народа иволга, другого примера для полета столь яркой фантазии я не могу себе представить.

У Сергея Александровича Есенина была короткая, как

праздник иволги в наших березовых лесах, жизнь, по песня его была прекрасна, и душевна, и необычна, она осталась в самом воздухе бессмертного русского языка как откровение, как запах медуницы на заливном лугу перед завтрашним сенокосом. Он любил эту землю какой-то еще доселе неведомой, необыкновенной любовью. И в этой любви было и мужество и пророчество:

Если крикнет рать святая:
— Кинь ты Русь, живи в раю! —
Я скажу: не надо рая,
Дайте родину мою.

К искренности этого голоса нельзя было не прислушиваться, потому что в нем была и связь времен, и ощущение мимолетности своего земного бытия, и еще что-то вечное, стоящее за этой мимолетностью жизни:

Уже ты стал немного отцветать,
Другие юноши поют другие песни.
Они, пожалуй, будут интересней —
Уж не село, а вся земля им мать.

И опять эти извечно русские поиски родства со всем миром, опять эта пушкинская мечта о временах, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся», опять эта непрекращающаяся эстафета поэзии, ее общечеловеческое начало, помогающее раскрывать национальную сущность человеческого характера, его особенности в общей гармонии, и опять...

Но и тогда,
Когда во всей планете
Пройдет вражда племен,
Исчезнет ложь и грусть, —
Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь».

Вот он, этот исповедальный путь поэта, пронизанный вековым опытом народа, раскрывшимся в его душе. Вся жизнь Есенин искал родства со всем живым в этом мире. Он понимал и остро чувствовал гармонию и соразмерность и гармонией своей творческой души тянулся к гармонии человечества, миров и созвездий. Он говорил в послании к своим грузинским братьям, что «поэт поэту есть кунак», опять-таки продолжая начатое Пушкиным:

Издревле сладостный союз
Поэтов меж собой связует:

Они жрецы единых муз,
Единый пламень их волнует;
Друг другу чужды по судьбе,
Они родня по вдохновенью.

Да эта эстафета и не может кончиться, потому что поэзия живет поисками родства, это и есть ее почва, это и есть ее извечный перелет с континента на континент, с экватора к полярным зонам.

И я вспоминаю, как, будучи уже глубоким, девяностолетним стариком, американский поэт Роберт Фрост сказал, прилетев в Москву: «Я знаю вас лучше, чем госдепартамент: я изучил Россию по русской поэзии и приехал проверить все, что она мне сказала». И улыбнулся каждой морщиной, глубокой, как борозда, и в этих коричневых бороздах, проложенных на его лице опытом жизни, как небо сияли детской восхищенностью глаза мудрости. И эта мудрость познания заставляла его произнести те лучшие слова в том лучшем порядке, которые и определяли его надежду, его благословение: «Поэзия — это мечта, создающая великое будущее».

Наверное, Сергей Александрович Есенин мог бы встретить Роберта Фроста в Москве в этот его приезд, ведь Есенин моложе его, и они могли бы побеседовать о своих судьбах и о судьбах мира. Но я не могу себе представить лик Есенина в венце седых волос. Я согласен с Глебом Горбовским — Есенин «не вмещается в старость»:

Вот он стоит сквозь возраст,
И стать его пряма!
Под русскою березой,
Как молодость сама.

Он есть загадка человеческой простоты во всей ее сложности, как будто сама музыка времени коснулась его души, и этот многообразный, как сводный оркестр, инструмент зазвучал в унисон всем временам откровением своего времени. Он умел видеть все: и то, как «режет серп тяжелые колосья, как под горло режут лебедей», и то, как «изб бревенчатый живот трясет стальная лихорадка». Он был до крайности русским человеком и истинным сыном Земли в самом высоком значении этого понятия. И его сердце, его душа, отзывчивые на горе, умеющие по редчайшей своей особенности воспринимать чужое горе как свое собственное, всегда кровоточили; может, поэтому зо-

лотые крылья его пронзительной песни и не вынесли этой нагрузки любви и нежности.

Я люблю его давно, с первой своей влюбленности, тайной и безответной. Я люблю его за то, что он помог и мне понять мою родину и весь земной человеческий мир, я люблю его за то, что он учил меня мужеству и нежности.

И сейчас я вовсе без удивления смотрю на то, что время свело их вместе с Маяковским и они вовсе не противоречат друг другу.

Я люблю стихи Есенина так же, как люблю слушать иволгу.

На июнь я часто уезжаю из города в гости к своему другу — директору Пушкинского заповедника Семену Степановичу Гейченко. Мы слушаем вместе утреннюю песню иволги, и мне кажется, что она льется не из птичьего вздрагивающего горла, а из глубин самой природы, из травы и листьев, из воды и неба, из игры солнечных пятен в зарослях орешника.

И всегда ее песня, а утром особенно, звучит как обещание продолжения чуда, как будто в самом деле «предназначенное расставанье обещает встречу впереди».

А иногда, когда я хожу по лесу и она молчит, я начинаю свистеть, подражая ее голосу. Когда мне удастся свистнуть более точно, она начинает отвечать мне, так мы пересвистываемся с ней некоторое время. А порой, когда я раздражаю ее своим непохожим свистом, она начинает верещать, как кошка, которой отдавили хвост. И я умолкаю. Вечером она прилетает к нижнему пруду усадьбы, садится где-то на верхушке серебряной ивы и начинает петь, ее флейта уже остается со мной на весь вечер, и, когда я начинаю засыпать, мне кажется, что она все еще звучит где-то посредине звездного неба. И мне видится всадник, скачущий на розовом коне по розовой долине, и летит над ним золотая птица с черными подкрылками.

1975

ВРЕМЯ И ПОЭТ. ПОЭТ И ВРЕМЯ

Поэт живет дважды.

Сначала время формирует поэта.

Потом поэт преобразует время.

Поэзия возникает на перекрестке. Она держит два конца времени — прошлое и грядущее. Отталкиваясь от про-

шлого, она устремляется в завтрашний день мира. В этом ее суть и назначение, ее обязанность и судьба.

Жизнь поэта Николая Семеновича Тихонова завершена.

Жизнь его поэзии продолжается.

Тихонов прожил долгую, наполненную действием жизнь. Он признался однажды: «Иногда мне кажется, что я жил несколько жизней». Эти жизни оставлены в его книгах. Там его судьба, его путь восхождения к вершине своей тропой, неизвестной до него и открытой им для всех.

Этот путь целен и целенаправлен, как его характер.

В Николае Семеновиче Тихонове было много силы и страсти. В жизни и в поэзии он любил игру.

Праздничный, веселый, бесповатый,
С марсианской жаждой творить,
Вижу я, что небо небогато,
Но про землю стоит говорить.

Породнившись с этой землей, он породнился с поэзией и научился глину замешивать огнем. Вся русская поэзия от Державина до Блока стала необозримым полем его удивления, и голос Ярославны с высокой стены Путивля долетел до его ликующей души в яви. Он умел слышать и слушать этот голос. Иногда он любил вслух читать стихи своего предшественника. Читал, как бы убеждая и себя и других, слушающих его:

Смерть песне, смерть! Пускай не существует!..
Вздор рифмы, вздор стихи! Нелепости оне!..
А Ярославна все-таки тоскует
В урочный час на каменной стене.

Он был беспощаден к самому себе и поэтому стал мастером. Но об этом потом.

Николай Семенович Тихонов родился в Петербурге 3 декабря 1896 года, в семье ремесленника, в доме, который и по сей день стоит на углу улиц Гоголя и Дзержинского (в ту пору она называлась Гороховой). Его отец был парикмахером. Тихонов почему-то никогда не говорил и не писал об этом, однажды только он обронил фразу о том, что его «воспитание не отличалось сентиментальностью».

Он учился в городской школе на Почтамтской улице, потом ходил в Торговую школу на Фонтанке. Там он по-

лучал официальное образование. А самовоспитание души шло через книги, через Пушкина и Гоголя, Лермонтова и Баратынского, через Фепимора Купера и Стивенсона. Мальчишкой он читал их запоем. Он грезил Индией и сам сочинял книги о путешествиях и приключениях, о людях чести и подвига — рукописные книги, иллюстрированные его же рисунками.

Это было увлечение, переходящее в страсть, и ветер романтики цел жадной юношеской душе гимны свободы и справедливости.

Он не бегал на подпольные сходки и не распространял подпольной литературы. Но трагедия Кровавого воскресенья разыгрывалась на его глазах около его дома. Он видел собственными глазами человеческую кровь, смерзшуюся на истоптанном снегу 9 января 1905 года. Он запомнил ее цвет и запах, запомнил сухое щелканье выстрелов, храп разгоряченных коней, чернеющие на снегу брошенные в панике шапки и платки, калоши и варежки и людей с застывшим криком в неподвижных губах. И хотя ему шел всего девятый год, он уже мысленно был готов защищать тех, в кого стреляли. Это чувство росло и прояснялось в его душе, сочувствие искало выхода в действии.

Он любил свою родину, Россию, и когда началась мировая война, сердце рыцаря привело его добровольцем в армию. И тогда, девятнадцатилетний юноша, он написал на белом листе четким своим и прямым почерком стихотворение, которое озаглавил пророческим словом: «Революция».

Под музыку шарманки,
Под пляску косарей,
Улыбку маркитантки
И пурпуры царей,
Под свист толпы народной,
Где стон и пулемет,
Дорогою свободной
Вперед она идет.

...Ее я знаю имя,
Молчат теперь о ней
И колоннады в Риме,
И сфинксы, и Пирей.
Ей люб огонь заката
И красный, алый цвет...
Я ждал ее когда-то,
И жду... Сомнений нет!

Стихотворение написано в 1915 году, за два года до победы Октябрьской революции. Всей верностью своей ок-

рыленной поэзией души девятнадцатилетний поэт верил в ее приход. Это было его, тихоновское, пророчество, его выбор пути, вера в грядущее России и верность ей, это была его клятва и его предчувствие, как бы подхлестывающее приход Революции.

Он был гусаром. За его плечами уже была атака под Роденпойсом, о которой он писал:

Мы дрались, как во времена Мюрата,
Рубя в упор.

..... 5

И там, где лес снаряды гнули,
Я придержал коня.
Других кругом искали пули,
Но не меня.

Спустя двадцатилетие Тихонов напечатает эти стихи из походных тетрадей и назовет их «Жизнь под звездами». Перечитывая их сейчас, дивисься заложенной в них энергии, превосходному мастерству и поэтической собранности. Эти стихи совсем еще юного Тихонова похожи на гусарских коней перед атакой — похожи своей готовностью ринуться в атаку, закусив удила.

Я забыт в этом мире покоем,
Многооким хрым стариком;
Никогда не молюсь перед боем,
Не прошу ни о чем, ни о ком.
И когда загорится граната
Над кудрями зелеными роц,
Принимаю страданье, как брата,
Что от голода долгого тощ.
Только я ожидаю восхода
Необычного солнца, когда
На кровавые пивы и воды
Лягут мирные тени труда.

Тихонов любил свой город на Неве самой крепкой и надежной любовью — любовью поэта. Он знал город наизусть — это была для него самая лучшая книга: «Пускай не каждый житель твой — поэт, но каждый камень твой — поэма!»

Ради судьбы этого великого города, ради его будущего поэт очень рано научился разбираться в том, «куда идти, в каком сражаться стане». Товарищество гусарского полка, прекрасная выучка солдата пригодились потом защитнику Революции Тихонову.

Поэзия для него была воплощением человеческой справедливости. Революция тоже была воплощением справедливости народа. Значит, между поэзией и революцией — знак равенства. Тихонов сам этот знак поставил. Раз и навсегда, со всем пылом души, всей силой мысли и таланта, всем опытом и лихостью гусарской смелости.

Не плачьте о мертвой России —
Живая Россия встает, —
Ее не увидят слепые
И жалкий ее не поймет.
Мы радости снова добудем,
Как пчелы — меды по весне.
Поверим и солнцу, и людям,
И песням, рожденным в огне.

Дерзостью молодости, всем ее отчаянием и прозрением он понимал масштабность революции, ощущал вкус ее чистейшего воздуха. Две свои первые книги — «Жизнь под звездами» и «Перекресток утопий» он положил на дно сундука, считая их несовершенными, уже отставшими от бешеного аллюра революции.

Время захлестывало его петлями железной необходимости участия его, тихоновского, слова в нарастающем вихре событий.

Тихонов отлично знал поэзию прошлого. Надежно послужив своему времени, она помогала опытом своим новым песням, рожденным в огне и крови, прокладывать дорогу новой, небывалой поэзии.

Молодости все под силу. Ее дерзание крылато. Слова Баратынского «когда возникнул мир цветущий из равновесья диких сил» запели в душе Николая Тихонова как собственные, связав в его представлении времена и судьбы в единый поток действия.

Тихонов не называл себя поэтом революции. Он им был по своей сущности. У него не было ничего, кроме грядущего. Он не накопил никаких богатств. Единственное свое имущество — кавалерийское седло он продал какому-то спекулянту и на вырученные деньги напечатал первую свою книгу «Орда», взяв эпитафией к ней слова Баратынского. Первый экземпляр книги, который поэт держал в руках, щекотал душу запахом типографской краски.

Мы разучились нищим подавать,
Дышать над морем высотой соленой,
Встречать зарю и в лавках покупать

За медный мусор — золото лимонов.
Случайно к нам заходят корабли,
И рельсы груз приносят по привычке;
Пересчитай людей моей земли —
И сколько мертвых встанет в переключке.
Но всем торжественно пренебрежем.
Нож сломанный в работе не годится,
Но этим черным сломанным ножом
Разрезы бессмертные страницы.

Он прочел это вслух, прислушался и улыбнулся себе самому и всему грядущему миру. Он уже умел видеть, как «в каждой капле спал потоп, сквозь малый камень прорастали горы, и в прутике, раздавленном ногою, шумели чернорукие леса». По книге «Орда» можно было понять, что у победившей революции есть свой, такой же молодой и дерзкий, как она сама, поэт, мастер своего дела, которого революция научила «словам прекрасным, горьким и жестоким», есть поэт, который принял как эстафету сказанное уходящим в вечность Александром Блоком: «И вечный бой! Покой нам только снится».

После «Орды» и «Браги» поэт Николай Тихонов сразу стал явлением поэзии. Он пришел в поэзию зрелым мастером, умеющим слушать время, понимать его и свое в нем назначение.

Есть люди, к которым просвещение льнет и лепится само. Оно как бы подкладывает на их пути книги великих мудрецов и поэтов, открытия философов и историков, сводит их с мыслителями и книгочеями, с путешественниками и пророками, с людьми мечты, поклонниками вечного покоя. Николай Тихонов был таким — и в молодости (судя по его книгам), и в зрелости (по моим личным наблюдениям), и в старости, которая совсем не вяжется с ним, хотя он ушел из этого мира восьмидесяти трех лет. Николай Семенович всегда обладал жаждой познания, путешествий, встреч, радостно стремился к дружескому застолью, к дороге. Он готов был взять в спутники все человечество.

Самый тяжкий груз — груз познания — он нес по жизни легко и щедро, по-рыцарски. Он обладал редкой распахнутостью души и умел тратить ее запасы не жалея, потому что знал о свойстве души расти и совершенствоваться от этой траты. Он пел о себе и о своих сверстниках вдохновенно и романтично, возвышенно и убежденно.

Владеть крылами ветер научил,
Пожар шумел и делал кровь янтарной,
И брагой темной путников в ночи
Земля поила благодарно.
И вот под небом, дрогнувшим тогда,
Открылось в диком и простом убранстве.
Как в каждом взоре пенится звезда
И с каждым шагом ширится пространство.

Он любил дорогу, потому что дорога вела к встрече,
расширяла пространство мира и мир познания.

Разведчик я. Лишь нагибаю ветки,
Стволы рубцую знаками разведки,
Веду тропу, неутомим,
Чтобы товарищ меткий
Воспользовался опытом моим.

Тихонов был не только поэтом революции, но и строителем новой советской литературы. К этому нелегкому, ответственному делу он оказался внутренне подготовленным.

То было время, когда Александр Блок проводил прощальным взглядом своих двенадцать апостолов под красным флагом в колючую метель живой истории. Время, когда Владимир Маяковский, прощаясь с Блоком у красногвардейского костра, сверяя свои шаги с тактом «Левого марша», шел в промерзшую мастерскую дорисовывать очередное «Окно РОСТА». То было время, когда юный Есенин вместе с Николаем Клюевым плакали слезами восторга и умиления над пришествием мужицкого рая в Россию. Время, когда на короле поэтов Игоре Северяnine уже начинала качаться под пронзительным ветром «королевская» корона. И Анна Ахматова, кутая шалью от пронизывающего холода времени острые плечи, трагическим шепотом читала:

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Это было время, когда в Кутаиси, за тысячи верст от Петрограда, поэт с огромными, как две полярных ночи, глазами и с древним, как вселенная, таким же, как она, загадочным именем, будущий друг Николая Тихонова Тициан Табидзе, выводил древней вязью свое пророчество:

Но ответ столетий несомненен,
И исход сраженья предрешен.
Ночь запомнит только имя «Ленин»
И забудет прочее, как сон.

Потом время сведет и Николая Тихонова, и Тициана Табидзе, и переводчика этих стихов Бориса Пастернака у одного костра братства поэзии и снова разбрасает их судьбы в разные стороны.

Это будет позже. В 1920 году Николай Тихонов написал поэму «Сами», первую в мире поэму о Владимире Ильиче Ленине и об индусском мальчике Сами, трогательную историю о мужании и росте юношеской души, которая освободилась от рабской покорности. Эта поэма была одним из первых признаний русской поэзии Ленину. Признанием сердечным. Интернационалистским по духу.

Тогда же состоялось мое первое знакомство с поэтом Николаем Тихоновым, знакомство заочное, но очень памятное. Я учился во втором классе Бибиревской сельской школы. Стоял январь 1924 года. Ранним утром (серый просвет на востоке темного, как омут, неба на утро лишь намекал), подгоняемые морозом, мы сходились из прилегающих к Бибиреву деревень к светящимся окнам нашей школы. В тот день занятий не было. Наш учитель Александр Николаевич Куракин собрал всех учеников в одном классе. Он сказал нам, что умер Ленин. И стало очень тихо. Даже часы сами по себе остановились. Александр Николаевич подошел к ним, подтянул гири, а потом пальцем осторожно пустил маятник. И он затикал. Жизнь вырвалась из темного омота тишины и снова пошла. Учитель повернулся к нам лицом, подошел к столу, взглянул на нас всех прекрасными глазами, полными тревоги и смутения, и начал читать стихи. Стихи о мальчике со странным именем Сами, который, зная только имя «Ленин», перестал бояться злого хозяина. Мы все в школе любили, когда Александр Николаевич читал нам стихи. На этот раз он читал очень тихо, так, что было слышно тиканье маятника уже снова идущего времени. Это тиканье как бы подчеркивало каждое слово поэмы. Слово за словом нанизыв-

валось на что-то острое в вашем сознании, с тем чтобы остаться там на всю жизнь.

Учитель знал, что у меня хорошая память. Наверное, поэтому он отдал мне маленькую книжицу с портретом Ленина на белой обложке и сказал, чтобы я выучил к завтрашнему дню стихи, напечатанные в этой книжице.

Назавтра в школе собрались наши отцы и матери. И мне пришлось перед ними читать заученные стихи. Как и учитель вчера, я тоже читал тихо, глядя в лица мужиков. Они стояли опустив глаза. Я чувствовал их дыхание, как бы согласованное с ритмом произносимых мною слов, подчеркнутое колебанием морозного запаха еловой хвои, которой был убран портрет Владимира Ильича на стене за моими плечами.

Так далеко был этот Ленни,
А услышал тотчас же Сами.
И мальчик стоял на коленях
С мокрыми большими глазами.
А вскочил легко и проворно,
Точно маслом намазали бедра,
Вечер пролил на стан его черный
Благовоний полные ведра,
Будто снова он родился в Амритсаре,
И на этот раз человеком, —
Никогда его больше не ударит
Злой Сагиб своим жестким стеклом.

Я читал это вслух, и душа моя обретала свободу вольной птицы, прекрасное чувство какой-то удивительно реальной возможности не дать себя обидеть ни при каких обстоятельствах. Я еще не знал, как оно называется по имени — великое чувство человеческого достоинства и гордости за то, что ты человек. Но я впервые испытал это чувство благодаря Николаю Тихонову.

Вот так поэт Николай Тихонов стал моим поэтом, вместе с Некрасовым и Пушкиным, Жуковским и Никитиным, вместе с Тютчевым и Лермонтовым. Он уже был в горизонте моего мальчишеского внимания, и ничто на свете не могло его выключить с этого горизонта.

Увлечение поэзией кончилось тем, что я сам стал писать стихи.

А за Тихоновым я стал следить особо.

В библиотеке ивановской школы ФЗУ, куда я поступил учиться в 1931 году, было довольно много поэтических книг, я перечитал их все, а столкнувшись с книгами

Тихонова, половину его баллад запомнил наизусть вместе со стихами Маяковского и Есенина.

Сколько мы знали тогда стихов наизусть!

Мы не просто захлебывались стихами:

Но мертвые, прежде чем упасть,
Делают шаг вперед —
Не гранате, не пуле сегодня власть
И не нам отступать черед.

Мы были готовы к самопожертвованию.

Нас учила этому поэзия революции.

Николай Тихонов был одним из ее зачинателей, одним из первых преемников и новаторов великой русской поэзии, ее могучей реки, хлещущей издалека через пороги времени в грядущее.

Где ты, конь мой, сабля золотая,
Косы полощавки молодой?..

Когда теперь, вспоминая те далекие времена, я произношу про себя эти прекрасные слова, душа моя молодеет и вечно юная сила поэзии поднимает дух, сушит на ресницах соленую влагу и проясняет зрение.

Я любил Николая Тихонова. Любил в книгах и в жизни. Люблю его и в воспоминании. Иногда я беру с полки его книгу и перечитываю слова, обращенные ко мне, выведенные его отчетливым, прямым и решительным, красивым, как и его жизнь, почерком: «Молодому дьяволу Мише Дудину от старого дьявола, живущего на покое, с любовью Николай Тихонов. 1946. 4.IV. Москва». Я перечитываю эти слова и снова испытываю благодарность судьбе, которая сочла нужным и обязательным свести меня с этим человеком.

Я никогда не говорил ему о том, что люблю его. Он тоже никогда не признавался мне в этом чувстве вслух. Но я счастлив был его присутствием в этом мире и в моей жизни — его присутствие наполняло мою жизнь смыслом. И еще я и мои сверстники благодарны ему за то, что он своим примером учил нас слушать и понимать время и работать при любых условиях с полной нагрузкой.

Николай Тихонов. Он не был никогда ни молодым, ни старым. С первой и до последней книги — с «Орды» до «Песен каждого дня» — он был Поэтом, вдохновенным мастером, а мастерство, как известно издревле, не имеет воз-

раста (впрочем, оно, как вино, чем старше, тем прекраснее).

Вот сейчас передо мной лежат его книги. Стихи. Поэмы. Повести. Рассказы. Очерки. Статьи. Воспоминания. Сценарии. Заметки. Переводы...

Он работал с наслаждением. Без усталости. И только за два-три года до смерти, после первого инфаркта, он сказал мне, как бы извиняясь за то, что болел, сказал, прижимая правую руку к сердцу: «Я его загнал, как лошадь».

Он произнес эту фразу за столом на даче в Переделкине. Сказал и пошел по лестнице на второй этаж к себе в кабинет за рабочий стол, пошел легкой походкой бывалого альпиниста.

Он умел ценить время и наполнять его смыслом.

Он был строг к себе и доброжелателен к друзьям. В его доме всегда были гости.

Памятуя о том, что поэзия ищет в мире родства, он первым в советской литературе начал грандиозную работу по организации общения поэзии в ленинском братстве народов Советского Союза.

Он пешком облазил весь Кавказ. Знал все его вершины, все хребты и ущелья, буйные реки и орлиные озера. Он был выносливым, как тур, и любил повторять слова Лермонтова: «Горы для меня священны».

В каждой новой книге он удивлял своего читателя и новизной самого мира, показанного в ней, и гибкостью, точностью подвластного ему слова.

Как в плески, полные прохлады,
Я погружался в речь твою,
Грузино-русские отряды
В примерном встретились бою.

Тихонов первым проложил дорогу русской поэзии на Кавказ и в Среднюю Азию, одним из первых стал обогащать русскую поэзию переводами стихов поэтов Кавказа и Средней Азии. Он был другом Востока. Интернационализм был у него в крови. Своими путешествиями он умел раздвигать границы великой русской поэзии. Только в 1935 году, сразу же после Первого съезда писателей, он выпустил две книги: «Стихи о Кахетии» и «Тень друга».

Помню, когда я прочел «Стихи о Кахетии», меня долго не покидало чувство праздника, молодого, буйного, звонкого, на котором всем было хорошо — и читателям, и словам, и музыке, и самому автору. И сейчас, спустя поч-

ти полвека, меня вновь будоражит это ощущение благородной праздничности, красоты и силы. И где-то в подъязычье звенит как заклинание:

Я прошел над Алазанью,
Над волшебною водой,
Поседельй, как сказальце,
И, как песня, молодой.

В этих строчках я вижу не только внешний облик Николая Тихонова, но и облик его поэзии, простертой светом своим в завтрашние дни.

Поэзия Тихонова всегда была тревожной, обеспокоенной завтрашним днем. Вышедшая вслед за «Стихами о Кахетии» «Тень друга» была книгой-предупреждением.

В 1935 году в Париже проходил Конгресс в защиту культуры. Николай Тихонов был делегатом этого Конгресса. Кроме Франции, во время поездки ему удалось побывать в Польше и Чехословакии, Бельгии и Англии. В книге «Тень друга» возникли для меня тогда и остались до сих пор два образа, два символа, две ипостаси времени,

Я увидел, как призрак,
Работы предел:
Море рваное,
Мокрые латы.
Неслышимый ветер гудел
Над летящей победой крылатой.

В крылатом мраморе статуи Самофракийской победы вслед за Тихоновым и благодаря ему я увидел совершенство человеческого гения и совершенство слова, обрисовавшего это мраморное чудо:

Серый мрамор,
По телу
Струясь полотном,
Словно латы к плечам тяжелея,
Напряженнейших крыльев
Закончив излом,
Бился жилкой
Легчайшей на шее.

Потом, когда мне довелось побывать в Лувре, я отыскал взглядом эту самую пульсирующую жилку на изгибе шеи — прихоть гениального резца, адекватно переданного словом.

Но кроме этого чуда, Тихонов увидел и нарисовал символ унижения, знак надвигающейся катастрофы:

Противогаз!

Твоей резиной липкой
Обтянута Европы голова.
И больше нет ни смеха, ни улыбки,
Лес не шумит и не шуршит трава.
Лишь рыбий глаз томится, озирая
Стальную муть дневных глубин, —
Какой актер увлек тебя играя,
Какой тебя любовник погубил?
Ты даже не услышишь сквозь резину,
Когда, поднявши грохота пласты,
Такая гибель пасть свою разинет,
Что все сожрет, чем так гордилась ты!

Каждым своим нервом эта предупреждающая человечество книга кричала о надвигающейся беде, кричит и сегодня в каменные уши мира, заросшие мхом обывательской беспечности. Книга предупреждает о более страшных катастрофах, которые готовит для Европы и для всего мира тот же самый фашизм, который сорок с лишним лет тому назад залил Европу кровью, отравил ее воздух вонью концентрационных лагерей и газовых камер.

Сорок лет назад Европа, к сожалению, не услышала этого предупреждения. К сожалению, она и сейчас мало думает о грозящей ей и всему миру гибели.

Я пишу сейчас об этом потому, что творчество Николая Тихонова, как это и положено творчеству большого художника, кровно связано с временем. Художник, который был нужен лучшим людям своего времени, нужен для всех времен.

Следом за «Тенью друга» были написаны циклы «Чудесная тревога», «Горы» и «Осенние прогулки». Эти циклы лирических стихотворений о любви и нежности, о рыцарской верности человеческого сердца, о страсти и доверительности — тоже полны предупредительной тревоги. Поэт как бы стоит на вечной страже прекрасной незащитности и нежной зыбкости этого мира.

Все спит в оцепенении одном,
И даже вы — меняя сон за сном.
А я зато в каком-то чудном гуле
У темных снов стою на карауле.
И слушаю: какая в мире тишь.
...Вторую ночь уже горит Париж!

Такая уж у истинной поэзии обязанность — хоть на волшага идти впереди времени, видеть раньше других, предугадывать и предупреждать события, помогать людям

встречать их во всеоружии мужества и беспощадной правды.

Я хочу, чтоб в это лето,
В лето, полное угроз,
Синь военного берета
Не коснулась ваших кос,
Чтоб зеленой куртки пламя
Не одело б ваших плеч,
Чтобы друг ваш перед вами
Не посмел бы мертвым лечь.

Эти стихи Тихонов написал за год до начала второй мировой войны.

В это время я служил в гарнизоне полуострова Гангут. Я был рядовым во взводе разведки полковой батареи на конной тяге. Мы строили укрепления, чистили коней, занимались строевой, боевой и политической подготовкой, несли караульную службу. Сам не знаю, как при этой нагрузке я умудрился написать тогда целую тетрадь стихотворений о первой своей войне 1939—1940 годов. Написав эту тетрадь, я почувствовал себя свободнее, легче. Летом мы жили в палатках, а с приближением осени, закончив основные узлы обороны, принялись за строительство казарм. Когда построили казармы, оказалось, что их нечем крыть. И тут я вспомнил о том, как мальчишкой с отцом драл дранку. Я обратился по инстанциям с предложением сделать драночный станок. И он у нас получился. И дранка пошла. Сначала мы покрыли уборную, затем кухню. Потом всех разведчиков командование превратило в инструкторов по дранке. Проблема крыш на полуострове была решена. И командир Восьмой особой бригады генерал-майор Симоняк наградил меня отпуском на месяц.

Я поехал в свое родное Иваново. А на обратном пути в Ленинграде зашел в редакцию журнала «Звезда» и оставил там свою тетрадку.

Через неделю я получил письмо от Николая Тихонова.

Это была моя вторая встреча с ним. В первую встречу я узнал о нем. Во вторую и он обо мне узнал и в письме сообщил, что редакция намерена печатать мои стихи, а меня он просил для личного знакомства зайти в редакцию или к нему домой на Зверинскую, 2. С полуострова Гангут, за четыреста пятьдесят километров от Ленинграда, мне было невозможно добраться до Зверинской, 2, но Тихонов — по оставленному адресу: Ленинград, п/я 306, оче-

видно, подумал, что я прохожу службу где-то совсем рядом с ним.

Стихи мои, почти вся тетрадь, были напечатаны в двух номерах «Звезды», и это изменило мою судьбу. На страницах этого же журнала я встретился со своими сверстниками Недогоновым и Наровчатовым, Максимовым и Луконым, так же как и я проползшими на животе по мерзлому вереску Карельского перешейка от Сестры до Выборга, от той самой Сестры, о которой двадцать лет тому назад наш Николай Тихонов сказал коротко и враждебно:

Река Сестра, а берега не братья.

И в этом нам пришлось убедиться в ту холодную и громкую, как колокол, зиму.

Но этот холодный колокол гудел уже позади. А впереди клочкотало за смутным кровавым горизонтом что-то непредставимое, и сама война говорила мне словами Тихонова:

Но помните, позвавшие меня,
Я не простой бегущий столб огня,
Покорный вашей кровожадной воле,
Сжигающий одно чужое поле, —
Нет, заповеди черные войны
Для всех сторон смертельны и равны.

Война пришла и навалилась всей тяжестью железа и огня на плечи молодости моих ровесников.

Я познакомился с Николаем Тихоновым в поселке Токсово под Ленинградом, где стояла тогда редакция и походная типография газеты «Защитник Родины» (я был зачислен в штат редакции на должность писателя). Тихонов приехал с Фадеевым. Оба еще молодые, худые, обветренные и белоголовые, как будто оба поселились по заказу одинаково. Мы с Тихоновым узнали друг друга без посторонней помощи сразу, и, к удивлению, Тихонов представил меня Фадееву как своего старого знакомого. Это была моя третья встреча с Николаем Тихоновым, которая, к радости, позволила подумать, а потом и убедиться в том, что я ему небезразличен.

Вскоре меня перевели в редакцию газеты «На страже Родины» в Ленинград, и дорога с Невского, 2, где была расположена редакция, до Зверинской, 2, где жил Николай Семенович Тихонов, стала мне очень знакомой. Шести-

этажный дом, в котором жил Тихонов, мало чем изменился за эти сорок лет. Он стоит все на том же месте, на углу Большого проспекта и Зверинской. Все так же нижний этаж по Большому проспекту занимает гастроном. Все так же выглядит подъезд, и дверь та же, только слева от двери на стене прикреплен кусок серого гранита, на котором написано:

Здесь
с 1922 по 1944 год
жил и работал
Герой Социалистического
Труда
писатель
и общественный деятель
Николай
Семенович
Тихонов

С грустью перечитываю я эти слова. Душа все не может примириться с тем, что Николая Семеновича нет. Мне все кажется, что он уехал в командировку и должен со дня на день вернуться, позвонить или написать мне.

А тогда, сорок два года тому назад, я шел впервые в этот дом по холодному, слепому городу. Ленинград был пуст и темен, и на Дворцовом мосту мне навстречу не попалось ни одного прохожего. Около Ростральных колонн меня окликнул патруль и проверил пропуск. Когда я повернул на улицу Добролюбова, мне пришлось идти по мостовой. На тротуарах было много воронок и обвалившихся от бомбежки стен. Воронки и обвалы были обнесены железными кроватями без матрацев. Сколько их здесь было! Они то и дело попадались под ноги. И мне казалось, что все жители куда-то ушли из домов, оставив дома в полном одиночестве, а кровати выбежали вдогонку за своими владельцами и в недоумении остановились посредине улицы, не зная, куда им идти. А небо было, несмотря на холод, душным и низким, как ватный колпак, иногда раздраемый багровыми вспышками зарницы и смятым грохотом дальних залпов.

Тихонов жил на шестом этаже в многокомнатной квартире генерала Неслуховского. Того самого Неслуховского, который помогал Владимиру Ильичу Ленину после поражения революции 1905 года скрываться на своей квартире и три дочери которого не то что были большевичками,

по явно сочувствовали и помогали большевикам, следуя примеру отца, в октябрьские дни 1917 года. Николай Семенович переехал сюда в 1922 году, женившись на средней дочери генерала, и не менял эту крышу до отъезда в Москву в 1944 году. По этой лестнице на шестой этаж в свое время поднимались и Есенин, и Маяковский, и многие запевалы разноязыкого братства зачинателей и строителей советской литературы.

Меня встретила, открыв дверь на лестницу, Мария Константиновна, жена Тихонова, в ее руках был какой-то светильник, значит, электричество не горело. Я сразу ее узнал, не узнал, а догадался, кто эта высокая женщина с продолговатым лицом и волнистой прядью русых волос, косым угольником покрывавших половину чистого лба. Она меня тоже узнала и улыбнулась, как старому знакомому, и повела по длинному коридору на кухню. Об этом тоже было нетрудно догадаться, потому что в большинстве домов во время блокады жизнь теплилась (в буквальном смысле этого слова) на кухнях. Там стоял стол, и за столом сидел сам хозяин Николай Семенович, все три сестры Неслуховские, дочка младшей сестры Ольга, вместе с матерью работающая в детском приемнике, поэт Борис Лихарев и художник Валентин Курдов, только что вернувшиеся из партизанского края. Мне, как и всем, налили чаю. Потом явился молодой лейтенант с острыми глазами на загорелом лице и редкими щеголеватыми усиками над чуть припухшей губой.

— Георгий Суворов, — представил лейтенанта Тихонов, и беседа продолжилась.

Мы с Георгием Суворовым сразу поняли, что перед нашим приходом речь шла о памяти. О том, что без памяти жить катастрофично. Что без прошлого нет и не может быть будущего. Как бы заключая этот разговор, Николай Семенович сказал, что надо обязательно оставить в сохранности весь двухсоткилометровый рубеж железного кольца блокады, на котором были остановлены фашисты. Оставить и превратить в памятник. А в том, что фашисты будут разбиты, не могло быть сомнений...

Начали читать стихи. Первым читал Борис Лихарев. Читал страшное по убежденности своей стихотворение с повторяющейся, как заклятие, строкой: «Ты будешь вить, Германия!» В голосе Лихарева была такая сила и убежденность, словно с войной уже было покончено и победа в самом деле не за горами.

Потом стихи читал Георгий Суворов, сдержанно и чуть картавя:

Как полумесяц молодой,
Сверкнула чайка надо мной.
В груди заняло у меня..
Зачем же в самый вихрь огня!
И крикнул чайке я:
— Держись!
Коль любишь жизнь —
Борись за жизнь!

Очередь дошла до Николая Семеновича. Он читал весь цикл «Чудесная тревога», начиная с «Кувшина» и кончая стихотворением «Пусть серый шлак перегорит в мученьях...», читал прекрасно, жестом руки подчеркивая ритм и знаменитые тихоновские инверсии — некий признак демократизации стиха. Читал легко и убедительно. А когда закончил, Мария Константиновна сказала:

— Ну вот, ты же позабыл прочесть самое главное, — и тут же начала читать сама:

Стих может заболеть
И ржавчиной покрыться,
Иль потускнеть, как медь
Времен Аустерлица...

У Марии Константиновны была прекрасная память. Она знала наизусть не только стихи Николая Семеновича, но и наши и, когда мы путались в чтении, подсказывала нам.

Николай Семенович был летописцем подвига защитников Ленинграда. Вдохнителем этого подвига. Он не умел жалеть себя и использовал в своей работе все формы, которые ему давал его богатейший литературный опыт и которыми он умел пользоваться в совершенстве, как это и положено мастеру.

Потом его, вопреки его желанию, перевели в Москву, и на его плечи, плечи опытного альпиниста, легло столько обязанностей, что немислимо представить себе, как можно было одному человеку с ними справляться. А он справлялся, потому что был Тихоновым.

Мы за глаза называли его Могучим. Кажется, так окрестил его первым в блокадные дни его друг Александр Прокофьев. И, по-моему, очень точно.

Встречи с ним всегда были праздником.

Дом его всегда был полон людей и гостеприимства.

А он всегда находил время для того, чтобы сесть за стол и склониться над белым полем чистого листа бумаги. В этом было счастье его судьбы.

Мы прожили вместе так долго —
Хорошие, злые года,
Что в сене искать нам иголку
Уже не составит труда.
Иголку искать мы не будем,
Но в нашем пути непросто
Мы отдали главное людям,
И мы не жалеем о том.

Это он написал Марии Константиновне и всему своему поколению разведчиков и рыцарей.

Наш век пройдет. Откроются архивы,
И все, что было скрыто до сих пор,
Все тайные истории извивы
Покажут миру славу и позор.

Богов иных тогда померкнут лики,
И обнажится всякая беда,
Но то, что было истинно великим,
Останется великим навсегда.

Это он написал о времени. Он отдал своему времени всего себя без остатка. Весь свой гений. Всю свою страсть. Всю жизнь до последнего вздоха.

Он любил жизнь, ее бесконечную мозаику. Он был альпинистом, имел счастье видеть восход солнца первым. Он любил, когда его любили.

Он ушел из жизни 8 февраля 1979 года. Встал из-за стола в своем кабинете на втором этаже переделкинской дачи — и ушел. И хотя я, прощаясь с ним, бросил на его гроб горсть смерзшейся земли, я не верю, что он ушел навсегда.

...И на часах двенадцать, и не страшно,
И ветер счастья холодит виски!

Так кончается одно из его последних стихотворений. С такими словами не умирают, а уходят и остаются в живых.

С ДУШОЙ, ПЕРЕПОЛНЕННОЙ НАДЕЖДАМИ

У меня сохранился каким-то чудом номер «Роман-газеты» пятидесятилетней давности, посвященный советской поэзии. Открывался он стихами и портретом Демьяна Бедного, а заканчивался Борисом Пастернаком. Николаю Тихонову и Павлу Антокольскому место было отведено тоже ближе к концу, причем стихи Николая Тихонова были напечатаны в разделе «На путях к поэзии пролетариата», а стихи Павла Антокольского — в самом последнем разделе, для которого составители антологии даже не подобрали подходящего названия. Но я уже тогда с юношеским задором скандировал строчки Эдуарда Багрицкого:

А в походной сумке —
Спички да табак...
Тихонов,
Сельвинский,
Пастернак.

И слово «попутчик», которым назывались Багрицкий и Тихонов с Пастернаком и Антокольским, совсем не вязалось с их стихами, полными живой энергии человеческой мысли. И Тихонов рисовался мне на коне с обнаженной пашкой, бешеным аллюром летящим в атаку. Какой же он попутчик?

А Павел Антокольский по его «Санкюлоту», напечатанному в той же «Роман-газете», и по портрету, где он был изображен в кожанке, шляпе и с трубкой во рту, был для меня загадочной фигурой.

Мать моя колдунья или шлюха,
А отец какой-то старый граф.
До его сиятельного слуха
Не дошло, как, юбки разодрав

На пеленки, две осенних ночи
Выла мать, родив меня во рву.
Даже дождь был мало озабочен
И плевал на то, что я живу.

И все это, сказанное с санкюлоте, в моем мальчишеском сознании относилось непосредственно к самому автору и родило мою беспризорную судьбу с его судьбой, а сам автор, единожды попав в поле зрения моей увлеченности, уже навсегда остался в нем, и я уже стал выискивать все, что он печатал в книгах и журналах и что говорилось и

печаталось о его поэзии. Я был в восторге от крепко срубленных строк:

Кончался прошлый век в купеческих столовых.
Сверкало, как огонь из золоченых рам,
Молчанье Врубеля, что на крылах лиловых,
Рыдая, пролетал по рухнувшему миру.

И само время, уже шелестевшее над судьбой нашего поколения лиловыми крыльями врубелевского Демона, незаметно превратило непонятных «попутчиков» в самых необходимых спутников и учителей в наэлектризованном тревогой предгрозье.

Тихонов был в Ленинграде.

Антокольский был в Москве.

При всей разнице характеров и стилей они были поэтами высокого предчувствия и учили собранности.

Немудрено, что молодые поэты моего поколения держали равнение в своих поисках и надеждах на них: в Ленинграде — на Тихонова, в Москве — на Антокольского. Да и оба эти мастера, как никто, с неослабным вниманием и любовью смотрели за нашим вхождением в жизнь, настаивая и поддерживая нас.

Помню, как сразу же после финской войны Николай Семенович Тихонов в редактируемом им поэтическом отделе «Звезды» напечатал первые стихи Алексея Недогонова и Сергея Наровчатова, Михаила Лукопина, Марка Максимова и мои, открыв нам дорогу в круг той поэзии, которой жил и трепетал сам. А Павел Григорьевич Антокольский поддерживал своим плечом всех из нашего фронтового братства поэзии и пел гимны тому, в ком видел опытным глазом учителя достойное внимания будущее.

Я не был с ним знаком лично до 1943 года, и можно представить мое удивление, когда я после прорыва блокады, уже будучи поэтом фронтовой газеты «На страже Родины», очутился в Москве и, встретившись с ним впервые, понял, что дорог ему. Что он знает обо мне больше, чем я сам. Он повел меня к себе домой и по дороге читал мои стихи. Читал всю «Волгу» от начала до конца:

Мы войны, не маменькины мямли, —
В последнем нам торжествовать бою!

И глаза его блестели радостью и любовью.

А потом он повел меня в издательство «Молодая гвардия», где главный редактор издательства Борис Евгеньев

дал мне в руки уже готовый сборник моих стихов, — на первой странице было напечатано: «Под редакцией П. Антокольского».

Оказывается, Павел Григорьевич сам собрал мои стихи, печатавшиеся тогда в «Комсомольской правде», составил сборник и снес его в издательство. Я смотрел на Павла Григорьевича и на Бориса Евгеньева как на волшебников, заставивших меня на всю жизнь поверить в достоинство братства Поэзии — в самое верное братство на всей земле.

Павлу Григорьевичу не было тогда еще пятидесяти лет. Мне было на двадцать лет меньше, и он смотрел на меня, как смотрит отец на сына после долгой-долгой разлуки. Он тогда, впрочем, на всех нас, фронтowych поэтов, смотрел действительно как отец на своих сыновей, и не потому, что своего единственного сына только что оплакал обжигающими душу стихами, но и потому, что умел видеть в нас единомышленников и друзей, людей, которым можно доверить переполненную надеждами, исходящую любовью душу. С тех пор, с первого взгляда, он стал мне другом на все время, отпущенное мне жизнью. Он относился ко мне так, будто знал, что я никогда не подведу его. И это радовало меня и окрыляло.

А время шло, и возрастной рубеж между нами становился все уже и уже. И когда Павлу Григорьевичу Антокольскому, этому неистовому, переполненному поэзией человеку, исполнилось восемьдесят лет, я послал ему, будучи где-то в дороге, телеграмму:

Все было взято с бою,
И по календарю
Я всей своей судьбою
Ваш путь благодарю.
Мосты и переправы
В железе и огне,
Где отсвет Вашей славы
Светил и светит мне.

А через несколько месяцев он мне прислал письмо на вечер моего шестидесятилетия, потому что был болен и сам прийти не мог.

Вот это письмо:

«Дорогой мой друг и брат не во Христе, а в Аполлоне, то есть поэт моложе меня на двадцать лет, шестидесятилетний юноша, седина которого незаметна, как у всякого белокурого человека... поэт из города Иванова, что в районе Владимира, т. е. чуть дальше на восток, нежели Моск-

ва. Все эти данные не случайны в судьбе поэта. Человека, солдата Великой Отечественной, второй мировой войны нашего века.

Наша встреча была далеко не случайна, ибо организовал ее не кто иной как Николай Тихонов, признанный композитор всех сложных химических, соединяющих воедино разных людей, реакций. И поблагодарим его за это.

Можно и порадоваться этому, и запоздало присоединиться к этой встрече.

Это необходимо нужно сделать, ибо все мы живем внутри истории. Из ее плотного окружения, совсем не похожего на кольцо блокады, мы не можем да и не хотим вырваться — во веки веков. Аминь.

И я, старый поэт, благословляю дни и ночи наших встреч, наших совпадений, их было много и в Москве, и в Ленинграде, и в Михайловском».

...Он вошел в мою душу душой, переполненной надеждами.

Он ушел, и на одну любовь судьба моя стала меньше. Но он, сам того не думая, учил меня любви. И я любил его и никогда не говорил ему об этом, но он, наверное, знал, что я его люблю. И этого уже ничто на свете не властно изменить.

1982

ЧУДО «ЛАДА»

В тридцать пятом или тридцать седьмом году я прочел в журнале «Красная новь» стихотворение Николая Николаевича Асеева. Называлось оно «Водопад Муруджу». Я его отлично помню:

Женщина стоит у водопада.
Рада, рада,
Что ее — с головы до пят —
В блеск и шум одел водопад.
Водопад — ее фаворит,
И она ему говорит:
«Драгоценный мой Муруджу,
Хочешь — я от тебя рожу,
Я рожу от тебя девчонку,
Замечательную речонку,
Совершенно такую, как ты,
Неописанной красоты!»

Мне в этом стихотворении не понравились инородные для моего тогдашнего восприятия слова «фаворит», «замечательная», но я навсегда запомнил эти строки.

Однажды, уже в пятидесятые годы, я приехал в Чечено-Ингушетию. Мы мчались на машине с друзьями — чеченскими поэтами — по бесконечно петляющей горной дороге, как по «венку сонетов». Шофер круто повернул, и я увидел открывшийся за поворотом спадающий со скалы водопад. Я никогда не бывал в этих местах и этот водопад видел впервые, но смотрел на него как на что-то очень знакомое и памятное. Я вспомнил стихи Асеева и прочел их друзьям. Это действительно был водопад Муруджу. В стихотворении Асеева нет никаких описательных примет этого водопада, но есть в них, очевидно, необыкновенная точность поэтического восприятия, и сила передачи этого восприятия так своеобразна и внутренне сильна, что становится вещественно ощутимой.

Вот, по-моему, в этом и есть чудо поэзии, умение заставить читателя-поэта (в моем представлении человек, читающий стихи, тоже причастен к поэзии) видеть мир глазами самого поэта, написавшего эти стихи, глазами его души.

Мы, поэты, увы, даже сами подчас как будто забываем, насколько свежа и оригинальна в своем многообразии наша поэзия. В ней, к сожалению, есть свои моды, и часто такая мода уводит от настоящего к показному, желание «выпередиться» иногда становится смыслом существования поэта, и он волей-неволей превращается из поводыря и разведчика в потакателя обывательским вкусам. И в этой суете иногда по своей скромности остается в тени настоящее.

Поэзия под силу только юной восторженной душе. Она любит ходить по первым проталинам босиком, не боясь простудиться.

Вот этой вечной юностью и повеяло на меня от книги стихов Н. Асеева, моего давнего спутника и неназванного друга на всю жизнь.

Книга «Лад» молода и свежа, как трава заливного луга в испарине первой росы на утренней зорьке. Молодость ощущения мира в ней подкреплена опытом жизни доброй души разбирающегося в сути жизни человека, понимающего сердцем своим, всем ладным строем своей поэзии, что

С тех пор,
как шар земной наш кружится,
Сквозь вечность
продолжая мчаться,
великое
людей содружество
впервые
стало намечаться.

Этому великому содружеству и посвящена удивительная книга, полная раздумий и ответственности за все живое на земле, за поэзию добра и света. И о чем бы ни писал Н. Асеев, этот богатырь нашей советской поэзии, ее мастер и настройщик, один из тех, кто создал и определил целую эпоху в ее развитии, он всегда останется верен этой мысли.

В «Песне о Гарсиа Лорке» закономерно прорисовывается не только судьба убитого испанскими фашистами замечательного лирика — в ней поднимается в полный рост поэзия мира во всей своей значимости. Она пронизана величайшим оптимизмом человеческого духа — оптимизмом трагедийности.

И в блестящем стихотворении «Двое идут» любовь действительно идет, выражаясь словами Маяковского, «всей вселенной».

Высокая артистичность есть в любом деле.

В нашей деревне был мужик — дядя Володя, лучший косец. Его прокосево всегда можно было отличить. Он не косил траву, а брил, и бабы, пришедшие разбивать валы, зачарованно любовались его работой.

Работой Н. Асеева, его артистичностью можно восхищаться на протяжении всей книги. Но это артистичность не ради артистичности. Она естественна, как само дыхание. В ней есть старинный русский лад.

Стихи Асеева трогают, берут за живое, да иначе и не может быть, потому что сам автор сказал о своей работе:

Очень часто
сердце
разрывается,
только
гул не слышен
от разрыва.

Таков был наш старейший беспокойный мастер Николай Николаевич Асеев, счастливо соединявший в своей работе мудрый, высокий талант с отточенным мастерством, умевший удивляться и удивлять.

1962

ПОЭЗИЯ НАРОДНОЙ ДУШИ

Великая поэзия тем и велика, что она только ей свойственной силой обобщения и прозрения на исторических поворотах народных судеб умеет создавать атмосферу уверенности в неиссякаемых истоках жизни народа, связывая его прошлое и будущее в единый поток нерасторжимого времени, где личность и народ едины, где подвиг героя вырастает из подвига народа и, возвеличивая его, ведет его дальше.

Великая поэзия вырастает на великих идеях и, как правило, в лучших своих образцах несет общечеловеческое начало, помогающее своим размахом и своей глубиной раскрытию национальных особенностей и достоинств народа, его культуры, его творческого духа.

Поэзия, так же как любое искусство, интернациональна по своей сути.

Главным героем для Александра Трифоновича Твардовского в его эпосе и в его лирике, во всей его деятельности Поэта с большой буквы, понимающего свое время и свою ответственность перед ним, был всегда народ — его вдохновитель и его судья, сегодняшний и завтрашний.

А сам народ, в благодарности своего признания, считал Александра Твардовского главным своим поэтом, главным выразителем того духовного напряжения, которым жил народ на вершине своего мирового подвига.

Фронт налево, фронт направо,
И в февральской вьюжной мгле
Страшный бой идет, кровавый,
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

«Василий Теркин», книга про бойца, как ее назвал Александр Твардовский, одна из прекрасных вершин его творчества, одно из удивительных явлений русской и мировой поэзии времен смертельной схватки с фашизмом, создавалась на протяжении всей войны как некий дневник подвига, и ее сиюминутность достоверности не помешала ей, и прежде всего ее автору, поднять этот подвиг на высоту общечеловеческого подвига. И сам герой книги Василий Теркин, замыкая на себе лучшие качества народной души, отдаляясь во времени, превращается в символ этой великой души и становится воистину народным героем, гордостью и славой не только советской поэзии, а самой

духовной сути народа, сумевшего найти в себе силу и собранность в трагический час истории мира.

Василий Теркин, так же как и поэт, создавший его в пекле этих событий, был главным героем Победы. Он был многолик в проявлении своего мужества, смелости, выносливости. Он вырастал из повседневности войны в грандиозно обобщенный образ народа, творца победы и истории. В этом и есть неопенимая заслуга Александра Твардовского перед своей Родиной, перед всем миром, перед его бессмертным искусством, ломающим стену отчуждения между человеческими душами.

Книга про бойца «Василий Теркин», к нашей радости, становится общечеловеческой книгой, и только время может оценить силу, масштаб ее действия. Этой книге уготована долгая и беспокойная жизнь. Она благородна и светла, и времена не страшны ей, потому что подвиг вечен, потому что мужества с каждым новым днем жизни на земле человеку будет требоваться все больше и больше.

Для того чтобы создать такую книгу, надо было иметь высокий дар и опыт познания жизни. Сама природа и сама жизнь не поскупились и все это дали Александру Твардовскому, скрестив на его творческой обобщающей и пророческой судьбе судьбы времени и народа. Поэт выдержал эти связи с честью и достоинством, присущим великим художникам, которые, отдаляясь от нас во времени, обретают значительность своей судьбы, удивляя и восхищая нас.

Он родился в 1910 году на Смоленщине, на хуторе пустоши Столпово в семье сельского кузнеца. Он с детства знал святость и прелесть хлеба, цену и благородство мозолей крестьянского труда. Его поэтические истоки там, в колыбельной песне матери, в неброском, щемящем душу пейзаже окрестного мира; в книгах Пушкина и Некрасова, которые отец знал наизусть и по вечерам читал из них стихи себе на радость, а семье в удовольствие. И, видимо, эта крестьянская жизнь и научила будущего поэта сизмальства серьезно относиться ко всему в этом мире, даже к шутке, которую он любил.

Вообще, его характер во всем отличала основательность знающего себе цену человека, умеющего постоять за себя. И его стих и стиль, свойственный его стиху, был народен в том понимании, что с величайшей простотой выражал глубину и благородство мысли, высокую творческую сущность народа. Сама жизнь восторгом и горем своим, сча-

ством и обидой, синяками и лаской дала ему священное право собственного опыта, право не рассуждать о своих связях с народом, а просто считать самого себя, свою жизнь, свою судьбу частицей народной судьбы.

И у него хватало для этого внутреннего чувства ответственности.

Признание и удача, как всегда в этом мире, пришли к Александру Твардовскому не сразу. Нужно было пройти и школу мастерства, ограничившую незаурядный талант, и школу жизни, школу родства и с самим народом, и со временем преобразующих действий революции. И, видимо, работа в газете научила Александра Твардовского умению вслушиваться и вглядываться в те главные процессы, которые движут временами и судьбами, наполняя их смыслом. Он остался верен этой своей привычке, ставшей свойством его характера, до самого последнего дня, когда Москва на Новодевичьем кладбище серым декабрьским днем 1971 года просталась со своим поэтом, и беспокойство поэта стояло где-то рядом с признанием народа, обнажившего головы.

Признание и успех пришли к Александру Твардовскому в 1936 году вместе с выходом поэмы «Страна Муравия». И с тех пор, по его собственному выражению, он начинает «счет своим писаниям, которые могут характеризовать его как литератора». И с тех пор внимание читателей не отступает от него, и судьба поэта срастается с судьбой народа, и он становится главным поэтом народа, выразителем тех процессов, которые определяли эпоху.

У него хватило и силы и чувства ответственности перед поэзией и жизнью нести на своих плечах миссию Первого поэта Советской России, творчеством своим подтверждая это нелегкое призвание, этот выбор времени и судьбы.

Все пять томов сочинений Александра Твардовского — это запечатленный дух времени, чуждый мелочности и тщеты. Он основателен, этот прекрасный, не имеющий себе равных труд, как характер и жизнь поэта, выполнившего святой долг перед народом и перед временем.

Его творчество значительно и для современников и для потомков, потому что оно продиктовано жизненной необходимостью и необходимо для жизни.

И все-таки в наследии каждого художника есть своя вершина, с которой видна вся земля, им возделанная, весь урожай его нивы. Такой вершиной для Александра Твардовского остался «Василий Теркин». Твардовский сам пи-

сад об этом: «„Книга про бойца“, каково бы ни было ее собственно литературное значение, для меня... была истинным счастьем. Она мне дала... ощущение очевидной полезности моего труда, чувство полной свободы обращения со стихом и словом в естественно сложившейся непринужденной форме изложения».

Мне она всех прочих боле
Дорога, родна до слез,
Как тот сын, что рос не в доле,
А в годину бед и гроз...

В характере Василия Теркина, очень русском, очень советском, много общечеловеческого, необходимого современному человеку и, очевидно, человеку будущего, истинному сыну Земли.

1976

ДУШИ ВЫСОКАЯ СВОБОДА

Думая об Анне Андреевне Ахматовой, я вспоминаю сырой мартовский день 1966 года, когда мы стояли у гроба этой удивительной по своему таланту и характеру русской женщины, с которой мир прощался навсегда. Я смотрел на ее высокий гордый лоб, на неподвижные ресницы, на классический нос с горбинкой, на плотно сжатые, с чуть затаенной улыбкой губы и говорил тогда о том, что она, Анна Андреевна Ахматова, уже становится достоянием мировой культуры, что, уходя из этого мира, она оставляет ему свою поэтическую душу, свои пронзительные слова о великом таинстве любви, ее трагедиях и преодолении этих трагедий и что эти слова сама жизнь поставила в ряд прекрасных творений бессмертной русской литературы.

Сейчас, спустя двадцать лет, вспоминая это скорбное прощание с Ахматовой, уже из другого времени, с точки зрения нового опыта постижения жизни я читаю стихи Анны Андреевны:

Сказал, что у меня соперниц нет.
Я для него не женщина земная,
А солнца зимнего утешный свет
И песня дикая родного края.
Когда умру, не станет он грустить,
Не крикнет, обезумевши: «Воскресни!» —
Но вдруг поймет, что невозможно жить
Без солнца телу и душе без песни.
...А что теперь?

Я произношу эти стихи и понимаю, что ее поэзия глубоко сочувствует человеку и просветляет его, делает его духовный мир осмысленным и прекрасным, существенным и значительным.

Я произношу эти строки, и они сливаются со стихами классической Саффо:

Конница одним, а другим пехота,
Стройных кораблей вереница — третьим.
А по мне, на черной земле всех краше
Только любимый...

Они — эти два поэта — в одном ряду. Что из того, что между ними лежит пропасть времени! Они сестры, для песен которых не существует ни времени, ни пространства. Они служили одному солнцу жизни и любви.

В самой Анне Андреевне все было значительно — и внешний облик, и духовный мир.

Как-то мне довелось вместе с ней ехать из Ленинграда в Москву в одном купе «Красной стрелы». Мы были знакомы раньше, но особенно близко судьба нас не сталкивала. Не помню, о чем мы говорили тогда, но в памяти сохранилась одна фраза, сказанная Анной Андреевной: «Мы, поэты, — люди голые, у нас все видно, поэтому нам надо позаботиться о том, чтобы мы выглядели пристойно».

Я знал, что в ее жизни было много тяжелого, трагического. Знал из рассказов моих старших товарищей-литераторов, знал и по тем событиям, которые происходили у меня на глазах. Но никогда, ни в одной из ее книг я не находил отчаяния и растерянности. Никогда не видел ее с поникшей головой. Она всегда была прямой и строгой, была человеком воистину незаметного великого мужества. Этому существенному качеству можно и нужно учиться у ее обнаженно правдивых книг.

Души высокая свобода, которой она обладала, давала ей возможность не гнуться под любимыми ветрами клевет и предательств, обид и несправедливостей. Она проходила через все, как будто мир земных реальностей был для нее астральным. Она не то чтобы не обращала на него внимания, нет, ее волновало все в этом мире, но она умела с поразительной точностью о нем и для него оставлять свои заметы, знаки добра и удивления, знаки боли и сочувствия — в песне своего опыта.

Ахматова родилась на юге России, в Одессе, а в юности бывала в Евпатории и Херсонесе на берегах Черного моря. Она несла в своей душе Солнце радости жизни, щемящую красоту женственности, ее непостижимую прелесть.

И если мне сейчас, в будничной суете жизни, бывает невыносимо тревожно, я снимаю с полки том Ахматовой и отыскиваю поэму «У самого моря».

Бухты изрезали низкий берег,
Все паруса убежали в море,
А я сушила соленую косу
За версту от земли на плоском камне..

Я читаю эти строки, и меня начинает обступать музыка радости и света, музыка солнечных бликов и легких барашков волн, набегающих на золотой песок, меня начинает захватывать ощущение счастья жизни, я вижу провал в бесконечную глубину пронизанной солнцем синевы, чувствую запах моря, как запах вечности, наполняюсь свежестью этого юного мира, свежестью ветра с привкусом степной полыни.

Поэма захлестывает меня, как морская волна, и смыывает с меня весь пепел перегоревших раздумий о безвыходности человеческого горя, суетная тревога становится осмысленной, пустыня неверия и отчужденности зацветает дикими маками веры, вырастающими на крови ненависти и расплаты.

Я очень люблю поэму «У самого моря», поэму вечной трагедии истинной любви, поэму вечного ее возрождения.

Смуглый и ласковый мой царевич
Тихо лежал и глядел на небо.
Эти глаза зеленее моря
И кипарисов наших темнее, —
Видела я, как они погасли..
Лучше бы мне родиться слепой.
Он застонал и невнятно крикнул:
«Ласточка, ласточка, как мне больно!»

Наверное, чудо поэзии в этом и есть — чудо умения преодолением своего горя снимать горе с другой, близкой по страданию души, возвращая ее к радости жизни. Ведь, в конце-то концов, жить — значит радоваться! «...И нам сочувствие дается, как нам дается благодать». Я понимаю: мудрость Тютчева была и ее, ахматовской мудростью, редчайшим свойством, дарованным истинному ху-

дожднику, понимающему, что в самом деле «невозможно жить без солнца телу и душе без песни».

В ее теле жило это солнце, в ее душе жила эта песня. И она всю свою жизнь делилась с миром этими неубывающими редчайшими сокровищами. За это ей благодарны все, кто ищет общения с ее поэзией и умеет понимать ее благую исключительность.

Поэзия Ахматовой солнечна, проста и свободна, как ее юность. Она родная сестра прекрасной поэзии Эллады. Пусть у нее другой строй и ритм, другая музыка, это не мешает ей быть по-эллински вещей и вечной.

Когда я впервые увидел в Лувре статую Ники Самофракийской, то вслед за стихами Николая Тихонова вспомнил ахматовского «Рыбака». Вспомнил потому, что, как и стихи Тихонова, как сама статуя Самофракийской Победы, ахматовское стихотворение предельно просто и точно передает мысль о красоте проявления божественного, творческого духа человека. Эти явления искусства стоят в одном ряду прекрасного. Здесь одна и та же пластика — в слове и в мраморе, пластика предельно высокого мастерства:

Руки голы выше локтя,
А глаза синей, чем лед.
Едкий, душный запах дегтя,
Как загар, тебе идет.

И всегда, всегда распахнут
Ворот куртки голубой,
И рыбачки только ахнут,
Закрасневшись пред тобой.

Даже девочка, что ходит
В город продавать камсу,
Как потерянная бродит
Вечерами на мысу.

Щеки бледны, руки слабы,
Истомленный взор глубок,
Ноги ей щекочут крабы,
Выползая на песок.

Но она уже не ловит
Их протянутой рукой.
Все сильнее биенье крови
В теле, раненном тоской.

Откуда пришло к ней это мастерство (стихотворение написано в 1911 году), эта филигранная выразительность

слова, дающая заключенной в нем мысли эстафету вечности!

Так начинался ее путь, путь совершенства, путь познания и самопознания, путь высокой ответственности души, самый тяжелый и единственно необходимый путь одаренных тягой к познанию творческих натур. Уже первыми ее стихами подтверждается непреложный закон творческого труда: прекрасная мысль всегда находит себя в прекрасном выражении — иной и не может быть в высоком искусстве связи между формой и содержанием.

Родилась А. А. Ахматова на юге России, в Одессе, в июне 1889 года, в семье отставного инженера-механика флота, но вскоре ее родители переехали в Царское Село, где она росла и занималась в гимназии. Если Эллада учила ее точности простоты, то Петербург и Царское Село учили ее душу глубине и осмотрительности. Она знала французский, читала в подлиннике Данте. Первыми из русских поэтов она узнала Державина и Некрасова. Потом уже открылся Пушкин, беззаветная любовь и удивление им прошли через всю ее жизнь. И там, где

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных грустил берегов, —

там и она оставила следы, уже ничем не изгладимые из русской поэзии.

Первое стихотворение она написала в одиннадцатилетнем возрасте.

Художник начинается с беспощадности к самому себе. Видимо, к ней эта беспощадность пришла после того, как она увидела корректуру «Кипарисового ларца» Иннокентия Анненского: «Я была поражена и читала ее, забыв все на свете». Потом она назовет Анненского учителем и напишет:

А тот, кого учителем считаю,
Как тень прошел и тени не оставил,
Весь яд впитал, всю эту одурь выпил,
И славы ждал, и славы не дождался,
Кто был предвестьем, предзнаменованьем,
Всех пожалел, во всех вдохнул томленья —
И задохнулся...

Сам о себе Иннокентий Анненский сказал горько до самоуничижения: «Я слабый сын слепого поколения». Мо-

жет быть, у него и научилась Анна Андреевна строгому отношению к делу своей судьбы — Поэзии.

Я улыбаться перестала,
Морозный ветер губы студит,
Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет.

Анна Ахматова, как мне кажется, очень рано начала понимать, что писать надо только те стихи, которые если не напишешь, то умрешь. Без этой кандалной обязательности нет и не может быть Поэзии. А еще, чтобы поэт мог сочувствовать людям, ему надо пройти через полюс своего отчаяния и пустыню собственного горя, научиться преодолевать его в одиночку.

Характер, талант, судьба человека лепятся в юности. Юность Ахматовой была солнечной.

А я росла в узорной тишине,
В прохладной детской молодого века.

Но в этой узорной тишине Царского Села и в ослепительной голубизне древнего Херсонеса трагедии шли за ней по пятам неотступно.

А Муза п глухла и слепа,
В земле истлевала зерном,
Чтоб снова, как Феникс из пепла,
В эфире восстать голубом.

И она восставала и снова бралась за свое. И так целую жизнь. Чего только не выпадало на ее долю! И смерть сестер от чахотки, и у самой кровь горлом, и разлад между матерью и отцом. Две революции, две страшных войны, трагическая гибель мужа Николая Степановича Гумилева, ссылка единственного сына.

И всюду клевета сопутствовала мне,
Ее ползучий шаг я слышала во сне
И в мертвом городе под беспощадным небом,
Скитаясь пауга за кровом и за хлебом.

Также признания диктуют Совесть и Правда.

Я держу в руках том Ахматовой и читаю: «В то время я гостила на земле. Мне дали имя при крещенье — Анна, сладчайшее для губ людских и слуха». Так она пишет о

своей юности — торжественно, одичёски, а ведь мало кто знает, что, когда она узнала о том, что она Поэт, и поверила в эту неизбежность, не кто иной, как отец, запретил ей подписывать стихи отцовской фамилией Горенко и она взяла фамилию своей прабабушки — Ахматова.

Мир благодарен этому имени.

Я произношу его вслух, и это начальное «Ах!», заключенное в ее поэтическом имени, выражает и мое восхищенное отношение к ее судьбе плакальщицы и пророчицы, некоронованной королевы любви и красоты, которым в конечном счете надлежит победить на земле все злое в человеке и человечестве.

Я читаю книгу Ахматовой как откровение человеческой души, примером своим облагораживающей мою жизнь и жизни всех людей, которые склоняют головы перед песней ее откровения.

Из-под каких развалин говорю,
Из-под какого я кричу обвала!
Я снова все на свете раздарю,
И этого еще мне будет мало.
Я притворилась смертною зимой
И вечные навек закрыла двери,
Но все-таки узнают голос мой,
И все-таки ему опять поверят.

Восточная мудрость гласит, что *не каждую правду говорить нужно*, но эта мудрость может плодить только льстецов. Творчество Ахматовой предельно правдиво и искренне.

Жизнь Анны Андреевны Ахматовой проходила в суровое время и не щадила ее нежную душу. Но эта душа оказалась стойкой, высоконравственной, способной переносить лишения всяческих, словами Маяковского, «бед и обид» и выращивать из них открыто правдивую поэзию.

Водою пахнет резеда
И яблоком — любовь.
Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь.

Как она умела добиваться такой сжатости и поэтической динамики, схожей с процессом превращения угля в алмаз! Здесь все просто и значительно, как в «Азбуке» Льва Толстого, по которой она училась читать. Все, что попадало в поле ее зрения, все, что вызывало в ней же-

ление выразить увиденное и тронувшее ее душу словом, после ее замет становилось и оставалось вечным.

Я не знаю, сколько раз она бывала в Кисловодске. Это не имеет значения. Значение имеет то, что в двух строках:

Здесь Пушкина изгнание началось
И Лермонтова кончилось изгнание, —

она передала всю трагическую суть событий, связанных с этим местом.

Книга собрания стихотворений Анны Андреевны Ахматовой — очень емкая, масштабная книга о двадцатом веке, его трагедиях и надеждах. Ее стихи — как трава, вырвавшаяся к солнцу на пепелище, трава, вопреки всему, густая, зеленая. Гуще и зеленее прежней, которая здесь росла, новая вырастает на пепле старой, как знак вечной жизни, вечного ее продолжения и преобразования.

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.

Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене..
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.

Анна Андреевна Ахматова любила жизнь во всем многообразии ее проявлений. Она любила свою родину — Россию. Это была прежде всего любовь к русскому языку, к его богатству, его поэзии, самая главная, самая верная ее любовь, подтвержденная всем ее многострадальным, устремленным к совершенству творчеством.

Эта любовь индивидуальна и общезначима. Она исходит от нее одной, Анны Ахматовой, — ко всему миру. Об этом я думал и говорил в притихший зал в день ее похорон, а потом, вернувшись домой, наугад раскрыл ее книгу и застыл от неожиданности — передо мной была «Молитва», стихотворение, написанное в 1915 году:

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар —
Так молюсь за твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы гуча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.

Она жила для *великой земной любви* и цела об этом, и в этом был смысл ее жизни, естественное состояние ее души. Она все замечала — и «осуждающие взоры спокойных загорелых баб», и хромого человека, обогнавшего тройку, в которой ехала, человека с пронзительно-голубыми глазами и со шрамом от железного «браслета» на руке. Она запомнила его голос, благостный и звонкий одновременно, благословлявший ее ребенка: «Будет сын твой и жив и здоров».

Видимо, это было на тверской земле в усадьбе матери мужа Анны Ивановны Гумилевой, куда перед самой первой мировой войной она уехала из Петербурга, а потом вернулась, уже в Петроград, и вскоре разошлась с Н. Гумилевым, как расходятся две реки из одного русла в разные стороны, каждый к своей трагедии.

В 1912 году вышла ее первая книга стихотворений «Вечер». Несмотря на тираж триста экземпляров, книга стала заметным явлением в русской поэзии, а вышедшие через два года «Четки» подтвердили и расширили удачу «Вечера».

В русской поэзии появился новый мастер с удивительно чистым голосом, глубокая интимность которого усиливала его искреннее гражданское звучание.

Конечно, Ахматова не могла написать «Двенадцать» или «Левый марш». Это сделали Блок и Маяковский. Она писала другое:

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Так она писала в 1917 году, и высказанное в этом горьком стихотворении желание осталось не пустой фразой, стало действием, добровольно взятой на себя обязанностью перед новой жизнью, стало судьбой. Никаких благ эта судьба не сулила, но в ней проглядывала великая правда времени, жестокого и многообещающего. Спу-

стя три года, на развалинах своей прошлой жизни, Ахматова говорит уже невозвратимой, уже ненужной, уже отболевшей жизни, говорит себе и миру жестокую правду об испытанных, о вере своей души в новое, еще непонятое, но ощущимо заманчивое начало жизни:

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?

Днем дыханьями веет вишневыми
Небывалый под городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес, —

И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам...
Никому, никому не известное,
Но от века желанное вам.

Такова была ее извечная, просветленная болью, неизменно чистая любовь к России и к ее будущему, так она ждала этого будущего, так ему верила.

И дикой свежестью и силой
Мне счастье веяло в лицо,
Как будто друг от века милый
Всходил со мною на крыльцо.

Ей посвящали стихи Блок и Пастернак. Ее портреты писали лучшие художники времени — и реалисты, и сверхмодные.

Слава не отходила от ее дверей, но она не то чтобы не пускала ее к себе, нет, она просто не придавала ей уж очень большого значения.

Она была необходима времени, и время было необходимо для нее в самых разных формах его проявления.

Трезвый взгляд на движение самого времени никогда не изменял ее уменью и вкусу. Ее оценки, как правило, всегда были и просты, и точны, как это и подобает истинному поэту. Как трогательно она вспомнила о Владимире Маяковском, как будто бы таком далеком для характера ее таланта, а на самом деле таком близком и дружественном:

Все, чего касался ты, казалось
Не таким, как было до сих пор,
То, что разрушал ты, — разрушалось,
В каждом слове бился приговор.

Одинок и часто недоволен,
С нетерпением торопил судьбу,
Знал, что скоро выйдешь весел, волен
На свою великую борьбу.

Ахматова сама, лучше всех критиков определила свое назначение в мире, свою судьбу и свою программу:

Чтоб быть современнику ясным,
Весь настежь распахнут поэт.

Этой распахнутостью она тоже умела владеть, владеть мастерски, скромно, без экзальтации и принижения. Она и тут была верна святой естественности человеческой души.

Она умела по-тютчевски сочувствовать и очищать человеческую душу от ненависти и мести осмыслением правды трагедии. Она умела осмыслять прошлое, ради того чтобы его трагедии не повторялись в более широком масштабе.

Гуманизм был врожденным свойством ее характера. И когда началась великая беда мира — вторая мировая война, она писала:

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит,
Красиве, чертополоху
Украшать ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!
И тихо, так, господи, тихо,
Что слышно, как время влет.
А после она выплывает,
Как труп на весенней реке, —
Но матери сын не узнает,
И впуск отвернется в тоске.
И клонятся головы ниже,
Как маятник, ходит луна.

Так вот — над погибшим Парижем
Такая теперь тишина.

Это уже эпос времени, и весь цикл «В сороковом году», так же как «Северные элегии» и «Библейские стихи», есть предчувствие, есть ощущение смертельной мировой беды и надвигающейся на родную землю катастрофы.

Пророческие слова, соединенные строгим ритмом, напоминают по вещему женскому чувству плач Ярославны,

и мне невольно вспоминаются стихи Случевского: «А Ярославна все-таки тоскует в урочный час на каменной стене». Значит, поэзия жива и неистребима.

Герой французского Сопротивления, прекрасный поэт Франции и свободы Поль Элюар писал: «Пока на земле все еще есть насильственная смерть, первыми должны умирать поэты...» Они так и умирали, «сердце отдав временам на разрыв», Пушкин и Лермонтов, Некрасов и Блок, Есенин и Маяковский, Твардовский и Смеляков. В этом святая правда поэзии, без которой человеческая жизнь на земле зашла бы в тупик. Я думаю об этом, склоняя голову перед памятью Анны Андреевны Ахматовой.

Ведь это она в первые дни нашествия фашизма на Советский Союз обратилась ко всем женщинам Родины со словами клятвы:

И та, что сегодня прощается с милым, —
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!

Я слышал эту клятву вместе с однополчанами западнее Ленинграда и вместе со всем народом верил в то, что «Дело наше правое. Враг будет разбит, и Победа будет за нами». Верила в это и Анна Ахматова.

Мы знаем, что нынче лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Анна Ахматова верила в Победу, звала народ к Победе, она вместе со своим народом победила самое страшное зло двадцатого века — фашизм. Великое русское слово, приспущенное Ахматовой: «Для славы мертвых нет» — озвучено мрамором и бронзой памятников Гнева и Скорби павшим защитникам Родины.

Где елей искалеченные руки
Взывали к мщенью — зеленеет ель,
И там, где сердце ныло от разлуки, —
Там мать поет, качая колыбель.

Ты стала вновь могучей и свободной,
Страна моя!

Но живы навсегда
В сокровищнице памяти народной
Войной испелеленные года.

Для мирной жизни юных поколений,
От Каспия и до полярных льдов,
Как памятники выжженных селений,
Встают громады новых городов.

Она успела это увидеть, успела об этом сказать и точно, и впечатляюще просто. В сентябре 1941 года, в блокадном Ленинграде, вместе со всеми, с противоголом, перекинутым через плечо, она дежурила на крыше, а в 1950 году, тоже вместе со всеми, сажала тоненькие побеги лип на топкой и пустынной косе, где теперь «десятки быстрокрылых легких яхт на воле тешатся... Да, это парк Победы».

Анна Андреевна Ахматова была великой труженицей. Кроме лирики, она оставила нам прекрасные исследования, посвященные Александру Сергеевичу Пушкину, литературные воспоминания о сверстниках, «Поэму без героя» и «Реквием» — страницы высокой Правды Времени и Поэзии. Она много и плодотворно занималась переводами, на которых лежит отличительная печать ее вкуса и мастерства.

Строгий и вразумительный голос Ахматовой, исполненный глубинного мужества, нельзя спутать с другими голосами блистательных поэтов двадцатого века. Он очень индивидуален и вызвал целую волну подражаний, столь назойливую, что Ахматова сама обратила на нее внимание в «Эпиграмме»:

Могла ли Биче, словно Дант, творить,
Или Лаура жар любви восславить?
Я научила женщин говорить...
Но, боже, как их замолчать заставить!

Талант Ахматовой был мудрым и хорошо знал, что подражание губит поэзию, разъедает ее своей мнимой значимостью и общедоступностью. Крест индивидуальности таланта — очень трудный крест, избавиться от него нельзя, и Анна Андреевна Ахматова несла его до конца своих дней. Он был ее мукой и утешением одновременно.

Многое еще, наверно, хочет
Быть воспетым голосом моим:

То, что, бессловесное, грохочет,
Иль во тьме подземный камень точит,
Иль пробивается сквозь дым.
У меня не выяснены счеты
С пламенем, и востром, и водой...
Оттого-то мне мои дремоты
Вдруг такие распахнут ворота
И ведут за утренней звездой.

Когда ее возраст пересек семидесятилетнюю черту, когда ее черная челка, спускавшаяся на прямые строгие брови, освещенная зеленовато-сероватым светом удлинённых глаз, побелела и откинулась на затылок, обнажив прекрасный высокий лоб, когда ее походка стала подчеркнута степенной, к ней пришла слава, уже основательно верная, а не ветреная, как прежде, пришла и неотступно следовала за ней. Она ее не прогоняла и даже не иронизировала над нею. Она принимала ее как должное, без охов и ахов, с полным сознанием своего достоинства.

Уходи опять в ночные чащи,
Там поет бродяга — соловей,
Слаще меда, земляники слаще,
Даже слаще ревности моей.

За два года до смерти Ахматова побывала в Италии, за год — на родине Шекспира. В Италии ей вручили премию «Этна-Таормина», в Англии — диплом почетного доктора Оксфордского университета. Она и это приняла как должное.

В 1965 году в издательстве «Советский писатель» в Ленинграде вышел однотомник ее стихотворений и поэм — объемистый том в белой суперобложке с рисунком, сделанным во времена «Вечера» и «Четок» в Париже ее итальянским другом художником Модильяни. Ахматова назвала однотомник «Бег времени».

Бег времени ее судьбы, ее жизни, ее поэзии завершался. Череда уходящих в глубь прошлого событий сделала Ахматову заметнее в мире не только поэзии, но и самой жизни.

Она не сетовала на возраст. Она и старость принимала как должное. Она была жизнестойкой, как татарник, пробивалась к солнцу жизни из-под всех развалин, вопреки всему — и оставалась собой.

А я иду, где ничего не надо,
Где самый милый спутник — только тень,
И веет ветер из глухого сада,
А под ногой могильная сгущень.

Двадцать лет назад в промозглый мартовский день я стоял у ее изголовья и смотрел на ее гордое лицо с неподвижными ресницами. Я не знал тогда, да и теперь не знаю, какие тени витали над ее прекрасным лбом и плотно сжатыми губами, что эти тени хотели сказать ей, что она могла им ответить... А воображать... воображать в минуты прощания не положено.

Мы ее похоронили под Ленинградом, в поселке Комарово на Карельском перешейке, на кладбище среди соснового леса. И летом и зимой на ее могиле всегда лежат живые цветы. Розы. Ландыши. Цикламены. И ромашки тоже. Дорожка к ее могиле не зарастает травой летом и не заносится снегом зимой. Ветер с залива шумит в вершинах сосен, и они разговаривают, чуть раскачиваясь, между собою о чем-то своем, недоступном нам, людям. К ней приходят и юность, и старость, приходят женщины и мужчины. Для многих она стала необходимостью. Для многих ей еще предстоит необходимостью стать.

Такая у нее участь. Ведь истинный поэт живет очень долго и после смерти своей. И люди будут идти сюда долго, очень долго.

Будто там впереди не могила,
А таинственной лестницы взлет.

Мужество Правды и Поэзии ничего не боялось и не боится, даже бессмертия. Оно выдержит и это испытание.
1985

ЗАЧАРОВАННАЯ ГЛУБИНА

«Иногда мне кажется, что я жил несколько жизней» — эти слова Николая Семеновича Тихонова можно полностью отнести к жизни и к творческой судьбе его доброго товарища Всеволода Александровича Рождественского, редкостного по мастерству поэта.

Одну из последних своих книг Всеволод Рождественский назвал просто и справедливо — «Страна молодости». Страна молодости — страна поэзии. И он, Всеволод Александрович, — верный подданный этой необыкновенной страны. Долгие годы собирал он по слову и образу свой подарок этой стране, вплетая собственную судьбу в ее неистовый и разноголосый хор.

Ты у моей стояла колыбели,
Твой я песни слышал в полусне,
Ты ласточек дарила мне в апреле,
Сквозь дождик солнцем улыбалась мне —

так он писал о родной природе, отождествляя ее с поэзией, пронося через все испытания жизни свое отношение к миру, свой характер, раз навсегда уверовав в определенность своих принципов.

Всеволод Рождественский был истинным поэтом. И, наверное, то, что он родился в Царском Селе, где директором гимназии, в которой он учился, был Иннокентий Анненский, где в тенистых липовых садах еще слышался голос юного Пушкина на переключке лицейстов и в зеркальных заводях прудов можно было увидеть курчавое великолепие певелюры Пушкина, — наверное, все это способствовало проявлению его собственного таланта и вкуса.

Потом Царское Село превратилось в Детское Село, а он, Всеволод Рождественский, из долгоязого студента-филолога стал добровольным защитником Петрограда от банд Юденича, навсегда соединив свою жизнь и поэтическую судьбу с победившей революцией. Он учился в университете вместе с Ларисой Рейснер и жил в одной комнате с гусаром Николаем Тихоновым. С Тихоновым они оставались всю жизнь верными друзьями, каждый своим путем отыскивая дорогу к общей вершине человеческого праздника. Они любили свой город, его историю со всей восторженностью молодости, со всей верой поэзии в его грядущее.

Быть может, ветры Балтики суровой
Взрастили в нем, закованном в гранит,
Огонь мечты о солнце жизни новой
И веру в то, что Правда победит.

Отцов наследьем, шедшим издалека,
Жила неугасимой до конца
Она в метелях Александра Блока
И в свисте пуль у Зимнего дворца.

Эту юношескую возвышенную любовь к своему городу, к его поэтам и поэзии Всеволод Рождественский сохранил в душе навсегда.

Алексей Максимович Горький, понимая толк в молодых талантливых людях, не зря привлек Всеволода Рождественского для работы в издательстве «Всемирная литература». Тогда-то Рождественский начал переводить

французских поэтов, находя в песнях Пьера-Жана Беранже и в стихах Виктора Гюго подтвержденные исторической правды победившей русской революции.

Всеволод Рождественский шел рука об руку с Александром Блоком, олицетворившим собой для него все разумное и прекрасное в душе интеллигенции старой России. Восхищаясь пророческой судьбой и характером Блока, он учился находить свое место в движении времени, учился отдавать свой талант торжеству правды своего народа и его великого языка, на котором разговаривала революция.

В течение полувека как переводчик Всеволод Рождественский участвовал в благородной деятельности сближения народов, укрепления их братства. Пример тому — книга его переводов из французских поэтов, выпущенная издательством «Прогресс» в библиотеке «Мастеров поэтического перевода» (она вышла уже после смерти В. А. Рождественского), и другие книги. Может быть, по скромности и мягкости своего характера Всеволод Александрович Рождественский и не думал о столь высоком назначении своей переводческой работы, своего творческого вклада в расширение поэтических горизонтов русского языка, — и тем не менее он оставил после себя доброе, живое наследство продолжения и развития высоких традиций, завещанных отечественной поэзии Василием Андреевичем Жуковским.

Каждый настоящий художник по-своему убеждается в том, что все прекрасное в многообразной духовной деятельности человека — и в поэзии тоже — рождается на перекрестках. Дом поэта — дом с распахнутыми дверьми. Замкнутость в себе приводит к вырождению песни и души. И судьба Всеволода Рождественского в своей завершенности предстает перед нами как пример разумного использования таланта, умения находить подходящие для него перекрестки и оставлять на них свой немеркнущий свет.

До конца Всеволод Рождественский оставался верен доброй старой истине, о которой когда-то написал:

Ничего нет на свете прекрасней дороги!

И это поэтическое ощущение движения времени и пространства было почвой его лирики.

Для него поэзия всегда была зачарованной глубиной,

и эта зачарованность стала сутью его собственной поэзии и запечатленного в ней мира светлой мечты, светлого чувства, облаченного в светлые тона акварельных красок радуги.

На его глазах шумно возникали и гибли в беспочвенности всевозможные «школы» и «направления». А он придерживался всегда строгой традиционности опробованного временем русского классического стиха. Ему больше был по сердцу не водопад, а плавное течение. И если уж говорить о каких-то специфических особенностях его поэтических книг, то они как раз и заключены, на мой взгляд, в его особой влюбленности в русский язык, в его волшебное звучание, в его емкость и плавность. Это любовь врожденная, как сам талант.

Стихи Всеволода Александровича Рождественского просты и напевны. В них есть глубокий оптимизм красоты жизни и прикрытое сдержанностью красок и чувств беспокойство. И его в самом деле можно угодить той самой ромашке, которая в тихих руках девушки умеет говорить последним лепестком только одно слово: «любит». Он умеет это делать благородно и незаметно, и здесь не предвзятость воли, а естественность характера самого поэта, знающего цену человеческого добра и умеющего излучать добро светом своей поэзии.

Он не бросок и не велеречив, но есть в этой его неброскости, как в самом среднерусском пейзаже, своя ни с чем не сравнимая глубина прекрасного чувства сосредоточенности и возвышенной гармонии.

Уроки Пушкина и Лермонтова, Некрасова и Блока запали глубоко-глубоко и, найдя подходящую почву, помогли слепить характер его собственной поэзии, выявив в его голосе свойственное ему звучание.

Всеми своими корнями — и поэтическими и гражданскими — Всеволод Александрович Рождественский был истинным ленинградцем. Его жизнь прошла на берегах Невы, связанная самым неразрывным образом со всеми ошеломившими мир событиями, которые здесь происходили.

Он защищал этот город во время гражданской войны, он словом своим и оружием помогал солдатам и ленинградцам в тяжелые дни фашистской блокады. Именно тогда, в блокадном Ленинграде, я и познакомился с ним.

Я всегда дивился его огромной, но незаметной деятельности. Он был постоянно в работе. Он излучал энер-

гию добра. Его глаза светились, опережая желания тех глаз, в которые он всматривался.

Он все любил делать добротню. Был надежен в своих отношениях со словом и с людьми. И слово и люди относились к нему ответно с абсолютным доверием.

Добрый, человечный талант Всеволода Рождественского продолжает жить в нашей поэзии. В сменяющихся волнах ее тепла есть его энергия. И так легко, при небольшой доле воображения, представить себе самого поэта:

Снова в печке огонь шевелится,
Кот клубочком свернулся в тепле,
И от лампы зеленой ложится
Ровный круг на вечернем столе.

Можно заглянуть в этот ровный круг, на белые листы, испещренные четким, прямым, разборчивым почерком, — ведь у поэтов секретов нет.

1976

ОБЫКНОВЕННОЕ ВОЛШЕБСТВО

В суеде повседневности многие из нас не замечают удивительности обычного и теряют ощущение праздничности мира, создают вокруг себя этой собственной невнимательностью атмосферу пустоты. Я всегда начинал думать об этом после встреч и бесед с Иваном Сергеевичем Соколовым-Микитовым, где бы они ни происходили: на шумной улице, или за столиком добрых друзей в каком-нибудь тихом уголке пивной, или в его рабочем кабинете, похожем на кабинет лесоведа и зоолога, не успевшего разобрать свою коллекцию, пахнущую лесом, степью, морским побережьем и тонким ароматом капитанского табака.

Как невозможно сказать о воздухе, которым ты дышишь все время, что ты любишь его, так и мне, как, впрочем, и всем, кто общался и общается с книгами Ивана Сергеевича, трудно сказать, что я люблю его творчество. Потому что это признание не будет полностью выражать сложный комплекс естественных взаимоотношений писателя и читателя.

Он пришел в мою жизнь давно, с первыми книгами, с первым удивлением печатному слову, со сказками Пушкина, с рассказами Тургенева, со стихами Есенина. Он

был со мной с детства и юности в самой атмосфере русской литературы, которой я дышал взахлеб, жадно, не замечая благотворного влияния этой атмосферы, воспринимая ее как должное. И потом, когда в 1945 году, после войны и блокады, пробуя сам водить пером по бумаге, я встретился с ним лично и понял по лукавинке в глубине его синих глаз его доброе ко мне отношение, мне стало не легче, а свободнее.

Вся его ладная фигура, неторопливость движений, обстоятельность и немногословность речи, аккуратно подстриженная бородка, потухшая трубочка в углу доброго рта и крепкие руки мастерового, держащие эту трубочку, как бы подчеркивали запомнившуюся нам фразу из его рассказа «Чарши»: «Я счастлив тем, что простые люди меня любят и я люблю людей, что не был я никогда на земле одинок».

Чтобы сказать это, надо было обладать громадным запасом внутренней нравственной силы, опытом познания людей, собственным опытом жизни, надо было матросом на торговом судне избороздить земные океаны, с двустволкой за плечом пройти по теплой земле Родины от Шпицбергена до Ленкорани, надо было быть братом милосердия, мотористом на первом русском бомбардировщике «Илья Муромец», журналистом при спасении ледокола «Малыгин» в полярных льдах. Надо было пройти через трагедию одиночества и невосполнимых потерь и остаться самим собой.

Его друзьями были Куприн и Грин, Ремизов и Бунин, Ольга Форш и Федин, Пришвин и Паустовский. Точные слова о его человеческой мудрости написал его земляк Александр Твардовский. Он и его книги — это живая связь, продолжение волшебной русской классики на почве победившей революции. Он очень русский писатель, с необычайно чутким чувством языка, умеющий виртуозно владеть этим языком и быть его редчайшим мастером.

Его книги любезны и необходимы любому возрасту. В них огромный запас добра и любви к людям, к природе, к живой прелести жизни. Он смотрит на мир синими глазами удивления. Он знает: там, где кончается удивление, кончается художник.

Я помню его последние годы. Борода его была совсем белая, но он волновался всеми сложными тревогами современного мира.

Иван Сергеевич поселился в Карачарове под Москвой,

на Волге, в бревенчатом домике, окруженном лесом, и в нем еще жило желание походить по этой милой земле в поисках обыкновенного удивления.

— Но знаете, — говорил он, и его крепкая рука неуверенно нащупывала на столе спичечный коробок и подносила пламя спички к потухшей трубке, и на меня вместо глаз смотрели черные очки темной печали, — но знаете, — повторял он, — мне снятся цветные сны, дороги и птицы, а когда я просыпаюсь — в глазах туман. А с этой штукой, — он указывал на магнитофон, — я еще не успел свыкнуться.

И все-таки он продолжал работать.

У меня на столе четырехтомное собрание сочинений Ивана Сергеевича Соколова-Микитова — четыре колодца живой воды. В могучем потоке русской литературы есть его частица — частица обыкновенного волшебства.

1979

СЛУЖЕНИЕ ПОЭЗИИ

Вся жизнь Владимира Николаевича Орлова была посвящена Поэзии.

Он сам, по своей влюбленности, выбрал эту судьбу и служил Поэзии как рыцарь до конца дней.

Он написал более двух десятков книг и сотни статей, посвященных русской дореволюционной и советской поэзии, писал о поэтах-декабристах, Павле Катенине и Денисе Давыдове, Языкове и Полонском, писал о Радищеве и Грибоедове, был пристально внимателен к грузинской поэзии, любил Кайсына Кулиева и Павла Антокольского, они были его друзьями.

Но самой главной, самой большой любовью Владимира Николаевича — исследователя, ученого, литератора, просто человека был Александр Блок. Он отдал Блоку больше пятидесяти лет из семидесяти семи, которые прожил. Отдал Блоку свой талант, свою полемическую страсть, свою веру в поэзию и ее назначение. Он стал пронагандистом Блока, самым последовательным и верным, и в том, что творчество поэта стало всенародным достоянием, что его знают далеко за рубежами нашей Родины, большая заслуга прежде всего Владимира Николаевича. Он кропотливо работал над текстами Блока, настойчиво собирал блоковское наследие. Многие издания

Блока вышли с комментариями и вступительными статьями В. Н. Орлова. О Блоке написаны его книги «Гамаюн», «Поэт и город», «Здравствуйте, Александр Блок» — последняя его работа.

О «Гамаюне» хочется сказать особо. О поэте, очевидно, надо писать на уровне вершин его прозрения. Такие книги редки, как редки сами поэты. В. Н. Орлов написал прекрасную книгу. Она читалась «нарасхват», когда в отрывках печаталась в журнале «Дружба народов», весь тираж отдельного издания «Гамаюна» разошелся молниеносно. Трудно определить жанр этой книги, да, наверное, и незачем это делать. «Гамаюн» — книга о судьбе поэта Революции, написанная поэтической душой, влюбленной в эту судьбу. И воздух прекрасной влюбленности, струясь в каждой строке, делает книгу приметной не только в нашем литературоведении, не только в нашей литературе, но в самой культуре того самого языка, на котором пела и разговаривала наша Революция. Книга об Александре Блоке учит добру и свету, свободе, ответственности и любви к бесконечному миру на живой конкретности священного понятия Родины. Это книга о подвиге России, о неиссякаемом творческом духе ее народа и его поэзии.

«...для меня Блок еще весь в будущем, — писал В. Н. Орлов. — Он нескончаем, как все великое в искусстве. Для множества людей он начинается только сегодня, для других, которых будет еще больше, начнется завтра». Думая об этих людях, Владимир Николаевич сделал очень много для организации музея-квартиры Блока в Ленинграде. Он подарил музею редчайшую библиотеку русской поэзии начала XX века вместе с коллекцией картин и рисунков, посвященных Блоку и его времени. Эти сокровища покинули кабинет Владимира Николаевича в доме № 1 по улице Желябова, с тем чтобы навсегда обосноваться в одной из комнат последней квартиры Блока на Пряжке. Это последнее, что сделал В. Н. Орлов для Блока, для всех, кто еще откроет для себя великого поэта России.

Пример служения Владимира Николаевича Орлова отечественной культуре, русской поэзии редкостен и неповторим. Он был создателем уникального издания «Библиотека поэта». В бытность Владимира Николаевича главным редактором «Библиотеки поэта» в Большой и Малой ее сериях вышли десятки замечательных книг — это был золотой век «Библиотеки».

Собственными стихами Владимир Николаевич занимался всю жизнь, но от случая к случаю, считая это занятие своеобразным отдыхом души. И все же прирожденный вкус к слову, просвещенность, глубочайшее знание и понимание поэзии делают, как мне кажется, собственные поэтические опыты В. Н. Орлова достойными нашего внимания. Он не печатал свои стихи в периодической печати, но год за годом собирал, выстраивал и выверял книгу. Складывалась книга поэтических замет времени, связанных его душевной логикой, определенной последовательностью, книга, отражающая связи его духовного мира с жизнью.

Он понимал, из каких мелочей житейской прозы растет сама поэзия, понимал это не только как исследователь, но и как поэт. Он писал:

Я был в той комнате, где умер Блок.
Я видел в ней заветный уголок,
Где на стене висит портрет поэта,
Под ним сухая ветка бересклета.

Посреди мещанского уюта
(Его так тонко понимал поэт!)
Искусство помогает жить кому-то —
И для него удела выше нет!

Жизнь Владимира Николаевича Орлова была исполнена благородного смысла. Вся она — служение Поэзии. И сборник собственных его стихотворений «Дым от костра» открывает одну из граней личности В. Н. Орлова и венчает его преданность делу всей жизни.

1987

ХРАНИТЕЛЬ ЛУКОМОРЬЯ

Наверное, влюбленность в дело
И есть поэзия сама.

«Письмо в Михайловское»

Удивительными людьми держится мир, его история, его культура. Удивительные люди встречаются не часто, но все-таки встречаются, и от общения с ними, от их присутствия в нашей жизни хочется жить, тратить себя полней и целесообразней, вглядываться внимательнее в души людей, находить в них искры творческого начала и приобщать их к общему свету.

Это правда: не место красит человека, а человек место. Но иногда и само место очарованием своим облагораживает человека, делает его лучше, выше, значительней. Это — обоюдная связь.

Прекрасны в северо-западной полосе России пушкинские места — эта древняя земля, густо засеянная костями и политая кровью доблестных наших предков. Есть в этих бесконечных холмах и курганах, поросших сосновыми перелесками и березовыми рощами, заглядывающими в тишайшие воды бесчисленных озер западных отрогов Валдайской возвышенности, особая, умудряющая и уравновешивающая человека красота.

Эти места когда-то очаровали Пушкина, а он очаровал ими нас в своих стихах.

Не будь в судьбе Пушкина Михайловского, у нас, наверно, не было бы того Пушкина, которым мы дышим с детства.

Рядовой минометного расчета Семен Гейченко не дошел до Пушкинских Гор и не участвовал в боях за эту святую землю.

Его тяжело ранило под Новгородом. Форсировать Великую и Сороть, штурмовать Тригорское и Михайловское, врываться в Святогорский монастырь пришлось другим.

А бои в этих местах были жестокие. Какое дело было фашистам до святынь русской культуры!

Под знаменитым дубом в Тригорском, под тем самым дубом, при виде которого губы невольно шепчут: «У лукоморья дуб зеленый...», они сделали блиндаж. Само Михайловское было превращено в узел обороны, парк перерыв ходами сообщения, в доме Пушкина была огневая позиция артиллеристов, колокольня в Святогорском монастыре была взорвана, а могила Пушкина заминирована.

Огонь, дым, пепел да золу, искореженную, оплетенную ржавой колючей проволокой, начиненную минами землю — вот что оставили, отступая, фашисты.

Вместо заповедника — пустыня. Рваная незатянувшаяся рана, боль и мертвая тишина.

Бывший тогда президентом Академии наук Сергей Иванович Вавилов по старой памяти, через верных друзей разыскал Семена Степановича Гейченко. Он знал его давно как работника Пушкинского дома, как хранителя петергофских дворцов; ценил этого не ведающего покоя ученого, умеющего мыслить и действовать.

— ...Я надеюсь на вас. Беритесь. Восстанавливайте! — сказал Сергей Иванович, заканчивая беседу с Гейченко.

Стоял апрель 1945 года. Война подходила к Берлину во всей своей нарастающей силе и беспощадности. Земля оживала. Ее оживлял обретающий свое истинное призвание человек.

В это время на попутных машинах, с вещмешком за плечами, по разъезженной, перевороченной железным тараном войны дороге и приехал в Пушкинские Горы Семен Степанович Гейченко. Приехал, чтобы остаться здесь навсегда. Никаких «или» не могло быть. Только навсегда!

Надо было расчистить, разгрести эту опоганенную войной землю и на пепле восстановить все так, как было при Пушкине. Это понимали все, об этом говорилось и в предписании Академии наук. Надо было восстановить равновесие и в собственной искореженной войной душе, восстановить эту душу, — об этом знал только он сам да, может быть, догадывалась жена, Любовь Джелаловна, которая приехала к нему вскоре.

Надо было найти в себе силы для этого двойного подвига.

Он отлично понимал, что восстанавливать гораздо трудней, чем строить наново. Но для него слово было делом.

— Ну что ж, милый, начнем... — сказал он не то себе, не то первому скворцу, которого увидел в чудом сохранившейся скворечне на полуобгорелой, иссеченной осколками березе, одиноко стоящей у развалин фундамента домика няни. — Тебе-то легче, у тебя есть скворечник, а у меня ничего нет. Ну, хоть ты пой — все-таки веселее...

За скворцами прилетели утки, цапли. Два аиста облюбовали старую ганнибаловскую липу со сбитой снарядом верхушкой и начали вить гнездо. Запела серебряную песню иволга.

— Раз аисты прилетели, значит, все будет! — это сказала тетя Шура Федорова, а может быть, дядя Леня Бельков, только что вернувшийся после ранения из госпиталя, а может быть, Вася Шпннев — мастер на все руки. Все они — местные жители, и Пушкин был для них своим, родным человеком. И всем им надо налаживать свои жизни на этом пустом месте.

Трава пошла в рост. Посеченные осколками березки пускали новые побеги. На треть подпиленная могучая сосна, на которой был наблюдательный пункт и которую фа-

шписты не успели срезать, заплывала смолой и оживала. Из-под векового дуба в Тригорском по бревнышку был вытащен весь блиндаж, а пустое пространство забито землей и навозом. И дуб стал охорашиваться, и при некоторой доле воображения в его зеленых листьях можно было заметить скрывающихся русалок.

Могила Александра Сергеевича от взрыва оползла, и каменный склеп пришлось перекаладывать заново и укреплять. Все кругом растащено, разгромлено, разворовано фашистами. Но директор заповедника и люди, работающие с ним, верили святой верой в то, что все будет так, как было, и не жалели для этого сил, работая от зари до зари.

Первым был восстановлен домик няни.

И тетя Шура, полушутя-полусерьезно изображая Арину Родионовну, села у окна светелки, подперла двумя пальчиками щеку и певучим голосом сказала:

— Вот, бывало, зайдет сюда ко мне Александр Сергеевич и скажет: «А не выпить ли нам, Арина Родионовна?» — «Что ж, — отвечала я, — это можно...» — и шла в погребок за наливочкой, а погребок-то вот тут рядом, под окошком, и был.

Теперь этот погребок тоже восстановлен.

В 1949 году был построен дом Пушкина и состоялось торжественное открытие заповедника.

Я хорошо помню прекрасный полнокровный июньский день Пушкинского народного праздника. Я нарочно подчеркиваю народного, потому что на нем, в этот благословенный день, наполненный солнцем и грозой, ливнями света и радугами, свистом птиц и пересверком молний, всех — и почтенного академика, и колхозника — объединяла одна святая любовь к чуду своего народа, к чуду своего языка — к вечному Пушкину.

Со всех континентов на это неумирающее торжество поэзии съехались поэты, и их разноязычные голоса, усиленные репродукторами, звенели в промытой буйной зелени, и к ним прислушивались пестрые праздничные толпы людей, и в самом Святогорском, около могилы поэта, и в Михайловском, на широком лугу у входа в усадьбу.

Я запомнил на всю жизнь, как люди входили в домик Арины Родионовны, — разувшись, чтобы не запачкать полы и не спугнуть святой тишины.

И среди этой праздничной, восхищенной и зачарованной толпы то тут, то там мелькала сухая высокая фигура

резкого в движениях человека с выразительным острым лицом, с доброй улыбкой и густым напылом русых волос, спадающих на глаза. Он то и дело поправлял их или единственной правой рукой, или характерным взмахом головы. Он объяснял, советовал, показывал. Он весь был в движении. И глубокое чувство удовлетворенности содеянным, может быть даже неосознанное, делало его прекрасным.

Я залюбовался им.

Потом жизнь подарила мне Семена Степановича в друзья. И от этой дружбы я стал богаче, уверенней в жизни, наполненной.

И сам Пушкин стал для меня другим, куда более глубоким и многообразным, куда более трагическим в своем одиночестве. Только здесь во всей полноте я понял, насколько Пушкин народен.

Сколько раз я бывал в Михайловском, мне теперь уже и не припомнить. Я ездил туда ежегодно и зимой, и летом, и ранней весной, и в пору золотой осени. Ездил как к себе домой. Сколько вечеров мы прокоротали за разговорами около лежанки в заставленной книжными полками квартире Семена Степановича или гуляя по тропинкам и аллеям заповедных парков и лесов. Мне всегда там хорошо работалось, хорошо думалось и о мире, и о людях.

Сейчас в самом Михайловском, в Тригорском и в Святогорском монастыре восстановлено все. Летом 1977 года открылось Петровское, — и все стало как при Пушкине.

Важна даже не точность реставрации, важно то, что восстановлен сам дух природы, которая когда-то очаровала Пушкина. «Ель-шатер» рухнула, посеченная во время войны пулями и осколками, липы на аллее Керн подозрительно скрипят во время ветра, а иногда и падают замертво, — что поделаешь, деревья тоже старятся, — но вместо них растет новая поросль. На месте трех сосен поднимаются вершинами другое «племя, младое, незнакомое», похожее на то, которое видел сам Пушкин.

Оно от одних и тех же корней, из одних и тех же семян.

Четверть века отдал Семен Степанович Пушкинскому заповеднику. Хозяйство у него беспокойное, и, конечно, все, что он делал и делает, он делает не один, он умеет заражать своим беспокойством окружающих. Он сумел породнить своих товарищей по труду с Пушкиным, внушил им любовь к жизни справедливой и вечной. Это он

заставил полуграмотного парня Васю Шпинева закончить десятилетку, а потом и Псковский педагогический институт, и теперь Василий Шпинев — хранитель заповедника, человек с обширными познаниями.

Число паломников Пушкинского заповедника давно перевалило за семизначную цифру. Сюда идут и едут со всей страны, со всего света.

Здесь ведется громадная воспитательная и научная работа.

Здесь всегда гостят ученые, поэты, писатели, художники, музыканты, студенты.

Здесь идет приобщение народа к духу творчества.

Экскурсия по заповедным пушкинским местам не просто экскурсия, а погружение в прекрасную пушкинскую душу.

А сколько этих экскурсий провел сам Семен Степанович!

Он знает Пушкина, как никто. Знает по-своему.

В его отлично систематизированном, уникальном по своим материалам архиве собраны рассказы старожилов обо всем, что касается жизни самого поэта и его друзей.

Этот материал ждет обработки и, наверное, будет сформирован в книгу. В поисках материалов была искожена и изъезжена вдоль и поперек вся округа и Пушкинского района, и Себежского, и Новоржевского.

Семен Степанович стал в этих местах своим человеком, заслужившим по достоинству и уважение и доверие. Он посвятил Пушкину свою судьбу, талант, страсть. Только он да ближайшие сотрудники его знают, сколько трудов положено на поиски каждой пушкинской реликвии, выставленной в витринах заповедника.

Прекрасное очень тяжело создавать. Но ради этого стоит жить! Ради этого и живет хранитель пушкинского лукоморья, редкостный человек — Семен Степанович Гейченко.

Одаренность, талантливость никогда не бывают односторонними. Гейченко написал книгу «У лукоморья» — и состоялось рождение нового писателя, умеющего не только увлекательно рассказать об исторических фактах, но и наделенного редкой способностью «начинать работу там, где кончается документ», умеющего домысливать, придумывать, воображать, как в рассказе «Из дневника игумена Святогорской обители» и других, касающихся жизни

Пушкина в Михайловском, — одним словом, писателя, знающего и понимающего великое чудо жизни.

Первое издание книги «У лукоморья» вышло в 1971 году и сразу же стало библиографической редкостью, так же как и второе издание. Внимание и доброжелательной заинтересованности, с которыми она была встречена и читателями и рецензентами, могла бы, без преувеличения, позавидовать любая книга.

Да наверняка и третье издание, дополненное новыми рассказами, не будет последним, и книга будет расти вместе с читательским к ней интересом. Она по-настоящему полюбилась самым различным людям, тем, кому дорога поэзия, наш Пушкин и русское слово, несущее в тревожный мир свет и гармонию.

1973

ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА

Кроме Некрасова, Пушкина и Лермонтова, мне попалась в детстве еще книга сочинений Василия Андреевича Жуковского, и через эту прекрасную книгу мой мир деревенского мальчишки расширился до бесконечности. Со мной на русском языке заговорили Гомер и Байрон, Гёте и Шиллер, моими героями стали Шильонский узник и Ундина, Наль и Дамаянты, таинственная Лесной царь и ужасный скупердядя епископ Гаттон, которого в наказание за его скупость съели мыши, и мне не было его жалко.

Так начался мой праздник. Я был счастлив от этого общения, счастлив своей наполненностью поэзией всех времен и народов. Лучшего подарка для моего воображения тогда не было и не могло быть.

Меня поражало, как это мог Василий Андреевич Жуковский сделать одну такую грандиозную работу. Я и сейчас поражаюсь этому подвигу Жуковского-переводчика. Он, по сути дела, тогдашнюю просвещенную Россию познакомил с образцами мировой поэзии, и сделал это блистательно, и тем самым, как мне представляется сейчас, подготовил ту благодатную почву, на которой мог возникнуть наш национальный гений Александр Сергеевич Пушкин.

Я благодарен Жуковскому за это открытие праздника, которым живу по сей день.

Кажется, Шиллер сказал о том, что «человек, который нужен был лучшим людям своего времени, — нужен для всех времен». Наверное, это мудрое суждение надо отнести к судьбе нашего Жуковского, так прекрасно переложившего на русский язык шиллеровскую балладу «Кубок», этот образец перевода самой сути стиха и для современных переводчиков.

Здесь, пожалуй, уместно вспомнить высказывание самого Жуковского о переводе. «Переводчик в прозе — раб, — писал он, — а в поэзии — соперник». Жуковский всегда придерживался неукоснительнейшим образом этого правила в своей совершенной до филигранности работе. Я это

говоря потому, что Жуковский примером своего подвижничества сделал и меня переводчиком. Я переводил стихи моих друзей Мустая Карима и Кайсына Кулиева — поэтов одной со мною солдатской судьбы. Переводил классика грузинской литературы, прекрасного лирика Николоза Бараташвили, уже до меня переведенного Борисом Пастернаком, но настолько зачаровавшего меня своими стихами, что захотелось попробовать сделать и свой вариант русского Бараташвили: ведь одно дело читать переводы, другое дело — переводить, как бы соучаствовать в самом процессе творчества и наблюдать, как у тебя на глазах, рождаясь, вырастает дерево стихотворения. Это очень трудно и радостно...

Переводил я и лирику классика армянской литературы Аветика Исаакяна. Переводил современных друзей-поэтов и находил в этой работе высокую радость и удовлетворение.

Перевод поэзии очень важен, он сближает культуры народов, воплощая в жизнь мечту Александра Сергеевича Пушкина о том времени, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся». Без этой пушкинской мечты жить сейчас нельзя.

1979

ВЕРШИНА НИКОЛОЗА БАРАТАШВИЛИ

В могучем древнем хребте великой культуры грузинского народа, где-то рядом с вершиной творческого гения Шота Руставели, освобождаясь от облаков забвения, начинает все ярче блистать наследие Николоза Бараташвили, ибо великие поэты тем и велики, что они всегда современны.

Он умер в 1845 году, очень молодым, на двадцать восьмом году жизни, вдалеке от родины.

При жизни не было напечатано ни одной его строчки. И то, что дошло до нас из его наследия, сохранилось чудом. Судьба его схожа с трагической судьбой Лермонтова. Когда читаешь его великолепную лирику, невольно возникает предположение, что он встречался с Лермонтовым и пил с ним из одной чаши, беседуя как равный с равным о проблемах мятущейся в поисках правды человеческой души, о гордом национальном достоинстве сво-

его народа, о возвышенной любви к жизни и к женщине.

Когда ему было всего-навсего двадцать один год, он написал поэму «Судьба Грузии» — пророчество и откровение для своего народа. В те сложнейшие времена он нашел в себе внутреннюю силу и собранность сказать в этой поэме устами царя Ираклия: «Свою защиту, знаю наперед, в России только Грузия найдет!» Политик и историк видят в этом государственную и политическую провидательность, поэт увидит за этими словами всю боль и надежду, с которыми они написаны, и поймет, насколько был храбр и гениален поэт, их написавший.

Творчество Николоза Бараташвили, отмеченное зрелостью мысли и масштабностью, освещено высоким светом трагедии его возвышенной души и трагического одиночества его жизни. Талант без опыта жизни — это инструмент без матерпала. За каждым словом Николоза Бараташвили стоит выстраданность.

Он брат по духу Лермонтову, Байрону, Леопарди. Он, как истинный сын своей возлюбленной Грузии, становится сейчас, к нашей общей радости, сыном Земли, ее братства.

Я переводил его стихи для того, чтобы узнать его изнутри, чтобы протянуть ниточку духовного родства из глубины тех времен к современникам, и, чего греха таить, мне хотелось самому сдуть облака с его вершины, с той стороны, которой она обращена к северу, чтоб мои соотечественники лишней раз убедились, насколько эта вершина прекрасна.

Эта вершина нужна всему миру, потому что на прекрасном растут лучшие человеческие качества — мужество, храбрость, братство.

1974

ПОИСК ИСТИНЫ

Я только что прочел «Книгу скорби» Григора Нарекаци в рифмованном переводе на русский язык, выполненном Наумом Гребневым, причем в книге переводу сопутствует текст на гребаре и некоторые главы в подстрочном переводе. Перевод сделан выборочно, но тем не менее он дает представление о величии и великих терзаниях творческого духа автора, пытающегося дойти до сути истины, поэтому даже религиозные догмы и постулаты, осмыслен-

ные с разных сторон пытливым разумом гения, превращаются из узаконенной неподвижности в живое биешие мысли, ищущей выхода.

Что такое знание? Что значит знать? — как бы спрашивает автор и всем своим страстным рассуждением, блестяще оправленным в образную систему сравнений и метафор, отвечает: знать — значит брать ответственность на себя. И в этом, как мне кажется, и есть первооснова современности «Книги скорби».

Он был монахом, этот мучающийся противоречиями своей души поэт и философ, Григор Нарекаци, и эхо его внутренней борьбы за справедливость Неба и Земли, Человека и Бога, отчеканенное в бронзе его поэзии, через десять столетий доходит до нас и поражает своей страстью, неистовым борением мыслей, отчаянием и страданием неотвратимого поиска истины, как будто «нет правды на земле, но правды нет и выше». Это не только слова из пушкинской трагедии, но и смысл «Книги скорби», та почва, на которой растут мучительные поиски творческого духа человечества и в нашем двадцатом столетии, и утверждение Нарекаци: «Горе грешнику, ходящему по двум стезям» — становится особенно понятным сегодня, овеванное горячим дыханием спотыкающейся от скорости истории.

Когда читаешь «Книгу скорби», поражаешься титанической силе Григора Нарекаци, ворочающего каменные глыбы вековечных устоев человеческой морали, и начинаешь понимать, что на этих камнях сомнений только и может расти зеленая трава истин человеческой жизни.

«Семь раз отмерь — один раз отрежь» — этим только и занимается автор «Книги скорби» в бесчисленных вариантах, в лабиринтах возможного и невозможного, пробираясь, продираясь через них к свету гармонии.

Дело не в том, находит он или не находит истину. Дело в методе, в запечатленном пути поиска, обрывающегося бездной, и, наверное, поэтому «Книга скорби» предстала передо мной как книга великого творческого мужества человека, отважившегося на этот подвиг во имя связи всех концов в один узел жизни.

Видимо, автор обладал какой-то нечеловеческой упорной силой настойчивости.

Свет его души, оставленный в его поэзии, оказывается, горит и сегодня и светит свершениям наших дней. Я думал об этом, когда смотрел прекрасную ленту ре-

жиссера Генриха Маляна «Наапет» о страдном пути мучений и предательствах, свалившихся на плечи одного человека, и его преодолении, о гордой человеческой сути, о человеческом начале в самой душе человека, умеющего сажать в возделанную им, его руками, каменистую землю семена самой жизни, семена мудрости и познания.

Слава несущему самый тяжкий груз на земле, груз познания человеческого рода!

Григор Нарекаци — поэт из храмовой библиотеки общечеловеческой культуры. Он есть хвала и честь армянского народа, его глубоких корней в прошлом, его ветвистой кроны в будущем. «Книга скорби» — это голубое высокое небо совести с чистым солнцем великой мысли в куполе, с солнцем беспокойной мысли, равно спасающей нас от ожирения бездарности и от патологии корысти.

1978

В ВЕНОК ОБЩЕЙ БЛАГОДАРНОСТИ

После человека остается его дело — мера его жизни и бессмертия.

Делом жизни Микаэла Налбандяна была мысль, облаченная в слово.

Его творческая беспокойная душа всей болью и надеждой, верой и пророчеством была обращена в грядущее, к нам с вами, его наследникам и продолжателям. Он был верев единственной и верной верностью судьбе своего народа. Налбандян сам выбрал этот путь. Он любил свободу сутью своей возвышенной природы и всей логикой разума понимал великую ответственность. Он умел чувствовать время и с вершины познания определять свое назначение в нем. Он знал раны Армении не хуже Абовяна. В неразрывной слитности с бедой и чаяниями своего народа Налбандян отдал ему в признательности любви и сочувствия весь огонь и пыл, всю страсть своей молодой жизни. Он поднимал народ на борьбу за правду и счастье жизни и приобщал его к братству всех народов. Он прославлял его истомленную историей сопротивления душу и сам занял, не думая об этом, достойное место в кругу благородных умов человечества.

Микаэл Налбандян был единомышленником Герцена и Чернышевского — предшественников Ленина. Он на-

звал Тараса Шевченко пророком свободы и не представлял себе, что стихи Тараса Григорьевича:

Без малодушной укоризны
Пройти мытарства трудной жизни,
Изведать пропасти страстей,
Понять на деле жизнь людей,
Прочесть все черные страницы,
Все беззаконные дела
И сохранить полет орла
И сердце чистой голубицы —
Се человек! —

лучше всяких характеристик обрисуют его, Микаэла Налбандяна, облик.

Он прошел страдный путь народного пророка, и сырые стены Петропавловской крепости не сломили его светлого человеческого духа, его мужества.

Из дальней дали шестидесятых годов прошлого века, с высокого берега Волги, из Камышина, с последнего причала жизни, Налбандян шлет нам свой огонь, свою надежду, свою боль и свое благословение. В песне нашей революции есть живой голос его души.

Микаэл Налбандян — рыцарь своего народа и человечества. Его судьба держит связь времен и поколений и учит мир мужеству слова и верности любви.

И современный человек, если он хочет не прозябать, а быть причастным к Прометееву огню, может обтачивать свой характер о кремень его души.

Его бессмертие там, где человек, возвышаясь над миром, умеет жертвовать собой ради грядущего праздника жизни.

И сегодня мы кладем в изголовье бессмертия Микаэла Налбандяна розы своей любви и печали.

1979

С ЖАВОРОНКОМ НА ПЛЕЧЕ

Поэзия есть праздник человеческого духа — самый удивительный праздник человека. На этом празднике блистают лучшие человеческие качества: великодушные и доброта, нежность и мужество, талант и мастерство, чувство времени и гармонии, чувство родства с людьми и со звездами и — любовь.

Поэзия высоко нравственна и откровенна, и сам поэт прекрасен обнаженностью своего чувства.

Таким был и Аветик Исаакян — человек-праздник, потому что он лучился поэзией, потому что поэзия, по редчайшему стечению обстоятельств, была его сущностью.

На примере его творчества мы можем самым убедительным образом понять, что поэт — это не профессия, а судьба, на которой время скрещивает все нервные каналы в один пульсирующий узел, связанный своими сигналами со всеми кораблекрушениями и катастрофами мира.

Все — суета. Все — проходящий сон.
И свет звезды — свет гибели мгновенной.
И человек — ничто. Пылинка в мире он.
Но боль его громаднее вселенной!

Это Аветик Исаакян скажет уже на склоне дней, умудренный опытом любви и познания. Истинный сын своего народа, верный сын человечества, он отличался особенной глубиной сочувствия человеческому страданию, равного по силе самому страданию.

Сочувствие не освобождает от страдания. Оно учит преодолению. И в этом его человечность.

Сам поэт признается в этом открыто и проникновенно:

Всей беспредельной тяжестью пространства
Вселенная в космической глуши
По страшному закону постоянства
Висит на волоске моей души.

Вот какую ответственность брала его поэзия на себя. И вот что удивительно — он справлялся с этой непомерной тяжестью, как некий Антей, поддерживая и сохраняя равновесие гармонии, и, сам того не замечая, он приобщал людей творчеством своим к гармонии человеческого братства. В этом его неопенимая заслуга перед поэзией, перед человечеством, мучительно ищущим мира.

И слова нашей признательности к нему всегда исполнены любви и нежности. Он жил для людей, и связи его с миром просты и естественны, обычны и повседневны.

Но в этих связях всегда присутствует доля поэзии, возвышающая их.

Его родина — древняя как мир Армения — была перекрестком веков и судеб, катастроф и взлетов, варварства и прозрения, и каждый камень на ее дорогах имеет следы крови и огня, след взгляда гения и ладоней строителя.

Надо уметь только вглядываться в эти обожженные благословенным солнцем камни. Надо только уметь читать по этим камням живую душу истории народа, его борьбы и страданий, его мужества и терпения, его неистребимой веры в причастность празднику всеобщей песни. «Чтобы быть художником, надо пить из всех родников культуры», — говорил Аветик Исаакян.

Он умел читать письма суда своего народа и верил в торжество его мечты. Во дни и ночи своих скитаний по дорогам этого бесконечно древнего, вечно обновляемого молодостью мира и даже в Равенне, куда его забросила судьба скитальца и изгнанника, где «медь торжественной латыни поет на плитах, как труба», он видел свой Ара-рат в алмазном сверкании фирнивого льда и тень века, скользнувшую по этому заоблачному льду. Он перед ним сиял всю жизнь призрачностью невозвратного прошлого и неопределенностью надежды.

Он все умел видеть из-под тяжелых, как бы вырублен-ных из камня век по-детски доверчивым взглядом чер-ных, как вечность, глаз, и кому выпало счастье наблю-дать свет этих глаз, тот никогда не забудет обаяния это-го света.

Он был многообразен, этот прекрасный свет.

Дитя мира, сын своей Армении, Аветик Исаакян лю-бил ее верной любовью.

В самом начале нашего века в Женеве, где-то на ман-сарде или в подвале изгоя, он писал, обращаясь к своей возлюбленной Армении:

Родина! Горы твои — исполины
За облаками встречают рассвет,
Реки журчат, и смеются долины,
Но для детей твоих радости нет.

Родина! Если б владел я огнем
Тысячью жизней в придачу к одной —
Тысячу жизней, как высшей святыне,
Отдал бы в жертву отчизне родной.

Тысячу жизней, как жертву, залогом
Жизни прекрасных твоих сыновей,
И лишь одну для себя, чтобы в строгом
Гимне сосуществовать славе твоей.

И он сдержал слово, отдал «тысячу жизней» своих песен единственной любви — своей Армении.

Раны рождали песни. Песни лечили раны.

В этом было его призвание, его роль, исполненная доброго назначения.

Где бы Исаакян ни находился, куда бы ни заносила его участь гариба-странника, он верно и достойно нес в своей жизни судьбу своего народа. И народ, как бы в награду за это служение, принял поэта в свое бессмертие.

Лирика Исаакяна — это внутренний разговор с самим собой, осененный искренностью и благородством. Она трогательна и светла. Она сильна своим непосредственным действием на человеческую душу.

Мне снился сон. Во сне плыла
Ночная улица рекою,
Там мать моя в толпе брела,
Как тень с протянутой рукою.

Она была стара, слепа,
В оцепенении глубоком —
И равнодушная толпа
Ее толкала ненароком.

И плакал я во сне своем
И наяву — неутолимо.
А мы спешим своим путем —
Куда? Какого горя мимо?..

Он предпочитал говорить негромко, но вразумительно. Это было свойством его таланта, его характера. В стихах Исаакяна древний армянский язык звучит воистину сладостно и победно.

Я снова на земле своей родной.
И снова детским наблюдаю взглядом
Свет чистых звезд из вечности. И рядом
Мир чудом предстает передо мной.

Бежит, журча и веселясь, поток,
Как старый друг любви и удивленья,
Качая на зеркальности движенья
Моей судьбы ликующий цветок.

Щебечет птица в синей тишине,
И не спеша, под бременем заботы,
Отец мой возвращается с работы
С надеждою своей наедине.

И милый голос входит в мой покой.
Зовет меня. Пора кончать забавы.
И мать, как солнце на вершине славы,
Меня ласкает легкою рукою.

Смеркается. Над старым очагом
Дымок струится, как душистый ладан.
Беседуют родные чинно, ладом,
И я дремлю, и сказки спят кругом.

И, кроме света этого огня
В пустынном мире горя и отравы, —
Ни женщины желанной, и ни славы,
Ни золота — не надо для меня.

Хотел бы я туда, в тепло и свет
Начальных дней, чтоб увидеть оттуда
Весь мир преобразующего чуда
И тех, кого среди живущих нет.

Это чудесное стихотворение, которое, как и другие стихи, я привожу в моем переводе, Исаакян написал в 1926 году, впервые приехав в родную Армению, где «труженик сам стал хозяином святого труда и честного хлеба своего».

На родине поэта, на этой каменной земле, которая еще хранит теплое прикосновение его пяток, нельзя не вспомнить о том, что в моем городе на Неве гениальный поэт России Александр Александрович Блок с такой заинтересованной любовью переводил стихи своего брата Аветика Исаакяна, первым приобщая их к мировой культуре. Он считал нужным и необходимым, посылая эти переводы издателю, сопроводить их теперь уже известными всем словами: «Я не знаю, как вышел перевод, но поэт Исаакян — первоклассный; может быть, такого свежего и непосредственного таланта теперь во всей Европе нет». Стараясь быть точным, он вкладывал в эти переводы всю свою душу. Нам известно, что строгий и справедливый Александр Блок, тонкий знаток русской и мировой поэзии, обладающий проникновенным талантом предвидения, редко ошибался в своих оценках. Трогательному отношению Александра Блока к стихам Аветика Исаакяна, так же как и гражданскому подвигу Валерия Яковлевича Брюсова, выпустившего в том же 1916 году антологию армянской поэзии, можно только поклониться и позавидовать. Нам легче теперь, чем Блоку и Брюсову, потому что у нас есть дорога, ими открытая. Мы берем их начало в пример для наших сегодняшних взаимосвязей, потому что знаем, что братство поэзии есть не что иное, как прообраз братства народов, о котором мечтал Пушкин и в которое верил до отчаяния Аветик Исаакян.

Поэт большого масштаба, Аветик Исаакян был подлинным новатором. Он исповедовал, как мне кажется, самую древнюю традицию новаторства, ту, которой пользовались великие художники всего мира во все времена. Смысл этого новаторства прост: у прекрасной мысли всегда прекрасное выражение, ибо нет формы без содержания и духа без плоти. Этому он учился у трагической истории своей Армении и всего мира. Это он знал по колыбельной песне матери, по стихам Григора Нарекаци, Наапета Кучака и Саят-Новы, по откровениям Пушкина и Лермонтова, имя которого, по собственному признанию, не мог произносить без слез. Этому он учился у всего братства мировой поэзии, которую он знал и кислородом которой дышал в минуты вдохновения и безысходного горя.

А как он любил — светло и нежно! К этой нежности даже боязно прикасаться — из таких тончайших нитей чувства она соткана.

Осапка этой шеи голой
В оправе жемчуга строга.
И, как по мрамору глаголы, —
По гордой шее жемчуга.

Их тусклый свет, их блеск печальный
Не из глубин седых морей —
Из горьких слез первоначальной
Любви и нежности моей.

Его любовь была озарена необыкновенным светом восторга, верности и самопожертвования, как будто он в самом деле перевоплощался в того бедуина, о котором писал:

Мираж возник в пустыне дикой.
И в образ женщины один
Всей безысходностью великой
Души влюбился бедуин.

И он пошел за ней по черной
Пустыне страха и тоски
И рухнул под колючки терна
На раскаленные пески.

И умер в жажде не напрасной
По человеческой весне.
И образ женщины прекрасной,
Как сон, в его витает сне.

Я вижу в чистой естественности интонации этого стихотворения, вспыхнувшего как костер на дороге, в этом совершенстве соединения чувства, мысли и формы образец той возвышенной лирики, которая просветляет человеческую душу, открывает ей неизведанные высоты радости. Такая любовь — это не убежище от земной скверны, нет, — это реальность, расширяющая мир человеческого бытия, придающая человеку силу. Поэт верит во всепреображающую мощь любви, как будто дает нам прекрасную возможность догадаться о том, что человек, не умеющий любить женщину, мать, друга, не может любить родину, землю, человечество, весь этот поражающий нас мир жизни и движения, реальности и мечты.

Исаакян вводит нас своей лирикой в богатый мир человеческой души, в мир познания чувства. И это прекрасно! В этом и есть подлинность поэзии.

Лирика Исаакяна мужественна и сердечна. С трибуны Всесоюзной конференции сторонников мира в 1949 году он скажет с присущей ему простотой и проникновенностью: «Мы хотим мира, потому что любим человечество, потому что мы любим наших матерей и детей». И это будет голос самой Армении. И это будет тоже поэзия, потому что подлинный поэт остается поэтом во всех проявлениях своей беспокойной души.

Еще в 1907 году, вдалеке от родины, размышляя о собственной судьбе, Аветик Исаакян как бы завещал нам свою волю:

Видишь, черный орел, гордый горный орел,
С высоты своего назначения,
Как терзает закона слепой призыв
Мое сердце в плену заточенья.

Мысль и слово, свободная песня любви
Опорочены смехом порока.
И мечты моей крылья, как звезды в крови,
Сбиты в прах мановеннем ока.

Растерзай мою грудь, черный горный орел,
Вырви сердце и с ним поднимися
В синий мир, где алмазный зажег ореол
Млечный Путь над вершиной Масиса.

Подними мое сердце и мир огляни,
Где оно бунтовало доныне.
И на самой вершине его схорони,
На великой могучей вершине.

Но мы не можем скоронить его сердце. Это не в нашей воле, потому что оно и сегодня живет и бьется, кровотоцит и радуется вместе с нами. И мы благодарны ему за это.

Абул Ала Маарп — дитя воображения, любви и тоски Аветика Исаакяна по справедливости, — как известно, полетел в огненном плаще к бессмертному Солнцу. И полет его был величествен и победен. И, быть может, наши знатоки галактик найдут его след в космосе и назовут до сих пор не известную во Вселенной точку, излучающую непонятное тепло, его благородным именем.

Пусть будет так. Пусть его полет будет нескончаемым.

Но сам Аветик Исаакян остался на Земле со всей своей влюбленностью в ее весну, всей страстью неистребимой веры в ее совершенство. Он воображал ее в виде женщины, у которой на плече сидел жаворонок, а на груди пылала цветущая роза.

Вот он идет сам с жаворонком на плече и с красной розой на груди по всей Армении, по всему миру, от души к душе. Идет, растворяясь в цветущем мире, и говорит — слушайте:

И воаны моря, сердцу в лад звеня,
Поют во мне живыми голосами.
Веселая заполнила меня,
И я один с землей и небесами.

Весна во мне. Я радуюсь опять
Ее животворящему приходу.
И сам благословляю, слово мать,
Великую и вечную природу.

Счастливым путь ему! Ему и его поэзии. Между ними нет различия.

Счастливым путь!

Он идет по миру. А когда устает, забирается на пьедестал и, закинув руки за спину, придерживая плащ и трость, превращается в бронзового и задумывается о чем-то своем.

Но потом он спускается с пьедестала, непременно спускается, незаметно для нас, потому что ему тесен этот пьедестал. Поэта надо искать среди людей. Только среди людей.

1978

«СВОЕЙ ЛЮБОВЬЮ БЕСКОНЕЧНОЙ...»

Лучше всего и глубже всего мне объяснил судьбу Египше Чаренца согбенный годами прекрасный художник Геворк Степанович Григорян. Причем он сделал это внушительное объяснение не словами, а, как и подобает художнику, своей картиной «Прощание Чаренца с Комитасом».

У Геворка Степановича много полотен с изображением Египше Чаренца, и каждое полотно, каждый эскиз и набросок говорят прежде всего о единстве модели и художника, об их взаимоуважении и любви, взаимной необходимости и ответственности друг перед другом и перед самим народом и временем.

На этой картине Григоряна всего два профиля: внизу профиль Комитаса, как просветленная страданием маска самой трагедии, с впадинами глазниц под высоким бугром благородного обнаженного лба, и темные борода и усы, как бы подчеркивающие смертельную бледность губ и щек, а над этим профилем — профиль Чаренца, склоненного над завершенной судьбой своего брата, профиль решительный и гордый, нежный и чуткий, профиль гордый в своей статичности и изменчивый в своей нежности. Я вглядываюсь в него, и он оживает на моих глазах, и сведенные горем губы раскрываются и начинают лепить слова, понятные только для моего слуха.

О песня сумрачных веков,
О наш тысячелетний гений,
Видавший тысячи врагов,
Терпевший тысячи лишений!
Тебя в неволе крепостной
Взрастил народ простосердечный
Своею мукою страстной,
Своей любовью бесконечной!

Эти стихи он произносит, обращаясь к Комитасу, склонясь над ним, прощаясь с ним навсегда, в этих стихах живет тысячелетняя история его народа, мудрость его полудня, будущие тысячелетия счастья человечества, в которое верит и которое он строит словом своим, распахнутой душой своей.

Он склоняется над Комитасом, как живой цветок песни над застывшей музыкой.

Я вспоминаю это как чудо слитности двух характеров, двух поэтических стихий. Но стоит мне мысленно повернуть картину — и над профилем задумчивого Ча-

ренца, над его чубом, спадающим на крутой лоб, вставет профиль Комитаса и его музыка зазвучит гимном жизни над притихшей поэтической строкой, как бы собирающей силы для нового взрыва революционной страсти Чаренца. И я зачарованно наблюдаю за этим смешением судеб. Я дышу этим праздником взаимосвязи двух начал, двух ипостасей искусства, музыки и поэзии, впрочем, нет, к ним еще присоединяется третье начало — судьба Геворка Степаповича Григоряна, его добрый гений, сумевший тоже «своей любовью бесконечной» войти третьим в железную связь этих двух рыцарей народного духа, повторив нерушимый строй им же созданного «Вардананка».

Они теперь вместе все трое в пантеоне славы и гордости, в глубинах памяти армянского народа, они его путеводные огни.

Пожалуй, Григорян своей картиной «Прощание Чаренца с Комитасом» и заставил меня заново открыть для себя ветвистое дерево поэзии Чаренца и вкусить заново плодов его, понять, насколько они прекрасны.

Я памятник себе воздвиг в мой трудный век,
Когда все рушилось, что камня и металла
Веками почитал прочнее человек.

Я памятник себе воздвиг из вещей дум
И песен яростных, звучавших в сердце века,
Как бури роковой неукротимый шум.

Я в Карсе был рожден, и хоть Ирана зной
Жег душу, как тоска по родине прекрасной,
Стал родиной моей весь этот мир земной.

Это стихотворение он назвал «Памятник». И в нем действительно заключен сжатый до символа смысл жизни Егише Чаренца, понявшего всем опытом своим, «сколько сложнейших вопросов, неразрешимых когда-то, просто разрешены в непримиримой борьбе!».

Он был современником Есенина и Лорки. Прошел школу Верлена и Маяковского. Поднялся к вершине общечеловеческой мысли на гребне революции и остался ей верен до последнего вздоха.

От печальной дымки равнин «Трех причудливых песен бледно-печальной девушке» он пришел к эпосу революции, к своей Лениниане и от уверенности «Эпического рассвета» через «Лирический антракт» к зрелой мудрости «Книги пути». Его талант мужал и совершенствовался,

набирая высоту и силу вместе с поступательным движением нового мира. Его певучая душа, подобно раковине, собирала музыку всего океана и, преобразая ее, пыталась звучать многообразием всего океана.

Я трудно песни пел, с упорством их слагая,
Как грузчик, на себе их тяжкий груз волок,
Ища свою тропу средь жизненных дорог,
И вместо солнца мне светила цель благая.

Этой целью была гармония мира во всей многообразной беспределности самого мира и совершенства человека в нем. Чаренц пытался связать тысячелетнюю историю своей Армении с началом нового дня нового мира, с его перспективой заманчивого грядущего и представить их вместе. И его воистину неистовая душа ликовала и пророчила, открывала и, задумываясь, искала новые варианты и в жизни и в стихе, потому что стих был его жизнью, ее первоосновой.

Он был на стержне революции, на крутом гребне ее волны. Он был каплей ее необратимой движущей силы. Ему было в 1917 году всего двадцать лет, и юность революции была его юностью, и эта связь осталась между ними навеки.

Двадцать лет он верой и правдой, вдохновением и страстью служил революции, открывая новые горизонты поэзии, наращивая мастерство и обретая мудрость прозрения.

Он стал гордостью армянского языка и славой советской поэзии.

Он погиб на снежном пике своего творческого расцвета.

Ночной проклятый ветер страха и затмения, низости и предательства дунул из-за угла на его душу, и она, как одуванчик, разлетелась по каменным зубцам и ущельям древней земли.

Но поэзия бессмертна, и семена одуванчика его души на легких парашютиках летели над землей и находили свою почву. Они снова зацветают, эти одуванчики, потому что без их цветения нет жизни на земле. Потому что они и есть вечность, часовые вечности, несущие ее эстафету.

Песня бессмертия в душе народа, в его множестве, и в бессмертии песни бессмертие поэта.

На дороге из Гарни в Ереван, петляющей между взгорьями и ущельями, по каменным осыпям спаленной

солнцем земли, есть небольшая беседка, сложенная из ограненных блоков розового туфа. Здесь между колонн, подпирающих крышу, можно присесть на скамью, взглянуть в сторону Арарата и задуматься о судьбе человека, о великом томлении его души по справедливости и гармонии, которые приносит в человеческую душу поэзия.

Эта беседка выстроена в память о Чаренце.

Я был в тех местах осенью, на закате сухого погожего дня и смотрел на юго-запад, туда, где в туманной серо-багряной дымке горели, как рубины, две ледяные вершины Арарата. Я и сейчас вижу их, и на эти мои строки как бы ложится розовый отблеск их света.

Мир и свет песне твоей, Армения! Мир и честь твоей древней и прекрасной душе!

Геворк Степанович Григорян своей картиной заставил меня заново открыть Чаренца. Он завел мое сердце каким-то волшебным ключом доверительности.

Он умел делать чудо из красок и полотна, так же как Чаренц умел делать его обыкновенным карандашом на белом листе бумаги. Это чудо для всех. И для меня тоже.

Оно вьется причудливой виноградной лозой, цепляясь тоненькими волосками корней за глыбы литого камня. Оно тянется из ущелья на простор к солнцу. Оно тянется к беспредельной синеве неба, где звучит струна беспокойного, как память, томительного голоса Комитаса.

Жизнь и поэзия неиссякаемы.

1977

ПИСЬМО С ПРЕДИСЛОВИЕМ

С Геворком Степановичем Григоряном, или иначе Джотто, как он подписывал свои картины, меня свел мой ленинградский знакомый, молодой поэт Рубен Ангаладян.

Стеял конец октября, и в Ереване тихое золото тополей и чинар и высокая голубизна чистого неба дышали свежестью и покоем, как будто в каждой частице времени, отмеренной секундной стрелкой, жила вечность и у радости жизни не было ни конца, ни начала.

— Вот они... — сказал приятель, тронув меня за руку, и кивком головы указал в сторону желтеющей купы кустов в глубине внутреннего двора.

Он был ростом ниже своей жены и, видимо, старше,

потому что она вела его под руку с какой-то зачарованной трогательностью, вела осторожно, как будто несла драгоценную чашу, боясь расплескать живую воду и его и своей судьбы. Они шли медленно и разговаривали медленно с особым благородством скупых жестов навсегда взаимно доверенных друг другу людей.

При нашем появлении они оживились, и мы пошли в мастерскую, вернее, не в мастерскую, а в те четыре комнаты первого этажа, которые Геворк Степанович и Диана Нестеровна превратили в музей. Они переехали сюда недавно. Лет десять — пятнадцать назад. А всю остальную жизнь прожили в Тбилиси, где их свела судьба и одарила святым чувством взаимности: армянина и грузинскую красавицу с золотой копной волос, освещенных светом огромных золотисто-голубых глаз.

Я ловлю себя на том, что в каждой картине Геворка Степановича присутствует и она, его Диана Нестеровна, ее свет, ее забота, ее обаяние.

Картины нельзя пересказать. Они не для этого и создаются. Их надо смотреть. Смотреть, сосредоточиваясь на общении своей души, ее опыта с опытом души художника, умеющего кистью останавливать свое время и заставлять это время говорить своей радостью и трагедией и делать всех в этом общении лучше, выше, благороднее, открывать связь родства с прекрасным миром жизни. Геворку Степановичу, когда мы встретились, было уже без малого восемьдесят.

Я хожу от картины к картине, разговариваю с Есениным и улыбаюсь Шаумяну, удивляюсь мужеству Комитаса и прислушиваюсь к Чаренцу, сочувствую Пиросмани и встаю четвертым в железный тройственный союз «Вардананка». И они, эти люди упрямой воли и мужества, люди, созданные кистью проникновенного мастера, принимают меня как равного.

Язык его картин, его искусство до предела откровенны, скупы и, естественно, символичны.

А он сидит посредине освещенной золотистым светом комнаты, сухой, остроплечий, заботливо укутанный Дианой Нестеровной в плащ, и через очки, переглядываясь с ней, смотрит, как я вхожу в его мир, и я начинаю, к радости своей, понимать, что он как бы разрешает мне быть другом его друзей, другом его удивительного мира.

Эти четыре комнаты на первом этаже показались мне своеобразной кладовой самого духа армянского народа,

его катастроф и поисков, его извечной божественной поэзии.

Он ничего не объясняет. Он знает, что у его детей доступный для всех язык и они прекрасно объясняются с миром своего создателя.

В этих четырех комнатах светло. Светло от светлых мыслей, светло от доброго чувства родства, светло от великой ответственности, которую взвалил художник на свои худые плечи по собственной воле, светло от свершений, от самой судьбы, лишенной тщеты и мельтешения.

Потом я приходил туда еще раз. Меня звал этот мир к себе, становился для моей души необходимостью, и я дышал чистейшим воздухом и был благодарен этому живому чуду, утверждающему радость.

Потом я вспоминал его на разных дорогах и при разных обстоятельствах.

Я знал или по крайней мере догадывался о том, что он не думал о славе. Ему, очевидно, некогда об этом было думать. Сам восторг творчества, его восхищение и кабала были выше желания славы и признания. Геворка Степановича уже нет (он умер в конце 1976 года), а слава его только начинается и будет расти, как растут платаны, основательно и благородно. Пусть ветвится этот платан, — в тени его ветвей человеку легче дышится, да и сам человек становится чище.

1977

ЧАША ЖИЗНИ

Севан... Это чудо в каменных ладонях вечности, вскинутое к солнцу, приходилось видеть мне в разные времена года: и весной в малахитовом обрамлении свежей зелени, голубое под голубым небом без единой тучки; и зимой в горностаевой опушке белейшего снега.

Севан — чаша жизни Армении.

Еще в ладонях каменного ложа,
Как зеркало, синее твой Севан,
И есть еще для праздника армян
Возможностей шагреновая кожа.

И на Раздан река судьбы похожа:
Над ними неизвестности туман
Судьбой произрастания семян
Колышется, грядущее тревожа.

В судьбе вселенной и в судьбе зерна
Садовника достойная паграда.
Душа творца истоку жизни рада.

И плачет о бессмертии зурна,
Своей извечной музыкой верна
Воде и Солнцу в кисти винограда.

Армения прекрасна! Но нет и не может быть Армения без армян, древнейшего на земле народа, трудом и мудростью прославившего эту каменную землю и сделавшего ее почвой своего бессмертия.

Я прикасался к великой поэзии армянского народа и понимал, что все высокое в его духовном мире рождалось на перекрестках истории и было замешено на крови трагедий, на упорстве и мужестве.

Я смотрел на древние фолианты армянских поэтов, и века разговаривали со мной языком преодоления страданий, а пространство истории зацветало маками, как пустыня после дождя, и сам Егише Чаренц следом за Григором Нарекаци клал на мое плечо руку и говорил:

Дикий наш язык и непокорный,
Мужество и сила дышат в нем.
Он сияет, как маяк нагорный,
Сквозь столетий мглу живым огнем.

Он говорил это мне, глядя в глаза, и, сверкая, как факел, уходил в рассвет тревоги наступающего дня и растворялся в нем. И я начинал чувствовать, как поэзия великих прозрений вырастает из величайшего опыта сопротивления, и поэзия души армянского народа начинала течь по моим капиллярам, как солнечное вино, приготовленное из того самого винограда, из той самой лозы, которая была выращена на камне, орошенном жидкой водой из чаши жизни — Севана.

Я вematривался в каменное чудо Гегарда и Гарни. Меня туда дважды возил Рафаэл Арамян, истинный армянин, обладавший абсолютным вкусом совершенства, умевший, как и положено настоящему поэту, держать в одной руке два неземных провода — вчерашнего и завтрашнего дня. Глаза его светились добром и радостью, словно он был создан для братства и верности, и даже сейчас, когда его уже нет, он не позволяет мне быть одиноким.

Мы говорили с ним о том, что верность не может быть

односторонней... Память о нем дает мне сейчас право сказать, что испытанная мудростью времени верность наших народов — верность навсегда.

Я беру книгу Хачатура Абовяна «Раны Армении» и читаю: «Да будет благословен тот час, когда русские благословенной своей стопой вступили на нашу светлую землю и развеяли проклятый злобный дух кизилбашей». Потом я раскрываю том Аветика Исаакяна и читаю: «Хачатур Абовян для нас все. Он учитель и воспитатель. Он источник нашего патриотизма. Он восторженный завещатель армянского будущего».

Полтора века дружбы Армении и России стали праздником братства народов — самого высокого завоевания нашей революции. В верности этому братству — наша сила и торжество, победа разума и справедливости. В этом празднике — прообраз общечеловеческого праздника.

Благодаря поэзии армянской культуры мне открылась древняя душа этого народа, народа — мастера и певца, ищущего родства в тревожном человеческом мире и понимающего всей щедростью души своей, что замкнутость в себе самом гибельна...

Севан мне тоже показывал Рафаэл Арамян. Я пил севанскую небесную синь своими глазами и не мог напиться досыта. Я еще постараюсь там побывать. Хотя бы в память о Рафаэле Арамяне побываю. Его сердце, так же как и его Армения, состояло из камня и влаги, и он, как это и подобает подлинному художнику, верному сыну своей земли и всего человеческого братства, добавил свою каплю меда в чашу жизни Армении. Он знал: если так же, как и он, будет поступать каждый, то эта чаша жизни будет неиссякаемой.

1978

СЛОВО НА КАМНЕ

За белыми зубцами Кавказского хребта, в тени алмазных вершин Арарата, иногда показывающихся из облачных завес, живет Сильва Капутикян. Сегодня, 5 января 1979 года, у нее праздник.

Сегодня ее вспомнят и на востоке и на западе, сегодня и я ее вспомню, и Зульфия, и Дебора Вааранди.

Мы ее вспомним потому, что она птица одного с нами

полета, и путь наших песен зарождался в одном времени, и мы летели по жизни, через ее грозы и ясные дни крыло в крыло к одной цели.

Что из того, что мы говорим на разных языках, что из того, что у нас разные почерки полета и разные голоса, мы — вместе, и если нашим песням выпадет судьба продолжить наши жизни, они останутся рядом на общей перекличке, потому что они вскормлены росой одной мечты, проверены бурями века.

У Сильвы Капутикян много друзей искренних и верных. У нее много друзей во всех городах и селах нашей большой Родины и там, дома, в прекрасной Армении, где я бывал в гостях и видел и понимал, как ее, Сильву Капутикян, любят.

Я бывал у нее в доме в Ереване, ездил с ней по долинам и горам Армении и дивился ее необходимости, ее родству с древними камнями гор, с голубой бездонностью Севана, с янтарным солнечным отстоем виноградного сока, развязывающего язык и подгибающего в коленях ноги, я дивился ее связи с историей ее народа, с его душой, наполненной памятью, с его каменным упорством и такой же каменной твердостью.

Книги Сильвы Капутикян читают не только армяне в самой Армении, через переводы на русский язык они хорошо известны почитателям ее светлого таланта во всей нашей стране. Они полны добра и света и доходят до ее соотечественников, развеваясь по всей земле бедой.

Капутикян пишет стихи и прозу для взрослых и для детей. Она верно служит талантом своему времени, внимательно и чутко прислушиваясь к его усиливающемуся сердцебиению.

Сильва Капутикян — поэт беспокойного характера и глубокого интереса к происходящим на земле событиям, к живому движению жизни. Поэтому она много путешествует по материкам и странам нашей планеты, по широтам и долготам нашей Родины, всматриваясь в жизнь людей, в их тревоги и радости, в их заботы и любовь, и рассказывает об этом с присущей ей проникновенностью и простотой.

Но, естественно, больше всего и глубже ее волновала и волнует Армения, чья культура и история поражают упорством и жизненной силой народа, умеющего добывать хлеб и вино из камня. Всей тревогой и очарованием своим Армения входит в строчечную суть стихов Сильвы Ка-

путикян. И, наверное, ее неоценимая заслуга поэта в том и заключается, что она песней души своей перекидывает мостики родства от Армении ко всему миру, к душам и сердцам всех людей.

Ее стихи тревожны и открыты. В них есть материнское начало, есть любовь ко всему существу. Живая конкретность жизни армянского народа силой ее поэзии выходит за горный горизонт Армении на всеобщий праздник человеческого единства.

Мы с Сильвой Капутикян люди одного поколения. Я знаю ее давно, с 1947 года. С первой встречи на Первом совещании молодых писателей в Москве на Маросейке, собранном Центральным Комитетом Ленинского комсомола и Союзом писателей.

Мы были молоды тогда, и сама Победа, одержанная содружеством справедливости над диким мракобесием фашизма, была фундаментом наших характеров, нашей лирики и эпоса. И мы остались верны этой дружбе, и, где бы ни перекрещивались наши пути, мы оставались солдатами и поэтами подвига нашего поколения и смотрели на все в мире с вершины этого подвига, да и не могли смотреть иначе.

Познакомившись, мы уже не могли обойтись друг без друга. Нас несли одни и те же волны времени. Нам приходилось противостоять одним и тем же штормам. Мы дышали одним воздухом надежды и печалились одними печальями.

Мне иногда приходилось даже переводить стихи Сильвы Капутикян на русский язык и радоваться тому, как со временем зрело ее мастерство и мысль обретала упругие крылья мудрости.

Сейчас ее талант в расцвете познания жизни.

Многое — уже сделано.

Многое — делается.

Самое главное — впереди.

Ее путь — путь в гору по своей тропинке, проложенной шаг за шагом собственным усилием. Он выверен, этот путь, ценой раздумий и трагедий и великим даром сочувствия, присущего настоящим художникам.

Что задумывает Сильва Капутикян, чем она обрадует нас и куда увлечет наши души, на какую только ей известную высоту, я не знаю. Но я уверен в одном: она никогда не свернет с этой своей тропинки в гору, потому что она знает цену камню и слову, горечь материнских слез

и бессмертные виноградной лозы, посаженной человеком.

Она живет для радости других, для сочувствия и утешения и в этом находит свою радость, самую высокую и самую чистую, и пусть она живет этой радостью.

Сегодня к ней в Ереван прилетит много-много ласточек уважения и восторга, в том числе и из Таллина, и из моего Ленинграда, и от поэтов, и от всех, кто любит ее поэзию.

1979

ПО ДОРОГЕ НА РОДИНУ ДРУГА

В свежем утреннем свете пробуждающийся Ереван остается позади. Сухая прошлогодняя листва на платанах, как тысячелетний пергамент, держится за ветки, будто этой листве надо сказать что-то очень важное для жизни, о чем сама жизнь не знает, но что ей непременно надо знать, а в низко опущенных ветвях придорожных плакучих ив уже ютится горьковатый запах почек и сами ветви сквозят желтизной, готовой превратиться в первую зелень.

Мы едем с Серо Николаевичем Ханзадяном на его родину в Зангезур. То, что мы с ним однополчане, я узнал совсем недавно, лет пять тому назад, когда познакомился с ним, когда прочел его книгу «Три года и 291 день», когда мне стало ясно, что его минометная рота входила в состав дивизии легендарного генерала Николая Павловича Симосяка, что он, Серо Николаевич Ханзадян, таким образом, ленинградец по защите и освобождению Ленинграда от проклятой блокады, что его кровь есть в составе ленинградской земли на левом берегу Невы и на Спаявских болотах.

И вот мы едем к нему в его родной Зангезур, и осенний воздух щекочет нам поздри свежестью, и призрачный, как розовое крыло фламинго, Арарат пробивается справа сквозь белую кипень облаков своим острым углом и стоит над нами как щит, отражающий солнце всем своим перламутровым великолепием.

Мой однополчанин набивает трубочку и закуривает, всматриваясь острыми карими глазами в парение воздуха над черной рекой асфальта, и улыбается чему-то своему в седые усы с рыжими от никотина подусниками.

Мы вспоминаем общих друзей по дивизии. Больше

мертвых, меньше живых. Потому что в живых-то осталось очень немного. А машина тем временем сворачивает налево в долину Арши, в горы, и летит себе, набирая скорость согласно нашему разговору в само царство гор, мимо Дилижанского ущелья к Ехегнадзору.

Мой друг здесь свой человек. Его знают все не только по усам с рыжими от никотина подусниками, а по его душе, оставленной в книгах. Его знают, и любят, и гордятся им как своим земляком и летописцем. Он действительно народный писатель. И я начинаю думать о судьбе своего однополчанина, о его книгах, о судьбе всего нашего поколения.

Чтобы стать летописцем и выразителем благородных свершений своего народа, одного таланта мало, надо еще закалить этот талант опытом познания жизни народа, его усилий и стремлений, его успехов и неудач на пути к человеческому братству.

Армянский писатель Серо Ханзадян имеет и незаурядный талант, и богатейший опыт жизни, он — истинный сын своего народа и верный борец ленинского братства народов нашей Родины.

Родился Серо Ханзадян в 1915 году в одном из самых высокогорных районов Армении, в Зангезуре, в городе Горисе. Там он рос, пас скот, обрабатывал нецедрую каменную землю, учился и видел нарождающуюся новую жизнь народа, вглядывался в нее и готовил себя к этой жизни.

Великая Отечественная война застала его учителем в сельской школе. На фронт он ушел добровольцем и воевал всю войну, сначала на Волховском фронте, потом участвовал в прорыве блокады Ленинграда и в боях по окончательному разгрому фашистов под стенами этого великого города, а завершил войну командиром минометной роты под Кенигсбергом.

Писатель, чье имя сейчас стоит в ряду имен наиболее крупных художников слова нашей многонациональной литературы, начинался в горниле войны: первые его рассказы написаны в те годы. А вернувшись с войны в Армению, Серо Ханзадян вскоре написал роман «Люди нашего полка», сказав в нем правду о войне, о ратных подвигах своих фронтовых товарищей.

Начало было многообещающим. Серо Ханзадян обрел чувство времени и мастерство. Потом увидели свет его романы «Земля», «Мхитар спарпет», «Каджаран», «Рас-

свет над Севаном», повести «Летопись былого», «Шесть почей», «Жажду — дайте воды», сборники отличных рассказов, книги для детей «Случай в горах», «Страна семи долин», «Сказки» и другие. Он стал любимым писателем Армении, и его Собрание сочинений в семи книгах, вышедшее на родном языке, подтвердило и как бы подытожило его славу благородного, обладающего чувством времени художника.

Книги Серо Ханзадяна выходили в переводе на русский язык, на языки народов нашей родины и за ее границами.

«Три года и 291 день» — книга, в которой писатель спустя тридцать лет вновь вернулся к пережитому. Он дал ей подзаголовок «Фронтной дневник». Достоверная по материалу, точная и выразительная по изложению, она повествует о патриотизме и жизнестойкости советского человека, советского солдата.

Война — великое испытание: в чрезвычайных условиях раскрывается истинный характер личности. И Серо Ханзадян в своеобразной исповеди поколения мальчиков, повзрослевших раньше времени, показывает войну как она есть — и смерть, и страх, и отчаяние, и преодоление всего этого, и сознание собственной правоты, и веру в победу; показывает героическое в обыденном, в буднях войны.

Мужество его юного героя вызывает к мужеству грядущих поколений.

Об этом я думал по дороге. В Ехегнадзоре секретарь райкома партии дал нам вместо такси своего «козла», и вот мы уже уходим к царской белизне Воротанского перевала на высоту двух с половиной тысяч метров, и морозные звезды прожигают темнеющее небо, и мокрый снег начинает намерзать на «дворниках». Потом мы сидим за добрым столом в просторном доме брата моего однополчанина, и беседа течет, как горная речка с перепадами, течет через ворота души, проясняя ее светом своей великой необходимости, и, вслушиваясь в ее струящееся журчание, я думаю о том, что книги моего друга тоже имеют свою естественную необходимость, как эта вечерняя беседа в кругу родни, в кругу земляков, перед которыми нельзя говорить неправду.

А потом мы заснули и спали, как после боя, без снов, спали, как в детстве. А утром я увидел родину моего друга. Белые деревья в белых полушалках из инея, белые го-

ры и белое небо. Увидел всю землю и жизнь на ней, чистую-чистую, ту самую землю и жизнь, за которые мой друг Серо Ханзадян за три тысячи километров отсюда почти сорок лет тому назад под моим Ленинградом не пожалел своей крови. И на душе моей было тоже бело и светло, как в этом древнем городке Горисе, прижавшемся к щеке заснеженного ущелья.

Мы вышли на улицу и улыбнулись вместе белому миру, потому что не улыбнуться было нельзя, и белобоккая сорока, сев на вершину платана, стряхнула на нас шапку снега. Мы подняли головы и увидели сквозь мельчайшую снежную пыль голые пергаментные листья платанов, оставшиеся на ветках с прошлого года. И я подумал о сходстве наших душ с этими пергаментными прошлогодними листьями, каким-то чудом цепко сидящими на ветках вечного ствола жизни: их ведь тоже судьба не баловала — и морозом ожгла, и солнцем палила, и градом била, и ураганым ветром рвала.

А они выстояли.

И мой друг Серо тоже выстоял.

Выстоял и оставил почерк своей судьбы на своем листе жизни — мудрые слова железной необходимости.

И он, этот пергаментный прошлогодний лист, должен что-то передать новой зеленой листе, что-то очень важное для ее зеленой жизни, потому что без прошлого нет будущего.

Об этом знают и прошлогодние листья платанов и живая душа моего однополчанина Серо Николаевича Ханзадяна, позвавшего меня в гости из моего Ленинграда в свой Зангезур.

1981

ЖИТЬ УДИВЛЕНИЕМ

Мне часто кажется, что я
Жизнь проиграл свою. Все дни
Свои пустил на ветер, а любовь
Отдал быстротекущему потоку.

Так начинаются стихи Амо Сагияна, посвященные нашему общему с ним другу Левону Мкртчяну, которые я перевел на русский язык.

Амо Сагиян вспоминает, как родились эти стихи: «Несколько лет назад мы спускались в ущелье из санатория:

«Горная Армения». Всегда веселый и разговорчивый Левон был молчалив и грустен.

— Не случилось ли что? — спрашиваю я.

Молчит. Вдоль дороги густо растет трава. Левон срывает дикий клевер. Доходим до школы-интерната. Там — олени. На голос Левона они выходят из-под навеса, подходят к забору. Он сквозь прутья протягивает им пучки клевера...

Возвращаемся... «Вот уже три дня не могу работать, — сетует Левон. — Так, впустую, проходит время. День, месяц... Глядишь — и жизнь проиграна».

В тот день я написал стихотворение, навеянное настроением Левона, и посвятил ему.

Я точно знаю — горсть моя пуста,
Но сердце не скудеет, слава богу.

Левон Мкртчян тем и удивителен, что, прожив на земле свои пятьдесят лет, он не перестал удивляться. И это удивление помогает ему справляться с должностью профессора и заведующего кафедрой русского языка и литературы в Ереванском университете, писать научные трактаты и исследования, быть членом разных секций и редакций и успевать выпускать прекрасные книги, полные мудрого юмора и лукавой убежденности в правоте своих суждений и выводов.

Он любит свою Армению и умеет влюблять души людей в ее историю, в ее сегодняшний день и завтрашнее утро. Он великий мастер по классической подготовке друзей Армении. Он преподает этот «курс» с поразительным искусством.

Когда
Я дрался, — дрался от души.
А если что-нибудь дарил —
Дарил от сердца.

И все-таки мне кажется, что я
Жизнь проиграл свою. Все дни
Свои пустил на ветер, а любовь
Отдал быстротекущему потоку.

Амо Сагян и я — мы оба, вместе — так ничего и не можем поделать с этими «проигрышами» нашего друга Левона Мкртчяна, потому что ветер, на который он пускал свои дни, и быстротекущий поток, которому он отдавал свою любовь, делали его душу еще добрей, а глаза, осененные улыбкой, — веселей и доверительней.

Он умеет не жалеть себя ради жизни, которую любит, и она ему платит тем же.

Пусть так оно и продолжается дальше. На радость самого Левона Мкртчяна и на радость жизни, которая его окружает всей прелестью своего многообразия.

1983

НЕСМЫВАЕМАЯ ДОЖДЕМ

Подлинный поэт метафоричен. Это редкое качество и отличает истинную поэзию от скучного и ничего не стоящего сочинительства, сделанного по всем правилам прописного стихосложения.

У меня в руках книга стихотворений Рубена Геворцянца, изданная в Ереване. Я раскрываю ее и читаю:

Мы пишем на запотевших стеклах имена.
Мы садимся на неоседлавших лошадей и спешим вдаль.
Мы опускаемся на колени и срываем цветок.
Мы все рисуем картинку акварелью.
Но приходит время дождей...

Я начинаю искать в книге то, что не может быть смыто дождями. Я ищу эту метафору жизни, несмываемую дождем, и, к великой радости, нахожу. Я вчитываюсь в нее несколько раз, потому что она мне дорога, потому что она заставляет меня задуматься над миром и над собой. Я читаю:

В обманутых надеждах
И лживом отражении зеркал
Нам,
Уставшим от любви обесчеченной,
Не найти
Той деревянной двери,
Которая пахнет смолой девственного леса.
А корабли, белые корабли
Плывут очень далеко,
И не дотянуться до них,
Не доплыть.
Все очень просто.
Ожиданию приходит конец,
И, уставший,
Ты рисуешь распахнутые окна,
И белые корабли рисуешь,
И засеиваешь свой сад одуванчиками.
До первого ветра...

В меру манерно, излишне красиво, но все-таки метафорично. И я начинаю думать о другом. Я начинаю думать о кинокартине «Добрый след», найденной, увиденной и снятой режиссером Ереванской студии документальных фильмов, тем же Рубеном Геворкянцем. В ней всего одна часть, в этой картине, и я ее видел год тому назад, и она до сих пор волнует меня, когда я ее вспоминаю. А вспоминаю я ее часто, потому что она имеет свойство рифмоваться со многим, что я вижу. Она ассоциативна, вернее, ассоциативна метафора, заключенная в ней.

Я закрываю глаза и начинаю в нее всматриваться.

Я вижу широкую улицу большого города. Улицу, заполненную машинами, мчащимися двумя потоками навстречу друг другу. И каких только нет машин в этих двух потоках. И легковые, и грузовые, и пожарные, и военные, и «Жигули», и «Волги», и «КамАЗы», и «Кировцы», и подъемные краны, и бетономешалки. И все они движутся, спешат, фыркают, радостно скрипят и отравляют день выхлопными газами.

Их встречные потоки нескончаемы.

И эту улицу, эти два потока встречных машин пытается перейти старый человек с белой плотной щетиной на подбородке, с худым острым лицом и с живым, нацеленным, острым взглядом. На старом человеке какой-то непохожий на другие плащ, широкий берет, сдвинутый на ухо, и перекинутый через плечо на широком ремне внушительный ящик.

Машины идут, а старый человек ждет.

Он торопится, а машины идут, и между человеком и машинами как бы стоит непроходимая граница взаимного отчуждения.

Ее не сдвинуть, не перескочить.

В конце концов старого человека замечает сам бог этого движения, перетянутый ремнями и португееми, в блестящих сапогах, не подверженных пыли, со свистком в губах, с задорно вскинутым носом над аккуратной черной бабочкой усиков.

Бог движения замечает старого человека с ящиком и направляется к нему. Между ними возникает разговор. Мы этого разговора не слышим, но догадываемся по жестам, о чем «бог» говорит со стариком. И старик переходит два потока движения, два конвейера беспощадной железной скорости.

Старик благодарит «бога», потом здоровается с чи-

стильщиком сапог и, весело ему улыбнувшись, сворачивает в боковую уллицу.

Он идет по ней размеренной походкой сосредоточенного на своем деле человека. Он поднимается в гору, потом сворачивает в узкий переулок и через пустырь приходит в дикий, жесткий мир бетона и железных коробок, заполнивших все неоглядное до горизонта пространство своей с ума сводящей одинаковостью.

Это царство индивидуальных гаражей.

Здесь все одинаково и по размерам и по серому, как собственность, цвету, и по расколотому трещинами асфальту, запачканному газойлем и маслом. Здесь только замки разные, они висят на дверях, как челюсти вояк-давов и бульдогов, вцепившись в железо намертво. Дикое царство.

И старик пропал и как бы растворился в нем. И его становится жалко.

Я оглядываюсь, и мне на память приходит одна посьловица, возникшая в последней четверти нашего двадцатого столетия, которую я слышал из уст знакомого пожилого шофера: «Машина не конь, — где постоит, там ничего не вырастет». И пока я думаю об этом, старик, осторожно оглядываясь, робко и тихо выходит из-за угла гаража, снимает с плеча ящик и прекрасной рукой художника ощупывает чуть тронутое ржой мертвое и жесткое железо.

А потом снимает плащ и раскрывает этюдник, вынимает кисти и бережно оглаживает их длинными, гибкими пальцами, отступает от двери гаража и всматривается в нее.

...А потом на этой двери, в этом мертвом и жестком мире, вырастают тропические деревья, зацветают фантастические цветы и радужные птицы наполняют чистый воздух звонкими и веселыми песнями.

Мир меняется на глазах, и душа обретает крылья удивления и восторга. Старик опять отступает от дверей, превращенных его руками в праздник, и вместе со зрителями вглядывается в него. Потом собирает свой этюдник. Надевает плащ и перекидывает заученным жестом широкий ремень этюдника через плечо. Уходит.

И я вместе со всеми, кто смотрел и еще будет смотреть эту ленту, смотрю вслед старику с благодарностью и надеждой на то, что чудо живой жизни на земле не иссякнет никогда.

Старик уходит, но оставленную им метафору уже не смоют никакие дожди. Старик уходит, но количество дверей в этом мертвом мире, превращенных его кистью в метафоры живого мира, растет.

Старика зовут Асагур Джерманиян. Ему восемьдесят три года. Многое он видел в своей скитальческой жизни. В 1970 году он вернулся на свою родную землю из Франции и работал модельером обуви. Сейчас он на пенсии. Но он не может жить без дела. И он сам себе придумал его. Он превращает мертвый мир, сделанный нашей неосмотрительностью, в живое чудо жизни.

Он сам в этом своем необходимом деле видит радость и, не жалея, дарит ее другим. Он любит жизнь и учит любить ее. Картина Рубена Геворкянца называется «Добрый след».

Эта картина так же метафорична, как и его лучшие стихи из книги «Время дождей». Фильм звучит как стихотворение о беспокойной человеческой душе, одаренной склонностью к творчеству.

1982

С ВОЗЛЮБЛЕННОЙ ГРУЗИЕЙ В СЕРДЦЕ

Письмо Ираклию Абашидзе

«Горы Кавказа для меня священны!» Эти лермонтовские слова я всегда произношу и воспринимаю как заветное, да иначе их и не произнесешь, так уж они слепаются на все времена, так уж они врублены и горят золотом в граните на цоколе памятника нашему братству.

Этот памятник у нас в душе. Он одинаково свят для русских и кавказских поэтов.

Я люблю Кавказ, древнюю и мудрую поэзию его народов. И я люблю твою Грузию, Ираклий, эту колыбель Прометеева огня, твоей возвышенной души и твоей мужественной песни.

Меня учили этой любви Пушкин и Лермонтов, Руставели и Толстой, Тихонов и Бараташвили, Пастернак и Галактион Табидзе.

Еще в сельской школе, читая у классной доски: «Кавказ подо мною...» — я парил в необыкновенной мечте рядом с пушкинским орлом над горами твоей Грузии, Ираклий. Потом я видел это парение отраженным в светлой

струе Сагурамо, тонко и пронзительно воспетой Николаем Заболоцким.

Я люблю тебя, Ираклий, потому что ты похож на свою Грузию, потому что песня твоей души похожа на тебя. Ты этого не можешь заметить сам, но я со стороны вижу, как она под стать тебе красива, собрана и стройна. У нее твое смуглое, обветренное лицо с высоким лбом, увенчанным, как Ушба, прекрасною сединой раздумья; у нее — ты этого тоже не можешь видеть — твоя медлительно-быстрая походка высокого человека, уверенного в своей силе.

Я люблю тебя, Ираклий, за то, что твоя возлюбленная Грузия всей своей историей, славой и кровью наградила тебя щедрым талантом и добрым сердцем.

Я закрываю глаза, и ты возникаешь передо мной во всем своем блеске. Я вижу твою очаровательную улыбку, осененную веселым светом чуть затемненных проницей глаз, и слышу твой хрипловатый голос. Сам ты стесняешься этой хрипловатости, а мне она приятна, она напоминает соловья, который жил в зарослях сирени под окнами пушкинского дома в Михайловском. Ах, как он пел! И очень смелым был — на расстояние вытянутой руки подпускал к себе. И вдруг с ним что-то случилось. Может быть, он выпил каплю слишком холодной росы с зеленой ладошки испещренного ворсинками молодого листа орешника и простудил свое соловьиное горло?

Простудил, но не растерялся: начал петь шепотом, и это было так удивительно и так прекрасно, что листья и звезды, кузнечики в траве и комары над травой замирали, вслушиваясь в его пение.

Я закрываю глаза и вслушиваюсь в твой голос, голос простудившего горло соловья, сглотнувшего слишком холодную каплю росы с виноградного листа. Но ведь не мне напоминать тебе восточную мудрость: если хочешь, чтоб тебя лучше слышали, — говори шепотом. И ты говоришь, и я слушаю:

Песня жизни моей!
От рожденья грузинской всецело,
Всем напевом своим
Ты бессменно грузинской была.
Искушеньями юности
Сердце вскипало и пело,
И мечта вырастала,
Как сильные крылья орла.

И опять «Кавказ подо мною», воспетый на сей раз не Пушкиным, а тобой, раскидывает свои благодатные рав-

нины, осененные белыми вершинами гор, наполненные музыкой воды и ветра. И мы идем с тобой в гости к юному Маяковскому в Багдади, ходим по твоему Кутаиси, потом поднимаемся по ступеням Мцхеты, смотрим на россыпь огней вечернего Тбилиси и на кучевые облака над ним, подсвеченные то ли закатным солнцем, то ли плавкой стали в Рустави. Мы идем вместе по дороге Тихонова — Алазанской долиной в имение князя Чавчавадзе, и нас приглашают на пир, где вместе с хозяином сидят его красавицы дочери Нина и Екатерина, и Грибоедов знакомит Пушкина и Лермонтова с только что вошедшим Николозом Бараташвили, потом (поэзии подвластно время и пространство) мы оказываемся в гостях в горной хижине каменного богатыря Важа Пшавела, и он читает нам «Змеееда» в переводе Бориса Пастернака. Мы слушаем его гортанный голос, и вместе с нами оказываются рядом Георгий Леонидзе и Симон Чиковани, а Реваз Маргвани разливает и подносит нам по голубому турьему рогу циннадали.

Понимаешь, Ираклий, я пьянею от памяти и любви к тебе и к твоей возлюбленной Грузии, которая свила в твоей душе гнездо радости и благословила тебя на страдный путь своего поэта.

Ты всегда был для меня образцом поэта, и я при каждой встрече с тобой любовался твоей манерой и умением держаться в любой компании, согласованностью и пластичностью твоих поэтических жестов, естественностью плавной речи, подкрепленной обширными и глубокими познаниями самой жизни и наследия культур разных народов.

Мне приятно в день твоего вершинного праздника говорить о твоей возвышенной душе возвышенным строем моей родной русской речи.

Ты — грузин, а я — русский. Что из того? Ведь в одной земле на склоне Мтацминды лежит прах Грибоедова и Бараташвили. Ведь в одной братской могиле в Сланцах захоронены останки наводчика нашей батареи грузина Автадила Чхеидзе и русского поэта, командира взвода противотанковых ружей Георгия Суворова. Они не знали друг друга, но оба отдали свои жизни за жизнь Ленинграда. Они были моими друзьями, и я в равном долгу перед памятью того и другого.

Ираклий, я слушаю твой голос и иду следом за твоей песней, потому что знаю: она меня никогда не обманет.

Я слушаю твой голос, Ираклий. Я знаю, как великий армянин Григор Нарекаци тысячу лет назад разговаривал с богом. Я читал его исповеди — и дивился кипучей страсти его поэтической речи. Я слушаю твою «Палестину...» в блистательном переводе Александра Межирова — и дивлюсь твоей смелости говорить с миром и прежде всего с твоей возлюбленной Грузией от имени самого божественного Руставели:

Просто был я сам собой,
Думая о человеке,
Человеческой судьбой
Не повелевал вовеки.
В этом видел я свои
Озаренья и несчастья.
Был я данником любви
И рабом единовластья.

Я слушаю твой голос и иду по следу твоей песни, Ираклий. И перекрестки твоей судьбы, продутые пронзительными ветрами двадцатого века, становятся моими перекрестками.

У твоего Мерани достойный всадник.

А когда ты говоришь:

Душа поэта —
Рим былых времен,
Сюда весь мир стремится, уповая
На то, на се.
Она ж — огонь и стон,
И вечный бой, и схватка мировая, —

я тоже это начинаю понимать. И я говорю тебе за это спасибо, Ираклий!

1979

ВЕЛИКОЛЕПИЕ И ЩЕДРОСТЬ

Карло Каладзе! Это ведь не человек, а чудо! И всего-то ему природа отпустила с лихвой. И таланта. И здоровья. И присущего истинным богатырям добродушия. И вот Карло Каладзе, в которого я влюблен с первого взгляда и на всю жизнь, исполняется восемьдесят лет. Это тот самый возраст, когда человеку можно говорить сколько угодно хороших слов о нем, потому что они не могут его испортить.

И я говорю о нем самые хорошие слова, потому что он их заслуживает всей своей жизнью.

А чем же он хорош, мой Карло Каладзе?

Да, во-первых, тем, что он прежде всего прекрасный поэт, воспевший в книгах стихов, поэм, песен и драм свою возлюбленную Грузию, всю — вдоль и поперек, с таким темпераментом и с такой силой, с такой непосредственностью и мастерством, как будто его наставниками в личном общении были и Гомер, и Шота Руставели, и Пушкин с Лермонтовым, и Блок с Маяковским, и Есенин с Тютчевым и Табидзе.

Карло Каладзе сказал сам о своей судьбе отчетливо и веско:

У сердца на бессмертье нет расчета,
Его земная оболочка — я.
Без отдыха идет его работа
В моей груди. А отдых — смерть моя.

Во-вторых, мне хочется сказать о Карло Каладзе, что он истинный и верный друг, умеющий хранить и раздавать свою преданность.

А в-третьих, он рыцарь, он надежен и в слове, и в деле. Сказанное им и сделанное им красиво и добротно.

Он все старается делать как мастер, умеющий помогать самой природе рождать на радость другим чудо, подвигать и окружающих его людей делать чудеса.

Я не встречал на Кавказе тамады, который мог бы сравниться с Карло Каладзе в этом древнем артистическом искусстве дружественного застолья. Он умел восседать за столом как бог и всех возвеличивать своим величием.

Мне приходилось видеть, как на этих пирах он танцевал, — как его стопятидесятикилограммовая фигура богатыря вдруг превращалась в легкий аэростат и парила над пиром, как грация. С какой легкостью (боже мой!) он делал, привстав на носках, молниеносные повороты и прыжки, и женщины, подбадриваемые им, порхали вокруг него, как бабочки в самые чудные мгновения своей жизни.

Сколько в нем было силы и задора, великолепия и щедрости!

И вот моему Карло Каладзе, у которого в друзьях весь Кавказ и половина, если не три четверти, лучших поэтов России, за право перевести которого на русский язык спорили и спорят лучшие переводчики, так вот, моему Карло Каладзе исполнилось восемьдесят лет!

Его вдохновенный труд, его необозримый путь удивительны и прекрасны.

И я надеюсь, все бесчисленные друзья Карло Каладзе видят его в день восьмидесятилетия там, на вершине расцвета его бытия, могучего, красивого, готового на подвиг во имя связующей весь мир Поэзии и свершившего этот предназначенный самому себе подвиг:

Всю азбуку природы нашей горной
Старался я в стихи свои собрать.
Вот на страницах книги — строй узорный,
Отряды букв, как боевая рать.
Так повелось, что в Грузии любое
Событие, подвиг, радость или честь
Должны оставить следом за собою
В живых стихах рассказанную весть.

И эта весть самого Карла Каладзе в эстафете будущему дню уже несмываема.

1987

НА ПУТИ К ВЕРШИНАМ

Очевидно, для того чтобы поэт стал истинным творцом и выразителем своего времени, надо, чтобы река времени прошла через его душу, наполнив ее до краев своим ароматом и своей горечью, вечной надеждой и трагедией, радостью победы над пропастью поражения, торжеством человеческого духа, его нравственным возвышением над мерзостью зла.

Спеша, мой стих, ручьем от ледников
В людское море радости и песен.

Так сказал Кайсын Кулиев о своем назначении и о своей поэзии.

Он называет себя кавказцем, горцем, и вершина его таланта с каждой новой книгой приобретает на горизонте нашей поэзии все более заметные и только одной ей свойственные контуры.

Он влюблен в горы не меньше, чем в поэзию Лермонтова.

Когда народ Кайсына — балкарцы — был лишен своих гор, Кайсын, имея возможность остаться в горах, ушел со своим народом. Разделяя с ним тоску изгнания, но ве-

руя неистребимой верой в торжество ленинских идей, проникнутый любовью в волшебное слово Лермонтова, он перевел в эти дни его «Демона» на свой балкарский язык.

Не знаю, может быть, я выдаю тайну Кайсына, но я не могу ее не выдать, так она поэтична и примечательна. Это было уже после возвращения балкарского народа на свою землю, после того как стали выходить в переводе на русский язык книга за книгой Кайсына, удивляя и поражая читателей своей масштабностью и откровением. Кайсын показал мне карту Кавказа, на которой его, Кайсына, рукой был отмечен по изгибам ущелий путь Демона на свидание к Тамаре.

— Вот здесь он и летел, — сказал Кайсын.

И я поверил в придуманную им сказку. Ей было нельзя не поверить, потому что к нам в окно заглядывал Эльбрус, сверкая чистейшей двухглавой белизной на бархатном звездном небе бесконечности.

Он звал к себе.

А зачем все-таки человеку нужно идти в горы, карабкаться с уступа на уступ, по непроходимым тропинкам, ежеминутно рискуя заплатить головой за любую свою неосторожность?

Человека всегда тянет к вершине и к неизведанному. Да он и перестает быть человеком, если в нем угасает это, рождающее вместе с ним, желание, эта страсть. Он жертвует собой, но идет, сантиметр за сантиметром отвоевываю высоту, утверждая мужество своего духа.

С вершин виднее мир и возможности человека.

Об этом знают альпинисты и поэты.

Они первыми замечают, как из-за горизонта выкатывается солнце и первый его луч приветствует их дерзость.

Это ощущение ни с чем не сравнимо.

Ради него можно идти на любой риск, потому что благородству порыва нет смерти, потому что за покоренной вершиной встает и зовет новая, более высокая и прекрасная высота на пути к бесконечному совершенству.

Завидна судьба первооткрывателей и первопроходцев на этой дороге.

Поэзия зовет первооткрывателей в путь. Она первая побывала на Луне и подготовила в душе космонавтов уверенность в прилунении. Там прежде них уже побывали и Ломоносов, и Мильтон, и Байрон, и Лермонтов.

Поэзия летит впереди открытия.

В этом ее назначение.

Ты хочешь в горы, в высоту и стужу,
Возьми ее в свои проводники.

У каждого поэта должно быть и есть свое лукоморье, свое Михайловское, свои травы, деревья, синицы, дятлы и иволги, дожди и метели, свой купол неба, сливающийся с зубчатой кромкой лесов на горизонте, свой привычный с детства, обжитой мир природы — то окно очарования и света, через которое идет живое общение с природой, вечное и непрекращающееся.

У Кайсына Кулиева его лукоморье называется Верхним Чегемом. Это аул, волею судеб и человеческого упорства закинутый на уступ Кавказского хребта, окруженный вечно белыми зубцами задумчивых вершин, втиснутый между темными скалами Чегемского ущелья, поросшего кизилом и карагачем.

Его сакли лепятся по гранитным выступам, сливаясь с ними, как ласточкины гнезда.

Над пропастями петляют тропинки, и под обрывом грохочет, пенится холодный и чистый Чегем.

Поля и огороды, покосные лужайки так малы, что косить траву можно, только предварительно привязав себя к дереву.

Тут и живет племя Кайсына, его судьба и песня — его народ балкарцы, умеющий добывать свой прекрасный и трудный хлеб из камня.

Здесь и родился Кайсын за шесть дней до революции в семье горца, в старой сакле-крепости с плоской, поросшей польнью крышей, поддерживаемой могучими, прокопченными временем и очажным дымом балками, вытесанными грубым топором из ствола чинары пять или шесть веков назад.

Над саклей поднимается башня с узкими, как прищур монгольских глаз, бойницами — ее защита.

Из этой сакли и вышел кайсыновский род мастеров камня, хлеборобов, охотников и дровосеков, людей твердого, как камень, характера, покоривших камень, людей, знающих благородство и позор оружия.

Возле сакли — лоскутное одеяло поднимающегося террасами огорода, где каждая полоска земли не больше ослиного стойла. И рядом с огородом звенит, поет, переливаясь по камням, как белозубая улыбка горской девочки, радостная речка Жилга.

Напротив сакли отвесная стена горы. Если закинуть

голову, то над ее угловатым профилем, как со дна колодца, ударит в глаза чистое небо, и тень орлиных крыльев скользнет по мокрому телу скалы, и гортанный клетот долго будет перекатываться эхом по ущелью.

Все видела эта сакля: и первый взгляд ребенка, и молчаливое прощанье с близкими.

Все слышали эти каменные, поросшие мохом стены: и застольную свадебную песню, и молитву об урожае.

Все вынесла эта сакля: и обвалы, и набег, — и кажется, сам воздух мужества отстоялся за ее стенами и заполнил все углы.

Стоит только притихнуть, сосредоточиться, и он заговорит.

Стоит только выйти лунной ночью к Жилге, встать на камень, и можно увидеть в наплывах водянистого лунного света, как литым серебром, переблескивая на перекатах, играет форель, выскакивая из бьющей по камням воды и паря какое-то мгновение в воздухе.

Стоит только встать пораньше — и можно заметить на вершине скалы в первых проблесках солнца, как гордый тур заглядывает вниз, прислушиваясь к голосам пробуждающегося ущелья, к позвякиванию посуды и к треску карагача в низких очагах, к пронзительному крику осликов, пасущихся на зеленых лужайках.

Это место было и осталось на все времена для Кайсына и его читателей лукоморьем-чудом, волшебным окном, через которое влетела в его душу, блестя фазаньим оперением, поэзия.

Здесь, у своих родичей, он и учился мужеству, добру и ответственности слова.

У него были прекрасные учителя, строгие и справедливые, скупые в словах и точные в жестах, потому что здесь сама природа заставляет отбрасывать все лишнее, как гибельное.

Рождаются великие творенья
Не потому ли, что порою где-то
Обычным удивляются явлениям
Ученые, художники, поэты.

Я удивляюсь и цветам и птицам,
Хоть мне их не повясть, как ни пытаюсь.
Я удивляюсь и словам и лицам,
Чужим стихам и песням удивляюсь.

Текут ручьи, звенят их голоса,
Я слышу моря гул и птичье пенье.
Земля нам дарит щедро чудеса
И ждет взамен труда и удивленья.

Здесь жил наставник Кайсына — мудрец и поэт, пастух и кузнец, седобородый горец, хромоногий Кязим — предтеча, в котором история и судьба сосредоточили опыт и культуру балкарского народа. Он восхищал Кайсына и был для него образцом доблестного человека.

Путь Кязима Мечнева можно бы сравнить с жизненным путем Сулеймана Стальского и Гамзата Цадасы или Дмитрия Гулла — первых столпов поэзии и культуры кавказских народов, освобожденных Октябрьской революцией, даровавшей им печатное слово.

И не вина Кязима в том, что его творчество недостаточно знают. (А впрочем, самое хорошее вино не часто подают к столу, и от этого оно становится еще заманчивей, исключительней.)

Верю в то, что Кязим еще зазвучит в полный голос как первый певец балкарского народа, как проникновенный, любящий землю и человека художник.

В ауле открыли первую школу, и Кайсын одним из первых переступил ее порог.

Организовали пионерский отряд — и у Кайсына на груди заалел красный галстук пионера, как вызов старому, замшелому миру, как свет зари, яростно плеснувший в глаза из завтрашнего дня.

Стали создавать комсомольскую ячейку — и Кайсыну одному из первых вручили комсомольский билет.

Он видел и постепенно испытывал на себе зарождение в людях ленинского братства земли.

Он учился жадно и лихорадочно, как будто в нем одном сосредоточилась вся вековая тяга его народа к свету, к знаниям, — ведь балкарцы до революции, как и многие малые народы царской России, не имели даже письменности, и Кайсын, не умевший произносить слово «хлеб» по-русски, увидел пытливыми мальчишескими глазами новую радость за снежными перевалами.

И ему захотелось петь об этой радости, сочинять, лепить слово к слову так же удивительно и складно, как это делал аульный кузнец, седобородый Кязим.

Кайсын, как и все в ауле, смотрел на своего учителя с восхищением, и это восхищение осталось в душе Кайсына, как чувство первой любви, навсегда.

Потом пришли Пушкин и Лермонтов, Некрасов и Гоголь, Маяковский, Есенин, Блок. И первая радость напечатанного в газете стихотворения окрылила его, наполнила свежим ветром его легкие.

Ему снились горные вершины и бесконечные тропинки, по которым он поднимался к ледникам, срываясь с уступов, падая, но не расшибаясь.

Он рос, потому что летал во сне. Мир раскрывался перед горским мальчиком бесконечной перспективой неизведанного и возможного.

— Ты очень хорошо пляшешь, — сказал ему Кязим. — Учись так же искусно писать.

И он учился.

Он увидел Налчик, первый сказочный огонь Баксанской гидростанции, обильные сады и поля, бурно расцветающую жизнь, принимаемую им со всей юношеской восторженностью.

Первым его стихи заметил и перевел на русский язык удивительный знаток поэзии кавказских народов, ее первый пропагандист, обожженный альпийским солнцем путешественник и поэт Николай Семенович Тихонов.

Кайсыну он импонировал всем: и необычно молодым лицом, и белой, как у Кязима, шевелюрой, и таким знанием географии и истории Кавказа, словно он родился в горах и прожил здесь всю свою жизнь, облазил все горы и занял блеск для своих пронизательных глаз у фирнового льда вечных вершин.

Кайсыну нравились и ритмы, и жесткая точность тихоновских стихов, и его характер, общительный и веселый.

Это правда, что ни на чем ничего и не вырастет.

А у Кайсына в молодости была прекрасная почва и чистейшее небо с высокими и отчетливо яркими звездами. У него было из чего расти и куда тянуться.

Как ручей, выхлестнувшийся из-под гнета каменной скалы, не знает в первое время, куда течь, и вслепую выискивает русло, так и он в начале своего пути еще не знал, по каким ущельям и долинам пойдет поток его жизненной страсти и какие жернова и турбины придется крутить его неукротимой энергии, чтобы отдать, раздартить эту энергию, этот свет без остатка.

Он сам, наверное, не объяснит сейчас толком, почему он поступил в театральную студию великого артиста Остужева, — может быть, потому, что хотел быть всем: и поэтом, и звездочетом, и трагиком, обращающим к на-

пряженному, притихшему, слившемуся в одну живую душу залу роковые шекспировские слова: «Быть или не быть?»

Но все равно и это шло ему на пользу.

По крайней мере, он научился четкости интонации, которая потом перешла в кайсыновские стихи, обернувшись четкостью мысли; по крайней мере, он научился один на один разговаривать с Шекспиром и удивляться ему не меньше, чем Пушкину и Лермонтову, скандируя чуть хрипловатым от волнения голосом заключительное двустипшие 66-го сонета:

Измучась всем, не стал бы жить и дня,
Да другу будет трудно без меня.

А представления о верности и дружбе для него всегда были и остались высокими и чистыми, как ледники. Он был постоянно щедр, как человек, неосознанно знающий, что запасы его духовной силы от их беспощадной траты только увеличиваются.

А может быть, он об этом и не думал, настолько был завораживающ вихрь времени, повернувшийся к нему блеском радуги и радости, жаждой чести, битвы и подвига во имя этого прекрасного, ошеломляюще радостного вихря.

Каждый день нес ему новое открытие: то пестрый ковер врубелевских откровений, то узорную вязь пастернаковской лирики, то задумчивую нежность Лорки. Все это оставляло благородные семена на почве его души, а душа, в свою очередь, училась отбирать лучшие семена.

Таланту необходимо испытание так же, как голодному хлеб.

Без испытания талант вянет, искусство превращается для него в самоцель.

Великая Отечественная война стала для Кайсына Кулиева, как и для всех его сверстников-поэтов, тем точильным камнем, на котором закаленный клинок обретает окончательную остроту.

Война застала Кайсына в десантных парашютных войсках. Он был храбрым и смелым воином, он испытал и горечь отступления, и ликование победы.

Он понял, что мужеству правды нет границы, что

Есть упоение в бою
И бездны мрачной на краю, —

когда этот бой справедлив, как рождение ребенка.

Потом, как бы подытоживая этот опыт, он писал, обращаясь к грядущему:

Не только за счастье родного селенья
Я падал в золу на дымящемся поле,
За вас, мои правнуки, шел я в сраженья,
И молодость отдал, и кровь свою пролил.

Не знаю, какие возьмете вершины,
Какие дороги вам разум отыщет,
Как будут устроены ваши машины
И как будут выглядеть ваши жилища.

Но знаю, как ныпче, в садах ваших птицы
Засвищут, зальются тоской человечесьей,
И будут, как ныпче, поля колоситься
И хлебы сажаться в горячие печи.

Когда-то перед войной наш общий с Кайсыном друг и ровесник, башкирский поэт Мустай Карим, написал балладу о комсомольском билете.

В ней говорилось о том, как во время гражданской войны пуля пробил комсомольский билет молодого бойца и прошла через его сердце и он, умирая, передал этот билет товарищам.

Баллада выглядела романтической и в меру страдала дидактикой.

Но когда осколок немецкого снаряда пробил насквозь комсомольский билет Мустая, к счастью не затронув сердце, баллада превратилась в пророчество. И этот комсомольский билет, пробитый осколком, есть в стихах многих наших сверстников: и у Межелайтиса, и у Луконина, и у Юхана Смуула, и у Сергея Орлова.

Есть он и у Кайсына Кулиева, как символ верности и веры всего нашего поколения, выросшего под справедливым знаменем Ленина, присягнувшего этому знамени всей жизнью и на всю жизнь.

Потом коммунист Кайсын Кулиев в ставшей гемерь хрестоматийной «Горской поэме о Ленине» скажет:

За мир познанья я в него влюблен,
Его идеи ревностный служитель.

И в этих простых, как вздох, словах нет ни позы, ни деклараций.

Кайсын был и остается верным ленинским идеям, за

них он не раз проливал свою кровь, вынужденный взяться за оружие.

Что он принес с войны?

Разочарование?

Нет. Ощущение, что битва не кончена, что жизнь трижды прекрасна.

Когда-нибудь в будущем историки и просто люди Земли удивятся нашему оптимизму и поймут, что мы не могли и не умели жить по принципу «после нас — хоть потоп», что мы, как никто, чувствовали связь времен и жизнями своими мостили переправы, чтобы эта связь не прервалась, чтобы ландыши пахли ландышами, а не тротилом, чтобы добытый в поте лица хлеб был сладостен, чтобы у воды не было привкуса крови.

«Хлеб и роза», «Огонь на горе», «Раненый камень», «Мир дому твоему», «Кизилевый отсвет» — послевоенные книги Кайсына, вышедшие в переводах на русский язык, стали достоянием миллионов советских читателей.

В них есть нежность розы и твердость камня, вечное стремление познавшего мир человека к справедливости и любви, человека мужественной и рыцарски последовательной в этом мужестве души.

Эти книги просты мудрой простотой выстраданного опыта, необходимостью сказать именно *это* и именно *так*, а не иначе.

На земле, и солнечной и спелой,
Не в соседстве ль камень с виноградом?
Твердость камня, винограда нежность
Разве у мея в душе не рядом?

На земле, и солнцем озаренной,
И посеребрянной снегопадом,
Обручен я с песнею, рожденной
От соседства камня с виноградом.

Поэзии Кайсына свойственны вещные и вечные категории жизни.

Весь запас вековой мудрости его народа, передававшийся изустно от поколения к поколению, отобранный и проверенный временем, во всем своем золотом блеске точности был в распоряжении Кайсына, и надо быть справедливым до конца, чтобы сказать, что Кайсын этим богатством умеет пользоваться как мастер, приобщая его к мировой гармонии поэзии. Большинство его стихотворений напоминает по своему строю четко сделанные черно-

белые гравюры, где каждая грань мысли оттенена, как грань горного изгиба во время ясного и спокойного дня.

Черный конь умирает
На белом снегу.

Вчитайтесь в это стихотворение, и вы увидите одну из важных деталей кайсыновского взгляда на мир, один из важных приемов поэтизации этого мира. Этим приемом он и достигает той предельно концентрированной правды, без которой не может существовать поэзия. Он не боится стыка противоположностей, понимая, что в этом лежит секрет выразительности.

В поэзии Кайсына большой заряд неистребимого человеческого добра — добра, подкрепленного мужественностью характера, твердостью, волей, решительностью.

В его стихах мир живет высокими страстями, и эти страсти чисты и прозрачны как родники, не стесняющиеся своей прелестной обнаженности.

Женщина купается в реке,
Солнце замирает вдалеке...

..... : ♪
Рядом с ней, касаясь головы,
Мокнет тень береговой листвы.

..... : ♪
Плещется купальщица в воде,
Нету зла, и смерти нет нигде.

В мире нет ни вьюги, ни зимы,
Нет тюрьмы на свете, нет сумы,

Войн ни на одном материке...
Женщина купается в реке.

Здесь Ренуар и Кустодиев, Боттичелли и Рубенс сплавились в каком-то новом свете, запели всеми красками торжества жизни, засверкали благородством страсти и тревоги.

Познание жизни есть сплав глубокого изучения мировой культуры, ее поэзии с тем сугубо личным опытом самого поэта, который дает ему возможность видеть явления объемно с разных сторон, рельефно и точно лепить образ, как лепит узкогорлый кувшин горский гончар, на ощупь проверяя точность и завершенность каждой линии.

Мир поэзии Кайсына — горы и весь мир.

Он умеет видеть одновременно и противоречия человеческой души, и страдания раненого камня. Творчество его интернационально и человечно, оно активно, оно наступательно, оно вызывает чувство сопереживания. В нем есть самые необходимые поэзии качества — значительность, масштабность видения и изображения, беспокойство и ответственность за сказанное.

Как альпинист, идущий по едва заметному карнизу над бездонной пропастью, рассчитывает каждое свое движение, соразмеряя нагрузку на каждую мышцу, так и Кайсын умеет в лучших своих стихах соразмерить напряженность мысли — редкая способность, подтверждающая присутствие крупного таланта, умение скорее врожденное, нежели благоприобретенное.

Я это говорю не только как читатель, любящий творчество Кайсына, но и как скромный переводчик его стихов, потому что сам процесс перевода дает возможность глубже обыкновенного вникать в строчечную суть, как бы соучаствовать в самом процессе творчества, в самой лепке образов и характеров, идти вторым по еле заметному карнизу горы, повторяя по-своему все движения впереди идущего проводника, иногда даже подстраховывая его на более опасных поворотах трассы.

Путь настоящего поэта всегда нелегок, часто трагичен. Благополучной поэзии нет и не может быть потому, что она отвечает за человека, и в мире она беззащитна.

Я людям дарил на доброй Земле
И песни и сердце свое.
Я равно любил на доброй Земле
И розы ее и решье.

Любил людей, говоривших мне «друг»,
Твердых твердостью этих скал,
И травы, мягкие мягкостью рук,
Которые я ласкал.

Кайсын умеет видеть противоречия и в человеческой душе, и в мире и умеет не боясь изображать их; он знает, что трагедия — высшая форма выражения оптимизма.

Герой кайсыновской поэмы «Перевал» Азрет спасает жизнь матери и новорожденного, а сам гибнет в горном обвале. Но подвиг его прекрасен высоким благородством мужества, и заключительные слова поэмы звучат как хорал:

Ритм чистый моего сердцебиенья
Тяжелый снег остановил навек,
Как снег нагорный, чистые стремленья
Моей души засыпал горный снег.

Прости меня! Мне оправдаться нечем,
У радости и горя свой союз.
Груз смерти я взвалил себе на плечи
И на вершину поднял этот груз.

У Кайсына есть глубокая корневая связь со своим народом, с истоками его языка как хранителя духовной жизни народа, и Кайсын говорит об этом светло и широко, вспоминая день рождения Ленина:

Я вечно буду славить этот день,
Он для меня высоким светом светел, —
Мы без него бродили б, словно тень,
И горе нас развеяло б, как пепел,

Как серый пух убитого орла,
И наш язык пропал бы бесполезно,
Как конь, окровенивший удила,
Подстереженный каменной бездной.

Но он не сгинул в смятном далеке, —
Я стих веду, как поводами правлю,
Пишу стихи на этом языке
И тот апрель благословенный славлю.

В этих словах и биография Кайсына, и гимн ленинской национальной политике, разбудившей духовный мир так называемых малых народов, показавших всему миру, какие сокровища есть в каждом народе и как много надо сделать в мире, чтобы эти сокровища стали достоянием всех.

Вот поэтому я всегда с восхищением смотрю на судьбу верных друзей Кайсына по поэзии: Мустая Карима, Расула Гамзатова, Давида Кугультинова, на многих товарищей Кайсына и моих товарищей, которые сделали горы Кавказа выше и прекрасней, которые, возвеличивая свой народы, сделали мир шире и добрее.

Кайсын любит забираться поработать в свой Верхний Чегем, в свое лукоморье. И Верхний Чегем — или мне это только кажется? — оставил свой отпечаток не только на характере самого Кайсына, но и на его облике: на показателем лбу с каменными складками раздумья, на осанке коренастой, ладно организованной фигуры всадника и каменотеса.

Когда Кайсын улыбается, я вижу в его улыбке нежно розовеющие на горных пастбищах мальвы, мне кажется, что зубы заняли свою белизну у вечных снегов заоблачных вершин. Когда Кайсын негодует, в его глазах я вижу молнии, сверкающие в горном ущелье.

Я знаю Кайсына с 1957 года.

Но иногда мне кажется, что знаю его давным-давно, с тех самых пор, когда еще мальчишкой приехал на строительство Баксанской электростанции.

Мои стихи — ручьи, они журчат,
Теряются в потоках на равнине.
Мои стихи — стрижи, они парят
И растворяются в бескрайней сини.
Мой стих — искрящийся на солнце снег,
Он принесет вам радость и растает.
Мой стих — не вечный, но живой побег,
Он расцветает в срок и увядает.

Это я цитирую «Книгу Земли» — книгу обстоятельную, книгу зрелой мысли и зрелого чувства художника, умеющего слушать время и стихом выявлять те качества человеческой души, которые наиболее свойственны времени.

За плечами Кайсына, за плечами его поколения грандиозный опыт познания мечты и трагедии, мужества действия и совершенства мысли. Платан его поэзии рос на площади, открытой всем ветрам, у него крепкие корни. Его ломали бури, но на месте сломанной ветви вырастали три новые, потому что он рос на прекрасной почве.

Пусть же растет платан на площади. Пусть он соединяет траву и облака, соловьев и звезды. Пусть он растет. Ведь только поэзия умеет, как и он, тучей своих листьев превращать смог отчуждения в прекрасный воздух человеческого братства.

1970

СВЕТ ЛЮБВИ И ЖИЗНИ

Уходит наше поколение...

Михаил Луконин...

Сергей Орлов...

Сергей Наровчатов...

Реваз Маргиани...

Кайсын Кулиев...

Они уже больше ничего не скажут, наши ушедшие друзья. Они свое сказали с кровью из сердца вырванными словами. Они уходят с великим достоинством солдатской судьбы и песни. Их никто не заменит. Они там — в туманных лугах памяти. Они ушли туда, откуда не возвращаются.

«Уходит наше поколение...» — эти слова принадлежат Кайсыну Кулшеву, он их произнес после того, как я написал стихи памяти Михаила Луконина и прочел ему, Кайсыну: «Прощайте! Уходим с порога, над старой судьбой не вольны...» Кайсын сказал мне тогда: «Я тоже об этом думал, и я тоже напишу об этом. О святой верности поэтов нашего фронтового поколения».

Он написал цикл из трех стихотворений «Говорю моему поколению», посвятил его мне и прислал эти стихи в своем подстрочном переводе, а я из подстрочника сделал русский вариант одного стихотворения из этого цикла:

Уходит наше поколение
Без грома с молнией, тайком.
А ведь когда-то мы камень
Раскалывали кулаком.

Костром в снегу перед веками
Пылали верности года.
Теперь мы стали стариками.
И вот уходим... Навсегда.

Несем, как некогда под пули,
Свою судьбу своим путем.
Когда-то мы подковы гнули.
И вот... в историю идем.

Мы были силою великой
В боях, которым равных нет.
И наши лица стали ликом
Жизнь утверждающих Побед.

Мы шли за жизнь и смерть в ответе
Сквозь все лишения вперед.
Уходит все на этом свете,
И наступает наш черед.

За нами грозная эпоха
К рассвету выхода из тьмы.
Но в свой короткий век неплохо
Трудились и сражались мы.

Дней табуны судьбы велье,
Как тучи, гонит мимо нас.

Уходит наше поколение, —
Свой день у каждого, свой час!

Теперь часы и дни стократ
Летят быстрее, чем мгновенья.
О мой любимый друг и брат,
Уходит наше поколение.

...Свой час подошел и к Кайсыну. И мой Кайсын, заводи́ла и разведчик поэзии и жизни, весельчак и мудрец, заболел. Пять лет он боролся со своим страшным недугом, как со своим личным врагом и с врагом всего человечества. Боролся всем, что только было в его распоряжении, и прежде всего — талантом своей великой души, опытом потерь, опытом солдатского мужества, не признающего оглядки. Боролся всей своей нежностью и любовью ко всему живому, своим удивлением вселенной — от колосьев до звезд.

Кайсын знал, что́ у него за болезнь, и поскольку не боялся правды, скрыть ее от него было невозможно. Наверное, поэтому в самом начале болезни, после первой операции, он сказал мне: «Миша, мне надо торопиться сказать то, что я обязан сказать».

Он успел. Спустя полгода после смерти вышла его прекрасная книга «Человек. Птица, Дерево», оформленная его другом художником Владимиром Медведевым (Кайсын не успел поблагодарить его за прекрасное оформление). На его рабочем столе остался неопубликованный роман. И все это он сделал за пять лет — от больницы до больницы.

А еще он из больницы, из своей палаты, из своей выжидательной тишины писал письма друзьям — и в стихах, и в прозе. У Кайсына был размашистый, под стать его характеру, почерк.

Он прекрасно умел превращать своих старых верных друзей в друзей своих новых друзей. Он обрстал друзьями, как матка роем гудящих пчел.

Он познакомил меня с Берды Мурадовичем Кербабеевым, и этот мудрый аксакал позволил мне быть его другом.

Он познакомил меня с Абдиджамилом Нурпейсовым, блистательным казахским писателем, и тот стал моим другом, отзывчивым и верным.

Он свел меня с удивительным армянским поэтом Амо Сагияном, и я с восхищением перевел его книгу на рус-

ский язык, а Левон Мкртчян, по рекомендации Кайсына, раскрыл мне свою Армению во всех ее измерениях.

Я познакомил его с моим лучшим другом Сергеем Орловым, и Орлов вошел равным в круг нашего дружества.

Вот что Кайсын писал Абдижамилу из больницы:

«Дорогой друг Абдижамил!

Я шлю тебе мой сердечный привет. Также шлю поклон глубокоуважаемой Аджар, всей твоей семье, твоему дому, где я провел счастливые часы. Сегодня я обнимаю тебя в чине больного. Этот противный плен хорошо тебе известен... Здесь зима, в этом году очень холодно. Но твоя шапка — на моей глупой голове. Я ношу твой дорогой подарок шестой год, я ношу ее с гордостью.

...Посылаю тебе стихи, в которых благодарю тебя за братский подарок.

Мой друг Абдижамил — из племени орлов,
Глазами зорок и талантом ярок.
Я до скончания дней моих готов
Хранить его внимательный подарок.

Он бережет мне голову зимой,
Он греет голову мою, когда мне
По-дружески кивают головой
Заснеженные тополи и камни.

Нет ничего дороже головы
Для человека, — и в лихое время
На зависть человеческой молвы
Мне шапка друга согревает темя.

Забота друга навсегда со мной,
Хранит меня и прибавляет силу.
И каждый день, который год, зимой
Я воздаю хвалу Абдижамилу.

Стеней казахских доброе тепло
Доходит до Чегемского ущелья.
И от него судьбе моей светло
В дни горьких дум и в редкий час веселья.

И муза гор благодарить должна
Достойным словом дружескую музу.
И никакая стужа не страшна
Двух верных душ прекрасному союзу.

Кайсын был мужественным человеком. Не зря он служил и встретил войну в части десантников-парашютистов. А когда в 1944 году, опираясь на палку, он вышел после ранения из полевого госпиталя, его тут же настиг-

ла страшная весть о том, что его народ выслан из Чегемского ущелья в Киргизию. Кайсын сказал: «Народов плохих не бывает, на празднике жизни все народы одинаковы, а от подлецов, к сожалению, ни один народ пока еще не избавлен». И он ушел вместе со своим народом в эту несправедливую ссылку. Он верил и поддерживал веру своего народа в справедливость. Он зарабатывал на жизнь переводами с киргизского на русский. Он писал стихи, но не печатал их, потому что их нигде было печатать. В это тяжкое для его народа время он перевел на родной балкарский язык лермонтовского «Демона».

Вот таким был Кайсын. Он вернулся к своему Эльбрусу вместе со своим народом.

Он знал мировую поэзию, поэзию русскую и все содружество поэзий Советского Союза. Он был веселым и надежным товарищем и часто дарил свой Эльбрус друзьям. Его ослепительно белая, как снег Эльбруса, улыбка одаряла радостью нашу многоликую поэзию.

Кайсын умел дружить. Он писал из больницы Левону Мкртчяну:

Дни наших встреч и ночи ликований
Ты прозорливым взглядом озарил.
С тобой я говорил как с Чиковани,
Как Сагияну — пыл души дарил.

И в дружеской беседе не ддя вида
Сквозь прошлое мы вглядывались в даль:
Была тебе балкарская обида
Близка, как мне армянская печаль.

Мы поровну делили хлеб и слово,
И цель поэзии — была ясна.
Всем мастерам мы клапались. И снова
Нас молодили Песня и Весна.

Ты хлебу дружбу мыслил сделать равной.
И эта мысль мой согревала дом
И приобщала к цели жизни главной,
И я светлел, и мир светлел кругом,

И, возникая трепетно и зыбко,
С того незабываемого дня
Твой чистый голос и твоя улыбка
В воспоминаньях радуют меня.

Мы всем талантам всех народов в мире
Пророчили успехи без прикрас.
И мир, как праздник, раскрывался шире,
И песня дружбой связывала нас.

Трубил олень, и пробуждались птицы,
Играя, пела горная река.
И шла весна, и молодели лица
Поэзией и верой на века.

Кайсын вел бой с болезнью. Ему помогали в этой чудовищной схватке врачи и мудрецы всем своим вековым умением. Ему помогало сочувствие всех поэтов, которых он знал и любил.

Он писал Амо Сагияну:

Пока Амо Сагиян смотрит,
Как ложатся семена во влажную землю,
Пока он видит,
Как пронзительна синева неба

над Арменией,
Пока он лобуетя звездами над домами
И светом в окнах домов,
Пока он пытается понять язык камня,
Деревя, тропы, дождя, снега,
Пока он сидит под абрикосом,
Разгадывая чудо цветения,

и слагает стихи, —

Мне легче жить в этом трудном мире
Наперекор обступающим меня тяготам
и болезням.

И то, что Амо Сагиян живет на свете —
Одно это дает мне силы жить.

...Вот каков свет любви и жизни,
Который идет от истинных поэтов!

Но страшный недуг оказался сильнее его силы и воли. Он сначала заставил Кайсына взять в руки палку, потом вместо палки сунул ему под мышки костыли, а потом уложил в постель и замучил его.

Я видел, как он страдал на своем последнем ложе. Видел по его глазам, светившим мне всей своей беспомощностью из глазниц, как из бездонных колодцев.

А Кайсын еще пробовал шутить. Тихим, мягким, шлепящим как папиросная бумага, голосом он сказал мне: «Врачи отказываются меня лечить, и завтра я отправляюсь в свой Чегем. Чему бывать, тому не миповать».

Сам он «выглядывал» очень плохо. Болезнь превратила его могучее ладное тело в тело беспомощного птенца орла, только что вылупившегося из яйца, не умеющего поднять голову на тонкой голой шее. Он высох, лицо его сжалось и побелело. Остались одни глаза да усы, белые зубы да широкое брови, под которыми чуть теплился придавленный болью медленный свет.

Он едва глядел на меня, как бы извиняясь за свое состояние, и его когда-то каменной хватки ладонь была холодной и чуть шевелилась в моей ладони.

На прощание он еле-еле моргнул ресницами и закрыл глаза...

В самолет его внесли. Он просил летчика извинить его, Кайсына, за неудобство перед пассажирами и обязательно сделать так, так провести самолет, чтобы он, Кайсын, мог увидеть в последний раз белую грудь Эльбруса.

Он уже примирился со своей обреченностью. Он об этом знал пять лет тому назад. Знал и не сдавался, глушил боль работой.

Работа тоже не помогла.

Черный конь умирает
На белом снегу.

Это я повторяю про себя стихи Кайсына.

Мой Кайсын умер. И солнце моей судьбы затмила тяжелая беспросветная туча, и белая чахла двуглавого Эльбруса потемнела в моих глазах и скрылась за горизонтом.

Но мир, которому Кайсын пел свою песню на самой вершине цветущего и щебечущего праздника самой весны, цветет опять восторгом вечной жизни и смотрит в его закрытые, запавшие глаза.

Прощай, Кайсын! Я вижу твою белозубую улыбку радости, любви и дружества. Я слышу твой голос:

Женщина купается в реке...

И в радуге брызг ледниковой воды плавится полуденное ослепительное солнце жизни.

Ты был радостью, Кайсын! Радостью живого мира и моей радостью. Слово твое идет по миру и учит мир радости, радует его само по себе. Оно уходит вместе с жаворонками в синий провал июньского неба, свободное и чистое слово.

Я люблю тебя, Кайсын! Больше мне нечем расплатиться за твою любовь на пороге твоей глухой и безответной вечности.

...На пути из Москвы в Чегем летчики не смогли выполнить последнюю просьбу Кайсына. Он так и не увидел Эльбруса.

Эльбрус был закрыт облаками и туманом.

ЭТОТ НИКОГДА НЕ ПРЕКРАЩАЮЩИЙСЯ ВЕТЕР...

Смуул — значит ветер.

Он сразу напоминает о себе, когда я произношу это слово, эти удлинённые звуки, передающие его вечное движение, и из этого поющего движения, как из самого дыхания земли, сразу возникает Юхан Смуул, счастливо переживший от ветра не только свое земное звание, свою фамилию, но и умение движением своим быть причастным ко всему встречному.

Юхан Смуул — произношу я, вытягивая губы, и сам превращаюсь в ветер, каким его изображали искусные гравёры на старых географических картах.

Юхан Смуул — говорю я в немой сумрак предутреннего пространства, и он возникает передо мной во всей своей постоянной устремленности, весь состоящий из каких-то острых световых треугольников, косым парусом плеча расталкивающий клубы тумана, застрявшего в низинах сонной ночи.

Он идет размашисто. Он спешит, как спешит матрос, услышавший скрип лебедки, поднимающей трап на готовом выбрать якоря судне.

Он спешит, как спешил всю свою жизнь, опаздывая к неотложному делу, только ему известному смертельно неотложному делу, и его треугольное лицо и треугольное крыло непокорных волос, спадающих на глаза, озарены прекрасным светом озабоченности. Он на ходу говорит мне:

Ах, утро, ты мне обещало
Размеренный день трудовой,
Но зов услышал я с причала,
Сигнал услышал судовой.
Я в сушу вцепился ногтями,
Я душу закрыл на засов,
Но в силах ли островитянин
На тот не откликнуться зов...

И он идет. Спешит к своему неотложному делу. Он беспокоен как ветер. Он брат ветру. Его стихия — движение, и он не вписывается ни в какие рамки.

Он родился на острове и, как истинный островитянин, всегда вглядывается в плоский горизонт моря в поисках второго берега.

Его остров невелик. Всех его жителей Смуул знает поименно. И хотя в ста шагах от его дома у заросшей

камышами дамбы гнезятся лебеди, это несравненное чудо земли, — древнее чувство всех островитян поднимает его голову, заставляет смотреть за горизонт, поверх белых лебедей: а вдруг да покажется там, в неведомой дали, другой берег, берег человеческого праздника!

Он родился путешественником и поэтом. Это у него в крови. Как будто все его родичи по острову Муху, весь этот неунывающий народ, влюбленный в соленое море, стряхивающее белую пену волн на чистейший песок, и в никогда не затихающий ветер, пропахший колким запахом можжевельника, передали Юхану Смуулу сокровенность своих душ, сплетенных в единую сеть для уловления радости жизни. Бери ее и лови песню радости в соленом море жизни, и носи ее достойно, как подарок своего малого народа на всеобщий певческий праздник человеческого родства!

И Юхан Смуул, уже познавший тяжкую сладость весла, что зарывается во взбаламученную штормом воду, познавший податливую легкость вожжей идущего бороздой коня, стал задумываться над песней своего малого народа, как над своей собственной судьбой.

И к нему пришла Поэзия. Она выплыла, как белая лебедь на чистую тишайшую воду из дремучих зарослей тростника возле старой дамбы.

Его остров невелик. Что из того! Чудо жизни не обделило его удивлением красоте и сказке.

К нему пришла Поэзия и заставила попробовать передать в слове эту несказанную красоту мира, рассказать о ней берегам и людям, живущим там, за сверкающей кромкой горизонта.

Он крепко любил жизнь, потому что знал непомерную тяжесть ее радости. И он стал, сам о том не думая, свежим ветром удивительной души своего малого народа, соединяющим в своем полете берега и судьбы, горизонты надежды и печали, дороги крови и тоски с верой в завтрашний день.

В нем все было естественно. Душа его не воспринимала наигрыша и фальши. Она просто-напросто была им чужда по своей сути. Его взгляд был младенчески чист и доверчив, и чистота и доверчивость эти заставляли даже жесткую душу очерстевшего человека теплеть и обретать свои первоначальные свойства доверия и любви.

Я его тоже полюбил сразу.

Это было в апреле 1944 года, в те самые дни, когда

Ленинградская гвардия и вместе с ней Эстонский корпус готовились решительным броском освободить Прибалтику. В воздухе пахло весной. И к нам, в Дом писателя имени Маяковского, пришли писатели Эстонии во главе с председателем Верховного Совета Эстонской Республики Йоханнесом Варесом, деятельным человеком с доброй улыбкой на круглом озабоченном лице. Все они, кроме самого Вареса, Семпера и Деборы Вааранди, красавицы, с черной копной волос, в которых можно было утонуть, были в военном: и Март Рауд, и Феликс Котта, и совсем юные Ральф Парве и Юхан Смуул. На Неве еще был лед, но солнце светило по-весеннему, и глубинная голубизна неба, отражаясь в глазах, подчеркивала их уверенный оптимизм.

Вот тогда Юхан и пригласил меня на свой остров Муху.

Потом он меня приглашал туда много раз при каждой нашей встрече. Но что-то нас все время отвлекало от этой заманчивой поездки на остров лебедей, задорных песен и ячменного пива, сдобренного ягодами можжевельника.

Так мы туда вместе и не попали.

Я увидел милую родину Юхана Смуула, когда его самого уже не было на этой земле, а после него осталась только его, Юхана Смуула, ни на чью другую не похожая человеческая песня.

Я был на его острове в разгар весны. Ходил по граве, еще не тронутой ни косой, ни скотиной. Зарывался лицом в лиловую пену цветущей сирени. Я смотрел на открытую дверь сеновала, туда, в смутную темноту, где Юхан спал в томительные белые ночи. Я наконец-то отведал в его доме, ставшем уже музеем, знаменитого пива, сдобренного ягодами можжевельника. Кормил крошками хлеба белых лебедей в тростниковых зарослях на старой дамбе. Слушал песни островитян и пытался выводить ногами какие-то кренделя в общем хороводе.

Я ходил по тропинкам его юности и его песни...

В жизни я встречался с ним много раз, и каждый раз неожиданно. Он в самом деле палетал как ветер и так же незаметно скрывался, оставляя легкое удивление и светлую тоску по будущей встрече.

Его нельзя было не любить. Он был редкостным чудом на великом празднике жизни. И я думал о нем и о его судьбе там, на его острове, под синим весенним не-

бом, среди его валунов и деревьев, среди его малого и крепкого, как можжевеловый, народа, среди корней его души, в тени вершин его песен.

Иногда он был шумным, как ветер. Что поделаешь — он был Смуул!

И за что бы он ни брался, все ему удавалось.

И стихи удавались.

И поэмы тоже удавались.

А когда ему не хватало места в стихах и поэмах, он начинал писать прозу — и она ему тоже удавалась. А когда его неугомонная душа требовала прямого разговора с миром людей, он писал драмы и трагедии — и это ему тоже удавалось.

Когда ему надоедала суета, он отправлялся в океан с просоленными морским ветром моряками, уходил на Шпицберген или в Антарктиду. Ему непременно надо было увидеть овцебыков и пингвинов в живом виде на вольной воле. И он не зря совершал эти путешествия: он привозил оттуда прекрасные книги о мятущейся душе современного человека. Он любил смотреть на мир из иллюминатора, и даже окно в своем доме сделал круглым и очень гордился тем, что оно напоминает ему об океане.

Юхан не мог жить без игры. Через двор его дачи протекал ручеек. Он запрудил его, сделал небольшой водоем, поселил в этом водоеме морского карася, назвал его Микки, приучил подплывать к мосткам на это имя и чуть ли не из рук хозяина брать толстыми губами хлебные крошки.

Как очень здоровый духом человек, он любил смеяться. Не преувеличивая, скажу, что его книга «Путешествие мухомцев на певческий праздник в Таллин» — одна из самых веселых книг, написанных в нашем двадцатом веке. Попробуйте прочесть ее, если еще не читали, — и у вас ремень лопнет от смеха.

Смуул был беспощаден и безжалостен к себе. Незаметно для других он работал на износ, с полной отдачей своего человеческого сочувствия.

Таким он остался в своих книгах, которым уготован долгий век, остался на певческом празднике всех народов Земли. Он вывел на этот праздник свой малый народ небольшого острова, наверное зная, что без его малого народа певческий праздник народов земли будет неполным. Он никогда не кричал о том, что малых народов на великом празднике жизни не бывает, все равны. Это для

него было и так ясно. Таким уж он вырос на своем острове, среди своего народа, там, где дует никогда не прекращающийся ветер.
1982.

ОТКРОВЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Открытое письмо Чингизу Айтматову под Новый, 1981 год

Дорогой Чингиз, кроме того, что я хочу поздравить тебя с Новым 1981 годом, у меня еще есть к тебе одно неотложное дело души. А так как это дело касается не только тебя и меня, а всех людей, которым свойственно умение прислушиваться к ветру времени, я пишу это открытое письмо.

В тревожные дни зимнего солнцеворота я закончил чтение в журнале «Новый мир» твоего романа «И дольше века длится день». Я переполнен нахлынувшими на меня чувствами, вызванными беспокойством твоего духовного мира, благородством его совести на перекрестке беспощадной встречи прошлого с грядущим.

Я читал страницу за страницей, и, по мере того, как передо мной раскрывались глубины человеческой трагедии в романе, возрастала моя радость за тебя как за художника, коснувшегося в своем бескомпромиссном творчестве самых сокровенных страстей современного человека и переболтанной реактивными скоростями атмосферы его времени.

Я должен тебе сказать, что правда трагедии жизни в твоём романе высока. У этой высокой правды бескорыстно открытая, подсказанная временем пророческая позиция. Она глобальна, эта правда. Она касается всего человечества и каждого человека. Она касается всей нашей прародительницы Земли целиком и каждой сущей жизни на ней.

Ты взял эпиграфом к роману две строки из «Книги скорби» Григора Нарекаци — великого армянского поэта-бунтаря, жившего в X веке и умевшего разговаривать и спорить с самим богом без переводчика. Я догадываюсь, что тебе подарил эту книгу прекрасный знаток армянской литературы — поэт и ученый, понимающий связь времен человек, — Левон Мкртчян, догадываюсь, потому что он мне тоже в свое время подарил эту книгу, и на такой подарок, кроме него, никто на свете не способен.

И книга эта — вместо моего тела,
И слово это — вместо души моей...

Именно эти слова, которые ты поставил эпитафией к своему роману, могут одинаково точно предвещать и твой роман «И дольше века длится день» и «Книгу скорби» самого Григора Нарекаци, потому что обе эти книги продиктованы одной заботой, одним беспокойством.

Я понимаю: книга потребовала напряжения и отдачи всей энергии души и тела. И ты сейчас опустошен. Но это великое опустошение — начало более высокой наполненности, ведь родник, дающий благо и добро, неиссякаем вовеки.

Дорогой Чингиз! В эти тревожные мутные дни зимнего солнцеворота ты своей книгой повернул в сторону весны и мою измотанную душу. Ты сделал это чудо, и теперь оно, это чудо спирального возвращения к жизни, необратимо.

Я еще до сих пор по воле твоего творческого прозрения живу на забытом богом разъезде Боранлы-Буранном, в краю великих пустынных пространств Сары-Озеки в Срединных землях желтых степей, и бесконечные поезда тревог идут через мое сердце с запада на восток и с востока на запад. Я живу на этом разъезде и останусь здесь уже навсегда, потому что ты этот разъезд силой дарованного тебе таланта сделал центром мира, центром внимания человечества и каждого человека, живущего на земле. Подозреваю, не я первый, не я последний буду оставаться на этом разъезде, буду пить глубинную воду твоего прозрения. Не беспокойся — этой благородной влаги хватит всем желающим, а перенаселение не страшно: места на разъезде достаточно.

Знаешь, Чингиз, что твой Едигей Буранный мой ровесник и брат по солдатской судьбе. На нем держится роман, на его плечах, как на плечах Атланта, лежит всей тяжестью земля с прошлым и будущим населяющих ее людей, и он, Едигей, незаметно и естественно справляется с этой своей обязанностью.

Он верен в деле и в слове.

Он естествен в печали и радости.

Он трогателен в любви и нежности.

Он мудр извечной мудростью корней своего народа.

Он верит мне, и я верю ему.

Вот ведь в чем дело, Чингиз! Вот почему я пишу тебе

это открытое письмо для всех. Мне уже не прожить без твоего Едигея, и ему без меня.

Он грешен, твой Едигей, но велик даже в грехе своем, потому что стоит выше греха умением преодолеть его.

Вместе с твоим Едигеем я возвращался с великой войны, вместе с ним ловил я для его жены Укубалы в осеннем Аральском море сказочную рыбку — золотого мекре, вместе встречал и провожал поезда, расчищал пути от заносов. Вместе с ним проклинал кречетоглазого Таясыкбаева, растоптавшего любовь Абуталипа и Зарипы. Вместе с Едигеем я плакал об исчезнувшей из его судьбы Зарипе, как о единственной в жизни надежде на счастье.

Через Едигея, Чингиз, я познакомился с душой твоего народа. Через него и народ твой, да и ты сам стали мне еще необходимей и дороже. И мне, уже пожилому и кое-что видавшему и пережившему человеку, не стыдно открыто признаться в этой любви.

Стоит мне закрыть глаза, и я уже вместе с твоим Едигеем раскачиваюсь на царственных горбах Буранного Каранара и еду по пустынным увалам к древнему кладбищу Ана-Бейит во главе печальной процессии, и белохвостый коршун парит над нашей печалью и связывает незримой нитью отчужденность судеб, человеческих страстей со страстями иных вселенных, где нашла почву и пристанище жизнь и мысль подобных нам существ, ищущих с нами общения.

Твоя книга, Чингиз, масштабна масштабностью, не имеющей ни начала, ни конца жизни.

Твоя книга наполнена живыми подробностями жизни, их медом и их полынной горечью. Я плакал, Чингиз, над прекрасной любовью Раймалы-ага и юной Бегимай и над страшным горем Найман-ана, погибшей от руки своего сына, которого жестокие жуаньжуаны превратили в манкурта, человека без памяти.

Ритм твоей книги — как бег царственного Буранного Каранара.

Ты позволил мне вместе с твоим Едигеем взглянуть на мир с вершины могучих горбов Каранара глазами твоей души и задуматься над очарованием мира, над его красотой и грозящей ему ночью гибели.

Я смотрю на затылок впереди меня сидящего между верблюдьими горбами Едигея. Я знаю: он сейчас подьдет к забору, где колючая проволока остановит Буранного

Каранара. Кладбище Ана-Бейит больше не существует. Туда, к последнему успокоению, в страну своих предков, вез своего друга Казангапа Буранный Едигей.

Едигей знает, что без прошлого нет будущего. И, верный своей мудрости, он начинает прошлое на новом месте. На похоронах Казангапа он связывает времена своей судьбой и держит их.

Твоя книга, Чингиз, отличается особой наполненностью. В ней нет пустот, поэтому читать ее, вопреки бешеному полету времени, надо медленно.

В твоей книге есть откровение времени. Она благородна великой любовью и сочувствием, продиктованными мужеством и мудростью. Я уверен, что твою книгу можно и нужно перевести на все сущие в мире языки и она будет понятна всем.

Ты принес мне великую радость своей книгой, Чингиз, и я рад сказать тебе об этом во всеуслышанье. Твоя удача есть и моя удача, человека, живущего рядом с тобой на одной земле, человека, влюбленного в твое справедливое слово истинного художника.

Тревожные дни зимнего солнцеворота позади, и моя душа над твоей книгой, Чингиз, повернулась необратимо к весне.

Спасибо тебе за это.

Будь.

Твой Михаил Дудин.

1980

ДОЛГ

Долг. Этим коротким, отрезвляющим ответственностью словом прекрасный казахский писатель Абдижамил Нурпейсов назвал свой новый роман.

Имя Абдижамила Нурпейсова хорошо известно русскому и иностранным читателям прежде всего по его трилогии «Кровь и пот», представляющей собою эпос борьбы и становления казахского народа в Ленинском братстве народов нашей страны.

Абдижамил Нурпейсов — писатель масштабный, он глубоко видит и понимает жизнь своего народа, знает корни его характера, языка, истории, досконально знает прошлое народа и боится за его будущее. Талант писателя отшлифован беспощадностью к своей судьбе, к своему мастерству. Нурпейсов — реалист в самом высоком и стро-

гом значении этого слова. Этим он завоевал любовь и внимание большого читателя, а новым романом, как мне кажется, значительно укрепит эти благородные связи.

Нравственная сила и притягательность романа «Долг» — в его современности и железной необходимости написания. Это урок размышления и действия.

Главное действующее лицо романа — Аральское море. С его судьбой, жизнью и трагедией связаны жизни, судьбы и трагедии людей, живущих на его берегах. Проблематика романа географически заземлена и — глобальна: думы писателя — о всей нашей праматери Земле, обо всем окружающем нас мире.

Роман «Долг» беспокоен и трагичен, как беспокойна и трагична жизнь современного человека на Земле, обеспокоенной жизнью и смертью всего живого на ней. Главный защитник Жизни в романе — Жадигер. Его слова: «Быть или не быть человеку на Земле, зависит от того, будет или не будет природа» — по существу, тот стержень, вокруг которого крутится все в жизни мира и отдельного человека, почему, повторю, роман и глобален в своей географической заземленности.

Эпиграфом к новому роману Абдижамил Нурпеисов взял слова из древнеегипетского папируса: «Я не чинил людям зла... Я не убивал... Я не преграждал путь бегущей воде...» Очевидно, в этих многозначных словах писатель услышал предупредительный крик из глубины веков, донесшийся в наш сегодняшний день, крик, полный тревог и страстей, уже и тогда снедавших человека, как и заботы о вечной связи человеческой души со стихиями Земли, Воды и Неба.

Я не оговорился, назвав главным героем романа «Долг» Аральское море. Так оно и есть. Талантом и умением Абдижамила Нурпеисова Аральское море живет, страдает, благодарит и мстит, цепляется за жизнь и — на грани умиранья — не сдается. Оно многообразно во всех проявлениях своего характера, и трудно умалить его роль в жизни народов, связавших свою жизнь с его жизнью. Аральское море — это чаша жизни, из которой пьет и набирает силы все живое в регионе земли, называемом Средней Азией. Хлеб и соль, хлопок и виноград, песня и танец, прошлое и будущее, все, чем живут люди этого региона, связано с Аральским морем самыми древними и самыми крепкими узами.

А с Аральским морем беда.

Аральское море уходит в себя, свертывается, как пергамент, сжимается, как шагреновая кожа.

Аральское море уходит, оставляя на раскаленном такыре нелепые в своей обнаженной беспомощности катера и лодки, корабли и рыбацкие шхуны, и чайки улетают от этих кораблей, и народ, издавна населявший эти берега, уходит искать другого пристанища, уходит, оставляя свою вековую судьбу и историю, свою боль и песни.

Аральское море уходит, превращаясь в мертвое море. Амударья и Сырдарья больше не втекают в его высыхающую чашу, их воду перехватывают каналы и арыки, хлопковые поля и виноградники, и Аральское море, солоня, сохнет, и рыбаки перестают быть рыбаками, потому что им нечего ловить в его умирающей воде.

Большое Аральское море превращается в большую беду.

И писатель Абдижамил Нурнеисов, сын потомственных рыбаков Аральского моря, счел долгом судьбы словом и талантом своим заступиться за судьбу моря.

Роман «Долг» продиктован высоким долгом судьбы писателя, судьбы заступника жизни.

«Я не преграждал путь бегущей воде...» Он услышал этот предупредительный крик из глубины веков, крик, оставшийся на высохшем, как пустыня Сахара, папирусе.

В романе, как и в самой жизни, есть две точки зрения на судьбу Аральского моря.

Есть точка зрения председателя рыбацкого колхоза Жадигера, главного героя романа, главного защитника Аральского моря; его живая, воистину творческая душа сжимается от боли, как само Аральское море от палящего солнца и отсутствия притока живой воды перехваченных рек.

И есть другая точка зрения — точка зрения именитого земляка Жадигера, академика Азима, который в гордыне своей не говорит, а вещает: «...Мы предлагаем самый эффективный и прогрессивный подход: выращивать на освобожденной от моря плодородной земле хлопок, рис и другие передовые, выгодные культуры...» И ведь ему, этому говоруну, удастся привлечь на свою сторону недальновидных руководителей.

Академику Азиму везет, он вроде бы побеждает, и Жадигер, как оказавшаяся на такыре рыба, задыхается под палящим солнцем одиночества.

Но он не сдаётся.

Он знает, что «преграждать путь бегущей воде» — цельзя, потому что она несет жизнь туда, куда нужно самой жизни. Жадигер верит в ее истоки, в ее извечные таинства.

Я рассказал о сути романа.

Мне остается сказать, что художественные достоинства романа соответствуют благородству его идеи, идеи защиты великой жизни, ее явных и тайных истоков. Талант выполнил свой долг перед жизнью, как это и положено таланту.

Конец романа трагичен. Волею судеб и волею автора этих судеб Жадигер, и Азим, и бывшая жена Жадигера Бакизат оказываются на унесенной в зимнее штормящее море льдине. Аральское море еще имеет силу, еще способно постоять за свою судьбу. Оно неистовствует. Первым в этой смертельной схватке погибает самое невинное существо — лошадь. Что будет с людьми на льдине в бешеном море, что будет с самим морем — неизвестно. Но справедливость конечно же на стороне Жадигера, понимающего свое назначение в этом прекрасном и яростном мире, который требует от человека исполнения долга — надежной защиты этого мира от самого человека.

1985

ПО ЗАВЕТУ ПУШКИНА

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в пей язык.
И гордый впуск славян, и финн, и ныне дакой
Тунгуз, и друг степей калмык.

Эти пророческие строки из пушкинского «Памятника» как бы предопределили появление в нашей поэзии Давида Кугультинова, предопределили его творческую судьбу, его характер.

Давид Кугультинов сам любит говорить об этой предсказанной Александром Сергеевичем Пушкиным связи своей поэтической судьбы с животрепещущей судьбой огромного поэтического братства.

Он родился в Калмыкии, в семье сельского учителя, в 1922 году. И неоглядный мир ковыльной степи, озаренной встающим солнцем, оглашенной призывным ржаньем вожака бесчисленного табуна и пронизанной тонким свистом стоящих столбиками у своих норок сусликов, во-

шел в его глаза, наполненные радостью жизни и удивления, огромные, как сам мир, глаза с узким прищуром, не боящиеся смотреть на солнце. И вместе с этой необозримостью мира, вращая в его впечатлительную душу, вошел постепенно отстоянный воздух истории его народа, золотой воздух легенд и сказаний, былей и небылиц, яви и фантазии, обид и предчувствий, воздух света и надежд народа, его память, мечта и его длинный путь от теплой колыбели экватора сюда, в замкнутую туманно отдаляющимся горизонтом степь, пронизанную расплавленным солнцем и продутую белой прорвой январской метели. Этот мир по праву наследия стал его миром с первым взглядом, с первым звуком материнского голоса. Погом стихийная сила любви превратилась в осознанность и просвещенность и, подкреплённая мудростью опыта жизни и смерти, дала ему вершины осмысления земли и человечества.

Поэзия Давида Кугультинова стала поэзией зрелой мысли и возвышенной души. Пожалуй, никто из современных поэтов, которых я знаю, так широко, эпически не раскрывал природу нависшей над человечеством трагедии, как это сделал он в поэме «Бунт Разума».

Судьба не была к нему особенно милостивой. Она оделила его верностью любви и горечью предательства, провела его по переднему краю всенародного подвига Великой Отечественной войны к празднику Победы, не позволила ему склонить кудрявую голову перед унижением, научила спокойно нести беспокойное бремя заслуженной славы.

Лирик и философ по природе дарования, он не без успеха обращался к эпическому жанру поэмы, от книги к книге вырабатывая свой строй четкой поэтической речи. Его стихи стали теперь заметным явлением не только в интенсивной духовной жизни его народа, но вышли на перекресток мировой поэзии, принесли на него поэтический праздник души калмыцкого народа, души, певучей, как весенний ветер, пробегаящий по цветущим тюльпанам ковыльной степи.

Как ты прекрасна, степь моя, в апреле!
Хрустально-звонкий воздух, и простор,
И колокольчик — жаворонка трели!..
Ты — музыка, чьи звуки с давних пор
Какой-то гений, в неизвестность канув,
Переложил на музыку тюльпанов.

Поэзия Давида Кугультинова красочна, добра, общительна, как сама душа поэта, понимающая, что чуждого горя не бывает, и исповедующая каждым словом своим эту прекрасную истину. Его книги доступны всем — и малым и старым — и почитаемы по достоинству. У его книг, как у птиц, далекие маршруты весенних перелетов, они, как ласточки, умеют вить гнезда под застрехами человеческих душ.

У его поэзии глубокие корни, она выросла на поле народной неиссякаемой мудрости, на том самом червонном золоте народного опыта, который так тщательно в тумане ушедших столетий отбирала и сохраняла история. Удивительный эпос «Джангар», сказки и легенды были для него во всей своей прелести раскрыты с детства. Он постигал их сущность вместе с постижением мира. Это был бесценный дар судьбы. Это богатство никто не мог отобрать. Его можно было только дарить.

Передо мной книга сказок Давида Кугультинова, вышедшая уже вторым изданием. И в ней поэт остался верен традициям Пушкина, так блистательно, на основе русского фольклора, создавшего свои сказки, то есть вернувшего народное искусство.

Эти сказки народные, и в то же время они отмечены любовью, талантом и характером самого Кугультинова, да, кстати, он сам сказал об этом точно и вразумительно:

У каждого из слов душа своя,
На душу говорящего похожа.

Недавно я перевел стихотворение Давида Кугультинова, в котором, как мне кажется, заключена суть исканий поэта, близкого мне по духу.

БАЛЛАДА ИСТРЕБИТЕЛЯ ТЬМЫ

Ночная даль чернеет без конца.
Нет у нее ни формы, ни лица.

Свет желтых фар машины на лету
Заглатывает с ходу темноту,

Неумолимо движется вперед,
И рвет пространство ненасытный рот.

Перед машиной бесповойный мрак,
Отодвигаясь, пятится как рак.

Поспешно уползает от лучей
Хозяин тайной темноты ночей

И властным жестом волосатых рук
Как бы преграду воздвигает вдруг.

Глаза глядят, сомкнуться не спеша,
И начинает ликовать душа

Надеждой ожиданья и тревог
Там, впереди, дороги поперек.

И тешится сознание в груди
Свободою незнания впереди.

И вместо фар — горят мои глаза,
И вместо ног — четыре колеса.

И тьмы неубывающая даль,
Как прошлого великая печаль,

Встает навстречу моему уму,
Закрыв дорогу к счастью моему.

И с темнотою непроглядной зло
Уже на все пространство наползло.

Я с этим злом не примирюсь вовек
Как истребитель тьмы. Я — человек.

Я, устремленный к завтрашнему дню,
Свою мечту и сам себя гоню.

Быстрей стрелы лечу через ковыль,
Из-под колес отбрасывая пыль.

Путем орла — в небесной вышине,
Холодной рябью — по морской волне,

Порывом ветра — через камыши,
Через пустыню мира и души.

Клыки оскалив, волком на бегу
Вгрызаюсь в горло своему врагу.

Куски отхватывая на лету,
Заглатываю эту темноту.

Я тороплюсь, уничтожая зло,
Что с темнотою вместе наползло.

Я радуюсь и сам себя гоню
Навстречу наступающему дню.

Растет мой разум, силы не тая,
Премудростью земного бытия.

«Тьмы истребитель» — так я наречен
Историей народов и времен.

И мысль моя открыта и чиста.
И в эту мысль влетает: «Элиста!»

И возникает вдруг передо мной
В сиянье света мой очаг родной.

Как будто я, его судьбе в ответ,
Принес ему животворящий свет,

Во сне дорожном темный негатив
Извечной жизни жадно проглотив.

Грядущему и прошлому в ответ
Кричу я, улыбаясь: «Здравствуй, свет!»

1982

ПОДТВЕРЖДЕНО КРОВЬЮ

Поэзия бескорыстна своей для всех раскрытой душой, полной удивления, боли и тревоги. Она отвечает за все, потому что в ней живет совесть мира, его справедливость. И когда башкирский поэт Мустай Карим в своей книге «Реки разговаривают» как бы вскользь замечает:

Но нет вселенной дела до меня,
А мне — до всей вселенной дело есть, —

чую за этим не одностороннюю, а двустороннюю связь, взаимодополняемость времени и поэта, родство мира его души с жизнью.

Я знаю Мустая давно. Мы люди одного поколения.

И пусть не обидится на меня наш общий друг Сергей Наровчатов, если я приведу в подтверждение своих мыслей его слова, сказанные в частном письме:

«Наше поколение не выдвинуло великого поэта, но оно само по себе — все вместе — выдающийся поэт с поразительной биографией и прекрасной поэзией, одухотворенной могучими идеями. И у нас есть свои герои, свои мученики, свои святые».

Тучи собираются в лазури,
Гром незатихающий гремит.

Буду жить, пока грохочут бури,
И гореть, как молния горит!

Это стихи Мустая. Я их перевел сразу же после войны, после Первого совещания молодых писателей. Мы собрались тогда в здании Центрального Комитета комсомола на Маросейке. Собрались с разных фронтов, оглушенные грохотом Победы, удрученные тяжестью невозвратных потерь. Мы знали друг друга по голосу — теперь узнали в лицо. Мы уже были друзьями. Нам не хватало только рукопожатий, чтобы закрепить эту дружбу, как солдат закрепляет верность долгу присягой. Вот тогда и оформилось наше фронтовое солдатское братство поэзии, о котором с такой проникновенностью говорил Сергей Наровчатов. Алексей Недогонов и Платон Воронько, Михаил Луконин и Семен Гудзенко, Сергей Орлов и Мустай Карим стали навечно братьями не только по судьбе, но и по строчечной сути. Для всех нас багровое небо войны, естественно, было тем фоном, на котором нам отчетливее видно было великое мужество советского человека, его душа, заслонившая собой мир от гибели и позора.

Я много переводил Мустая. Много раз приезжал к нему в край розовых мальв и нефтяных вышек. Мы вместе бродили по обрывистым берегам Белой, вместе слушали соловьиные перекаты в липовых зарослях Демы, вместе встречали рассвет над тишайшей водой Ак-Маная. И передо мной постепенно раскрывалась суть души моего степного друга. Сюда, на границу Европы и Азии, к нам стекались реки поэзии и с Востока и с Запада. Омар Хайям и Низами, Байрон и Верхари, Пушкин и Лермонтов сливались в один океан добра и света.

И в этот океан вливалась река Мустая Карима. Свет его поэзии, его человеческая нежность, его боль и радость.

Я уходил из аула
С котомкою за спиной.
Маленькая котомка
Да море надежд со мной

И он вернулся в свой аул с вещевым мешком солдата за плечами, с опытом борца и бойца в сердце, и душа его научилась быть камертоном мира.

...Тяжелый снег идет три дня..
Три дня подряд,
Три дня подряд.

И ноет рана у меня —
Три дня подряд,
Три дня подряд.

...Тяжелый снег идет три дня.
И рана ноет у меня,
А в ней осколок заодно,
Он превратился в боль давно.

Его сырой рудой нашли
В глубинных залежах земли.
Руду тяжелую купил
Король, что ненависть кошил,
Что в Руре мину отливал,
А на Днестре в меня стрелял.

Горячей кровью налитой,
Гредел рассвет. Потом загих.
И два осколка мины той
Попали в нас двоих.

Один в сержанте Фомине
(Лежит в могильной глубине),
Другой достался мне.
Двенадцать лет он жжет меня...
Тяжелый снег идет три дня.

Придет весна. Опять в снегу
Весной ручей заговорит.
Не стихнет ненависть к врагу —
Ведь кровь металл не растворит.

А раны старые горят.
В Париже третий день подряд
О новых войнах говорят.
...И снег идет три дня подряд.

Я нарочно привел это стихотворение полностью, чтобы лучше можно было понять, чем живет, какими средствами оперирует поэзия Мустая Карима, каким путем он достигает обнаженной выразительности своего чувства. Я старался перевести это стихотворение как можно точнее, передать необычность скрытого в нем огня, его естественность, его музыку и правду, чудо сочувствия и тревогу предупреждения. Но по-башкирски оно звучит лучше — это я понимаю. Стихию мысли передать еще можно, стихию языка, его почву — нельзя!

Поэзия Мустая Карима проста и загадочна, как звездное августовское небо. Она народна, ибо народ мудр. Она чиста пушкинской чистотой, чистотой Бараташвили и Лорки. Она добра и щедра в своей доброте, как поэзия наше-

го общего друга, балкарского поэта Кайсына Куллева. У Карима, так же как и у Кайсына Куллева, очень много стихов-посвящений, поэтических бесед с друзьями о судьбах времени и поэзии, бесед доверительных и высоких, которые надо слушать молча. Поэзия Мустая Карима лирична до той редкой степени, когда ясно выраженное авторское «я» перестает быть заметным. Она очень современна и прикреплена вот к этой определенной секунде, но всем своим напором и целеустремленностью она рвется в грядущее.

Трагедийная поэма «Черные воды» — одна из лучших в нашей советской поэзии, всем своим строем, всей остротой предельной откровенности учит, как и лермонтовский «Беглец», мужеству и верности. Суровый оптимизм правды очищает душу и побеждает скорбь.

Поэзия Мустая Карима новаторская, потому что в ее почве опыт мировой поэзии.

Реки разговаривают. У них нет тайн. Они сливаются вместе. Мустай Карим верно служит самой прекрасной человеческой организации — дружбе.

Он рыцарь.

Ты говоришь, чтоб я себя берег
Для нашей жизни в будущем немного,
Но я всю жизнь, как копь, не чуя ног,
Скакал на скачках по степной дороге.

А смерть придет — я смерть не обвиню.
Не первый я, и некуда мне деться.
Вот мне тогда упасть бы, как коню
На состязаньях, от рызыва сердца..

Он верен себе. Поэтому верен поэзии и людям. И мы благодарны Михаилу Светлову и Николаю Рыленкову, Ирине Снеговой и Елене Николаевской, Марку Максиму и Людмиле Татьяничевой за то, что они вывели с уральских отрогов на русскую равнину добрую реку поэзии Мустая Карима. Пусть она сливается с другими реками. Пусть в мире больше будет добра.

1967

ЗВОНКО, МОЛОДО, ГОРЯЧО

Я читал книгу Ивана Драча «Солнечный гром». Читал в Ялте на праздничной набережной в светлый весенний

день, и зеленые горы всей тяжестью прожитых тысячелетий легко стояли за моими плечами, и лазорево-беспокойное море белыми гребнями охлестывало каменную набережную, а надо мною, как малахитовый фронтан жизни, фантастическим переплетением поднимался платан. Он был наполнен воздухом и светом, как чаша, он был могуч, как государство мира и равновесия, и его листья шептались с небом о каких-то своих тайнах.

Мне было хорошо, и душа моя была в родстве и с горами, и с небом, и с брызгами набегающих волн, и с могучим платаном, и со словами, напечатанными в книге, на ее белых страницах, по которым вместе с моим взглядом, опережая его и следуя за ним, скользили причудливые тени от листьев, и мне казалось, что платан вместе со мною читал эту книгу. У них была своя взаимосвязь, перекрывающая во влюбленность.

Чувство сродственно философии, а поэзии нет без мысли, в чем стройнее лад поэзии, чем выше ответственность поэта перед словом, тем шире мир его ассоциативных связей. Об этом я думал, перелистывая страницы. Я читал:

Непогода выла, и скрипела,
и гнала безглазую пургу,
и, визжа, точила нож свой белый
на земном вертящемся кругу.

И оттого, что это было замечено до меня, открыто мне и предоставлено в полное мое владение, ощущение праздника становилось полней.

Вечный суд поэзии над вечным садом жизни и входящая через поэзию в эту борьбу человеческая душа сливались в одной гармонии солнечного беспокойства со всей мозаикой мира, осененного этим днем.

Я читал:

И душа моя полна слез
По самые очи... —

признавался поэт платану и мне, брызгам волн и небу, и стоящим за нашими плечами зеленым весенним горам — свидетелям наших общений, и «золотая Луковичка», подаренная мне поэтом, выкатываясь из его книги, как «золотая весталка из таинственного Храма Бытия, сжавшаяся в золотой кулачок испуга...», ложилась на мою ладонь, как кусок солнца, радуя мой глаз блеском ощутимо тяжелой наполненности.

Я читал книгу Ивана Драча под раскидистым платаном на виду у моря, гор и неба, в весенней праздничной Ялте, и книга наполняла мою душу радостью сочувствия.

Каждое стихотворение росло на моих глазах подобно дереву, набирая высоту, формируя крону, занимая свое место в книге, и в мире, и в моей душе.

Я читал книгу Ивана Драча и вспоминал его самого, высоколобного и прямого, умеющего вкладывать душу в слова и свой разговор подчеркивать завершающим жестом руки. Таким он мне запомнился в окруженном полярной ночью Норильске, в зале библиотеки, на фоне цветущего куста китайской розы. Он читал «Январскую балладу 1924 года», и голос его наполнялся особой силой убежденности и убедительности, когда он, рассказывая о похоронах Ильича на Красной площади и о присутствующих на этих похоронах своих земляках в заключение сказал:

И малой слезою, на самом краю,
Еще не рожденный, я с ними стою.

Это были не просто слова. Это была высокая поэзия! Она проявила меня в Норильске, когда я услышал балладу впервые, забрала меня в Ялте, когда я ее прочел, трогает меня до слез, когда я вспоминаю это сейчас перед белым листом бумаги.

Стихи невозможно пересказывать. Их надо читать, их надо пить, как пьет иволга каплю росы с березового листа.

Попробуйте прочесть «Вечернюю акварель»:

Пастушок сидит на пригорке,
Пасет на лугу вечер,
Сбивает звезды кнутом, пошвыстывая,
А вечер пасется, хвостом помахивая.
Идет моя золотая, идет пританцовывая,
Несет мне полные, непригубленные губы,
Несет мне полные,
Нераспесканные перси,
Померанцевое тело девичье несет
В спячей чаше шелкового платья,
Спешит моя золотая.

сердце свое догоняя.

Эй, пастушок на пригорке,
Ну-ка, кнутиком хлестани,
Чтобы не задерживалась моя золотая!

Прочли? Перечтите же снова, и золотой свет радости заполнит вашу душу, и душа подберет и улыбнется са-

мой прекрасной улыбкой, и радость страсти войдет в вашу кровь как мед, собранный пчелами благодетства с цветов самой вечности.

И мне уже не уйти, да я и не хочу уходить из-под власти «Солнечного грома». Он продиктован жадной жаждой жизни и сочувствием, свойственным большим талантам.

Поэзия строит мост между человеческими душами и душами веков и континентов. Мосты для ненависти не строят, они существуют для родства, и я счастлив, что «Солнечный гром» вплетается в эту ничем не истребимую музыку мира, растущую, как солнечный платан на набережной Ялты, закрывая собою летнее небо, полное зноя и теплого дождя с полукруглой радугой.

Мне полюбилось в «Солнечном грома» «Письмо Тициану Табидзе».

Я иногда перевожу заново иноязычные, уже переведенные кем-то стихи, которые мне очень по душе, перевожу для собственного удовольствия, как бы прослеживая процесс произрастания дерева стихотворения. Это увлекательное занятие дает возможность некоего соперничества творческого процесса, пусть неполного, по прекрасного даже в малой малости.

В этом стихотворении я увидел продолжение извечной традиции поэтической переключки, связующей века и характеры в единую атмосферу мировой поэзии. И я иду за мыслью Ивана Драча, по ступеням его образов, в ритме его походки, и будто бы не он один, а и я вместе с ним обращаюсь к Тициану Табидзе:

Мне Грузии твоей грудь расширяют горы,
И ветер в уши бьет, и стонет перевал.
Сурами видел я, в Рустави был и в Гори,
Но рогом голубым ты путь мой оборвал.

Что знал я про тебя? И мне стихов отраву
Из рога твоего дал выпить Пастернак,
И ты к губам моим свою подносишь славу.
Проказник солнечный, да разве можно так!

Характером иной, с твоей земной дороги,
Я вглядываюсь в мир через твою слезу.
Через твою судьбу смотрю на гор отроги
И в бедны пропастей, синееших вивзу.

В тридцать шестом году Бакал и Заболотский
Стояли здесь с тобой и няли эту синь.

Сквозь сорок лет не перекинешь доски, —
Плащ светозарный свой над бездной перекинь.

Гвоздику кинул ты. И та гвоздика вбита
В мою судьбу, как гвоздь. И, верный сердцем ей,
За этот мир вступаю в бой открыто —
В своих губах с гвоздикой твоёй.

1978

ПОД СЕНЬЮ ЗНАМЕНИ

Как-то во время вечернего разговора о превратностях и восторгах нашего особого ремесла Аркадий Александрович Кулешов сказал мне о том, что Александр Трифонович Твардовский, которого Кулешов считал, не только по праву землячества, своим другом, товарищем и учителем, всегда ко всему, даже к шутке, свойственной его характеру, относился по-хозяйски серьезно, очевидно понимая свою ответственность перед действием слова, иначе говоря, ответственность своего высокого человеческого назначения.

И, вспоминая сейчас этот наш разговор и свои собственные встречи с Александром Трифоновичем, я не могу не согласиться с этим тонким и точным наблюдением Аркадия Кулешова, больше того, я вижу эту благородную человеческую черту хозяйственного отношения к миру у самого Кулешова — в его своеобразной поэзии и в его поэтической жизни.

Да, наверное, оно и не может быть иначе. И это не тождественность, а скорее родственность самих характеров, при всей их непохожести.

Они служили, служат и будут служить творчеством своим, своими судьбами одному и тому же прекрасному делу — делу торжества человеческого разума, делу единения человеческих душ.

Эта служба требует полной самоотдачи духовных сил художника.

И этой самоотдачей Аркадий Кулешов был болен давно и неизлечимо.

Мужество поэзии незаметно и естественно, и чем оно естественней, тем незаметней.

Глубинное — не броско. Поверхностное — кричит, а слава Аркадия Кулешова — это добротная слава поэта, понимающего ответственность слова как ответственность самого действия.

Я знал Аркадия Александровича Кулешова давно.

Помню, как в блокадном Ленинграде Павел Кобзаревский, только что вернувшийся из госпиталя и еще не успевший вставить выбитые осколком зубы, читал мне, косноязыча, поэму Аркадия Кулешова «Знамя бригады», читал по-белорусски. И я, продираясь через обманчивую схожесть языка и через дебри объяснительного подстрочника, видел в этой святой трагедийности победу Белоруссии и победу Ленинграда.

Это было Чудо с большой буквы. Чудо проникновения поэзии в самую суть народной души, в ее символы.

Я увидел через строки этой поэмы знамя веры в сердцах соотечественников поэта, и в его сердце, и в своем тоже. Знамя — святая святых совести, веры, мужества, — несмотря на предательства и измены, несмотря на пеньковую петлю и выстрел в спину, оставалось в изначальности своей чистым и недосягаемым для врага.

Оно было самым бессмертием.

Такой эта поэма осталась для меня навсегда.

И сейчас, спустя десятилетия, я, перечитывая ее, как бы вступаю, а не вхожу в храм, где все свято, все подчинено высокой и строгой мысли, все исполнено благородной серьезности. Перечитывая ее, воистину начинаешь понимать, что прекрасное — серьезно.

И чем дальше она уходит во времени, тем прекрасней и чище ее величественный и простой язык, ее музыка.

Я на кровь на людскую глядел,
На пожары, на пепел летучий
И не в строки собрать их хотел,
А в могучую тучу.

И этой туче далеко нести запас озона и молний. Запас нашего мужества, веры и опыта, грозного примера того, как закалялись и очищались души в жестоком огне трагедии.

Но поэзия есть память души и совести. Она может дышать только чистым и свежим воздухом. И этим воздухом живет и дышит творчество Кулешова. Оно объемно и всегда целеустремленно. Оно ищет главное в главном. Открывает его и несет людям.

Я сам себя готов скорей повесить,
Чем жить для мелких и ничтожных дел.

Когда я наедине встречаюсь с кулешовскими книгами, когда я живу и наполняюсь его миром, я неизменно ощущаю в себе присутствие некой возвышенности души, ощущение, схожее с тем первым чувством робости и беспредельности, готовности ко всему и святости, которое я испытывал, стоя в карауле у полкового знамени.

И сейчас мне кажется, что на всем творчестве Кулешова есть печать этой возвышенности, словно на всем, что он сделал, над всей его судьбой есть сень знамени. И это очень трогает и, думается мне, делает других лучше и чище, смелей и мужественней.

Он любил праздник мысли. Был чужд праздности. Его слово постоянно и основательно.

«Цунами» и «Варшавский шлях», «Монолог» и лирика последних лет освещены все тем же желанием доскональности познания, все той же тревогой о правде времени и человеческой жизни.

Мостам, а не конструкторам завидую,
Дорогам, по которым, взяв разгон,
Пронесется составы деловитые,
Не помня славных некогда имен.

Хочу, чтоб слово, если уж написано,
Вот так же, долгих тягот не страшась,
От имени и славы независимо
С эпохой и людьми держало связь.

Они по-прежнему просты — последние стихи поэта, но простота эта стала более глубокой, и тревога обрела большую убедительность, и каждая проблема, сошедшая с кончика пера, отменяя масштабы, стала глобальной.

Поэт всегда стремится из калейдоскопа жизни сделать радугу, для него не существует частностей, он ищет гармонии познания.

На звездной карте нашей поэзии поэтическая судьба Аркадия Кулешова шла по своей, заметной для всех орбите, от «сладкого сна неопытной души» до углубленной озабоченности раздробленностью современного мира.

Он искал. Он всегда был в поиске. Да иначе и не может жить и действовать талант, закаленный опытом трагедии.

Всей зрелостью своей он делал все от себя зависящее для того, чтобы «душа весною другой откликнулась душе».

1974

И ТАЛАНТОМ И ОПЫТОМ

Максим Танк — явление в современной поэзии по своей значимости и масштабности примечательное. Его талант прошел прекрасную школу познания жизни, и эта школа дала крыльям его таланта силу веры и убежденности. И сегодня, в день его праздника, нелишне вспомнить, что он родился в Западной Белоруссии и узнал о том, что такое фашизм панской Польши, не понаслышке, а по застенкам виленской тюрьмы Лукишки. В 1928 году его, шестнадцатилетнего парня, за участие в забастовке выгнали из виленской гимназии. В ответ на это он вступил в комсомол и стал подпольщиком. В 1932 году он был впервые арестован, на следующий год арестован снова и осужден на два года тюрьмы с последующим лишением прав на восемь лет. Первая его книга, изданная в Вильно в 1936 году, называлась «На этапах». Давайте заглянем в эту первую книгу Максима Танка и прочтем стихотворение, написанное почти полвека назад. Называется оно «Не забывай!».

Не забывай ни на минуту,
Мой брат-колодник: ждзнь не ждет!
Пиля и рви стальные пути,
Окна железный переплет!
Не забывай!
Считай кирпич стены проклятой,
Шаги тюремных сторожей!
Не забывай о дне расплаты,
Когда сорвешь замок с дверей!
Не забывай!
Не отступай! В борьбе суровой
Иди, как шел, в опасный путь!
Там солнце встанет в битвах новых, —
Готовым к этим битвам будь!
Не забывай!

Поэт — всегда пророк своей судьбы. Максим Танк тоже, судя по этим стихам, стал сам себе пророком. Его путь к идее справедливости человеческой жизни на земле прям и последовательно неизменен. Он никогда не сбивался с высокого ориентира цели. Его жизнь, творчество, его гражданское «я» и лирическое «я» слились. Мне очень по душе, когда он заявляет: «Я люблю людей, которые верят в аистов, приносящих весну...» — и, подтвердив это

заявление поэтическими примерами, делает логический для себя и для нас с вами вывод: «Я остерегаюсь людей, не верящих ни во что».

Да, у Максима Танка прекрасная жизнь коммуниста, освещенная поэзией. Его оптимизм вырос из трагедии. Он заставляет меня видеть картину нашей общей тревоги, нарисованную с пронзительной убедительностью:

Ночь над Хатынью
Соткана из лунных бликов,
Соловьиного щелканья
И бессонного колокольного перезвона.

Я слышу этот колокольный перезвон. Слышу колокол души поэта, гудящий отзвуком всех тревог современного мира.

Максим Танк достиг вершины мастерства. Ему одинаково доступен рифмованный ямб и амфибрахий белого стиха, перекрестная рифма сонета, подчеркнутая тройственной связью терцины, и емкая проза со свойственной поэту конкретностью раскрытия образа. У него многопольная система возделывания почвы своей поэтической души. И он умеет выращивать урожай без сорняков и убирать его до последнего зернышка.

Он добр и мудр в своем творчестве и ироничен по отношению к самому себе. Он пишет, как бы заглядывая в зеркало:

Меня спросили:
— В какой империи
Никогда не заходило солнце? —
Я ответил:
— Только в одной —
в империи поэзии.

И провалил
Экзамен по истории.

Может быть, он действительно когда-то провалил экзамен по истории, но он стал творцом истории своего народа и певцом человеческого братства. Я думаю, что это не так-то уж мало.

А КОРАБЛИК ПЛЫВЕТ

Николай Семенович Тихонов, когда он переехал в Москву, жил на улице Серафимовича, в доме № 2, на седьмом или восьмом этаже. На широком окне его кабинета был подвешен парусный кораблик, и вечером, если хозяин был дома, снизу было видно, как силуэт этого кораблика плыл на всех парусах, парил над миром, звал за собой. Он был условным знаком гостеприимства, а «старый дьявол, живущий на поксе», как называл тогда себя сам Тихонов, не мог жить без гостей, и его широкий стол в столовой был накрыт, как мне кажется, круглые сутки. И я сейчас с благодарностью вспоминаю, как за этим столом я тогда познакомился с большими и малыми ловцами времени. И Пятраса Цвирку я тоже впервые увидел здесь.

Он пришел в разгар разговора о братьях и сестрах Джапаридзе, знаменитых альпинистах, штурмовавших Ушбу. Пришел не один, а с Антанасом Венцловой, седым красавцем с высоким лбом, украшенным подковообразным шрамом. Цвирка был молод и крепок. И был одновременно похож на артиста и на крестьянского парня. И я дивился тому, когда же он успел написать сборник стихотворений, сказки для детей, книги рассказов и три объемистых романа, в том числе «Земля-кормилица». Я только что накануне читал эту книгу и мысленно сравнивал ее главного героя Юраса Тарутиса с автором. Потом мы очутились вместе с Цвиркой в кабинете Николая Семеновича, перед окном с корабликом. Это был, собственно, не кораблик, а силуэт кораблика, вырезанный каким-то восточным мастером из темного тропического дерева. Он плыл над огнями полуночной Москвы, как по млечному пути необозримого пространства жизни, и Цвирка сказал: «Всю жизнь я хотел быть моряком».

Потом мы молчали, вслушиваясь в бархатный баритон Владимира Луговского, подчеркнутый нестерпимо тонким, как бритва, голосом Александра Фадеева:

Жалко только волюшку
Во широком полюшке,
Солнышка на небе
Да любви на земле.

И трагическое очарование песни как бы сдвинуло наши души, и они отозвались общей внимательностью к песне и обрели единый строй, и нам стало хорошо от ощу-

щения единства наших уже родственных душ и беспредельности мира с голосами человеческого братства, таинством ночи и пересветом земных огней со свечениями Вселенной.

Нам было хорошо.

И стоит мне сейчас смежить глаза, это ощущение возникает во мне с той первой свежестью и радостью приобщения к прекрасному, и заставляет плыть мой кораблик за далеко ушедшими в будущее корабликами душ тех людей, которые удивлением и откровением своих судеб сделали меня счастливым.

И сколько бы я ни жил на этой земле, ажурный профиль судьбы Пятраса Цвирки, ушедшей куда-то далеко-далеко за гребни волн живого, все еще будет подавать мне сигналы из будущего, наполняя светом мою душу, рвущуюся к солнечному небу и к любви на земле.

1979

ВСТРЕЧАЮЩЕМУ РАССВЕТ

Расулу Гамзатову в день его пятидесятилетия

Дорогой Расул!

Помнишь, несколько лет назад у нас в Ленинграде проходила Неделя дагестанского искусства и литературы, и на одном из вечеров, кажется в Публичной библиотеке, где выступал и ты, твой соотечественник Магомет Сулиманов подарил мне старый горский кинжал с потрескавшейся рукояткой, с тусклой вязью черни на серебряной отделке ножен, с обоюдоострым лезвием отливающей голубизной стали. Я беру его сейчас в руки и читаю стекающую по желобку лезвия надпись: «Время трудное придет, против ста — один пойдешь!» Я знаю, что его владелец погиб смертью героя, защищая Ленинград, что у него не было по молодости сына, которому он мог бы положить кинжал в изголовье. С его гибелью оборвался древний и славный род джигитов. Магомет передал мне этот кинжал по просьбе столетнего старейшины, у которого ничего не осталось, кроме памяти о смерти сына и этого кинжала. Он висит у меня на стойке книжной полки над томиками Лермонтова и Тютчева. И сейчас я вспомнил о нем, наверное, потому, что знаю: ведь двое твоих старших братьев, по всей видимости моих ровесни-

ков, тоже не вернулись с войны и их кинжалы тоже некому положить в изголовье. Они погибли смертью героев, и то, что написано на желобке переданного мне кинжала, было их руководством к действию, и каменная тяжесть их славы лежит на наших с тобой судьбах, потому что мы живы и наши места в стае белых журавлей пока еще свободны.

Мы, живые, давно несем каменную тяжесть славы наших погибших братьев, наших друзей и товарищей, и нам надо позаботиться, чтобы эта слава перешла как доброе оружие в достойные руки. Мы главным образом только тем и заняты, что передаем ее как эстафету времени от сердца нашего поколения тем, кто идет следом за нами, кому предстоят более сложные и трудные дороги к вершине человеческого совершенства. Да и есть ли эта вершина? — спрашиваю я себя, так же как и ты спрашиваешь в часы раздумья самого себя об этом. Наверное, есть. А впрочем, какое это имеет значение: важна не столько вершина, сколько подъем, важно движение. Движение времени, движение истории, движение мысли. Движение к совершенству.

Мы давно знакомы с тобой, Расул. Я очень ясно помню коридоры и кабинеты Центрального Комитета комсомола, отданные нам, нашему Первому совещанию молодых писателей. Помню талый, истоптанный мартовский снег за окнами и сосульки на крыше Политехнического музея, и тебя тоже помню, молодого, черноволосого, стеснительного, краснеющего от внутреннего смущения, что тебя, твой трудный русский разговор не понимают. И было трогательно и смешно смотреть, как от усердия сказать точную фразу на твоём лбу, на надбровных дугах и висках выступали маленькие капельки пота. Но мы понимали тебя отлично. И ты понимал нас тоже хорошо. Понимал и Луконина, и Орлова, и Мустая Карима, и Платона Воронько. Мы были люди одного времени. Одной трагедии и одного восторга.

И вот тебе тоже пятьдесят лет, Расул!

Много это или мало? А зачем нам знать! Мы еще живы, и мы еще нужны нашим друзьям. У нас еще столько недоделанных дел. Но все-таки, может быть, и стоит на какой-то миг оглянуться на то, что сделано, чтобы сориентироваться и уверенней посмотреть вперед, на эту самую вершину, которая по мере приближения к ней становится все выше и выше.

Что ты сделал за это время, Расул?

Да вроде бы ничего особенного.

Правда, горы твоего Дагестана благодаря тебе стали чуть-чуть повыше. Их увидел мир и понял, что твой Дагестан и его люди поют удивительную песню, смеются, и плачут, и несут в мир свою надежду, и твой Абуталиб ходит по Франции с Тартареном из Тараскона и разговаривает за вечерней трапезой с Дон-Кихотом под каталонскими звездами.

Ты ничего вроде бы особенного не сделал за это время.

Ты только протянул от своего Дагестана нити человеческого родства ко всему миру, ко всем людям. Ты только всего-навсего подложил свою вязанку дров в общий костер человеческой дружбы, освещающий ночь. Ты просто понял, что без этого костра, без этой жизни вместе нет жизни в отдельности.

Ты ничего вроде бы особенного не сделал.

Ты всего-навсего научился говорить со всем миром своими книгами о своих горах, о своем маленьком народе, о его большой душе, о его вековой мудрости, о его чести и о его надеждах. И тебе в этом разговоре очень помогли твои друзья переводчики, и прежде всего переводчики с твоего материнского аварского языка на язык откровения ленинской революции, на язык мировой надежды, на великий русский язык, цементирующий нашу связь, нашу дружбу.

Издревле сладостный союз
Поэтов меж собой связует;
Они жрецы единых муз,
Единый пламень их волнует;
Друг другу чужды по судьбе,
Они родня по вдохновенью.

Наши с тобой друзья вместе с нами исповедуют эти слова Александра Сергеевича Пушкина как самое святое в нашей доброй и добровольной взаимозависимости. Утрать мы это прекрасное чувство, и поэзия онемев и мир скатится к дикости.

Нам надо беречь, ох как нам надо, Расул, беречь это живое чувство локтевой связи, эту высокогорную чистоту откровения наших душ.

Стихом своим ты делаешь Кавказ,
Его вершины выше и прекрасней!

Это сказал наш с тобой друг, балкарский поэт Кайсын Кулиев о нашем общем друге, ныне ушедшем мастере чеканного грузинского стиха Симоне Чиковани. Эти слова он мог бы сказать и применительно к твоей судьбе.

Я тебя знаю, Расул, так же давно, как Мустая Карима, Platона Воронько, Кайсына Кулиева, Давида Кугультинова. И нам с тобой не прожить без них, очень тусклой и одинокой будет без них эта жизнь.

Я давно тебя знаю, Расул, как человека жадного до работы, до славы, до любви. Такой уж у тебя характер. Ты не можешь жить, не растративая себя. Ты любишь жить полнокровно, и больше всего тебе нравится встречать рассвет за столом.

Эти горы и море напомнят достойно
Твой характер, и мысли твои, и мечты.
Здесь, как ты, эти старые горы спокойны,
Беспокойное море шумливо, как ты.

Эти стихи написал о тебе Мустай Карим. Я их только перевел. Да, ты похож на свой Дагестан. Я был в Махачкале и в Гунибе, смотрел на синий Каспий с развалин Дербентской крепости и удивлялся рукам кубачинских ювелиров. И это все живет в тебе. Это воздух твоих книг, твоей поэзии.

Тебе, Расул, пятьдесят лет. Это и много и мало. Поэзия вечно молода. Она живет только молодостью восприятия, молодостью первой любви, неповторимой сладостью первого искушения. Я думаю сейчас о тебе. И снова мне приходят на память стихи Мустая:

Золотистая пыль, как румянец на коже,
На зеленых вершинах платанов видна.
На твоих волосах преждевременно тоже
Засквозила, как первый снежок, седина.

Впрочем, не засквозила — белой-белой стала вся голова, будто горная метель по ней прошла. Ну и что ж! Не унывай! Пустая голова не седеет. Это я тебе говорю, и Абу-талиб наверняка со мной согласится.

А что касается надписи на кинжале, я ее понимаю, Расул. Понимаю и помню. И ты знаешь об этом.

ЛУКИ ПЛАТОНА ВОРОНЬКО

Все мальчишки мира отлично знают, что самое заветное сокровище — перочинный ножик. Я до сих пор помню мое ощущение, когда мечта сбылась и единственный карман моих штанов стал приятно тяжелесть металлической тяжестью перочинного ножа. Я ходил походкой принца, словно в моем кармане было чудо, ничуть не меньшее созвездия Гончих Псов.

Я не знаю, кто подарил Платону Воронько первый перочинный ножик. Я не спрашивал его об этом, но догадываюсь, что, может быть, сделал это его отец, отковав этот ножик в своей кузнице из лучшей стали. Наверное, этого ножа у Платона сейчас нет, так же как нет и у меня моего первого сокровища, но я видел сам, как Платон стругал кизилковую палочку: и его светлые глаза под широкими бровями, и добрые губы над округлым подбородком, и два седеющих крыла густых волос, обрамляющих сосредоточенный мир его лица, были в этот миг прекрасны.

Может быть, я выдал секрет, а может быть, в этом нет никакой тайны, но умолчать об этом я уже не могу, если заговорил. Дело в том, что Платон делает прекрасные луки, клеит их из разных древесин, полирует, подбирает жилы буйволов для тетивы, мудрит и мудрствует, потом любит сделанным луком, наводит на него окончательный блеск и дарит кому-нибудь из своих друзей. Зачем он делает эти луки? Я не знаю. Но он делает их с тем же увлечением и с той же самоотдачей, с какой пишет свои стихи, с той естественностью, с какой он прожил свои шестьдесят с лишком лет, наполненных временем, как золотой горн — дыханьем горниста, играющего подъем.

Я не знаю также, как время из поколения в поколение отбирало и передавало черты характера моего друга, черты его неповторимого и несравненного таланта. Это, наверное, тайна, как сама поэзия, не поддающаяся логике логарифмической линейки.

Мой друг Платон Воронько — герой времени, и не только потому, что строил Вахшскую плотину и был утешением батки Ковпака в его сумасшедшей по смелости походной партизанской жизни. Слов нет, эта героическая сторона его, комсомольского в то время, характера примечательна сама по себе, но он еще и рассказать сумел о своей судьбе достойно и красиво. Я благодарен ему за это, и ведь, наверное, не один я благодарен.

...Я видел, как Платон Воронько перочинным ножом стругал кизилковую палочку. Он не просто стругал, он артистически играл чем-то только одному ему доступным и ведомым, тем, что еще смутно клубилось в его душе, обретая форму.

Он не дарил мне своего лука, но у меня есть лук его поэзии и полный колчан со стрелами. И мне очень хочется, чтобы эти стрелы всегда звенели в моем синем небе и в глубине ваших небес. Пусть каждый дарит что-нибудь другому. Платон умеет это делать превосходно!

1973

ДЕБОРЕ ВААРАНДИ

Милая Дебора Вааранди, я поздравляю Вас в эти ветреные осенние дни, полные золотого шелеста опавшей листвы, с праздником Вашей зрелости, с осенней вершиной Вашего познания. И там, в душе народа родной Вам Эстонии и в сердцах любителей и ценителей Вашей поэзии на всех языках, на которых звучал Ваш преображенный переводами голос выстраданной радости, пусть отзовется мое слово.

Я не могу сказать о своем чувстве признательности Вашему светлому таланту по-иному, потому что в силу личного опыта знаю, какой ценой дается радость откровения поэзии, радость познания мира, человеческого братства и глубин собственной души.

Вы — подлинный поэт, редкостный поэт, умеющий наполнить смыслом истинной любви отпущенное Вам время. В этом Ваше счастье и отчаяние, вечная тревога и беспокойство, колдовство белой молочной ночи, окутывающей вековые валуны и звонкие сосны Балтийского побережья дымчатым светом поэзии.

Я знаю Вас очень давно. И когда читаю Ваши стихи, то вижу в эти минуты Ваше открытое лицо с прищуренными глазами, вглядывающимися в только Вам видимые и понятные горизонты. Вижу, как Вы идете, касаясь левой рукой колючих веток можжевельника, словно выгоревших вихров детских головок, ведь Вы знаете, что такое братская верность дерева. И вся поэзия Ваша — как звонкая сосна на берегу Балтики. Она все время в движении, в противоборстве. Она поет, эта сосна, о радости и печали, о прекрасном.

Мне всегда приятно вспоминать о Вас и мысленно раз-

говаривать с Вами, с тех самых пор, когда мы познакомились в только что освобожденном от блокады Ленинграде в войска нашего фронта вместе с Эстонским корпусом готовились перейти через Нарву на выручку Вашей родине, скутанной дымом и пеплом, «как дерево горящих гнезд».

Ваша судьба чуралась благополучия, оно было чуждо ей по самой сути Вашего отношения к жизни, по самому таинству возникновения и расцвета дерева Вашей жизни.

Оно все в шрамах, это дерево. А я это тоже знаю. Но что может быть прекраснее этих шрамов! Не в них ли кровь Вашего сердца превращается в прозрачный ягтарь удивительных песен, излучающих солнце?

Шелестит осень опавшим золотом зрелости. А сосна стоит на песчаном побережье, и ветер играет ее неизменно зеленой вершиной, и ее прямой ствол поет, как натянутая между небом и землей струна.

Я слушаю Вас, Дебора!

1976

ПИСЬМО В ЛИТВУ ЭДУАРДАСУ МЕЖЕЛАЙТИСУ

Дорогой Эдуардас!

Вот и тебе стукнуло, как говорят, полсотни.

Исходя из собственного опыта, скажу, что это не так уж страшно. Да, наше военное поколение поэтов подводит в своей работе некую мысленную черту. Что поделаешь, время летит, и пятидесятилетняя вежа твоей жизни лишней раз говорит нам, что жили мы не напрасно, что в этом тревожном времени есть твой голос, задумчивый, человеческий.

Будь жив сейчас Роберт Фрост, он, наверное, написал бы о тебе коротко и прекрасно, так же вдохновенно, как ты в свое время написал о нем, раскрыв его душу и нарисовав его мудрый и по-детски наивный образ. При всей разнице характеров племя поэтов земли одинаково.

Я поздравляю сегодня твою милую Литву с тем, что у нее есть ты. Я поздравляю всех советских читателей с тем, что у них есть ты — поэт, гражданин, коммунист, превосходно сделавший кардиограмму души современного человека, твердо стоящего на земле, гордо закинув голову в небо, касаясь звезд, чувствуя-

щего мировую гармонию доброй человеческой мысли.

Поэзия возникает из преодоления страдания и из любви. Ты знаешь это хорошо потому, что умеешь строгать строку и отбрасывать все лишнее. Я это говорю не ради красного словца, а потому, что люблю тебя и книги твои давно за то, что ты судьбой своей сделал мою жизнь уверенней и благородней.

Я вспоминаю сегодня солнечную августовскую Палангу, белые холмы дюн, поющий песок и накатывающие на волны песка синие с белыми гребнями волны моря. Я вспоминаю наши молчаливые беседы, когда мы шлепали босыми ногами по кромке прибоя, отыскивая в водорослях, выброшенных на песок, кусочки янтаря. А вокруг нас, то забегаая вперед, то отставая от нас, носился, сверкая пятками, радуясь солнцу и воде, твой пятилетний сынишка. Я почему-то звал его Тинтель-Виштель, и это ему тогда очень нравилось. Сейчас он уже вырос и возмужал. Ему уже время думать о своем Тинтеле-Виштеле, о загадке и смысле жизни, о горизонте, который шире и сложнее нашего, но у него твои глаза и почва его души одинакова по составу с твоей.

Ты любишь встречать рассвет.

Помнишь, как мы однажды поздней ночью выехали на рыбалку куда-то за Русню, чтобы встретить солнце? Рассвет был серый, дождливый. Ни одна рыбина так и не клюнула. Мы промокли до костей, прозябли.

— Но солнце все равно взошло, — сказал ты в утешение, — мы его встретили.

Не все ли равно, как и где встречать рассвет солнца — на рыбалке или за письменным столом, — важно не проспать, а встретить эту удивительную минуту, когда весь мир оживает, наполняясь танцством жизни. Ты умеешь это делать потому, что не можешь жить без этого, потому, что ты поэт всей сутью своей и на все времена.

Я обнимаю тебя в этот день, как брат брата, среди белесых дюн и бронзовых сосен, к подножью которых бегут без конца и начала свинцовые волны и стряхивают с белых гребней на чистейший песок водоросли. Тебе надо снова раньше всех выходить на побережье и брести по кромке прибоя двух стихий, выискивая кусочки прозрачного, пахнущего вечностью янтаря.

Счастья и удачи тебе, мой добрый друг, встающий на рассвете!

1969

СУДЬБА ЭДИТ СЁДЕРГРАН

Ее звали Эдит Сёдергран.

Она родилась в Петербурге в 1892 году. Ее родители были финские шведы. Она ходила по Невскому в Немецкую школу и очень рано начала писать стихи, сначала по-русски, потом по-немецки и, наконец, на своем родном шведском языке. В 1917 году ее отец, занимавшийся коммерческими делами, вместе с женой и дочерью переехал в Райволу (ныне — Роцино) и вскоре умер, оставив жену и дочь без перспектив на безбедную жизнь.

Эдит многое пришлось побеждать: одиночество и измену, предательство и нищету, но она не могла победить набившегося в ее легкие ватного тяжелого тумана, называемого туберкулезом. В конце концов он и задушил ее на одинокой скале ее таланта.

В поселке Роцино на высоком берегу озера стоит параллелепипед из темного камня. Это ее могила и памятник.

Она прожила неполные тридцать лет. После нее осталось четыре сборника стихотворений.

Она жила на перекрестке трех языков, двух революций и одной войны.

У нее были светлые глаза и светлые волосы.

Душа ее была нежной и пронизательной. Она осталась в ее стихах, дав им обаяние и долговечность.

Дерево моего детства ликует вокруг меня.
Травинка меня приветствует, голову наклоня.
И я склоняюсь к травинке среди тишины лесной.
Все прошлое остается паветк за моей спиной.
Мои друзья отныне под сенью родных небес
Опять становятся озеро, берег его и лес.
Я мудрость беру у ели, чей синий шатер высок.
Мне вступу мира дарит березы сладчайший сок.
Из стебля лесной травинки душа моя силу черпает.
Великий защитник жизни мне руку свою дает.

Ее стихи любит сегодняшняя юность Скандинавии, ищущая свой путь в сложном мире. Стихи Эдит Сёдергран учат мужеству преодоления, нежности любви, благородству красоты и верности человеческому братству.

Я не могу
Без действия прожить.
И я умру — прикованная к лире.
Ах, если бы она была прекрасней

Всех лир на свете, я бы заплатила
Ей верностью пылающей души.

Тот, кто руками в ссадинах и шрамах
Не хочет рушить стену серых буден,
Пусть погибает молча у стены.
Он недостоин видеть солнце жизни.

Эта поэзия светла и задумчива. Она ничего не боится,
даже времени.

На одну треть Эдит Сёдергран и наша соотечественница,
и без ее песни в костре нашей поэзии будет не хватать
искры ее таланта, ее прозрения.

Об этом я думал, когда переводил ее стихи.

1980

МЫ СЛЫШИМ ТЕБЯ, ПАБЛО НЕРУДА

Он мог кормить со своих рук всех птиц мира. И это ему легко удавалось. Потому что он, как никто на свете, обладал прекрасным свойством — чувством чуда. Оно жило в его душе, в его облике, в глубине его глаз.

Он любил игру, как дети, отдаваясь ей целиком. Он умел сверять ритм своих стихов с тяжелым ритмом валов Тихого океана, набегающих на каменистое побережье.

Он учил свою душу совести у белизны вечных снегов высоких Анд.

Он учился гневу у гнева вулканов и тишине у тишины пустыни Атакама.

И с этими свойствами ничего нельзя было поделать, потому что он был поэтом по складу своего характера, по особенности своей судьбы.

Он называл свою родину «балконом Тихого океана». Он любил ее самой верной верностью. Всей своей болью, всем своим восторгом, всем трепетом.

И имя у него было фантастическое, как сама его родина: Нефталли Рикардо Рейес Басуальто. Но мир знал его как Пабло Неруду. Он жил и цел, как сама гармония справедливости. И мир удивлялся его песне. Потому что она была песней мира.

Я познакомился с ним в 1949 году в Пушкине, в только что восстановленном Пушкинском лицее, в том самом зале, где мудрый Гаврила Державин заплакал слезами счастья, услышав на выпускных экзаменах голос юного Пушкина. И первым писал, что в России есть гений.

Пабло Неруда приехал на праздник столетия со дня рождения Пушкина. И он говорил о Пушкине с того самого места, где Пушкин читал стихи Державину.

Он был исполнен и волнения и гордости. Он говорил недолго, но значительно. И я понял тогда по его словам, по дословному переводу этих стихов громадность его души, излучающей энергию добра и света.

Я до сих пор помню его слова, обращенные к Пушкина-

ну: «Во всех местах, куда бы ни пошли бороться и воспе-
вать твою Родину, — память о тебе всегда будет с нами,
давая нам источник вдохновения, мужества, красоты и
юности».

И дальше: «Твои произведения и твоя кровь стали
знаменем твоей Родины, которую мы любим». Я помню
их, эти слова, сказанные Пабло Нерудой в Пушкинском
лицее в 1949 году. В году нашего знакомства, наших об-
щих надежд, выросших на пепле. Я мысленно могу их
повторить сейчас о Пабло Неруде.

Его нет больше. Он умер. Ушел один из самых восхи-
тельных поэтов современного мира. И душа моя теря-
ется и путается в словах, выбираясь из дебрей непопра-
вимого горя.

Я знал о том, что он тяжело и неизлечимо болен. Мне
сказал об этом Пьер Гамарра в декабре 1973 года в Па-
риже. Я помню его слова: «Неруда уехал из Парижа два
дня назад, уехал в Чили. Он болен и хочет побыть на ро-
дине». И я представил себе Исла-Негра, где был в гостях
у Пабло Неруды, в его фантастическом доме, где собраны
редкости со всего света: бутылки и раковины, книги и
барабаны, маски и картины, огромный рекламный боги-
нок и пестро раскрашенный локомобиль. Он сидел за сто-
лом, как бог, и угощал нас дарами своей родины. Он лю-
бил поесть и выпить. И делал это красиво, с пониманием.
И я смотрел на его высокий лоб, на круглые черные бро-
ви, на удивительные глаза. И видел за его плечом на сте-
не три фотографии: молодого Рембо, молодого Маяков-
ского и молодого хозяина. И удивлялся сходству между
ними. И он заметил это и лукаво улыбнулся мне.

У меня есть его книги, надписанные его размашистым
почерком.

А его нет. Но его нельзя отнять у мира, потому что
он живет навсегда в самой надежде мира.

Он умер там, на своем «балконе Тихого океана», в
страшный час истории своей родины. Я не знаю, как он
умер и что он сказал перед кончиной, кому он улыбнулся
темными озерами усталых, умеющих обнадеживать глаз.

Он распознал фашистов в Испании, и они пришли к
его смертному изголовью, как гиены к раненому льву.
Но гиена остается гиеной. Она труслива и жестока.
Жестокость — это оборотная сторона трусости. Я вспо-
минаю слова Пабло Неруды из поэмы «Испания в серд-
це»:

Но однажды утром все запылало,
одважды утром стали
выбиваться из-под земли костры
и пожирать живое,
и с той поры — огонь,
и порох — с той поры,
кровь — с той поры.

Громилы с самолетами и марокканцам,
громилы с перстнями и герцогинями,
громилы с черными священниками,
благословляющими их,
летели по небу, чтобы убивать детей,
и кровь детей по улицам текла,
точь-в-точь
как кровь детей.

Он умер в страшный час истории своей родины. Умер, проклиная реакцию всей своей сутью, своей всеобщей песней, своим бессмертием.

И он победит вместе со своим народом. Рано или поздно, по победит! Потому что слова его песни, как птицы, бьются в уши и глаза мира, бьются и кричат: «Смотрите, кровь течет по мостовым!»

Мы слышим это. Мы видим это, Пабло Неруда! Птицы твоей поэзии летят через Анды.

Чудо не умирает,

1974

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПАЛОЧКИ

Они лежат у меня на столе, как две свечи толщиной в большой палец каждая, цвета воскового загара и гладкие, как хорошо отшлифованный янтарь. Иногда я беру их в руки и стукаю палочкой о палочку, и от этого возникает чистейший, ни на что не похожий звук, словно там, в глубине древесины, пробужденной ударом, звучит тонкий голос времен и неумирающей жизни.

Мне подарил эти палочки Николас Гильен, поэт, умеющий понимать душу певучего дерева и душу человека.

Познакомил меня с Гильеном Пушкин. Это было давно, тридцать пять лет тому назад, когда Гильен после победы Кубинской революции приехал к нам в Москву, а потом попал на Пушкинский праздник поэзии в Михайловское.

Я знал «Зеленую ящерицу» и раньше, до нашей встре-

чи, и через это стихотворение рисовал в воображении и сам остров, и его поэта, откуда-то с высокого облака в синем небе любующегося вытянутым телом своей зеленой земли, окаймленной жемчужной пеной голубого океана, накатывающего свои волны, как волны стиха, на золотые пляжи и отмели.

А теперь мне запали в душу и голос Гильена, и его белозубая улыбка, и пальцы рук, похожие по цвету на деревянные палочки, наполненные волшебной музыкой, те самые палочки, которые спустя несколько лет мне подарил на своей Кубе Гильен.

Мы сидели тогда за столиком в маленьком пригородном ресторанчике под камышовой крышей на открытой веранде, пили белое вино и слушали, как друг Гильена — пианист, певец и композитор Бола стремительными пробежками своих молниеносных коротких пальцев скользил по клавишам, и они кипели под прикосновениями рук, как прибой океанской волны, и наполняли душу светом и звуком радости.

Бола играл, подневая сам себе хрипловатым голосом, играл прекрасно, а Гильен в такт стремительным пассажам Бола манипулировал только что купленными в сувенирном ларьке музыкальными палочками, и голоса дерева, струн, человека сливались в едином звучании.

Потом он подарил эти палочки мне.

Они лежат у меня на столе. Иногда я беру их в руки и, кажется, чувствую прикосновение пальцев самого Гильена, добрых пальцев цвета старого янтаря, теплых, по-человечески живых.

Я ударяю палочкой о палочку, и возникает томительный, таинственный звук глубинного очарования верности, скрытой в дереве и в наших душах.

1982

НАВСЕГДА С ТОБОЮ, КУБА!

Океана не видно. Он закрыт облаками, но через них, просвеченные бьющим снизу солнцем, угадываются условные скрещения параллелей и меридианов, как на глобусе. Очень хочется увидеть океан!

Мне уже никогда не быть ни летчиком, ни шофером. Я не могу сосредоточиться на дороге: она для меня всегда сравнение, всегда смешение виденного с будущим...

Из иллюминатора видно крыло, зыбкий круг винта и опознавательный знак на серебряной плоскости.

Я разговариваю с Чкаловым и с Экзюпери.

Я читаю про себя стихи Габриелы Мистраль:

Люди в мире бесприютны,
И у всех печаль своя.
Я к груди тебя прижала —
И не одинока я.

Нине Булгаковой и Римме Казаковой тоже не спится. Они штудируют испанский. Нина жила на Кубе два года. Она прекрасно знает испанский язык и испанскую литературу. Куба для нее — своя земля.

Я вспоминаю: а что я знаю по-испански? Амиго — значит друг. Венсеремос — мы победим. А что еще? Но пасаран! О, эти слова я знаю давным-давно. Я твердил их вслух в тридцать шестом году, когда в Иванове шел по Соковской улице в райвоенкомат и нес в кармане заявление, чтобы меня отправили добровольцем в Испанию.

— Не выйдет! — сказал мне комиссар.

Если бы победила Испанская республика в том, 1937 году, думаю я, может быть, не было бы второй мировой войны, а вся Латинская Америка построила бы свою жизнь на иной лад. Это пока умозрительное предположение, но на обратном пути оно обрастает подтверждением — от реально увиденного. Копилка человеческого опыта оплачена кровью. Надо развивать память и человека, и человечества...

Я завидую и Нине Булгаковой, и Римме Казаковой. Завидую тому, что первая прекрасно знает испанский язык, а вторая с ходу перенимает его и тут же лихо перебрасывается испанскими фразами с соседями по купе, кубинцами (к их общему одобрению). Я же злюсь за себя, па то, что не могу, как Римма, быстро найти русло в этом мелодичном водовороте звуков. Я могу только улыбаться кубинцам. А этого мало.

Куба... Она была и мировой надеждой и мировой тревогой одновременно. Спасая Кубу, мир спасал Землю. А Землю надо спасти, потому что она у нас пока только одна. Чтобы спасти Землю, надо каждому человеку на Земле понять необходимость этого. А как людей убедить в этой необходимости? Всех людей Земли?

На высоте десяти тысяч метров нет горизонта, есть ощущение несовершенства собственного зрения — у него существует предел, рубеж привычного опыта, за который

не перешагнуть. А перешагнуть надо! Можно представить себе, что столетия мелькают так же быстро, как слетающие с осеннего клена листья. Можно вызвать из глубины истории любую картину и прояснить ее для себя. Одной из первых книжек, которую я прочитал самостоятельно, была книжка о Колумбе. И вот память накладывает пленку на пленку, негатив на негатив. И века перемещаются, обретая реальность птицы, залетевшей на корабль Колумба и вселившей надежду на близкую землю. Птица была радостью для корабля, но она оказалась и зловещим предвестником смерти многих народов со своим языком, со своей культурой.

Я был в туристском центре Гуама. Его построили уже после революции. Осушили болота. Прорыли каналы. Загнали крокодилов за решетку. Настроили фешенебельные домики на сваях с пальмовыми крышами и кондиционированным воздухом, посадили деревья, сделали бассейны и перекинули легкие мостики через каналы, подстригли травку и постлали деревянные тротуары, а на одном из островов сделали макет индейской деревни. Макет сделан очень натурально. И сам вигвам под конусообразной крышей, и шалаши для жилья, и сами индейцы: вот индеец перекрутил веревкой морду крокодила и, ухватив его за хвост, приподнял от земли: вот индеец вынырнул из-под волны и поймал за лапы не успевшую вспорхнуть утку; вот индеец, бросающий в землю зерна; молодая индианка, похожая на Ассоль, грустно смотрит в море, ища невидимые корабли своей судьбы; вот дети, играющие в мяч; вот пряжа и рядом с ней другая высокая женщина, вяжущая сеть, а немного поодаль, на полянке, сидит старейшина и раскурпвает трубку мира. Все индейцы рослые, ладные, с печатью непопятных житейских дум на прямоносых, строгих и одновременно добрых лицах. Я смотрел на них, и тоска временами переполняла мое сердце. Ночью в своем великолепном домике с кондиционированным воздухом я не мог сомкнуть глаз. Я думал о том, как могло случиться, что на памяти новой истории мог быть уничтожен целый народ. От народа остался только муляж.

А над Кубой висела такая угроза, что в один миг могла превратить не только Кубу, но всю Землю в мертвый муляж бывшей жизни.

Я об этом думал. И, подлетая к Кубе, почувствовал холодок в левом боку...

Мне очень хотелось увидеть океан сверху, глаза в гла-

за. И он блеснул на меня сразу чистейшим ультрамарином и белой линией приборя у коричневой береговой полосы.

Было раннее утро, и зеленые метелки королевских пальм врассыпную разбежались по пригоркам, и розовая Гавана проплыла, накреньясь, в левом иллюминаторе.

Я так и не увидел целиком «зеленую ящерицу». Весь знойный и влажный мир заслонила добрая, белозубая улыбка певца «зеленой ящерицы» Николаса Гильена. Я впервые познакомился с ним в 1949 году в Пушкинских Горах. Мы обменивались улыбками и запомнили друг друга по улыбкам... А улыбается Гильен божественно, во весь широкий рот с добрыми губами, и крылья поздней чуть вздрагивают при улыбке, и из-под прищуренных век бьет черный бархатный свет лукавства. Ему уже за шестьдесят. Он смеется и говорит мне через Нину Булгакову: «Мне не шестьдесят. Мне два раза по тридцать!» — и хлопает меня по спине. И я его хлопаю по мускулисту, крепко сбитому туловищу. Мы вспоминаем Бухарест и Москву, белые ночи Ленинграда. Он похож на свои стихи, на какую-то еще не знакомую мне музыку, сотканную из зеленых листьев, пронизанных солнцем. Мне уже не прожить без этой музыки. Она вошла в меня и вместе с улыбкой брата, с доверительной улыбкой друга будет сопровождать нас по всей Кубе в течение трех недель, пока счетчик в нашем «кадиллаке» не отсчитает трех тысяч километров и легкое скольжение по асфальту не сменится снова мелкой дрожью самолета.

На аэродром встретить нас вместе с Гильеном пришла Дора Алонсо. Ее роман «Беззащитная земля» вышел в русском переводе. У нее много работы. Еще больше планов. Она собирается в гости к нам. А поэт Файяд Хамис уже побывал в Советском Союзе. Он редактирует журнал, выпускает книги и пишет картины. Об этом мы узнали из беглой беседы, пока таможенники оформляют наши документы, пока мы едем до гостиницы по утренней Гаване, пахнущей поджаренными булочками и йодистой свежестью океана.

А дальше начинается путешествие. Путешествие на восток, в Сантьяго, и на запад, к Пинар-дель-Рио... Арнальдо молод. Ему нравится сама машина и асфальтовая река дороги. Он — бог на четырех колесах. Еще нас сопровождает Уго. Ему двадцать четыре года. Со всей юношеской страстью он любит свою революцию. Он был солдатом. Учился на дипломатических курсах, работал ди-

ректором фабрики, два года был корреспондентом в Алжире. Он хочет заниматься философией и, если это получится, написать книгу. У него, наверное, все получится, потому что глаза его жадны к жизни, потому что он влюблен в мир и обеспокоен его будущим.

Воздух влажный, и солнце беспощадное. Над асфальтовой рекой дрожит раскаленное марево, и стволы пальм неподвижны, как свечи. Они никогда не гнутся, а острые веера листьев звенят на ветру, будто откованные из медных пластинок, и фламбойян цветет розовыми шапками, как наша рябина осенью. До Санта-Клары с нами едет писатель и художник, редактор выходящего при университете в Санта-Клара журнала «Острова» — Самуэль Фейхоо. Он болен Кубой, ее музыкой, ее танцами, ее народом. Он веселый и остроумный собеседник, но больше всего вопросов он задает сам себе и, как мне кажется, не успевает на них отвечать, потому что спрашивает слишком много.

В незнакомой дороге всегда ищешь что-то похуже на свое, родное. И я уже на второй день ночью принимаю пальмы за наши сосны. Наверное, так удобнее. По крайней мере, для меня. А дорога летит к зеленым тисцелям гигантских акаций, и по бокам мелькают старые города и деревни с хижинами, покрытыми пальмовыми листьями. Крыши похожи на наши, соломенные. В мире есть братство соломенных крыш, великое братство тружеников земли. Под соломенными крышами во всем мире люди думают одинаково. И Фейхоо соглашается с этой моей мыслью. Он ездил по России с Ниной Булгаковой, и теперь они вместе готовят антологию русской поэзии. А Самуэль только что окончил первый том своих записок о путешествии. Он собирается приехать к нам снова.

Тропическая ночь темна, как пропасть. Все улицы расцвечены фонариками и гирляндами, масками и цветами. Все улицы запружены народом. На каждом углу оркестр. И около каждого оркестра песни и танцы. Поют и танцуют все. Переулки и улицы, площади и бульвары, люди и деревья, дома и звезды. Это просто какое-то наваждение, от которого нельзя, невозможно отделаться. И Фейхоо подхватывает моих спутниц, и они сначала робко, потом смелее входят в общий ритм танца. Мои ноги тоже сами по себе начинают выделять какие-то незнакомые мне коленца, и я тоже с кем-то, незнакомым мне, обнявшись, скачу в этом бешеном хороводе.

Потом, уже запыхавшись, за стаканом лимонада, Фейхоо говорит:

— И американцы хотели запугать такой ярод! Он бессмертен, такой народ, если так согласно пляшет. Правда?

Куба не только пляшет. К сожалению, мы опоздали на сафру. Но собрать шесть миллионов тонн сахара, работая тяжелым мачете, — а работала вся Куба от мала до велика, — что-нибудь да значит.

Народ весел и озабочен. Братская улыбка, доверительность... Я уношу ее с беседы со студентами университета Сантьяго. Мне приятно услышать, что жители Сантьяго называют себя кубинскими ленинградцами. Я уношу в душе эти улыбки, беседуя со встречаемыми крестьянами в придорожных кафе. И мне становится легче в этом неустроенном, переполненном различными противоположными возможностями мире. И я остаюсь на Кубе, хотя самолет отрывается от взлетной полосы и «зеленая ящерица» скрывается за облаками. Я остаюсь с Алехо Карпентьером, прекрасным писателем, создавшим удивительный роман «Погерянные следы». Он сейчас заканчивает книгу о революции и координирует работу всех издательств. Я остаюсь с поэтами Ретамаром и Деспестром. Остаюсь у мавзолея Хосе Марти, в тихой почтительности склоняясь перед прахом этого мудреца, поэта и рыцаря. Остаюсь на вершине Гран-Пьедра, и хребты Сьерра-Маэстра убегают к горизонтам, и партизанские костры Фиделя горят под королевскими пальмами. Я остаюсь в тихом кабачке Гаваны, где друг Гильена Бола напевал нам простуженным голосом свои песни и пытался спеть по-русски «Подмосковные вечера». Я остаюсь с Хосе Портуондо и с Хосе Лима рассуждать о том, как улучшить общение наших поэтов, потому что песни сближают людей. Я остаюсь с Файядом Хамисом и Робертом Брангли, со старейшиной кубинских поэтов Мануэлем Наваррой Луна, человеком необычной подвижности и оптимизма.

Я оставляю здесь, на Кубе, часть своей души.

В последнюю ночь перед отлетом муж Доры Алонсо возит нас по Гаване, в последний раз показывая этот удивительный город, где у меня остается столько добрых друзей. Где остаюсь я.

Пожилой мужчина, похожий на «папу Хемингуэя», запускает над океаном змея. Я еще не видел такого способа лова. Я наблюдаю за ним. Змей взвивается высоко

над сипей водой на триста — пятьсот метров и зеленеет далеко в океане, метров на семьсот — тысячу, потом плапирует над самой водой. К змею на поводке прикреплен крючок с насадкой, и человек, похожий на «папу Хемингуэя», вытаскивает рыбину. И какую! Он единоборствует с ней часа полтора. И я спускаюсь с двенадцатого этажа, чтобы полюбоваться этим двухпудовым морским чудом, чей спинной плавник похож на парус китайской джонки, а нос выдается вперед, как шпага.

Человеку, похожему на «папу Хемингуэя», наплевать, что на горизонте стоит, как утюг, американский крейсер «Оксфорд». Человек выудил рыбину. А крейсер не может увести на буксире Кубу. Хотел бы, да не может!

И я остаюсь с этим рыбаком, с этим человеком, оставленным за горизонтом. Я навсегда с ним. И стоит мне закрыть глаза, как горизонт исчезает и я вижу его на набережной, где ленивая волна Атлантики накатывает на гранит и обдает солеными брызгами раскаленный тропическим солнцем асфальт.

1965

ЦВЕТ ЖИЗНИ — КРАСНЫЙ ЦВЕТ!

В процессе самой революции рождались ее вечные символы, рождались и становились оружием бесчисленной армии борцов за самый справедливый мир человеческих отношений. Слова: «Мы наш, мы новый мир построим» — перестали быть просто словами, они превратились в организующую силу, в клятву верности и единства,

Ведь если я гореть не буду,
и если ты гореть не будешь,
и если мы гореть не будем,
так кто же здесь рассеет гьму?

Я помню Назыма Хикмета, этого несгибаемого борца с душой ребенка, которая светилась в его чистейших голубых глазах под высоким лбом мыслителя, окаймленным седеющими кудрями. Люди доброй воли вырвали его из тюремного застенка, и он приехал к нам. Он радовался и свободе, и вновь обретенным друзьям. Душа его ликовала и на лету жадно схватывала каждое слово искренне-

го привета и восхищения его стойкостью. Я помню, как мы сидели в гостиной нашего Дома писателя на берегу Невы, как Назым подходил к широкому окну и вглядывался в голубеющий контур «Авроры», стоявшей на вечном приколе у противоположного берега. Над водой кричали чайки, из-под арок Литейного моста вылетали голуби, вспугнутые низким гудком речного буксира. На флагштоке «Авроры» бился, переливался, горел красный флаг, и его отсвет ложился на бледное лицо Хикмета на его улыбку — добрую, доверчивую, солпечную.

Потом Назым читал стихи, и его гортанный голос и ритм, подчеркнутый скупым и властным жестом руки, делали нас всех, присутствовавших на этой встрече, людьми одного костра, давным-давно близкими людьми.

При каждой новой встрече с Назымом и с его книгами росло мое восхищение этим борцом, его жадной работоспособностью, его умением отдавать всего себя целиком вот этой струящейся минуте радости. Таким он и остался в моей душе, вечно живым, вечно беспокойным, с отсветом пламени от флага «Авроры» на прекрасном, улыбающемся миру лице.

Он был коммунистом ленинской выучки. Победа мировой революции была для него делом времени. Он уже умел видеть ее перспективы, ее возможности, уходящие в даль времен. Гармония революции была гармонией его поэзии.

Революция сделала его мировым поэтом.

И его поэзия, переведенная на многие языки мира, продолжает бороться за революцию.

Революция и поэзия. Это сестры. Их родство заставило Эжена Потье написать «Интернационал». Их родство заставило Глеба Кружжановского написать русскую «Варшавянку». Их родство привело Александра Блока к красногвардейскому костру и продиктовало ему:

Революционный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

И эти слова стали паролем для всех часовых революции.

В июне 1917 года Клименту Аркадьевичу Тимирязеву шел семьдесят пятый год. Было так называемое двоевластие, политическая неразбериха. Но старый ученый, когда-то сказавший: «Наука и демократия — тесный союз

знания и труда — десятки лет был моим любимым призывным кличем», — мудрой и молодой душой своей сумел понять неизбежную правду времени.

«Теперь мы можем смело сказать, что из всех волн лучистой энергии Солнца, возмущающих безбрежный океан мирового эфира и проникающих на дно нашей атмосферы, обладают наибольшей энергией, наибольшей работоспособностью именно красные волны...»

И дальше, до самого конца, все такой же высокий строй взволнованной поэтической мудрости:

«Перед человечеством стоит все тот же выбор: свободные народы или послушные бичу стада.

Развернет ли человечество свое славное красное знамя, или иступленным и трусливым врагам «красной тряпки» удастся еще раз волочить его в лужах пролитой ими крови? Раздастся ли победный гимн свободе и миру всего мира, или он потонет в диком вопле поклонников войны: «Кровушки! кровушки! кровушки! Крови посвежей!» Вот в чем вопрос.

Сказал, и на душе стало легче».

Красное знамя! Мы, мое поколение сверстников революции, принимали под этим знаменем пионерскую клятву. Мы ходили под этим знаменем через любой огонь пулеметов в атаку. Мы спасали это знамя по казематам и лагерям смерти. Мы водрузили это знамя на рейхстаге. Мы победили с этим знаменем величайшее зло двадцатого века — фашизм!

Однажды был у меня в гостях колумбийский поэт Хорхе Саламеа. Мы разговаривали о Гарсиа Лорке. И Хорхе Саламеа — он не коммунист, он просто честный интеллигент — рассказал мне о том, что он был другом Лорки, что у него есть сорок писем от великого испанского поэта. И на одной из книг Лорки, изданной на русском языке, написал мне: «Моя поэзия — поэзия открытых вен». И пояснил потом: «Это так Лорка определял свою поэзию, так писал мне».

А я про себя припомнил Брюсова: «И песня с бурей вечно сестры».

Мы пили красное вино мукузани и вспоминали общих знакомых, а потом читали стихи, он на испанском, я — на русском. И стихи убрали расстояния и границы и во времени и в пространстве. И вместе с нами сидели Габриэла Мвстраль и Анна Ахматова, Янис Ридос и Николас Гильен.

Хорхе уехал. Уехал моим другом. И у него теперь есть друг в Ленинграде. Больше, чем друг, — товарищ!

Хорхе изумительно читал свои стихи. Его густой, выразительный голос до сих пор звучит в моей памяти. Он у себя дома часто выступает с чтением своих стихов. Пластинки с его стихами имеют большой спрос в Колумбии. Студенты распространяют эти стихи листовками. Одну такую листовку он оставил мне на память.

И вот я перевел:

ЖАЛОБА

— Лепешки из маиса мне только саднят рот.
Монет холодный никель — как языки огня.
И новая рубашка мне больно кожу жжет.
Я — черный мальчик, мама,
И все — не для меня.

— Нет, ты из меда сделаю, из молока, сынок,
Как все на свете дети, чтобы дышать легко.
Ты пахнешь этим медом от головы до ног.
— Но мед был черным, мама,
И черным — молоко.

Да, я читать умею. Я знаю точный счет.
Да, я писать умею. Что объяснишь — пойму.
Но только это время не для меня течет.
Я — черный мальчик, мама,
И все — мне ни к чему.

— Нет, ты из мяса сделаю и из костей, сынок,
Как все на свете дети, чтоб жизнь была бела.
— Но что поделать, мама, я белым быть не смогу,
Знать, мясо было черным
И черной кость была.

И то, что я имею, — мне ни к чему теперь,
Что отдаю другому — другому не родня.
О чем мечтаю ночью — не для меня. Поверь,
Я — черный мальчик, мама,
И все — не для меня.

— Нет, ты из крови сделаю, она красна, сынок.
— Из черной крови, мама, ночь у меня внутри.
...Мать рвет зубами руку. И брызжет красный сок.
— Из черной?.. Нет, из красной..
Смотри сюда, смотри!

Я старался как можно точнее передать смысл этого стихотворения. Этот смысл дает мне право считать, что в далекой Колумбии у меня есть брат по песне, что сим-

волика его пристрастий почти такая же, как и моя, а все, что накопило в своей нелегкой борьбе человечество, освящено нашей кровью; ее красным цветом.

1966

С ВЕРШИНЫ МУЖЕСТВА

Путь художника всегда не прост. И чем больше художник, тем сложнее и трагичнее этот путь, потому что, оперируя проблемами мира, художник отвечает за все, — это его обязанность, его судьба, его сочувствие и помощь, познание и предупреждение, подкрепленные опытом собственной трагедии.

Художник бьется в одиночку, но судьба его индивидуальности — глобальна.

Такой мне представляется и высоко одаренная индивидуальность Франца Верфеля во всех его прозрениях и терзаниях на пути к вершине творческого подвига его беспокойной, мятущейся жизни в кровавых водоворотах нашего двадцатого века.

Франц Верфель родился в 1890 году в Праге в богатой купеческой еврейской семье. После окончания гимназии учился в Лейпциге и Гамбурге.

Его друзьями в поисках истины были Кафка и Эгон Эрвин Киш.

Он очень рано заболел неизлечимым беспокойством «о перемене мира путем духовного обновления всех людей».

Он бросался от христианства к марксизму. До последнего затухания творческого гения он так и не нашел твердой почвы для своих беспокойных поисков.

Он писал стихи и драмы, очерки и эссе, романы и памфлеты и во всех жанрах оставил свое слово, свою незаурядную индивидуальность, интересную и сейчас не только историю литературы.

Он умер в Калифорнии в 1945 году, и сумрак разочарований изгнанника, подсвеченный салютом Победы, сомкнулся над его прахом на чужой земле.

Он был ищущей натурой, обладавшей редкостным локатором предчувствия и озаренностью прозрения.

В числе лучших умов европейской культуры двадцатого столетия, в одно и то же время с Роменом Ролланом, Томасом Манном, Лионом Фейхтвангером и Пером Лагерквистом, Франц Верфель первым начал свою личную вой-

ну с фашизмом. Это была жестокая борьба не на живот, а на смерть.

Как у каждого художника, пытавшегося понять свое время и связать своей судьбой, своей творческой индивидуальностью прошлое с грядущим, у Франца Верфеля была своя трагедия и своя вершина, благодаря которой он заслужил бессмертие.

Я говорю о его эпическом романе «Сорок дней Муса-Дага».

Эта книга была написана в 1933 году. Она была одним из первых выстрелов, одним из первых предупреждений и самой Германии, и всему человечеству о появлении реального фашизма во всей его омерзительной кровавой сущности.

Книга ясно и убедительно говорила о том, что у Гитлера и Муссолини были в двадцатом веке свои предшественники, она предупреждала Европу и весь мир о том, что эти ученики пойдут дальше своих учителей и в масштабах и в изощренности кровавых дел.

Книга учила людей бдительности. Она была не только памятником жертвам геноцида, но прежде всего учебником сопротивления. Она разоблачала и самих палачей человечества, и их кровавую философию.

Франц Верфель знал, что палач, кроме всего прочего, отвратителен и опасен тем, что имеет свойство, когда у него нет дела, придумывать и выискивать его, что, однажды попробовав человеческой крови, он уже не может жить без нее.

Полвека книга Франца Верфеля боролась с палачами человечества и продолжает свою благородную историческую миссию по сей день.

Она была переведена почти на все европейские языки, она воспитывала умение человека в трудный час судьбы жертвовать собой ради своих братьев. Она учила этому высшему подвигу, — и в разгроме фашизма, самого отвратительного и страшного зла двадцатого века, есть ее, еще, быть может, не оцененная по достоинству заслуга.

Эта книга и сейчас в строю. Она продолжает благородное дело души Франца Верфеля, и горизонты действия этой книги безграничны. Слова Фридриха Шиллера о том, что человек, который был нужен лучшим людям своего времени, нужен для всех времен, целиком относятся к судьбе Франца Верфеля и к его вершинной книге «Сорок дней Муса-Дага».

Этот обстоятельный, остающийся и по сей день современным роман издан на русском языке впервые, и я уверен, что сегодняшний читатель поймет всю великую современность романа, всю его прилагательность к противоречивым возможностям вершин и провалов нашего времени и проникнется пронизывающим душу сочувствием, свойственным книге.

Мне кажется, что восклицание Юлиуса Фучика, обращенное ко всему миру: «Люди, я любил вас! Будьте бдительны!» — звучит как самая точная рецензия на книгу его старшего соотечественника Франца Верфеля, потому что обоими владело одно и то же убеждение, одна и та же верность человеческому братству, одна и та же уверенность, что палачи побеждаемы, какими бы жестокими они ни были, тем более что жестокость не что иное как обратная сторона трусости.

Есть в Ереване на крутом берегу Занги печальный памятник жертвам геноцида, памятник позору истории Турции. Это память о чудовищном преступлении разнузданного национализма, можно сказать, первом реальном действии фашизма в двадцатом веке, уничтожившем в 1915 году половину армян. Памятник жестокости. Памятник-предупреждение всем народам всей нашей земли.

Когда я там бываю, я слышу плач Комитаса, пронзительный плач недоумения и тревоги, плач человеческой души из космоса, обращенной вечным своим звучанием ко всем человеческим душам будущих времен. Этот плач сливается в моей душе с плачем Майданека и Освенцима, Клооги и Бухенвальда, с криком детей Лидице и Хатыни.

Но Франц Верфель обратился в своей книге не столько к жертвам, сколько к героям, не к пассивному подчинению жестокости, а к сопротивлению, к примеру активного противостояния палачам.

Герой его книги Габриэл Багратян, армянин по происхождению, сын богатых родителей, получивший блестящее гуманитарное образование в Европе, офицер турецкой армии, имеющий награды за храбрость на балканском театре военных действий, вместе с французенкой женой и сыном возвращается из Парижа как наследник в имение умершего отца в Турцию, к подножию горы Муса-Даг, возвращается в страну своего детства, в мир своих сородичей-армян, издревле живущих в этих местах.

У него есть все: деньги, семья, прекрасный дом, своя земля и устойчивое положение в обществе.

Но весь этот мнимый мир благополучия, шатаясь, рушится под натиском непредвиденных событий.

Глава тогдашнего турецкого правительства Эивер-паша обманом отнимает у армян оружие и, объявляя их вне закона, обрушивает на них ненависть фанатиков. В этом разгуле национализма начинается планомерное, хорошо разработанное, огнем и мечом, поголовное истребление армян.

И тогда с блестящего офицера турецкой армии Габриэла Багратяна, отмеченного турецкой наградой за храбрость, слетает весь лоск европейского космополитизма — он становится сыном своего народа. Сами события ставят его во главе сопротивления. Он знает военное дело. Он собирает армянское население окрестных деревень и ведет из долины на Муса-Даг. Он находит единомышленников и оружие и организует оборону по всем правилам фортификации.

Ему некогда было думать, как он превратился в Леонида, а его сородичи стали похожи на греков в битве при Фермопилах.

По всей Турции идет резня армян. Их грабят, насильно сгоняют с давным-давно обжитых мест и гонят по всем дорогам Турции в гиблые места, где они будут умирать от голода под беспощадным солнцем пустыни.

Через четверть века эсэсовцы по приказу Гитлера будут так же сгонять в Бухенвальд и Освенцим, в Равенсбрюк и Клоогу евреев и поляков, русских и цыган — всех негодных — к газовым печам, к ямам, будут жечь, расстреливать в упор женщин, детей, стариков и старух, и над всей Европой будет пахнуть паленым человеческим волосом...

...По всей Турции идет резня армян. Но стоит Муса-Даг, неприступная гора мужества армян. Гарнизон отбивает атаки регулярных батальонов Талаата. Истекает кровью, но держится Муса-Даг, у его гарнизона нет другого выхода. Он стоит на своих рубежах. Он отбивается и наступает. Один среди всей земли, охваченной огнем безумия, не сдает высоты мужества своего человеческого духа.

С таким же упорством будут стоять четверть века спустя защитники Бреста и Гангута, защитники Аджимушкая и Одессы, защитники Ленинграда и Москвы. Все братья по мужеству, все герои битвы за человеческое достоинство.

Стоит Муса-Даг. Сорок дней и ночей на голодном пайке, без хлеба и пороха. Стоит и будет стоять как пример стойкости для всех народов всей земли, для всего человеческого братства. И нет смерти героям Муса-Дага, их подвиг останется на века в душе самого времени.

Этот подвиг для всех времен и всех народов оставил сочувствием сердца своего, мужеством души своей, мастерством своим и талантом писатель Франц Верфель.

Он написал эту книгу в 1933 году. Написал как предупреждение всей Европе и всему миру о том, что на земле появился Гитлер, что за ним и с ним идет беда крупнейшая по масштабам и коварнее по изощренной жестокости.

Франц Верфель не ошибся в своем прогнозе и поплатился собственной судьбой за это откровение. Гитлер выгнал его из родной Австрии. Он переехал в Париж. Гитлер выгнал его из Парижа. Вместе с Томасом Манном Верфель тайно перебрался в Испанию, потом, через Португалию, в Америку. Гитлер хотел превратить его в изгоя, а он стал сыном земли, певцом людей, которым ничего не страшно, если они готовы умереть друг за друга каждую минуту.

Книга Франца Верфеля «Сорок дней Муса-Дага» — это песня мужеству. Она написана абсолютно талантливо. У каждого героя этой книги свой характер и свой голос. Она умна и дальнозорка. У нее будет завидно долгий век, потому что от души идущее слово, наполненное страстью, долговечнее даже мрамора, на котором оно высечено.

В этой книге живут и действуют мудрость познания, горечь опыта и беспощадность предвидения. Как книга большого художника, она написана не назойливо, с той долей естественной правдивости, которая делает ее духовным явлением времени.

В самом Ереване на крутом берегу Занги стоит печальный памятник жертвам геноцида. Там, внутри сложенных знамен, как в каменных ладонях вечности, горит Вечный огонь памяти и звучит пронзительная музыка. Этот памятник лишнее напоминание человеку о его человеческом долге перед жизнью.

А за городом, по дороге в Эчмиадзин, у деревни Мусалер, той самой деревни, в которой живут потомки заложников Муса-Дага, есть другой памятник — героям Муса-Дага. Он стоит как башня бесстрашия на взгорье, сооруженный из красного туфа, на лицевой стороне просматри-

вается означенный рельефом орел — символ смелости и красоты человеческого духа.

Этот памятник построен самим народом. И каждый год в День Победы на Муса-Даге собираются наследники героев и молча клянутся нести эстафету мужества по дороге человеческого братства.

На красной кладке добротного обтесанного туфа пока еще не выбито ни одного имени героев Муса-Дага. Они будут выбиты, эти имена. Все до одного. И среди них мне хотелось бы увидеть также имя Франца Верфеля, воссоздавшего этот подвиг для всех людей на все времена.

Он достоин этого.

1982

ПЯТЬ ПОГИБЕЛЕЙ ПОСЛЕ БОЯ

Я завидую всем, кто только что прочел книгу «Только позови»: перед ним открылась живая картина тяжелых страстей Америки, ее лицевая сторона и ее подоплека. А я эту книгу уже давно прочел, уже испытал радость первооткрытия и могу только заново пережить собственное ликование и горечь.

Она очень современна, эта книга, и боль правды, заключенная в ней, касается всего человечества и каждого отдельного человека, потому что человечество, хотим мы этого или не хотим, есть единый организм, а каждый человек есть вселенная.

Эта книга трагична и беспощадна. Она о гибели четырех людей, удивительных в своей неповторимости.

Четыре героя этой книги погибли, но опыт их гибели встает знаком восклицания, как предупреждение всему человечеству.

В этой книге речь идет о минувшей войне, и автор всем своим талантом и солдатским опытом заявляет о том, что в современном мире литература о войне должна быть только антивоенной, антиимпериалистической — в этом ее великая беспощадная правда, ее убеждение и надежда.

Книгу написал Джеймс Джонс, известный американский писатель. Он родился в штате Иллинойс в 1921 году, а умер в 1977 году на Лонг-Айленде. С 1939 по 1944 год он служил в американской армии. За его плечами штурм японских укреплений на Соломоновых островах. Он был ранен и награжден медалями «Бронзовая звезда» и «Пур-

пурное сердце». Он мечтал о том, чтоб его «читала и понимала вся Америка», и досадовал на то, что «минувшие годы навели на события второй мировой войны глянец и отполировали их порой до неузнаваемости, ибо в Америке история пишется представителями высших классов исключительно для собственного употребления», поэтому она «дает широкий простор стратегам, тактикам и теоретикам, но лишь в самой минимальной степени позволяет судить о мыслях и чувствах обросших, немолодых, взятых в армию из бедняцкой среды солдат, волею командования брошенных на передовую линию».

Джеймс Джонс знал кровавый труд войны по собственным шрамам. Он умел жить по высшей категории человеческого доверия, по неписаному кодексу солдатского братства — способности прикрывать собой товарища по окопу.

Он понимал, что великое мужество растет только на благородной почве духовного мира человека.

Джеймс Джонс написал немало книг. Две из них переведены на русский язык и знакомы нашему читателю. Но в судьбе каждого художника есть вершинная книга, книга его судьбы, с высоты которой видно все возделанное художником поле, книга — крик надежды, обращенный в безответную бездну будущего.

Джеймс Джонс — гуманист. В своей последней книге он как бы продолжает разговор, начатый его старшими современниками — Хемингуэем и Дос Пассосом, Барбюсом и Ремарком, обнажая унизительно тяжкий солдатский труд, античеловеческий труд истребления себе подобных солдат, труд, исполненный горя и проклятия. Он замечает: «Военные специалисты всегда чувствуют себя удобнее и непринужденнее, если разговор о войне носит чисто профессиональный характер, без обращения к деталям социального, этического, религиозного и психологического характера, к тому, что определяет человеческую специфику военного конфликта... Тем не менее всегда находится кто-то, кто не довольствуется чисто внешним рисунком войны и идет дальше, только так и можно понять, что представляет собой война».

Изображение войны в книге Джеймса Джонса — не самоцель. Война здесь — кровавая почва души, мучительно ищущей выхода из древнего круга обреченности: «Кровь рождает только кровь!» И пусть писатель не находит этого выхода — он обозначает ступень на лестнице

понимания существами, именуемыми людьми и убежденными в том, что они обладают разумом, — понимания того, что именно разумом освещается путь из бездны мрака и проклятия.

«Только позови» — так звучит на русском языке название книги. Это книга о гибели четырех великих в своей непримечательности американских солдат, мужественных и честных, ценой гибели своей дающих нам понять процесс начавшегося в них трагического прозрения.

Когда было нужно, Америка позвала их, своих сыновей, в бой. Они верно исполнили свой воинский долг, а вернувшись домой, в Штаты, увидели, что дома нет. Транспорт с искромсанным пушечным мясом шел к Тихоокеанскому побережью, но огромный голубой континент отступал все дальше и дальше. Солдаты Джонса не нашли дома. Родина оказалась чужой, бесчувственной, богатеющей на войне страной. Она послала их в бой за демократию и обманула их, предала их надежды на спокойную нормальную жизнь. Тогда-то они и услышали трубный зов смерти.

Я читал эту книгу, и передо мной роилась, как кучевые облака, подсвеченные багровым закатом, фаптасмагория одного научно-популярного фильма о жизни термитов. Это был американский фильм. Цветной. Широкоэкранный. То, что я увидел, поразило воображение. Сначала был показан как бы социальный строй термитного общества. Оно состояло из королевы и короля, из больших и малых рабочих и больших и малых солдат. Королева и король занимались воспроизводством себе подобных, большие и малые рабочие ухаживали за королевой и королем, кормили потомство, убрали помещение, пасли стада молочных тлей, ремонтировали и переоборудовали свой термитник. Все они были в движении, и каждый досконально знал свои обязанности. А большие и малые солдаты лежали на своих нарах, ели подносимую рабочими пищу. Но вот на термитник обрушивается полчище хищных странствующих муравьев. И тут, по какому-то непонятному людям сигналу, поднимаются большие и малые солдаты по всем правилам мобилизационной готовности человеческих армий.

И начинается бой. Бой неправдоподобно жестоких чудовищ, увеличенных линзами до невероятных размеров. Те и другие действуют, строятся и атакуют, отходят и заманивают, разведывают и устраивают засады по всем правилам пехотной стратегии.

Бой идет. Смертельный бой. Трещат челюсти, тарачатся ненавистью дьявольские глаза. Изгибаются полосатые тигрообразные туловища. Цепляются колченогие когтистые лапы.

Бой идет, и нет ему ни конца и ни края.

А в это самое время большие и малые рабочие с поразительной быстротой начинают заделывать входы и выходы своей крепости. И вот заделан последний вход, последнее повреждение.

Наконец полчище кочующих муравьев разбито и разгромлено. В мире наступает тишина. Самая страшная тишина на свете. Тишина после боя.

Но победители не ликуют, и никто не поздравляет их с победой. Большие и малые рабочие уже замуровали все входы в термитник. Победителям нет туда обратной дороги, и они умирают от голода на поле сражения. А король и королева начинают заниматься усиленным воспроизводством новых полчищ больших и малых солдат.

Я читал беспощадную книгу Джеймса Джонса, а память моя иллюстрировала ее кадрами американского фильма из жизни термитов.

Я читал эту книгу, вслушиваясь в ее тревожный ритм, как в звуки сигнальной трубы в спящей казарме перед рассветом. Я ликовал и плакал над ее страницами, как над собственной судьбой, которую я уже не в силах переделать. Ассоциативный строй этой книги захватывал и будоражил старый колодец моей еще не высохшей памяти, и буря, которая закипала в этом старом колодце, несла меня по моей судьбе и по судьбе мира на волне сочувствия, недоумения и гнева.

То, что книга посвящена «каждому, кто во время второй мировой войны служил в Вооруженных силах США — независимо от того, выжил он или нет, нажился или нет, сражался или не сражался, отсидел срок или не отсидел, спятил после всего этого или нет», — не умаляет ее воздействия и, надеюсь, не мешает тому, кто будет читать ее, понять заложенную в ней общечеловеческую боль о безмерных тратах юной энергии мира.

А моя собственная солдатская память была даже чересчур назойливой, и ассоциативный ход ее движения непостижимо связывал жизнь и страдания, остроту прозрений и кислотный осадок ненависти героев книги с прозрениями и недоумениями моей души, обеспокоенной своим, совсем другим военным опытом.

Вместе с этими четырьмя солдатами я продирался через проклятые тропики, через чавкающую зловонную жижу забытых богом и дьяволом Соломоновых островов. Вместе с ними я лежал в засаде, выслеживал японского генерала. Вместе с ними, уходя из-под минометного обстрела, попал под прицел крупнокалиберного пулемета. Вместе с ними старался не стонать, когда их грузили на пароход и смрадный от разлагающегося человеческого мяса и раздробленных костей, стиснутых каменной хваткой гипса, ветер гулял по некогда роскошным салонам и палубам превращенного в ковчег страданий океанского лайнера.

У меня были на этот счет свои воспоминания, но вместе с четырьмя героями книги Джеймса Джонса я переживал и перелопачивал их заново. Эта книга стала для меня прожектором, с какой-то потрясающей остротой высвечивающим уже давно пережитое и пережитое на неопределенный экран возможного будущего.

...А лайнер шел, раскачиваясь на волнах Тихого океана, и чайки, встречаясь с ним, отваливали в сторону от воня, которая тянулась за ним.

Потом эти четверо искалеченных попали на конвейер реставрации, и, так как они еще были молоды, их организмы стали быстро набирать силу жизни.

Они выздоровели. Все четверо. Но вместе с выздоровлением плоти у каждого по-своему шел процесс осмысления того, что с ним произошло, и великое мужество, с которым они воевали на этих забытых богом и дьяволом Соломоновых островах, оказалось на поверку осмеянным и обманутым, и у каждого из них возникла своя пропасть и своя стена отчуждения между душой и миром, ради которого он выкладывался до самой последней капли крови.

Сначала они пустились во все тяжкие, но кабаки и женщины не принесли облегчения ни выздоравливающей плоти, ни бушующему сомнениями духу. Фронтное товарищество и верность были преданы, высшая категория человеческого доверия была оплевана самой жизнью, и перед каждым из них выросла своя непреодолимая стена отчуждения.

Вход в термитник был замурован.

Первый из четверых, самый юный, ушедший на фронт добровольцем, считай, со школьной парты, демобилизуется и в десяти шагах от госпиталя бросается под машину.

Второй, самый честолюбивый, мечтавший о славе и

получивший высшую награду Америки — Почетную медаль конгресса — вконец измученный операциями, на разбитых крупнокалиберным пулеметом ногах, затевает пьяную драку и падает замертво от удара бильярдным кием по голове.

Третий из них, боевой кадровый сержант, орет из-за решетки отделения для буйнопомешанных в армейском госпитале непотребные слова об отступлении и бьется окровавленной головой о железные прутья.

Четвертый попадает в новую часть и отправляется заканчивать войну в Европу. Он грустно смотрит в туман, за которым пропала Америка. Корабль окутывает ночь, беззвездная и сырая. И на душе у четвертого сыро и беззвездно. Он равнодушно подходит к борту и, перевалившись через край, падает в черную холодную воду; на идущем корабле никто не замечает этого.

Так гибнут четыре солдата.

Так гибнут после боя четыре человеческие души, четыре незаменяемые вселенные.

Так гибнут четыре молодые жизни, каждая в своем тупике, каждая в своем одиночестве.

Но в этой щемящей душу книге Джеймса Джонса есть еще пятая погибель.

Джеймс Джонс уехал из Америки в Париж в середине 60-х годов. «В сущности, я уехал из Штатов, — говорит он, — только потому, что американскому писателю полезно посмотреть со стороны на свою родину и постараться с выгодной стороны оценить ее духовный климат».

Пятнадцать лет, которые Джеймс Джонс прожил в Париже, были годами глубоких раздумий, годами оценок и переоценок. В 1973-м он вернулся в Штаты, чтобы целиком отдатья главной книге. И последний его роман — это крик, обращенный к будущему. Предостерегающий крик влюбленной в жизнь души.

Три последние главы романа воссозданы другом писателя по его черновикам и наброскам. А заключительные страницы даны по магнитофонной записи, оставшейся от Джонса.

Он успел их продиктовать.

Продиктовал и умер от тяжелой болезни сердца — пять лет назад, восьмого мая.

Это пятая погибель после боя.

Джеймс Джонс был храбрым солдатом. Он умел воевать с войной даже в одиночку.

Он ушел за своими героями и остался вместе с ними в своей книге всей своей солдатской доблестью, всем умением умирать за других.

Он знал, что мины взрываются и после войны. Знал, но все-таки шел по минному полю, глядя в темное пустое небо.

А я, читая его книгу, шел за ним по его следу. И он меня на этом пути неназойливо убеждал в том, что великая победа человеческой души начинается с осознания своих неудач и умения их пережить.

1982

ПРЕКРАСНОЕ РАСТЕТ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ

Прошлое — беспомощно.

Будущее — беспощадно.

И только человеку дано держать между прошлым и будущим переправу, заполнять эту бездну жизнью, отбирать и переносить семена с одного берега на другой. И, наконец, жажда другого берега и заставляет человека строить свой корабль и плыть в неизвестное, зная, что если есть один берег, то непременно должен быть еще и другой. Пропасть не может быть бесконечной.

Об этом я думал полтора года тому назад на мысе Кабо-да-Рока, на самой западной точке Европейского континента. Думал, вслушиваясь в грохот атлантических волн, накатывающихся на уходящие в глубины уступы скал, в грохот, как бы разрубленный на равные части ударами маячного колокола, все еще посылающего сигналы всем невернувшимся.

Я дышал этим влажным ветром тревоги, запахом эвкалипта и сосны, смешанным с йодистым запахом водорослей, вырванных глубинными течениями и выброшенных на берег и забитых в щели между осклизлыми гранитными глыбами. Я стоял у подножия белого креста, сложенного из крупных необработанных голышей, и белый крест плыл надо мной через рваные низкие облака, стараясь захватить их своим объятием, как ускользающие крики разорванной временем памяти. И этот крест казался мне мачтой всего континента, плывущего в неизвестность к другому берегу.

Потом это видение не оставляло меня до тех пор, пока не закрепилось на бумаге:

Над целью далеких походов
Пылает холодный рассвет.
Погибель веков и народов
Идет за Колумбом вослед.

И тучу греха и порока
На том берегу не видать.
И долго с родного порога
Оставленным женам рыдать.

А новых пространств постояльцы
Забудут учет и расчет.
И дождь золотой через пальцы
Быстрее воды протечет.

Но не остановится время
От этих кровавых затей.
И вырастет новое племя
Греха и Печали детей.

И там, в атлантической почве,
Над прахом друзей и врагов
Сверкнул мне прекрасные очи
Надеждою двух берегов.

Я написал эти стихи потом, когда вернулся домой, потому что грохот атлантических волн, разрубленный маячным колоколом, и белый крест, поставленный в память всех невернувшихся, не давали мне покоя.

Я посвятил эти стихи Габриэлю Гарсиа Маркесу, человеку, умеющему, как никто, заполнять бездну между беспомощностью прошлого и беспощадностью будущего. Я посвятил ему эти стихи, влюбленный в его характер, характер человека, умеющего сводить к мысу Доброй Надежды материки и вселенные человеческих душ.

Я читал его книги и дивился его силе, тому, как он в одиночку расправился со всеми бывшими, настоящими и будущими диктаторами стран, где хозяйничают эксплуататоры. Он их препарировал по всем правилам хирургии и воображения художнического гения. Препарировал природу диктатора, показал настоящему и будущему человечества его неосмотрительность, сделал всех диктаторов и палачей беспомощными на все времена.

Я дивился его умению из раздробленности мира лепить мозаику цельного характера, понятного как откровение души сына человечества всем языкам и континентам.

Он, Габриэль Гарсиа Маркес, перепробовав все, что можно было попробовать, остался самим собой. Он никогда ничего не писал в угоду. Он не угождает, он учит на-

ходить пути мира и свой путь. Эти два пути для него нераздельны. Он соединяет два берега в один континент и ищет от имени этого континента переправу на новый берег. Он — строитель мостов. Удивительный строитель. Это его призвание. Другим он быть не может.

Едины мы, чтоб сбросить рабства бремя,
Чтоб в мир пришло великой правды время —

так написал один из первых поэтов Латинской Америки, тоже, как и Габриэль Гарсиа Маркес, сын двух берегов, прекрасный никарагуанец Рубен Дарио, Черный лебедь возвышенной поэзии. «Без Дарио латиноамериканцы вообще не умели бы говорить» — так сказал о нем Пабло Неруда, и это понял Габриэль Гарсиа Маркес. И крылатая фраза Черного лебедя: «В мундир там облеклись свирепые пантеры!» — превратилась под пером Габриэля Гарсиа Маркеса в «Осень патриарха», в учебник человеческой ответственности двадцатого века. Я думал об этом на мысе Кабо-да-Рока, думал и тогда, когда наш самолет шел курсом Москва — Мехико и справа по борту, над нагромождением подожженных золотом облаков, дотлевал призрачный пепел белой ночи, теснимой экваториальной бархатной тьмой к зыбкой прозрачности Северного полюса.

Я третий раз летел в Латинскую Америку. Летел на землю, прославленную Пабло Нерудой, Габриэлой Мистраль, Хулио Кортасаром и Алехо Карпентьером, Мигелем Анхелем Астуриасом и Мигелем Отеро Сильвой. Я летел вместе со своими друзьями на родину Симона Боливара в бывший для меня тайной город Каракас, в котором свегались «пяток небывалых рифм», оставленных для меня Владимиром Маяковским.

И мои друзья по убеждению, что чужого горя в мире не бывает, знали, что на празднике жизни все народы земли равноправны, что плохих народов нет и что каждый из этих народов, к сожалению, из-за своей беспечности не избавлен от предателей и кровавых палачей, которые и в наш просвещенный век имеют свойство расти, как подзаборные шампиньоны, сразу целыми династиями.

Мы летели через Гандер, Гавану и Мехико в Каракас на Международную конференцию солидарности с народом Никарагуа, который сорок с лишним лет тому назад попал в беду не без помощи морской пехоты Соединенных Штатов.

Сорок с лишним лет назад морская пехота помогла диктатору Сомосе взять власть в свои руки, а для охраны этой власти помогла ему создать национальную гвардию.

После первого Сомосы появились второй и третий. Один сволочнее и более жестокий, чем предыдущий. Династия Сомосы стала невыносима, и народ Никарагуа восстал, и национальная гвардия, вооруженная своими хозяевами с севера, стала истреблять мужчин и женщин, стариков и детей — без разбора. Тридцать тысяч жертв только за последние месяцы диктата на счету последнего Сомосы — одна десятая всего народа!

Вот мы и летели по призыву латиноамериканских друзей на конференцию солидарности с народом Никарагуа. Летит президент Всемирного Совета Мира Ромеш Чандра, летят двести делегатов из 64 стран со всех континентов, летят великие мастера синхронного перевода, эти незаметные рыцари сближения человеческих душ.

Наш путь из Москвы — через Гандер, Гавану и Мехико — в Каракас.

И я, закрывая глаза, сквозь гул вселенной слышу обращенные ко всем нам слова венесуэльского поэта Фернандо Пас Кастильо:

Но знай, что в скорбном поле
Открыто окно у меня,
И все огни — единое пламя,
И голосу голос — родня.

И мы доверяемся и этому огню, и этому голосу.

Прежде всего Сомоса первый убил генерала свободных людей, защитника никарагуанского народа от североамериканской опеки Аугусто Сесара Сандино. Убил подло, предательски. Но, как написал Эрнесто Карденаль, поэт чистого сердца и чистейшей совести и веры:

Если бы меня заставили
выбрать жребий, —
сказал мне Базс Боне
за три дня до смерти, —
быть убитым, подобно
Сандино,
или быть президентом,
подобно убийце,
я бы выбрал жребий Сандино.

Народ Никарагуа выбрал жребий Сандино, и лучшие дети народа стали сандинистами, людьми, верными своему народу, солдатами народной победы.

А самолет шел из Гандера в Гавану, и облака, и небо

внизу были такими, словно плохо управляемый бульдозер, скользя по чистейшему синему льду, разгреб белый легчайший снег в причудливые гряды и скрылся за горизонтом. Экваториальное солнце отбрасывало тень самолета на белые гряды, и они сразу обретали от этой тени плотную объемность. И чистота высокого мира рифмовалась с чистотой наших высоких надежд, потому что солидарность с народом Никарагуа была для нас солидарностью со всеми угнетенными народами, вступившими на путь своего освобождения.

Наш самолет был ковчегом в этом противоречивом и раздробленном мире, уставшем от отчужденности и обротившемся к разумному поиску родства.

С аэродрома Гаваны наш самолет берет курс на Мехико. И вот «зеленая ящерица с изумрудными глазами», как назвал Кубу Николас Гильен, ныряет в океан и скрывается в белой пене облаков. Жалко, что, когда остановился самолет, у меня не хватило времени пройти по улочкам Старой Гаваны и посидеть в подвальчике за чашкой кофе вместе с Николасом Гильеном, улыбнуться его милой улыбке на смуглом лице, обрамленном белой гривой. Мы видимся с ним почти каждый год, начиная с первого Пушкинского праздника в Михайловском в 1949 году, где нас познакомил Пушкин. И когда Гильен успел посидеть, я и представить себе не могу.

Самолет идет на Мехико, и Карибское море просвечивает голубой сталью в белых провалах.

Ромеш Чандра на кресле впереди меня, откинув столик, углубляется в свои бумаги. Он всегда в деле, всегда в движении, сразу умеющий точно реагировать на любое к нему обращение. И эта мягкая внимательность к окружающему вызывает ответную волну доброжелательного внимания.

Я смотрю на него. Он кивает мне головой, и я начинаю думать о своем.

А кого я знаю из никарагуанцев?

Прежде всего, знаю певчую душу Черного лебедя Рубена Дарио, оставленную миру в его лирике. Она переведена на русский язык и давно живет в реке поэзии русского языка. «Быть сильным — это значит быть спокойным», — говорит он мне, и «Песня жизни и надежды», написанная им, становится восторгом и страданием моей души. И мозаика моего мира увеличивается на один цвет добра и радости.

Потом я начинаю думать о Густаво. Он тоже никарагуанец. Но живет в Москве. Живет несколько лет. Он учился в университете, уже окончил его, а сейчас заканчивает аспирантуру. Он отлично учится. Его послали учиться друзья.

Как бы Густаво хотел быть сейчас рядом с друзьями своими там, в одном из отрядов сандинистов, где он впервые получил боевое крещение, откуда его послали в Москву, в университет. Он учится со всем прилежанием ума и сердца, и его темные, как тропическая ночь, глаза под черным крылом прямых волос, спадающих на смуглый лоб, горят решимостью и нетерпением. При внешнем спокойствии и медлительной грации движений все в нем кипит ожиданием будущей деятельности. Он должен оправдать надежду пославших его, и он не жалеет себя.

Но молодость берет свое, ищет свои тропинки, несет по этим тропинкам свои огоньки к единому пламени, о котором говорит Фернандо Пас Кастильо.

Дело в том, что у моей доброй давнишней знакомой есть дочка, и моя давнишняя знакомая вместе с дочкой переехала лет пятнадцать тому назад на новую квартиру в районе Университета имени Патриса Лумумбы. И однажды дочка встретила Густаво. Они стали мужем и женой, у них родился сын, и они назвали его Эрнесто, он с самого начала говорит на двух языках.

— Все они в Латинской Америке — Че Гевары, — ворчит моя давнишняя знакомая и влюбленно поглядывает на трехлетнего внука, собирающегося в детский сад, а я, подмигивая Густаво, говорю:

— Прекрасное рождается на перекрестках!

И Густаво, незаметно для моей давнишней знакомой, улыбаясь, кивает мне головой.

Эрнесто знает, кто такой Сандино. Он ему как родственник. И когда по радио он слышит приятные вести из Никарагуа, он радуется вместе с отцом и матерью и моей давнишней знакомой. И я радуюсь их радостью вместе с ними, представляя себе, как они сейчас пьют вечерний чай за семейным столом и смотрят с нетерпением последние известия по телевизору. Потому что для всей этой семьи судьба Никарагуа — их судьба.

А я как бы отхожу от них и заглядываю в окно и вижу голые сухие горы, словно их только что вынули из печи для обжига толубой глины. Карибское море осталось позади. Начинается Мексика.

Здесь, пожалуй, больше, чем где-либо в Америке, осталось первородного начала, исконных хозяев Американского континента. Здесь, наверное, более, чем где-либо в другом месте Америки, понятна дорога к братству через кровь, о которой я думал и писал тринадцать лет назад, в чилийском городе Чильяне, рассматривая росписи Сикейроса, сделанные им в школе, подаренной Мексикой разрушенному землетрясением городу.

И я опять, как и тогда, в городе Чильяне, мысленно читаю про себя стихи Черного лебедя, великого никарагуанца Рубена Дарио:

Бесправья, мятежей, сражений, бедствий шквал,
Пути исхожены, надежды все изжиты,
О Христофор Колумб, несчастный адмирал,
Молись, молись за мир, тобой для нас открыт!

И мне одинаково дороги оба — и Рубен Дарио, и Густаво. Они дороги для меня как прошлое и будущее неизвестной мне страны со странным для моего языка и слуха названием — Никарагуа. Они дороги мне оба как эстафета жизни и поэзии, как выход из пустыни одиночества к перекрестку человеческого братства.

Рубен Дарио умер в год моего рождения, Густаво по возрасту годится мне в сыновья, он и называет меня «дядя Миша», а на мне — так же как и на Габриэле Гарсиа Маркесе — лежит связь вчерашнего и завтрашнего дня.

В Каракас мы прилетели поздно, и он обдал нас влажным жарким запахом океана и отработанными парами бензина. Все приезжие делегаты расселены в отеле «Хилтон», конференция тоже будет проходить в подвальных помещениях этого отеля. Я живу на двенадцатом этаже, и мне видна вся долина Каракаса, застроенная внизу жесткими блоками высотных зданий из бетона, стекла и металла. Банки, отели, конторы, и между ними в три этажа вьется, вяжется, летит, с петлями связей и развязок, с расхлестнутыми концами съездов и въездов, скоростная автомагистраль. Она летит стремительно, не признавая человека.

— У нас скоро президентом будет Автомашина, — весело шутят венесуэльцы, отплеываясь от пропитанного выхлопными газами воздуха.

В городе все для машины — тротуаров нет, а если они есть на старых улицах, то они так заставлены автомобилями, что пешеходу не пройти.

Прямо под моим окном — строящийся театр, немного поодаль — высотное здание страховой компании, напоминающее по своему профилю нефтяную вышку. На обращенной в мою сторону стене — светящиеся цифры электронных часов, как бы подчеркивающих бегом светящихся знаков скорость убыстряющейся жизни.

Это — ввизу.

А по обеим сторонам ущелья, сползая вниз и наступая на жесткую змею петляющей между отелей и контор скоростной автострады, бесконечными террасами из кирпича, досок и жести, лепясь к выступам, цепляясь друг за друга, как лоскутное одеяло, кричат о своей нищете трущобы Каракаса. Там своя жизнь и свои законы.

Венесуэла — в переводе: маленькая Венеция — была открыта экспедицией Алонсо де Охеды в 1499 году, в 1811 году национальный конгресс провозгласил ее республикой. Здесь начал войну за освобождение Латинской Америки бесстрашный креол Симон Боливар, он стремился к превращению всей Южной Америки в одну федеративную республику.

Потом, уже после конференции, у меня выпал свободный часок, и я хотя и мельком, но все-таки посмотрел контрасты Каракаса и побывал около памятника Симону Боливару и его сподвижникам. На розовом камне цоколей, поднимающих бронзовые фигуры героев борьбы с испанским владычеством, были высечены по годам имена всех офицеров, погибших в борьбе за свободу Латинской Америки. И в первой строке 1820 года мне бросилась в глаза фамилия моего соотечественника. Иван Майоров! Какая судьба занесла тебя в этот край, в эту самую далекую от России страну? Какой высокий порыв вел бесстрашную душу твою в смертный бой за свободу незнакомых братьев? И я, склоняя голову перед этой далекой славой, вспомнил слова моего друга Кайсына Кулиева: «Отчизны для подвига нет» — и понял, что они подтверждены кровью ровесника декабристов, рыцаря, погибшего за свободу народов Латинской Америки и ставшего героем человечества.

Конференцию открыл Мигель Отеро Сильва, автор удивительного по своей направленности романа «Когда хочется плакать, не плачу», блистательный стилист и эрудит. Его слова до сих пор звучат в моей душе:

— После гибели Сандино в Никарагуа наступило полвека изоляции и смертной тишины. Но Сандино пробу-

дился в джунглях. Никарагуа возрождается и возродится!

Потом выступил Ромеш Чандра:

— Народы мира имеют возможность защитить мир от гибели и изменить его. Мы с вами плечом к плечу, герои Никарагуа, и мы гордимся тем, что поддерживаем вашу борьбу.

Ректор Гондурасского университета, обращаясь к собравшимся, заверил их:

— Если наше правительство не порвет отношения с Сомосой, мы не будем поддерживать наше правительство.

И с этим заявлением надо было считаться не только правительству Гондураса.

— Танки и самолеты Сомосы сделаны в Израиле, — сообщил следующий оратор. — Мы обвиняем Соединенные Штаты, Гватемалу и Сальвадор как соучастников геноцида.

Потом была прочитана телеграмма от командования Фронта национального освобождения имени Сандино. Она заканчивалась словами: «Наше дело победит!» И с портретов, расклеенных по стенам, смотрело в зал волевое лицо генерала свободных людей Сандино. Он вдруг ожил в каждом из нас, во всех людях мира, сочувствующих никарагуанскому народу.

А потом под именем Луиса Мартинеса выступил один из руководителей Фронта. Это был молодой человек лет двадцати пяти с прекрасным открытым лицом, еще не перечеркнутым ни одной морщиной, с отливающими синью волосами, закинутыми с высокого лба на затылок, еще не тронутыми сединой, со спокойным взглядом выразительных глаз, с припухшими мальчишескими губами, с упрямым подбородком и уверенным голосом. Он сказал:

— Фронт национального освобождения — единственная сила, в которой народ Никарагуа видит свое освобождение и, надеясь на свободу, поддерживает эту силу. Мы победим. У нас нет другого пути.

Я любовался этим героем, только что вышедшим из боя и только что снявшим военную куртку. Он был прекрасен верой в правое дело своего народа, и сама победа стояла у его плеча, невидимым крылом своим прикрывая его судьбу. И я потом, беседуя с ним, пожелал ему удачи, и он сказал мне о том, что высшая радость для него — это увидеть свет радости в глазах своего народа. Это были не просто слова, а живой трепет души, живое биение мысли и крови.

«Быть сильным — это значит быть спокойным». Эти стихи были уже не стихами Рубена Дарио, а сутью Луиса Мартинеса, и я верю в то, что не раз еще встречу его на перекрестках своей жизни, потому что верю в него всем своим опытом, верю как в подлинного героя человеческого братства второй половины двадцатого столетия. Я пожелал ему удачи, зная, что за удачу платят кровью, но, как сказал великий русский поэт Некрасов: «Дело прочно, когда под ним струится кровь».

А этой удачей, как весенним ветром, уже веяло в коридорах и зале заседаний отеля. Эта предстоящая удача никарагуанского народа уже озаряла непринужденные и сосредоточенные лица участников конференции и слова обращений, потому что горе и отчаяние, переполнившие чашу терпения, превратились в благородное вино собранного мужества, которому ничего не страшно. Потому что для народа, который берет свою судьбу в свои руки, уже не существует страха.

Мы покидали Каракас вечером. Самолет сорвался с бетонной ладони, и, плавно забирая над океаном вверх, повернул к югу, и Южный Крест засветился над заревом Каракаса. Мы летели через Боготу в Лиму, чтобы там, пересев на наш «ИЛ», через Гавану и Лисабон отправиться домой. Настроение у всех в самолете было приподнятое, то ли от уверенности, то ли от предчувствия, а мне еще радостно было оттого, что я вез Эрнесто, сыну Густаво, золотые плоды манго, ананас и еще какой-то зеленый фрукт грушеобразной формы, название которого я позабыл. Мне хотелось, чтобы мальчик прикоснулся к этим плодам и почувствовал вкус земли своего второго берега. Ведь он родился на перекрестке, и в нем воистину жила кровная история всего человечества.

Мне хорошо думалось, и я начал понемногу припоминать стихи, которые написал в Лисабоне полтора года назад, вглядываясь в багровый закат с мыса Кабода-Рока. Я как бы видел сам себя здесь, в Южной Америке, отсюда — с самой западной точки Европейского континента.

Медлительно входило
Сквозь розовый туман
Багровое светило
В лиловый океан.

Страданье мирозданья
Ложилось пласт на пласт,

И о тщете позванья
Рыдал Екклесиаст.

А я смотрел и видел
В пустыне райских врат
Сегодняшнюю гибель
И прошлого возврат.

И новое начало
Путей из тупика
О будущем кричало
В минувшие века.

И был я в мире этом
В тот миг не удивлен
Во мне горевшим светом
Всех жизней, всех времен.

В Лисабоне мы узнали, что Сомоса бежал в Майами вместе со своими летчиками, что национальная гвардия сложила оружие, что временное правительство Национального возрождения Никарагуа въехало в столицу.

И эта скупая проза была для меня лучше пяти «небы-
валых рифм», оставленных в Венесуэле Маяковским.

СОДЕРЖАНИЕ

ВСЕ ВМЕСТЕ

ПЕРЕВОДЫ

С английского

66-й сонет Шекспира	7
Если... (Из Редьяра Киплинга)	7

С армянского

Аветик Исаакян

«Погоди, мое сердце, быть может, рассвет...»	9
«Хочешь — я росую в очи...»	9
«Мое сердце — это небо...»	10
«Жизнь! За тебя готовый к бою...»	10
«Крепка в окне решетка...»	10
«Бойся глаз чернее ночи...»	11
«У людей и у птиц есть друзья до поры...»	11
«Холодный ветер желтым внам...»	11
«Мне снился сон. Во сне плыла...»	11
«Мне снилось море. В нежной лазури...»	12
«Лува, как лебедь, стороной...»	12
«Родина! Горы твои — исполины...»	13
«Гордой молодости годы...»	13
«Мираж возник в пустыне дикой...»	13
«Мое сердце на горных вершинах...»	14
«Видишь, черный орел, гордый горный орел...»	14
«Под лаской солнца синяя вода...»	15
«Весна красна зеленой ранью...»	16
«Забывтый всеми холм в пустынном поле...»	16
«И вот я изгнан на года...»	16
«Любимая! Изгиб твоих бровей...»	17
«Бежит вода...»	17
«Обними, И тогда я почувствую вновь...»	18
«Осадка этой шен голой...»	18
«Я на мосту Риальто встретил...»	19
Ани	19
В Равенне	20
Дым отечества	21
«Тот дуб, что станет гробом мне...»	22
Детство	22
«Всеї беспредельной тяжестью пространства...»	22
«С друзьями детских игр на вольной воле...»	22
«Все — суета. Все — проходящий сон...»	23

Сильва Капутикян

Ива	24
Слово перед казнью	25
Иронические стихи	25
«Любовь, смятение и тоска потерь...»	26
Сад камней	26

«Когда я говорю: «Армения»...»	28
«Сны через все потери...»	28
«Горы не видно в туче...»	28
Помощник	29
«Я в детство впасть опять хочу...»	30
«Там в тишине кричит тропа глухая...»	30
«Изношен день. Он дожид до конца...»	30
Природа	31
«Ущелье придет из тумана печаль...»	31
«Что предпочтешь ты, если знаешь точно...»	32
«Моя душа в тяжелом сне...»	32
«Вершины гор еще покорны сну...»	32
«Пещеры...»	33
«Новорожденный солнца свет, летящий в глубь ущелья...»	33
«Я должен верить мудрости зерна...»	33
«Там облака как купола...»	34
«Луна. Не спишь. Встану и пойду...»	34
«Ах, молодость! Ты, как река Араз...»	34
«Ты камни клал в фундамент мира...»	35
Сердце	35
«Тоскуют по моим ногам...»	36
«Я перепутал день и ночь...»	36
«Ты да я да вечер поздний...»	37
Как туча	37
«Уйти бы мне, уйти бы мне...»	38
«Со дня рожденья моего...»	38
«Мне часто кажется, что я...»	38
«Я не боюсь того, что меня не будет...»	39
«На встрече судеб откровенью страстей...»	39
«Вселенная не знает языка...»	39
«Мир из мира исчезают в мире...»	40
«В мой век космических полетов...»	40
«Хотел бы я к Салвард-горе сходить...»	40
«Утесы и скалы стоят на постах...»	41
«Терпению не скажешь: «Покалей»...»	41
«Я ухожу из возраста любви...»	42
«На берегу реки Зорзоры...»	42
«Я снег увидел на вершине...»	42
«Беспутный ветер волочиться рад...»	43
«Подходит осень в перемени...»	43
«Прочтут осеннему туману...»	44
Волна	44
«От глухого взрыва тучи...»	44
«Ручей улыбался...»	45
«Наверно, этот лес, и скалы...»	46
«На облаке угас последний луч...»	46
«С кустов шиповника плоды...»	46
«Что хочет этот ветер-вор...»	47
«Тропинка в поисках воды...»	48
«Лучи лишились чувства. В чаще...»	48
«Пусть в небе царствует орел...»	49
«Глаза пещер с глазницами без век...»	49
«Свежеет. К закаму склоняется день...»	49

«Невидящим глазам безразлично...»	50
«Гора в объятиях горы...»	50
«Когда тебе целятся в спину...»	51
«Ах, ущелья мои — колыбель...»	51
«Волчица, что ли, оценилась?..»	52
«Что я принес с гор?..»	52
«Шиповник, рдея у дороги...»	53
Ванн Терьян	
Страна Наири	
«Я словно сын Лаэрта или...»	54
«Печальны наши песни...»	54
«С какой тоской, с какою целью...»	55
«На родине моей в крови...»	55
«Вернуть утраченное ярко...»	56
«Ты не кичлива, не горда...»	56
Вячеславу Иванову	57
«Не будет для тебя близка...»	57
«Я помню осень позднюю...»	58
«Как не любить мне, Родина моя...»	58
«Опускается почь. Беспощадная почь...»	59
«Мне улыбнулась наирянка...»	59
«Я — Последний поэт?.. Неужели...»	59
«Ты из тумана как виденье...»	60
Егише Чаренц	
Случайному прохожему	
Памятник	61
Поэт	61
Слово прощания	62
«Шумит в моем сердце ночная глухая тоска...»	63
«Уйду и я из жизни этой...»	63
«Есть гости. Трудно в них поверить...»	64
Случайному прохожему	64
На родине	65
Удивительная осень	65
«На озере синем по лаковой плоскости вод...»	65
Обыкновенная история	66
Песня личная	66
Сожженные песни	67
«Все, что народ сберег в седых веках...»	68
С балкарского	
Кайсын Кулиев	
«Я многих на милой землю любил...»	69
Я мог бы сражаться в Мадриде	70
Симону Чикованц	70
«Я тебя вспомнил у Адайских высот...»	72
«Олень зарю проносит на рогах...»	73
«Рассвет пришел, как первый день творенья...»	73
«О, этот танец! Этот поединок...»	74
Половецкая луна. Поэма	75
Послания из Чегема	
Перед портретом матери	82
Ода Чегему	83
Ранний снег	84
Песня материнскому языку	85

С башкирского	
Мустай Карим	
Встречи	88
Лунная дорога	90
Распахни окно	90
Звезды на земле	91
Мой конь	92
Незабудка	93
«Тумаң, словно вата...»	93
Далеко, где солнце всходит	94
Она была со мною рядом	96
Возвращение	98
«С моей любимой уплывает...»	99
«Прогремел последний залп над водой...»	99
В далеком городе	100
«Всегда тревожно и несмело...»	101
В краю моей любимой	101
Прощание с Кавказом	103
«Глаз не поднять перед твоим лицом...»	104
«Ты говоришь, чтоб я себя берег...»	104
С болгарского	
Добри Жотев	
Анамвеа	105
С грузинского	
Николоз Бараташвили	
Соловей и роза	108
Кетеван	108
Сумерки на Мтацминде	109
Таинственный голос	111
Дяде Григорию	111
Ночь в Кабахи	112
Раздумья на берегу Куры	113
Чонгури	114
Моей звезде	114
Наполеон	115
Княжке Екатерине Чавчавадзе	116
Младенец	116
Серьга	117
Одинокая душа	117
«Любимая! Я не случайно...»	118
Моя молитва	118
«Ты, словно второе светило...»	119
Екатерине, поющей под аккомпанемент фортепьяно	120
Мои друзьям	120
«Любимая! Бессмертные черты...»	121
«Я обнаружил храм в пустынном мире...»	122
«Люблю истому глаз твоих...»	122
Гнацинт и Пилигрим	123
«Змеятся локоны твои...»	124
«Суровые ветры живой жизни красу...»	124
«Не ставь изменчивость, спеша...»	125
«Впереди бездорожье. Быстрее, Мерани!»	125
Надпись на чаше князя Баратаева	126
Могила царя Ираклия	126
«Злой дух, наедине со мной открыто говори...»	127

«Я высушу слезы, тобою угадан...»	128
Чинара	128
«Хвала создателю твоих достоинств. Словно диво...»	129
«Когда я счастлив встречу с тобой...»	129
«Синий цвет, небесный свет...»	130
«В благословенный день я — чаша — создана...»	130
Судьба Грузии	131
Михаил Квчивидзе	
Лето	143
«Через всех перемирий черту...»	144
«И вот ко мне из неоглядной дали...»	144
Поэты	145
«Ты — здесь. Ты — рядом. Только чуду...»	145
«Что делать мне? Как мне о том сказать?...»	145
Монолог ремесленника	145
Выходят замуж ангелы	146
«Когда под вечер замыкают звенья...»	146
К N...	147
«Пространство — расстояние до Конца...»	147
«Я не глупец и не хвастун...»	147
Последний раунд	148
«Поэт»	149
P. S.	150
С еврейского	
Рива Балясная	
«Ты душу мне поджег...»	151
«А ты прости сейчас меня, тоску и зависть извиня...»	151
«Я для тебя сгорела навсегда...»	152
«Мне кажется порой, что расстояний нет...»	152
«Тик-так!..»	152
«Идет гроза, и дождь придет волокна...»	153
С молдавского	
Петру Заднишу	
Газели	154
С сербскохорватского	
Бранко Радичевич	
Ревность	155
Изет Сарайлич	
Посвящение	157
Йоле Станишич	
«Ушел я в лес зеленый, кроткий...»	158
Читая скалы	158
Орлы сидят	159
«Над снежным нагорьем...»	160
«Плющ, обвивая, убивает тополь...»	160
Ода Памиру	161
«Моя звезда...»	162
С украинского	
Микола Бажан	
Первый снег	163
«На луг летит благословенье снега...»	164
Вальс Сибелиуса в Ленинграде	164
Наталка Белоцерковец	
Две сказки	166
Сад	166

	«На грудь мою твоя рука легла...»	167
	«На Киев дождик с тихой рапи...»	168
	Гимн	168
Савва	Голованивский	
	Гораций	170
	Зимний этюд	170
	Март	171
Иван	Драч	
	«С чего ты, сердце, вздумало болеть?..»	173
	Спиноза	173
	Письмо калине, оставленной на родном лугу в Тели- женцах	174
	Мадонна-стюардесса	176
	Свеча	176
	«Мне Грузии твоей грудь распирают горы...»	177
Дмитро	Павлычко	
	«Сними мне тихо легкую рукою...»	178
	«Есть дней моих немало за горою...»	178
	«Так чудно твой утренний голос...»	178
	«Ты — дождь. Я — клен. Высокой кроной...»	179
	«Да, ты одна, моя любовь...»	179
С чешского		
Мирослав	Флориан	
	Из записной книжки	181
	Конец лета	182
	Любовь	182
	Говорит мать	183
	«Хоть травой обернись...»	183
	Дом ночи	184
	Дым	185
	Маленький реквием	186
	Алешовская зима	186
С шведского		
Эдит	Сёдергран	
Возвращение	домой	
	Условие	188
	Триумф жизни	188
	Дочь леса светлая	189
	Роза	189
	Блуждающие облака	189
	Северная весна	190
	Ожидание	190
	Ноктюрн	190
	Лесное озеро	191
	Осень	191
	Чужие страны	191
	Бледное озеро осенью	192
	Вечер	192
	На берегу	192
	«Скажи, затворница, когда-вибудь...»	193
	Моя душа	193
	Песня на горе	194
	Свежеет день	194
	Черное и белое	195

Осенние дни	195
Желание	196
А что же завтра?	196
Гамлет	196
В лесах дремучих	197
Надежда	197
Лето в горах	197
Не собирайте золото и камни	197
Скерцо	198
Возвращение домой	198
Об осени	199
Страна, которой нет	199
Сошествие в царство теней	200
Я обошла галактики пешком	200

ПОЛЕ ПРИТЯЖЕНИЯ ПРОЗА О ПОЭЗИИ

1

Свой поэт	202
Жестокий хлеб нежности	206
Вместо песни	211
По праву разделенной судьбы	228
Памятник недопетой песне	235
В белом чистом поле	238
Салютуя живущим	241
Живая вода	244
Певец мужества	246
Летающий мальчик обязан летать	247
Поэт и его поколение	252
«Знак доверья вашего»	255
Голос времени	256
По долгу совести	259
Поэтическая душа	261
Болью опыта и надежд	263
Поэт неприметной вечности	270
Семья современников	272
Книга о друзьях истинного друга	278
Бессмертие «Песни о Гайавате»	280
Прекрасный свет жизни	281
Песня через окно	283
Охранные грамоты	285
После того, когда все кончено	288
Поэзия остается	292
Биография стихов	294
Любовью продиктовано	295
И хлебом испытаний.. . . .	298
Перекресток жизни	301

2

Созвучье слов живых	304
Поэт, Рыцарь, Человек	306

С Пушкиным	313
Перегите Пушкина сейчас	318
Подвиг поэта	322
Ветреная Геба	327
Ветер времени и поэт	333
Охотник за песнями мужества	347
Вольные птицы Хлебникова	354
Прекрасна Маяковского судьба...	360
Как песня иволги...	364
Время и поэт. Поэт и время	368
С душой, переполненной надеждами	387
Чудо «Лада»	390
Поэзия народной души	393
Души высокая свобода	396
Зачарованная глубина	410
Обыкновенное волшебство	414
Служение поэзии	416
Хранитель Лукоморья	418

3

Открытие праздника	425
Вершина Николоза Бараташвили	426
Поиск истины	427
В венок общей благодарности	429
С жаворонком на плече	430
«Своей любовью бесконечной...»	438
Письмо с предисловием	441
Чаша жизни	443
Слово на камне	445
По дороге на родину друга	448
Жить удивлением	451
Несмываемая дождем	453
С возлюбленной Грузией в сердце	456
Великолепие и щедрость	459
На пути к вершинам	461
Свет любви и жизни	473
Этот никогда не прекращающийся ветер...	480
Откровение времени	484
Долг	487
По завету Пушкина	490
Подтверждено кровью	494
Звонко, молодо, горячо	497
Под сенью знамени	501
И талантом и опытом	504
А кораблик плывет	506
Встречающему рассвет	507
Луки Платона Воронько	511
Деборе Вааранди	512
Письмо в Литву Эдуардасу Межелайтису	513
Судьба Эдит Сёдергран	515

Мы слышим тебя, Пабло Неруда	517
Музыкальные палочки	519
Навсегда с тобою, Куба!	520
Цвет жизни — красный цвет!	526
С вершины мужества	530
Пять погибелей после боя	535
Прекрасное растет на перекрестках	541

Михаил Александрович Дудин
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 4-х Т.

Т. 3

Переводы

ПОЛЕ ПРИТЯЖЕНИЯ
Проза о поэзии

Редактор **Б. Романов**
Художник **Н. Пескова**

Художественный редактор **А. Никулина**
Технический редактор **Н. Гаина**
Корректоры **Г. Черепеникова, Т. Люборец**

ИБ № 5161

Слано в набор 17.11.87. Подписано к печати 04.04.88.
Формат 84X108^{1/2}. Гарнтура. об. нов. Печать высокая.
Бумага тип. № 1. Усл. краск.-отт. 29,82.
Усл. печ. л. 29,40. Уч.-изд. л. 26,53. Тираж 50 000 экз.
Заказ 111. Цена 2 руб.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР.
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62.

Типография № 2 Росглавополиграфпрома,
152901, г. Андропов, ул. Чкалова, 8.



